

В.Ф. ОДОЕВСКИЙ

Последний  
квартет  
Бетховена

В.Ф. ОДОЕВСКИЙ

В.Ф. ОДОЕВСКИЙ

Последний  
квартет  
Бетховена

ПОВЕСТИ,  
РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ.  
ОДОЕВСКИЙ В ЖИЗНИ



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ  
1987

*Пушкинский кабинет ИРЛИ*

P1  
O-44

Составление,  
вступительная статья  
и примечания  
Вл. МУРАВЬЕВА

- Одоевский В. Ф.**  
O-44 Последний квартет Бетховена: Повести, рассказы, очерки. Одоевский в жизни/Сост., вступит. статья, примечания Вл. Муравьева.— М.: Моск. рабочий, 1987.—399 с.


Выдающегося русского писателя и философа Владимира Федоровича Одоевского (1804—1869) современники называли русским Фаустом. В его повестях причудливо переплелись фантастика и сатира, глубокая философичность и занимательный сюжет. В книгу входят повести «Импровизатор», «Последний квартет Бетховена», «Новый год», «Живописец», очерки о Москве и другие произведения, а также воспоминания современников о писателе.

4702010100—256  
O  $\frac{\quad}{M172(03)—87}$  179—87

P1

© Составление, статья, примечания, оформление.  
Издательство «Московский рабочий», 1982 г.

---



## Русский Фауст

Что нужно нам, того не знаем мы,  
Что ж знаем мы, того для нас не надо.

*Гете. Фауст. Часть первая*

До гор болото, воздух заражая,  
Стоит, весь труд испортить угрожая;  
Прочь отвести гнилой воды застой —  
Вот высший и последний подвиг мой!

*Гете. Фауст. Часть вторая*

### I

В 1838 году Владимир Федорович Одоевский написал, а в 1844 году напечатал в журнале «Отечественные записки» рассказ «Живой мертвец».

Создание этого рассказа относится к наиболее плодотворному периоду творческого пути писателя: в тридцатые годы им написаны все его основные и лучшие произведения. В 1838 году Одоевскому было 35 лет. По воззрениям древних, это — середина жизни; в тридцать пять лет человек вступает в пору духовной зрелости и способен к познанию законов и тайн бытия. Идея «Божественной комедии» пришла Данте, и он начал свою великую поэму, говоря его же словами, «земную жизнь пройдя до половины» — в возрасте тридцати пяти лет.

Рассказ «Живой мертвец» — ключ к пониманию личности Одоевского, его литературного творчества и общественной деятельности. В нем заложена главная идея его мировоззрения.

Содержание этого рассказа составляет сон (что позволило рецензентам и критикам того времени отнести его к разряду фантастических), приснившийся главному герою — Василию Кузьмичу Аристову, петербургскому чиновнику, достигшему довольно значительного положения и продолжающему преуспевать. Так вот, Василий Кузьмич имел неосторожность прочесть «на сон грядущий какую-то фантастическую сказку», и ему приснилось, что он умер. Но его душа, отделившись от тела, не вознеслась, а осталась в Петербурге. Далее рассказывается о том, как Василий Кузьмич, состоящий теперь из одной души, без тела, невидимый никому, но и сам не имеющий возможности вмешиваться в земные дела, посещает те же самые места, что и при телесной жизни, и наблюдает последствия

своих земных дел. Сам себя Василий Кузьмич злодеем не считает: поступал он всегда, блюдя собственный интерес, «смотря по обстоятельствам» и твердо уверен, что «наказывать» его «не за что». К тому же и один из его подчиненных свидетельствует, что он «эдаких, знаете, злодейств не делал». Но оказывается, что его мелкие мошенничества, подлоги, обманы, клевета, по его собственному убеждению и мнению окружающих, — незначительные «грешки» с неумолимой, жестокой закономерностью порождают целую цепь событий и поступков, которая в конце концов оборачивается для людей большими несчастьями. Жертвой обстоятельств, вызванных к жизни Василием Кузьмичом, становится и его родной сын, ради счастья которого он и совершал свои «грешки». Видя все это, Василий Кузьмич начинает понимать истинный характер своих дел и в страхе восклицает: «Мои дела, как семена ядовитого растения, — все будут расти и множиться!.. Что ж будет наконец? Ужас, ужас!..»

Сон Василия Кузьмича Аристидова — образное, художественное воплощение идеи. Но Одоевский, не удовлетворившись образным воплощением идеи, дает при этом же произведении логическое, рациональное ее определение. Он снабжает рассказ эпиграфом «Из романа, утонувшего в Лете», эта подпись не оставляет сомнений, что эпиграф сочинен самим автором. Обычай употреблять автоэпиграфы был распространен в 1820—1830-е годы, например, таковы эпиграфы к «Пиковой даме» А. С. Пушкина.

В эпиграфе Одоевский формулирует: «Мне бы хотелось выразить буквами тот психологический закон, по которому ни одно слово, произнесенное человеком, ни один поступок не забываются, не пропадают в мире, но производят непременно какое-либо действие; так что ответственность соединена с каждым словом, с каждым, по-видимому, незначущим поступком, с каждым движением души человека».

Восприятие мира, Вселенной как единого целого, связанного всеобщей зависимостью, составляет основу мировоззрения Одоевского — космического мировоззрения, которое только сейчас начинает усваиваться человечеством.

Из понимания всеобщей взаимосвязи вытекает, во-первых, ответственность каждого за каждый свой поступок перед всем человечеством. Одоевскому это обостренное чувство ответственности было присуще в высшей степени.

И, во-вторых, твердое убеждение в том, что никакой труд, направленный на благо общества, не пропадает зря. В одном из самых последних своих произведений, статье «Недовольно» (1867 г.) — ответе на полную пессимизма и разочарования статью И. С. Тургенева «Довольно» — он писал: «...не один я в мире, и не безответен

я пред моими собратиями — кто бы они ни были: друг, товарищ, любимая женщина, соплеменник, человек с другого полушария. — То, что я творю, — волею или неволею приемлется ими; не умирает сотворенное мною, но живет в других жизнью бесконечною. Мысль, которую я посеял сегодня, взойдет завтра, через год, через тысячу лет; я привел в колебание одну струну, оно не исчезнет, но отзовется в других струнах гармоническим гласовным отдаением».

Этими двумя принципами — ответственностью и уверенностью в нужности для человечества его труда — определялась нелегкая, самоотверженная, «странная», по мнению многих современников, жизнь и деятельность Одоевского.

«Князь Одоевский принадлежит к числу наиболее уважаемых из современных русских писателей, — писал В. Г. Белинский в статье 1844 года «Сочинения князя В. Ф. Одоевского», — и между тем ничего не может быть неопределеннее известности, которою он пользуется. Скажем более: имя его гораздо известнее, нежели его сочинения».

Так было в 1844 году, таким же положение оставалось в последующие десятилетия, и почти таково оно и в настоящее время. В этом есть своя закономерность и свои причины. Жизнь и деятельность Одоевского настолько слились с историей русской общественной жизни и русской культуры 1820—1860-х годов, что его невозможно выделить из этой эпохи, а эпоху — представить без него.

Имя Одоевского обычно упоминается в связи с биографиями многих замечательных деятелей русской культуры первой половины XIX века. «Судьба жизни не раз ставила меня в весьма близкие сношения с замечательнейшими организациями нашего времени (Д. Веневитинов, Грибоедов, Пушкин, Жуковский, Лермонтов, Кольцов, Глинка и мн. др.)», — вспоминал В. Ф. Одоевский под конец жизни. Если учесть, что среди этих «мн. др.» значатся Кюхельбекер, Гоголь, Белинский, Киреевские, С. Т. Аксаков, Герцен, Достоевский, Тургенев, Островский, Чайковский (и опять-таки перечисление далеко от полноты, и его приходится снабдить тем же самым замечанием — «и мн. др.»), то становится понятным, насколько часто и на каких славных страницах истории русской культуры и общественной жизни можно найти имя В. Ф. Одоевского. В литературной судьбе многих из перечисленных писателей он сыграл важную и положительную роль.

В 1824—1825 годах Одоевский выступает горячим защитником и пропагандистом «Горя от ума» Грибоедова. По первой книге он оценил Гоголя. «На сих днях вышли «Вечера на хуторе», — <...> писал Одоевский 23 сентября 1831 года другу юности А. И. Кошелеву. — Они, говорят, написаны молодым человеком, по имени *Гоголем*, в котором я предвижу большой талант: ты не можешь себе

представить, как его повести выше и по вымыслу, и по рассказу, и по слогу всего того, что доньше издавали под названием русских романов». Одоевский «с дружеским участием», как свидетельствует Погодин, ввел Гоголя в круг петербургских литераторов. Еще в рукописи Одоевский познакомился с романом Достоевского «Бедные люди» и характеризовал молодого писателя как «огромное дарование». Так же пронизательно, верно и без всяких оговорок он принял первую пьесу Островского «Свои люди — сочтемся», которая в первоначальном варианте называлась «Банкрот»: «Если это не минутная вспышка, <...> то этот человек есть талант огромный. Я считаю на Руси три трагедии: «Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор»; на «Банкроте» я поставил номер четвертый».

Одоевский — друг Веневитинова, Кюхельбекера, поэта-декабриста А. И. Одоевского, друг и сотрудник Пушкина по изданию «Современника», друг Глинки и молодого Чайковского, человек, стоявший в течение сорока лет — с 1820-х до 1860-х годов — в центре русской литературной и культурной жизни, самозабвенно заботившийся обо всех, хлопотавший, отстаивавший каждое новое начинание, представлявшееся ему нужным для страны и народа, в какой бы области оно ни было предпринято: в литературе, музыке, науке, технике, народном образовании, юриспруденции — он как бы растворился во всех этих делах, в работах и сочинениях, или одобренных им, или поддержанных, или предпринятых по его замыслу.

Одоевский не написал воспоминаний. Он имел обыкновение лишь делать краткие, отрывочные записи — мысли и факты, пришедшие на ум и на память по какому-либо случаю или при чтении какой-либо книги. Однажды он записал: «С летами я замечаю, что сделал в жизни большую глупость: я старался на сем свете кое-что делать, и учился искусству кое-что делать — но забыл искусство рассказывать о том, что я делаю». Мы тоже можем только пожалеть, что Одоевский сам не рассказал о «деле», которому он посвятил свою жизнь.

Но именно дело, труд составляли смысл и счастье жизни Одоевского. Про одного из героев своей повести он писал: «То был один из тех счастливых, которым нельзя не завидовать. Целый век и целый день он был занят...» Такое же счастье знал и Одоевский.

За свою жизнь, которую он, кстати, называл «чернорабочей», Одоевский успел сделать необычайно много. Так много, что современники не смогли оценить и даже просто охватить взглядом его деятельность в полном объеме. Только уже в наше время, когда существуют исследовательские работы об Одоевском как литераторе, как музыкальном деятеле, теоретике-педагоге, химике, электротехнике, транспортнике, философе, просветителе, начинает вырисовываться его настоящая роль и настоящее место в истории русской

культуры. В его сочинениях, как справедливо отмечает современный исследователь творчества Одоевского В. И. Сахаров, «достаточно много живых идей и весомых проблем, отнюдь не ставших историей», а как ученый он «начинал задумываться над проблемами, тогда лишь еле брезжившими, едва намеченными, а сегодня подступившими к нам вплотную».

Некоторое представление о широте, характере и направлении занятий дает запись Одоевского, сделанная им в последние годы жизни: «Смеются надо мною, что я всегда занят! Вы не знаете, господа, сколько дела на сем свете; надобно вывести на свет те поэтические мысли, которые являются мне и преследуют меня; надобно вывести те философские мысли, которые открыл я после долгих опытов и страданий; у народа нет книг,— у нас нет своей музыки, своей архитектуры; медицина в целой Европе еще в детстве; старое забыто, новое неизвестно; — наши народные сказания теряются; древние открытия забываются; надобно двигать вперед науку; надобно выкачивать из-под праха веков ее сокровища. Там юноши не знают прямой дороги, здесь старики тянут в болото, надобно ободрить первых, вразумить других. Вот сколько дела! Чего! я исполнил только тысячную часть. Могу ли после этого я видеть хладнокровно, что люди теряют время на карты, на охоту, на лошадей, на чины, на леность и проч., проч.».

Перечень дел Одоевский начинает с литературной работы. Прежде всего он был писатель.

## 2

Владимир Федорович Одоевский родился 31 июля 1804 года в Москве.

Его отец — князь Федор Сергеевич Одоевский — принадлежал к одной из родовитейших семей русского дворянства. Он был более родовит, чем царствовавшие в России Романовы, и вел свое происхождение от Рюрика.

Мать — Екатерина Алексеевна Филиппова — до замужества была крепостной.

Ко времени рождения Владимира Федоровича род Одоевских обеднел, отец служил директором Московского ассигнационного банка, и сам Владимир Федорович всегда жил скромно, а временами даже и бедно.

Когда В. Ф. Одоевскому не было и пяти лет, умер его отец, мать вторично вышла замуж, а мальчик остался в семье родственников отца, которые были назначены его опекунами. Он чувствовал себя одиноким, «я никогда не наслаждался благом семейственного счастья», вспоминал он о своем детстве впоследствии.



К этому времени относится начало дружбы с двоюродным братом — будущим декабристом А. И. Одоевским: «Александр был эпохой в моей жизни. Ему я обязан лучшими минутами оной. В его сообществе я находил то, чего я везде искал и нигде не находил». Эта дружба продолжалась и в последующие годы.

В 1816 году Одоевский стал посещать Московский университетский благородный пансион — дворянское учебное заведение, дававшее университетское образование. Программа Московского благородного пансиона включала в себя преподавание естественных и гуманитарных наук, преподавателями были профессора университета. Пансион давал глубокое и разностороннее образование, из него вышли многие выдающиеся деятели России первой половины XIX века: Жуковский, Грибоедов, Вяземский, Чаадаев, Лермонтов, декабристы В. Ф. Раевский, Каховский, Н. М. Муравьев, Н. И. Тургенев и другие.

Пансиону Одоевский обязан систематическими знаниями в области гуманитарных наук — всеобщей и русской истории, словесности, языков, в области естественных — физике, химии, биологии. Пансион приучил Одоевского к научным занятиям, и знания, полученные в нем, явились хорошим фундаментом дальнейших научных изысканий.

Но важнее всего богатства фактических данных, сообщаемых ученикам преподавателями пансиона, был дух преподавания, царивший в нем. Тон в преподавании задавали профессора, которые стремились вызвать в учениках стремление к знанию, умение размышлять, ставить перед собой вопросы. В этом отношении характерной фигурой был профессор М. Г. Павлов, читавший курсы физики и сельского хозяйства, о котором современник рассказывает, что «он заставлял каждого студента задуматься над коренными вопросами всякого научного изучения: «...что значит *познать* природу? что значит познать самого себя?»

М. Г. Павлов и профессор философии И. И. Давыдов были горячими сторонниками идеалистической натурфилософии Шеллинга и последовательно проводили ее в своих лекциях.

В пансионе Одоевский с особенно большим интересом изучает философию. Ее способность приводить в логическую систему все разнородные факты природы и бытия и объяснять их происхождение и зависимость захватывает его.

За неумную жадность познания друзья тогда уже прозвали его Фаустом, а его квартира в Газетном переулке, неподалеку от Благородного пансиона, была похожа на кабинет этого легендарного ученого, каким его изображали художники.

«Две тесные каморки молодого Фауста, — описывает жилище Одоевского Погодин, — <...> были завалены книгами... на столах,

под столами, на стульях, под стульями, во всех углах,— так что пробираться между ними было мудро и опасно. На окошках, на полках, на скамейках,— стьянки, бутылки, банки, ступы, реторты и всякие орудия. В переднем углу красовался человеческий костяк... К каким ухищрениям должно было прибегнуть, чтоб поместить в этой тесноте еще фортепиано, хоть и очень маленькое, теперь мудро уже и вообразить!»

Не менее сильное, чем отвлеченная и сухая логика философских систем, на Одоевского имела влияние литература, и в первую очередь — романтическая поэзия Жуковского. Друг его юности Кошелев вспоминает, как они, молодые студенты, любили совершать прогулки по Подмоскovie, которые вошли в обычай после «Бедной Лизы» Карамзина, начинавшейся рассуждениями автора о приятности пешеходных путешествий по окрестностям Москвы.

Главную прелесть подобных прогулок составляло их литературно-поэтическое настроение.

«Мы теснились вокруг дерновой скамейки,— вспоминает Одоевский,— где каждый по очереди прочитывал Людмилу, Эолу арфу, Певца в стане Русских воинов, Теона и Эхина; в трепете, едва переводя дыхание, мы ловили каждое слово, заставляли повторять целые строфы, целые страницы, и новые ощущения нового мира возникали в юных душах и гордо вносились во мрак тогдашнего классицизма, который проповедовал нам Хераскова и не понимал Жуковского... Стихи Жуковского были для нас не только стихами, но было что-то другое под звучною речью, они уверяли нас в человеческом достоинстве, чем-то невыразимым обдавали душу — и бодрее душа боролась с преткновениями науки, а впоследствии — с скорбями жизни. До сих пор стихами Жуковского обозначены все происшествия моей внутренней жизни — до сих пор запах тополей напоминает мне Теона и Эхина...»

Литература занимала важное место в жизни воспитанников Московского благородного пансиона, вернее сказать, литературные интересы пронизывали всю их жизнь: издавались рукописные журналы, устраивались любительские спектакли, существовали дружеские литературные объединения. Среди литературных кружков наиболее значительным был кружок, руководимый преподавателем пансиона, известным поэтом и переводчиком, членом «Союза благоденствия» — раннего декабристского общества — С. Е. Раичем. Этот кружок посещали Д. В. Веневитинов, Ф. И. Тютчев, В. К. Кюхельбекер, А. Н. Муравьев, М. П. Погодин, С. П. Шевырев. Активным участником кружка был Одоевский. С участием в кружке Раича связаны первые его крупные литературные замыслы. М. П. Погодин сообщает, что кружок намеревался издавать журнал, и Одоевский «смело сказал: для первой книжки я напишу повесть».

В зале пансиона происходили заседания Общества любителей российской словесности — авторитетного литературного объединения, в которое входили крупнейшие литераторы, на его собраниях читались новые оригинальные и переводные художественные произведения, статьи по теории литературы и эстетике, Одоевский был постоянным посетителем этих заседаний.

В Обществе любителей российской словесности господствовал классицизм, одним из самых ярких и крупных теоретиков которого был профессор и поэт А. Ф. Мерзляков.

Но это были годы бурного развития и укрепления романтизма в русской литературе, который развивался в борьбе с классицизмом, с его канонами и эстетическими принципами. Борьба романтизма с классицизмом выходила далеко за пределы чисто литературных вопросов. По характеристике Белинского, «тут не было ни классицизма, ни романтизма, а была только борьба умственного движения с умственным застоєм». Одоевский и его товарищи в этой борьбе принадлежали к лагерю романтиков, поэтому ни кружок Раича, ни Общество любителей российской словесности их не удовлетворяли, и они создали свой кружок — «Общество любомудрия». Наиболее активная деятельность «любомудров» относится к 1823—1825 годам, но начало их кружка было положено в 1820 году.

«Оно собиралось *тайно*, — вспоминает об «Обществе любомудрия» один из «любомудров» А. И. Кошелев, — и об его существовании *мы никому* не говорили. Членами его были: кн. Одоевский, Ив. Киреевский, Дм. Веневитинов, Рожалин и я. Тут господствовала немецкая философия, т. е. Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Гёррес и др. Тут мы иногда читали наши философские сочинения; но всего чаще и по большей части беседовали о прочтенных нами творениях немецких любомудров. <...> Мы собирались у кн. Одоевского, <...> он председательствовал, а Д. Веневитинов всего более говорил и своими часто речами приводил нас в восторг».

Шеллинг заявлял, что его философия «не только возникла из поэзии, но и стремилась возвратиться к этому своему источнику», таким образом утверждая за художественным творчеством право быть методом познания мира. Эта сторона шеллингианства оказалась особенно близка и дорога «любомудрам», которые в большинстве соединяли в себе как дар ученого-испытателя, так и поэтический талант, и в своих произведениях воплощали оба эти начала.

«Любомудры» проповедовали необходимость для литературы не только чувств, но и мыслей, а для науки — не только логики, но и образности. «Причина нашей слабости в литературном отношении заключалась не столько в образе мыслей, сколько в бездействии мысли... — писал тогда Веневитинов. — Истинные поэты всех народов, всех веков были глубокими мыслителями, были философами и, так

сказать, венцом просвещения». «В наш век,— утверждал Одоевский,— наука должна быть поэтической».

В философии Шеллинга «любомудры» обретали точку опоры в себе самих для активного творчества и противопоставляли ее пассивности, провозглашаемой эстетикой классицизма. Это противопоставление двух эстетических систем очень наглядно проводится в статье Веневитинова «Разбор рассуждения г. Мерзлякова: «О начале и духе древней трагедии и проч. <...>». Веневитинов приводит цитату из Мерзлякова: «...все изящные искусства обязаны своим началом более случаю и обстоятельствам, нежели изобретению человеческого. <...> Мудрая учительница наша, природа, явила себя нам во всем своем великолепии, красоте и благах несчетных, возбудила подражательность и передала милое чадо свое на воспитание нашему размышлению, наблюдению и опыту», и далее возражает утверждениям уважаемого профессора (в статье имеется эпитафия: «Платон мне друг, но истина дороже»): «Поэт, без сомнения, заимствует из природы форму искусства; ибо нет формы вне природы; но и «подражательность» не могла породить искусства, которые проистекают от избытка чувств и мыслей в человеке и от нравственной его деятельности».

Интересы «Общества любомудров» не ограничивались отвлеченными метафизическими вопросами и эстетикой. Философия представлялась им всемогущим ключом ко всем областям бытия. «Мы верили,— пишет Одоевский о том времени,— в возможность закона абсолютной теории, посредством которой возможно было бы построить все явления. <...> Тогда вся природа, вся жизнь человека казалась нам довольно ясною. <...>»

В 1822 году Одоевский окончил пансион «с большой медалью и правом на чин X-го класса», что давало ему большие преимущества при вступлении на государственную службу, но он избрал для себя другой путь служения обществу — путь научной и литературной деятельности. Лучшие ученики пансиона при выпуске должны были выступить с публичной речью. Одоевский посвятил свою речь наукам. «Науки полезны, необходимы, спасительны для каждого гражданского общества...— сказал он в той речи.— Они столь же беспредельны, как самая природа; они — ее искусственное начертание и объяснение тайных средств ее; их пределы — пределы Вселенной».

В повести «Новый год» Одоевский описал ту прекрасную, полную надежд и грандиозных планов атмосферу, которая царила в их кружке, когда они, окончив образование, вступали в жизнь: одни из них, среди которых был и сам Одоевский, намеревались в ближайший год создать новые философские системы, написать несколько романов, другие — «кто обещался возвысить наукою воинственное

имя своих предков; кто перенести в наш мир промышленности все знания Европы; кто на царской службе принести в жертву жизнь на поле брани или в тяжких трудах гражданских. Мы верили себе и другим, ибо мысли наши были чисты и сердце не знало расчетов».

В 1821—1822 годах в московском журнале «Вестник Европы» появляются первые литературные произведения Одоевского: «Разговор о том, как опасно быть тщеславным», «Дни досад» и другие, представляющие собой в основном сатирические зарисовки московского высшего общества, среди которого вынужден жить молодой мыслящий человек. В образе и мыслях этого молодого человека нетрудно узнать черты Одоевского и его друзей.

Характерен в этом отношении рассказ «Дни досад». В нем рассказывается об одном, подразумевается обычном, дне идеалистически настроенного, просвещенного юноши Ариста, который, приехав в отпуск в Москву, наблюдает московскую жизнь. Утром он видит, как спешат в университет студенты. Бедные идут пешком (они и есть настоящая надежда науки, думает он о них); граф Глупостилин едет в университет в коляске: ему наука ни к чему, он, скучая, вынужден посещать лекции, потому что для получения чина необходим университетский диплом. Затем перед Аристом проходит длинный ряд персонажей «лучшего общества»: обжора граф Аддифагов, мот князь Лелев, женившийся по расчету на дочери ростовщика Процентина, и другие; Арист едет в ресторан, на бал, слушает пустые светские разговоры, сплетни, невежественные суждения, его заставляют танцевать, играть в карты, его хотят женить... «Я прошел все мытарства, обыкновенно встречающие молодых людей в свете,— говорит Арист.— Я начал праздностью, за нею следовала головная боль, пустота головы. От нечего делать я принужден был <...> спорить с невеждой и не доказать ему ничего, познакомиться с домами не по сердцу, безвинно быть жертвой городских слухов и неумышленного зложелательства тетушек, от тщеславия жестоко ошибиться в людском мнении и, жертвуя оному, быть осмеянным на балах, скучать ими и невольно не пропускать ни одного из них. <...> Таков ли удел человека, которого каждый день жизни — новая ступень к совершенству?»

В этом очерке предстает грибоедовская Москва, сюжеты и линии «Горя от ума», в размышлениях главного героя узнаются высказывания Чацкого:

Теперь пускай из нас один,  
Из молодых людей, найдется: враг исканий,  
Не требуя ни мест, ни повышения в чин,  
В науки он вперит ум, алчущий познаний;

Или в душе его сам бог возбудит жар  
К искусствам творческим, высоким и прекрасным,—  
Они тотчас: разбой! пожар!  
И просльвет у них мечтателем! опасным!!

Грибоедов, работавший над своей комедией как раз в эти годы, по напечатанным очеркам почувствовал в Одоевском единомышленника, их знакомство перешло в крепкую сердечную дружбу.

В образе Чацкого — человека нового поколения — Одоевский и его друзья не без оснований видели себя. И — более того — когда в ответ на реплику *Хлестовой*:

И впрямь с ума сойдешь от этих от одних  
От пансионов, школ, лицеев, как, бишь, их...—

*княгиня* приводит в пример своего родственника, который

Чинов не хочет знать! Он химик, он ботаник,  
Князь Федор, мой племянник! —

то слова княгини Одоевский мог отнести на свой счет.

Сотрудничество в «Вестнике Европы» не удовлетворяет Одоевского, «любомудры» хотели иметь собственное периодическое издание, в котором могли бы беспрепятственно проводить свои взгляды. В 1823 году в Москву приехал Кюхельбекер, который предложил Одоевскому совместно издавать альманах, так как разрешение на издание журнала было получить трудно.

В 1824 году вышел первый выпуск альманаха «Мнемозина», изданного Кюхельбекером и Одоевским; затем в течение того же и следующего, 1825 года — еще три выпуска.

По своему направлению и значению «Мнемозина» примыкала к «Полярной звезде» Рылеева и Бестужева. В альманахе Кюхельбекера и Одоевского кроме самих издателей печатались Пушкин, Грибоедов, Вяземский, Баратынский, Языков, Д. Давыдов и другие, помещались статьи на философские темы, в том числе была напечатана статья М. Г. Павлова «О способах исследования природы».

Открывался альманах аллегорией Одоевского «Старики, или Остров Панхай», в которой как бы указывалось на главную задачу издания — борьбу против всего устарелого, мешающего прогрессу.

«Мнемозина» сразу была замечена читателями и общественностью. Реакционная журналистика — Булгарин, Греч, Воейков — встретила альманах отрицательными отзывами. Рылеев печатает положительную рецензию, которая свидетельствует, что он признает в новом альманахе литературного соратника.

Кстати сказать, Рылеев отмечает «статью» «Старики, или Остров Панхай». К. А. Полевой писал о «Мнемозине», что «там были

неведомые до того взгляды на философию и словесность. <...> Это был первый смелый удар старым теориям, нанесенный рукою неопытной, но, тем не менее, удар меткий». Но, пожалуй, самое выразительное свидетельство принадлежит Белинскому. Он писал, что статьи А. Бестужева в «Полярной звезде» и «Мнемозине» — «все это выразило собою совершенно новое направление литературы». Про произведения Одоевского, и в первую очередь про «Стариков», он говорит: «<...> юношество, одушевленное стремлением к *идеальному*, в хорошем значении этого слова, как противоположности пошлой прозе жизни,— это юношество читало их с жадностью, и благодатны были плоды этого чтения. Мы знаем это по собственному опыту <...>». Белинский придает «Старикам» большое общественное и литературное значение, поэтому в статье 1844 года о трехтомном собрании сочинений Одоевского, не включившим в себя это его раннее произведение, он приводит его целиком.

Шел 1825 год. Близилось восстание декабристов. «Любомудры» были связаны родством, дружбой со многими из декабристов. Александр Одоевский ведет разговоры с В. Ф. Одоевским на политические темы. Кошелев присутствует у своего родственника декабриста М. М. Нарышкина на вечере, где Рылеев читает свои «Думы». А. И. Одоевский пытается привлечь брата к активной политической борьбе, но безуспешно.

В. Ф. Одоевскому — человеку иного умственного склада и темперамента — ближе другой тип общественного деятеля: не политического борца, а просветителя, деятельность которого, кстати сказать, как он понимал, требует не менее героизма, чем политическая, и чревата не меньшими опасностями. Идеалом такого деятеля-просветителя В. Ф. Одоевскому представляется Джордано Бруно. В одной из статей «Мнемозины» он называет его «необыкновенным явлением во мраке XVI столетия». В 1825 году Одоевский начинает писать роман «Иордан Бруно и Петр Аретино — роман в нравах XVI столетия». Роман остался неоконченным, но его направленность совершенно очевидна, трагическая судьба Джордано Бруно, взошедшего за научную истину на костер, исполнена героизма и самоотвержения.

Несмотря на несклонность к активной политической борьбе, в преддверии восстания 14 декабря Одоевский и другие «любомудры» не отрицают возможности своего участия в ней.

В период междуцарствия, когда со дня на день ожидалось выступление декабристов, «мы, немецкие философы,— свидетельствует Кошелев,— забыли Шеллинга и компанию, ездили всякий день в манеж и фехтовальную залу учиться верховой езде и фехтованию и таким образом готовились к деятельности, которую мы себе предназначали».

При известии о поражении выступления 14 декабря и начавшихся арестах «любомудры» уничтожили архив общества, но, судя хотя бы по воспоминаниям Кошелева, политическая окраска их деятельности в это время была достаточно сильна и радикальна. Они ожидали, что тоже будут арестованы. Одоевский, как вспоминает его родственница Е. В. Львова, «был сумрачен, но спокоен, только говорил, что заготовил себе медвежью шубу и сапоги на случай дальнего путешествия».

Никого из «любомудров» не арестовали, но эти месяцы, предшествующие восстанию и последующие за ними, полные размышлений и разговоров на политические, экономические, нравственные темы, оказали огромное влияние на их мировоззрение и дальнейшую жизнь.

Много лет спустя Одоевский пишет о декабристах: «Был ли этот разговор своевременен? В нем участвовали представители всего — талантливого, образованного, знатного, благородного, блестящего в России — им не удалось, но успех не был безусловно невозможен». В этой записи явственно чувствуется отзвук мыслей и разговоров 1825 года. Характерный штрих и в том, что поведение и деятельность Одоевского при проведении реформы 19 февраля 1861 года были совершенно аналогичны поведению и деятельности оставшихся к тому времени в живых декабристов.

Восстание 14 декабря и расправа над декабристами в жизни Одоевского, как и в жизни многих его современников, стали испытанием и границей, за которой уже нельзя было жить так, как жили до этого: наступали новые — николаевские — времена. От всех, кто имел какое-либо отношение к декабристам, был знаком с ними или подозревался в том, что разделял их взгляды, правительство требовало отречения и поругания прежних идеалов. Перед многими вставал вопрос, который задавал себе и Пушкин:

Сохраню ль к судьбе презренье?  
Понесу ль навстречу ей  
Непреклонность и терпенье  
Гордой юности моей?

Одоевский, как и Пушкин, сохранил верность юности: он стал осторожнее, опытнее, но во всей дальнейшей его жизни мы узнаем романтика, строившего с друзьями в тесной студенческой комнатке в Газетном переулке дерзкие планы преобразований «во всех отраслях деятельности».

В 1826 году Одоевский женился, переехал в Петербург и поступил на государственную службу. В службе Одоевский ценил не карьеру, а возможность приносить пользу обществу. «Несмотря на свое аристократическое имя, на свои влиятельные связи и знаком-



ства в высшем петербургском обществе,— пишет в своих воспоминаниях об Одоевском историк литературы А. П. Пятковский,— князь Одоевский до конца своей жизни не искал и не занимал никаких важных административных мест, ограничиваясь любезною ему сферою ученой и благотворительной деятельности, хотя его сверстники и друзья могли бы, при его желании и при некоторых нравственных уступках с его стороны, выдвинуть своего товарища на один из таких влиятельных постов. Но «ученый чудак» (как его величали в некоторых придворных кружках) сам не добивался такого возвышения, не дорожил им, не стремился никого уверить в своей незаменимости для того или другого места, в своей способности «подтянуть», «укротить» и проч., и предпочел весь век свой занимать второстепенные должности, на которых он мог приносить действительную пользу, сообразную с его взглядами и понятиями об общественном благе».

В Петербурге Одоевский продолжает работать над литературными произведениями. В 1831 году он опубликовал новеллу «Последний квартет Бетховена», посвященную проблеме, всегда остро волновавшей романтиков,— взаимоотношениям творца, художника и современного ему общества, как правило, не понимавшего стремлений и вещей прозрений художника. Новелла Одоевского кроме того, что рассказывала о трагедии последнего периода жизни Бетховена, затрагивала глубинные вопросы психологии творчества, новаторства, философии искусства. «Последний квартет Бетховена» привлекает внимание Пушкина.

Кошелев сообщает в письме Одоевскому: «Пушкин весьма доволен твоим «Квартетом Бетховена»... Он находит, что ты в этой пьесе доказал истину весьма для России радостную; а именно, что возникают у нас писатели, которые обещают стать наряду с прочими европейцами, выражающими мысли нашего века».

Отзыв Пушкина важен не только потому, что это был отзыв великого писателя, но и тем, что он отметил главную черту творчества Одоевского: что в нем большую роль играет мысль. Чтобы в полной мере оценить высокую степень этой оценки, необходимо вспомнить те требования, которые Пушкин предъявлял к прозе: «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат».

Пушкин пригласил Одоевского участвовать в задумываемом им журнале «Современник», и с начала тридцатых годов между ними устанавливаются дружеские отношения.

Пушкин высоко ценил литературную деятельность Одоевского. «Думаю 2 № начать статью вашей, дельной, умной и сильной — и которую хочется мне наименовать *О вражде к просвещению*»,—

пишет он Одоевскому в начале 1836 года. Он хвалит реалистическую повесть «Княжна Зизи», критикует фантастическую «Сильфиду», но неизменно считает Одоевского ценным и желанным сотрудником журнала: «Без вас пропал *Современник*».

Великое значение Пушкина для русской национальной культуры Одоевский понимал уже тогда. Ему принадлежат замечательные слова, по силе воздействия на общество равные знаменитому стихотворению Лермонтова «На смерть поэта», опубликованные тогда же, в январе 1837 года, как некролог: «Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался в цвете лет, в середине своего великого поприща». Некролог вызвал правительственные преследования на журнал и его редактора.

Жизнь и служба в Петербурге расширяют область наблюдений Одоевского, обогащается и тематика его произведений, он пишет теперь не только о московском барстве и студенчестве, но и о большом петербургском свете, куда он вошел благодаря происхождению, и о бюрократической, чиновничьей среде, в которой протекала его служба. Чиновничий, деловой, капитализирующийся Петербург с его равнодушием и жестокостью к судьбе «маленького человека» становится объектом изображения Одоевского.

Высший свет, его внешний блеск и внутреннюю бездуховность, корыстолюбие, продажность, захватившую его погоню за деньгами, только прикрываемую традиционными условностями этикета, Одоевский описал в рассказах «Бал», «Насмешка мертвеца», в повестях «Княжна Мими», «Княжна Зизи» и других. По сравнению с «великосветскими» романами и повестями многих других авторов произведения Одоевского отличались правдивостью, реализмом, замечательным художественным мастерством; образ княжны Мими Белинский ставит в один ряд с такими типическими образами, как Онегин, Ленский, Татьяна, которые для читателя являют «целый мир в одном, только в одном слове».

По-своему, свежо и оригинально увидел Одоевский бюрократический, чиновничий мир, увидел страшную власть бюрократии над живой жизнью, власть, проникающую во все слои общества, способствующую укреплению и обогащению высших слоев и полному подчинению им до потери собственной воли и человеческого достоинства низших. Власть бюрократии над низшими своими служителями выливалась в формы, сравнимые только с властью крепостников над крепостными. В 1833 году Одоевский издает сборник «Пестрые сказки», в котором в «Сказке о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалось в Светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником», в «Сказке о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем» и других произведениях нашла отражение тема неестественного, миражного суще-

ствования петербургской и распространяющейся от него на всю Россию бюрократии. В этих произведениях Одоевский пролагал путь Гоголю к его «Петербургским повестям» и далее — к сатире Щедрина.

Значительное место в интересах Одоевского занимают вопросы науки, познания, проблемы познанного и непознанного, истории науки и ее будущего, что нашло выражение и в литературно-художественных произведениях — в повестях «Сильфида», «Орлахская крестьянка», «Саламандра», неоконченном романе «4338-й год» и других. В основном все эти произведения принадлежат к жанру фантастики, поскольку в них говорится о явлениях, еще не имеющих научного объяснения или исключенных тогдашними позитивистами из ведения науки и отнесенных к области религии и магии.

В тридцатые же годы Одоевский работал над романом «Русские ночи», который, по его замыслу, должен был изобразить «верную картину той умственной деятельности, которой предавалась московская молодежь 20-х и 30-х годов». Роман затрагивал широкий круг проблем: философских, политических, экономических, «житейских» (термин Одоевского), эстетических, этических, научных — как в общем плане принципов познания, так и конкретных, и, кроме того, самим своим созданием он являлся дерзким, новаторским поиском нового жанра — философского романа, не существовавшего в традициях русской литературы и отличного от аналогичных опытов европейской литературы.

Роман был опубликован в 1844 году; его необычность, явное и как будто нарочитое преобладание интеллектуального начала над сюжетом и образностью (в тогдашнем понимании), новизна формы да и новизна идей, еще не овладевших обществом, затруднили его путь к читателю. Роман прошел почти незамеченным. К «Русским ночам» приложимо позднейшее высказывание Одоевского: «Обыкновенно думают, что от книг переходят мысли в общество. Так! Но только те, которые нравятся обществу; не нравящиеся обществу мысли падают незамеченными. Большею частью книги (кроме книг гениальных, весьма редко появляющихся) суть лишь термометр идей, уже находящихся в обществе».

Впрочем, нельзя сказать, что «Русские ночи» прошли бесследно для современников, у них были читатели, и отзыв одного из них, В. К. Кюхельбекера, прочитавшего роман в ссылке, в Кургане, — яркое свидетельство этому. «Книга Одоевского «Русские ночи», — записывает он в дневнике, — одна из умнейших книг на русском языке. <...> Сколько поднимает он вопросов! Конечно, ни один почти не разрешен, но спасибо и за то, что они подняты, — и в Русской книге!»

В 1844 году Одоевский издал свои литературные произведения

в трех томах. Это издание как бы подводило итог его более чем двадцатилетнего литературного пути и показало, что как писатель он занимает крупное место в современной литературе. Белинский откликнулся на сочинения Одоевского большой статьей, в которой глубоко проанализировал особенность и оригинальность его произведений и указал на роль, которую он сыграл и играет в культурной и общественной жизни русского общества.

По свидетельству Панаева, Одоевский, «один из всех литераторов-аристократов, он не стыдился звания литератора, не боялся открыто смешиваться с литературною толпою, и за свою страсть к литературе терпеливо сносил насмешки своих светских приятелей». Одоевский организовал у себя литературный салон, открытый для всех литераторов, которых он хотел сблизить со светским обществом. Салон Одоевского стал примечательным явлением культурной жизни Петербурга 1830—1840-х годов, его посещали писатели, журналисты, композиторы, ученые, артисты, как уже известные, так и молодые, начинающие.

Со второй половины 1840-х годов Одоевский пишет гораздо меньше литературно-художественных произведений, много времени и сил он отдает педагогической деятельности, пропаганде научных и технических знаний среди народа. Совместно с А. П. Заблоцким-Десятовским в 1840-е годы он издает альманах «Сельское чтение», в котором помещает популярные статьи по разным отраслям знания. Альманах выдержал много изданий; отмечая его популярность в народе, Белинский писал: «Успех невероятный. <...> Бородатые критики по-своему оценили «Сельское чтение»: мы не имеем причины оспаривать их приговор и по совести должны подтвердить его справедливость», особенно высоко он ставил научно-популярные статьи самого Одоевского и, говоря о важном общественном значении его популяризаторской работы, заключает свой отзыв такими словами: «...да будут честны и славны из рода в род имена таких людей».

Просветительская деятельность Одоевского не находила поддержки в правительственных кругах, но тем не менее он продолжал ее, твердо веря в ее необходимость для народа и в ее успех. За год до смерти, в 1868 году, он писал:

«Но будет время — лишь бы оно поскорее пришло — когда во всех и в каждого проникнет убеждение, что в России все есть, а нужны только три вещи: наука, наука и наука; во всех концах нашей великой земли раздадутся всенародно и общедоступно умные речи ученых людей, и русских и иностранных; учредятся библиотеки, физические кабинеты, химические лаборатории, для всех открытые и в уровень науки... Тогда машинистами на фабриках, на железных дорогах, на пароходах будут преимущественно русские люди; тогда научившийся мужичок будет заправлять дере-

венскими локомотивами, да сам еще приспособит их к местному делу».

Политические взгляды Одоевского отличались последовательностью и постоянством. В годы николаевской реакции он не отказался ни от идей, сближавших его с декабристами, ни от находящихся в тюрьме товарищей: в числе немногих он поддерживал с ними связь, переписывался, хлопотал об облегчении их судьбы.

Одоевский всегда был противником крепостного права и самодержавия; он считал безусловно необходимым ликвидировать первое и ограничить законами и гласностью второе.

«Псевдолибералы называют меня царедворцем, монархистом и проч., — писал Одоевский о себе, — а отсталые считают меня в числе красных». Но он не был ни тем, ни другим. Он, как немногие, мог видеть, что государственный и экономический строй самодержавно-помещичьей России привел страну к краху, что он прогнил, и для спасения государства и нации требуются коренные преобразования, и прежде всего отмена крепостного права. Поражение в Крымской войне заставило царское правительство задуматься над необходимостью реформ. В правительственных кругах был составлен в 1855 году циркуляр, в котором указывалось на тяжелое, критическое положение страны. По поводу этого циркуляра Одоевский записывает в дневнике: *«Ложь, многословие и взятки — вот те три пиявцы, которые сосут Россию; взятки и воровство покрываются этою ложью, а ложь — многословием. Этот циркуляр есть истинный подвиг, больше полезный для государя и отечества, нежели взятие Карса. Всякий благонамеренный человек душою пристрастится к правительству, которое наконец положит предел канцелярской лжи. Можно отличить человека честного от негодяя по тому только pro он или contra циркуляра. Правда, последние нападают на него лишь стороною, говоря, например: как можно назвать наше положение бедственным? Это не политично: что скажут иностранцы? Как будто иностранцы не знают всю суть лучше нашего! Напротив, признать опасность своего положения есть дело ума и силы. Кто знает свою рану, тот ее залечит, если можно, а беллами ее не замажешь».*

Одоевский был противником насильственных мер, он считал, что выступление народа со своими законными требованиями приведет к «пугачевщине» и «кровавой каше», поэтому отмену крепостного права и сословных привилегий в России считал необходимым осуществить «вовремя проведенными реформами».

Отмену крепостного права 19 февраля 1861 года он встретил как одно из величайших и радостных событий в истории России и сразу же включился в работу по осуществлению реформы.

В 1860-е годы Одоевский ведет бескомпромиссную борьбу про-

тив еще довольно сильной партии бывших крепостников, пытающихся вернуть старые порядки.

В 1865 году в газете «Весть» была напечатана статья, в которой проводилась идея о восстановлении утраченных помещиками отменой крепостного права привилегий над другими сословиями в какой-либо иной форме. Эта отрывка крепостничества возмутила Одоевского, он написал резкий протест, в котором заявил: «...по нашему глубокому убеждению, дело дворянства в настоящую минуту состоит в следующем: 1) Приложить все силы ума и воли к устранению остальных последствий крепостного состояния, ныне с Божиею помощью уничтоженного, но бывшего постоянным источником бедствий для России и позором для всего ее дворянства. 2) Принять добросовестное и ревностное участие в деятельности новых земских учреждений...» Заявление не было напечатано: сначала его задержала цензура, затем номер «Вести» с крепостнической статьей цензура тоже изъяла, и Одоевский «счел неприличным» настаивать на напечатании его статьи «по пословице: «лежащего не бьют». Но слухи о статье Одоевского распространились, и его враги — крепостники предприняли против него свои меры: они распространили сплетню, что он якобы написал донос на «Весть», чтобы подслушаться к правительству.

Узнав о сплетне, Одоевский пишет частное письмо, в котором содержится краткий, но четкий и исчерпывающий очерк его политических взглядов — противника крепостного права, демократа и безусловного сторонника политического равенства всех членов государства. Письмо имеет дату: 18 марта 1865 года, таким образом оно как бы подводит итог общественной жизни Одоевского.

«Мои убеждения — не со вчерашнего дня; с ранних лет я выражал их всеми доступными для меня способами: пером — насколько то позволялось тогда в печати, а равно и в правительственных сношениях; изустною речью — не только в частных беседах, но и в официальных комитетах; везде и всегда я утверждал необходимость уничтожения крепостничества и указывал на губительное влияние *олигархии* в России; более 30 лет моей публичной жизни доставили мне лишь новые аргументы в подкрепление моих убеждений. Учившись смолодѹ логике и постарев, я не считаю нужным изменять моих убеждений в угоду какой бы ни то ни было партии. Никогда я не ходил ни под чьей вывеской, никому и не навязывал моих убеждений, но зато выговаривал их всегда во *всеуслышание*, весьма определенно и речисто, а теперь уже поздно мне переучиваться. Если враги мой, в отмщение за мой честный и законный протест, прибегают к бессмысленной клевете — к этому оружию маленьких душонок — то их лепет не возбуждает во мне даже презрения; я и знать не хочу, что они там болтают. Они не остановят моих дейст-

вий, когда я сочту нужным действовать, как и когда мне заблагорассудится, ибо то, что я отстаиваю, считаю делом святым и разумным, а *все проделки в исключительную пользу какой-либо касты — источником неисчисленных бедствий для России*, о коих, кажется, и не подумали люди, находящиеся под влиянием блестящей надежды о каком-то столбовом верховничестве. Звание русского дворянина, моя долгая, честная, чернорабочая жизнь, не запятнанная ни просками, ни интригами, ни даже честолюбивыми замыслами, наконец, если угодно, и мое историческое имя — не только дают мне право, но налагают на меня обязанность не оставаться в робком безмолвии, *которое могло бы быть принято за знак согласия*, в деле, которое я *считаю высшим человеческим началом* и которое ежедневно применяю на практике в моей судейской должности, а именно: *безусловное равенство пред судом и законом, без различия званий и состояний*».

Уехав из Москвы в Петербург в 1826 году, Одоевский не порывал с Москвой, часто приезжал туда, сотрудничал в московских журналах, поддерживал дружбу с москвичами — Погодиным, Аксаковым и другими. По рассказам современников, он часто говорил о своем желании снова поселиться в Москве.

Во многих произведениях Одоевского действие в той или иной степени происходит в Москве: это и повесть «Княжна Зизи», и рассказ «Новый год», и повесть «Эльса», и другие, не говоря уж о ранних рассказах и очерках.

Служба, поскольку он жил только на жалованье, начатые, но неоконченные дела, которые он считал своим долгом окончить, позволили ему только в 1862 году осуществить давнее желание: за долговременную службу Одоевский должен был получить почетное назначение в Государственный совет, но отказался от него, выхлопотав несравненно меньшее по своему значению и жалованию звание сенатора, и переехал в Москву.

В Москве он продолжает службу по судебному ведомству, стараясь проводить в жизнь принцип равенства всех сословий перед законом.

«На старости судьба его поставила на новое, совсем до того времени неизвестное ему дело судьбы, и он принялся за него с юношеским жаром, — вспоминает его сослуживец. — Все он хотел знать, во всем водворить порядок, обо всем расспрашивал, все выслушивал терпеливо и внимательно... Всякая неисправность волновала его; всякая безграмотность его тревожила; не по силам не только его, но и всякого другого было одолеть в борьбе с беспорядками и неисправностями посреди бумажной массы, но он никогда не унывал в этой борьбе и всякий день возобновлял ее с новою надеждой... Судебное дело очень занимало его. С особенным сочувствием, с го-

рячими надеждами, свойственными только юношескому пылу, встретил он первые начатки судебной реформы и верил безусловно в благодетельное действие основных начал ее. Как он радовался, когда в сенате допущена была гласность производства со словесными состязаниями тяжущихся!»

Одоевский активно участвует в культурно-общественной жизни Москвы: способствует основанию консерватории, читает популярные лекции; как и в Петербурге, его дом становится местом, где собираются литераторы, музыканты, ученые, он пишет серию очерков о московском быте, в них зоркий глаз наблюдателя соединяется с даром замечательного рассказчика, в московских газетах публикует заметки, в которых критикует недостатки городского хозяйства и советует, как их исправить, чтобы они не портили «нашу прекрасную Москву».

Одоевский органично и глубоко вошел в московскую жизнь. С доброй иронией, в которой можно уловить и чувство удовлетворения, он записывает в дневнике: «Чудный город Москва. Как прежде, в ней всякий был занят чужим делом. Я вижу мало народа, между тем я не могу чихнуть, чтобы об этом не было толков,— хорошо еще если не прибавят, что я от чиханья пошел плясать вприсядку. Неизвестные мне даже по имени люди знают все, что я делаю, когда встаю, что у меня за обедом, где у меня что стоит в кабинете — умора да и только».

В рукописях Одоевского, в большинстве случаев еще не изданных, сохранилось много материалов, связанных с московской тематикой,— это наброски статей, воспоминаний, рассказов, очерков, пьес, о содержании которых дают понятие их названия: «Москва, ее жители и направление», «Зачем существуют в Москве бульвары?», «Ванька Каин. Простонародная драма», «Наука на Москве. Сатирический очерк», «Московские слухи», «Старое и новое. Сравнение гулянья в Сокольниках 1-го мая» и др.

Поразительно единодушно характеристики Одоевского как человека: бесконечно добрый, справедливый, добродушный, доверчивый, бросающийся помогать любому человеку, не думая о себе, с широкими взглядами, терпимый к чужому мнению и твердый лишь в одном: в борьбе с ложью. Таким рисуют его отзывы и друзей детства — Погодина, Кошелева и других, отзывы друзей зрелых лет — Гоголя, Панаева, Белинского и людей, познакомившихся с ним, когда он был уже стар, например, молодой, только начинающий тогда П. И. Чайковский, в котором Одоевский по первой и не принадлежащей к числу лучших его произведений опере «Воевода» увидел «задаток огромной будущности». «Это одна из самых светлых личностей, с которыми меня сталкивала судьба,— пишет Чайковский об Одоевском.— Он был олицетворением сердечной добро-



ты, соединенной с огромным умом и всеобъемлющими знаниями...»

Умер Владимир Федорович Одоевский 27 февраля 1869 года, похоронен на старинном московском Донском кладбище.

### 3

«Перо пишет плохо, если в чернильницу не прибавить хотя бы несколько капель собственной крови» — эти слова Одоевского можно поставить эпиграфом ко всему его литературному творчеству, ко всем его произведениям. Он писал для того, чтобы высказать *истину*; на первом месте (как впоследствии у Достоевского и у Л. Н. Толстого) у него стояло содержание. «Форма — дело второстепенное», — обронил он однажды.

Такое отношение к литературе и литературной работе определялось той ролью, которую отводил им Одоевский в жизни общества.

«Что сделал Пушкин? — задает вопрос Одоевский. — Изобрел ли он молотильню, новые берда для суконной фабрики, или другое новое средство для обогащения, доставил ли вам какие удобства в вещественной жизни? Нет, рука поэта оставляла другим делателям подвиги на сем поприще — отчего же имя его нам родное, более народное, возбуждает больше сочувствия, нежели все делатели на других поприщах, теснее соединенных с житейскими выгодами каждого из нас».

Одоевский считает основой и целью художественного творчества познание мира и на основе этого познания дальнейшее преобразование его в целях блага всего общества. «Инстинктуальная поэтическая деятельность духа, — утверждает он, — отлична от разумной в образе своих действий, но в существе своем одинакова». И более того — именно художественному, поэтическому познанию, способному к широкому, общему взгляду, он отдавал предпочтение на определенных, заключительных этапах исследования какой-либо важной проблемы.

В фантастическом романе «4338-й год», изображающем Россию 44-го века, Одоевский описывает процесс организационных преобразований науки после того, как различные отрасли знания в своей раздробленности и специализации зашли в тупик, потому что знание человека стало «односторонне или поверхностно». Тогда в государстве была произведена организационная реформа. Прежде существовали равноправные «сословия» Физиков, Географов, Историков, Поэтов и других специалистов. При реформе были выделены и поставлены на высшую ступень Поэты и Философы; как мыслители, способные к широким обобщениям, они встали во главе прикрепленных к ним специалистов — историков, географов, физи-

ков, минералогов и т. д. «От такого распределения занятий,— сообщает Одоевский,— все выигрывают: недостающее знание одному пополнится другим, какое-либо изыскание производится в одно время со всех различных сторон; поэт не отвлекается от своего вдохновения, философ от своего мышления — материальной работою. Вообще обществу это единство направления ученой деятельности принесло плоды невероятные; явились открытия неожиданные, усовершенствования почти сверхъестественные — и сему, но единству в особенности, мы обязаны теми блистательными успехами, которые ознаменовали наше отечество в последние годы».

На фоне понимания Одоевским задач и природы литературы и на фоне его политических воззрений становится понятным сущность и история развития его литературного творчества.

Уже в ранних произведениях 1820-х годов определилась та характерная черта литературного творчества Одоевского, которую Белинский назвал дидактичностью. Сатирическое изображение отрицательных сторон современного общества, ряд верных жизненных картин наряду с открытыми нравоучениями, как в рассказе «Дни досад», повести «Элладий», аллегорические притчи-сказки, как «Старики, или Остров Панхай», — эти произведения тесно связаны с традициями сатирической русской литературы конца XVIII — начала XIX века — комедиями и прозой Фонвизина, сатирической журналистикой Н. И. Новикова, сочинениями Радищева, которые, включая и «Путешествие из Петербурга в Москву», читались воспитанниками Московского благородного пансиона.

После 1825 года произведения Одоевского, преследуя ту же самую цель — «пробудить в спящей душе отвращение к мертвой действительности, к пошлой прозе жизни и святую тоску по той высокой действительности, идеал которой заключается в смелом, исполненном жизни сознании человеческого достоинства» (Белинский), становятся глубже и художественнее.

Творчество Одоевского развивалось в русле общего движения русской литературы, которое в 1820—1830-х годах шло под знаменем романтизма. Романтизм, как направление, имел множество обликов, включая в себя самые разные черты, он не поддавался исчерпывающему определению. «Романтизм как домовый — многие верят ему; убеждение есть, что он существует; но где приметить, как объяснить его, как наткнуть на него палец?» — спрашивал Вяземский. «Я заметил, что все имеют у нас самое темное понятие о романтизме», — говорил Пушкин. А Белинский заключал: «Романтизм по-прежнему остается таинственным и загадочным предметом». Тем не менее романтическое произведение искусства или литературы определяется легко и безошибочно.

Творчество Одоевского, безусловно, принадлежит романтизму,

хотя оно имеет черты, отличающие его от творчества других романтиков. Определяющей чертой произведений Одоевского является то, что главным, ведущим в них выступает интеллектуальное, логическое начало, мысль. Но мысль в произведениях Одоевского, к какому бы роду они ни относились — к реалистическому, фантастическому, сатирическому, — не заменяет художественного, или, по терминологии Белинского, «поэтического», образа, она углубляет его, выявляет в нем типическое.

«Логика, — пишет Одоевский, — престранная наука; начни с чего хочешь: с истины или с нелепости, — она всему даст прекрасный, правильный ход и поведет, зажмуря глаза, пока не споткнется». Одоевский постоянно прибегает к помощи логики, и ее использование наряду с наблюдением, опытом, эмоциональным впечатлением и воображением дает яркий и интересный художественный эффект.

В таких произведениях, как повести «Княжна Мими» и «Княжна Зизи», в которых Белинский особенно отмечал их реализм и «близкое, живое соотношение к обществу» и которые уже в какой-то степени тяготеют к физиологическому очерку с его стремлением быть художественным исследованием, логика рождается из хаоса фактов. Эти повести изображают проникновение капиталистических отношений в русское, еще в достаточной степени феодальное общество. «Я наблюдаю, каким образом байронизм соединяется с биржею», — говорит один из героев «Княжны Зизи». Характер отношений, как показывает Одоевский, создает и соответствующих деятелей — это и откровенный стяжатель Городков из «Княжны Зизи», и более сложная фигура княжна Мими, которая для ее полного понимания требует исследования ее на широком фоне современного общества и в исторической перспективе. «Смотря на нее, — пишет Одоевский, — я рядил ее в разные платья, то есть логически развивал ее мысли и чувства, представляя себе, чем бы могла быть такая душа в разных обстоятельствах жизни, и прямехонько дошел... до костров инквизиции».

По-другому использует логику Одоевский в научно-фантастических рассказах «Последнее самоубийство» и «Город без имени», в которых он с помощью логики и реалистических, конкретных, художественных образов полемизирует с теориями политической экономии Мальтуса и Бентама, основателя «философии пользы» — утилитаризма. Здесь — в основе заранее заданная идея, а затем ее логическое развитие обрастает фактами.

Большое место в творчестве Одоевского занимает фантастическое. Фантастическое — обязательный элемент романтической литературы, но фантастика Одоевского опять-таки кардинально отличается от фантастики других романтиков и прежде всего от фанта-

стики Гофмана. Природа фантастического у Одоевского не иррациональна, как у других романтиков, всем фантастическим явлениям и ситуациям он ищет и находит разумное, логическое объяснение.

Одоевский не мог в своем творчестве обойти фантастику, она играла слишком значительную роль в духовной жизни современного общества. Она стала не только необходимой принадлежностью романтизма, но общей модой. Привидения, странные случаи, в которых проявляется воля неведомых сил, таинственное ясновидение, наполняли романтические повести и рассказы. Фантастика проникла в быт.

В рассказе «Привидение» Одоевский ведет речь о такой «бытовой» фантастике.

« — Так, я и ждал этого! — вскрикнул начальник отделения, — без привидений у него не обойдется...

— Нет ничего мудреного! — возразил Ириной Модестович, — эти предметы обыкновенно привлекают общее внимание; наш ум, изнуренный прозой жизни, невольно привлекается этими таинственными происшествиями, которые составляют ходячую поэзию нашего общества и служат доказательством, что от поэзии, как от первого греха, никто не может отделаться в этой жизни».

В статье «О вражде к просвещению» Одоевский резко критикует фантастику в современной русской литературе: «Фантастический род, на который была также мода в Европе, и который, м. б., больше, нежели все другие роды, должен изменяться по национальному характеру, долженствующий соединять в себе народные поверья с девственною мечтою младенчества, — этот род целиком перешел в наши произведения и достиг до состояния настоящего бреда с тою разницею, что этот бред не есть бред естественный, который все-таки может быть любопытным, но бред, холодно перенесенный из иностранной книги».

Сам Одоевский широко вводил в свои произведения фантастические мотивы, но это не было перенесение модного рода из каких-либо иностранных или отечественных книг, фантастика у Одоевского каждый раз появляется в том случае, если она мотивирована идейным и художественным замыслом произведения.

В «Княжне Мими» есть персонаж — гость у княгини, который, явно высказывая мысли автора о свете, говорит своему молодому собеседнику, который назвал одного из гостей — графа Сквирского, карточного шулера — «безнравственным» человеком: «...ты не знаешь нашего языка; учись, учись, мой милый: это необходимо, — мы здесь перемешали значение всех слов, и до такой степени, что если ты назовешь безнравственным человека, который обыгрывает

в карты, клеветает на ближнего, владеет чужим именем, тебя не поймут, и твое прилагательное покажется странным».

Здесь проходит граница, где Одоевский с реальной почвы вступает в область фантастическую. Фантастика — это то, что не существует в реальной жизни, что создано лишь воображением, нечто мнимое. Таким — мнимым — является и язык светского общества, и далее остается сделать лишь один шаг — к жизни этого общества, неестественной, искаженной, выдуманной, сфантазированной.

Такова логика возникновения фантастического образа у Одоевского, он всегда появляется логически оправданным и, что главное, логически объяснимым.

Сборник «Пестрые сказки» в основном состоит из произведений, сатирически изображающих пронизывающую весь государственный строй самодержавной России бюрократию, которая своей бумажной властью давит живую жизнь.

В «Сказке о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалось в Светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником» ее герой «председатель какой-то временной комиссии» подводит итог годовой деятельности своей канцелярии: «Ну, слава богу! в нынешнем году у нас бумаг вдвое более против прошлогоднего!» Канцелярские бумаги — это и есть жизнь Отношенья и его подчиненных, они живут в призрачном мире канцелярских форм, вопросов и проблем, никак не соотносящихся с живой действительностью и со здравым смыслом — в фантастическом выдуманном мире и в конце концов сами превращаются в персонажи фантастического мира.

В «Сказке о мертвом теле» Одоевский развивает тему власти канцелярской формы над живой жизнью. Приказному Севастьянычу, прикомандированному к производству следствия по поводу обнаруженного мертвого тела, является душа покойника и, пообещав пятьдесят рублей, просит вернуть ей тело; приказной пишет прошение от имени души, и с того момента, как на душу заведена официальная бумага, для Севастьяныча она становится более реальной, чем физически существующее мертвое тело.

С проблемой фантастического у Одоевского тесно связана проблема познаваемости мира. Он считает, что все в принципе может быть познано разумом, но имеется много явлений природы, которые еще не познаны. В их числе некоторые вопросы человеческой психики, физики, химии и других наук. Многие «чудесные» факты и случаи, содержащиеся в его литературных произведениях фантастического плана, таких, как «Сильфида», «Саламандра» и других, послужили поводом для обвинения Одоевского в мистицизме. Одоевский изучал сочинения средневековых мистиков и алхимиков, но свое отношение к ним он определял так: «Мы, гордые промышленни-

ки XIX-го века, мы напрасно пренебрегаем этими книгами и даже не хотим знать о них. Посреди разных глупостей, показывающих младенчество физики, я нашел много мыслей глубоких; многие из этих мыслей могли казаться ложными в XVIII-м веке, но теперь большая часть из них находит себе подтверждение в новых открытиях, <...> эти позабытые люди достойны нашего внимания; если нельзя во всем им верить, то, с другой стороны, нельзя сомневаться, что их сочинения не намекают о таких знаниях, которые теперь потерялись и которые бы не худо снова найти...»

Рационализм Одоевского в описании якобы мистических фактов настолько очевиден, что они, как утверждает один из его героев, если отбросить в сторону «странный предмет их», «покажутся хладнокровным описанием физического явления».

Начиная с Пушкина, Гоголя, Белинского, критики и исследователи творчества Одоевского отмечают высокие художественные достоинства его произведений; они говорят о его мастерстве в создании психологического портрета, уменье подметить и изобразить реалистическую деталь, о его творческом воображении, виртуозном владении всем богатством русского языка — от речи великосветских салонов до воровского жаргона.

Наивысшим выражением художественного мастерства Одоевского стал роман «Русские ночи». Пушкин, рассуждая о литературном творчестве и литературном труде, особенно высоко ставил в литературном произведении наличие единого плана, создание которого требует творчества (*fantaisie*), воображения — гениального знания природы», он утверждал: «...есть высшая смелость: смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческою мыслию», он писал: «...единый план «Ада» есть уже плод высокого гения». Одоевский, задумав роман, в котором он хотел выразить свои философские взгляды и «предметом» которого, по словам автора, «была бы ни более ни менее как *задача человеческой жизни*», не имел перед собой образца. Материал, который должен был составить содержание романа, не укладывался в рамки ни одного из существующих жанров литературных произведений, и Одоевский, работая над романом в течение почти двух десятилетий, преодолевает эту труднейшую задачу и создает произведение оригинальное и сложное по форме, но тем не менее единое и гармоничное.

Одоевский занимает славное место в истории русской литературы. Кроме того, что его собственное творчество представляет собой важную веху в ней, поскольку является самым крупным выразителем русского «любомудрия» — значительного этапа русской общественной мысли, он оказал сильное и благотворное влияние на дальнейшее развитие русской литературы. Достаточно указать на прямую преемственную связь его художественных открытий с твор-

чеством Гоголя, с которым Одоевского связывала на одном из этапов такая близкая общность творческих литературных задач, что они намеревались выпустить совместную книгу. Личные их отношения также отличались близостью и сердечностью. На конверте одного из писем 1838 года Одоевскому Гоголь надписал такой адрес: «Много-многолюбимому мною князю Одоевскому. На дворцовой набережной в доме Ланской на углу Мошкова переулка».

Глубочайшее влияние оказал Одоевский на Достоевского. В шумном успехе «Бедных людей», в громких похвалах молодому автору романа как-то не обратил на себя внимания эпитафия к роману, взятый из рассказа В. Ф. Одоевского «Живой мертвец» и по стилистике очень близкий стилю романа. Но связь тут не только художественно-стилистика: гораздо важнее идейная преемственность, рассказ Одоевского — это рассказ о совести, о том, что стало главной темой Достоевского.

Литературное творчество Одоевского, как и творчество всякого крупного литератора, выходит далеко за пределы собственно литературных интересов, оно имеет общественное значение. Именно в литературных произведениях нашли наиболее яркое выражение его общественные идеи.

Пафос всей разнообразной деятельности Одоевского заключался в его убеждении, что человечество в своем поступательном развитии идет к совершенствованию, к будущему, которое будет лучше настоящего. Опираясь на мысль ученого и воображение поэта, он верил в человека, в могущество его разума, в победу светлых, благородных черт в его характере над темными, эгоистическими. Наиболее наглядно эти идеи Одоевского проявились в его научно-фантастических произведениях.

Одоевский является основоположником русской научной фантастики. Его рассказы «Последнее самоубийство», «Город без имени» и неоконченный роман «4338-й год» представляют собой оба существующих ныне вида футурологической фантастики, из которых два изображают неминуемую гибель человечества в результате его собственной деятельности, другой — благоденствие в результате той же деятельности.

Сразу скажем, что сам Одоевский — убежденный сторонник футурологического оптимизма, он верит в человеческий разум и в бесконечные возможности совершенствования человечества.

Фантастика Одоевского действительно является научной, так как она основана на законах познания.

«Последнее самоубийство», — пишет Одоевский, — есть не иное что, как развитие одной главы из Мальтуса» и доказывает, «что Мальтусова теория есть полная нелепость»; «Город без имени» — развитие экономической теории Бентама. Одоевский ту и другую

теорию поверяет с точки зрения логики. Надобно сказать, что критика теории Бентама, английского экономиста и философа конца XVIII — первой четверти XIX века, была в условиях России не только научной заслугой Одоевского, но и смелым гражданским поступком.

В России Бентама знали хорошо. Даже в светских гостиных, как пишет Пушкин в «Евгении Онегине»:

«...иная дама  
Толкует Сея и Бентама».

Поклонником Бентама был русский царь Александр I, он рекомендовал русским государственным деятелям обращаться за советами к Бентаму, сочинения Бентама в России издавались с посвящениями царю. С другой стороны, теорией Бентама увлекались и передовые, прогрессивно настроенные люди русского общества первой четверти XIX века, декабристы. Таким образом, Одоевский в своей критике Бентама проявил большую самостоятельность и независимость мысли.

Экономическая теория Бентама — теория утилитаризма — заключается в том, что он из области экономических отношений выхватывает одно положение, верное положение, утверждающее, что человек добивается наибольшего успеха в деятельности, когда он преследует собственную экономическую выгоду. Но далее он делает вывод: если каждый человек будет заботиться о собственной выгоде и благодаря этому достигать наибольшего успеха, то при сложении индивидуальных достижений общество целиком достигает «совокупного счастья». Теория Бентама оправдывала конкуренцию и индивидуализм развивающегося капитализма и поэтому нашла множество поклонников среди буржуазии.

К. Маркс подверг теорию Бентама критике в первом томе «Капитала». Он назвал ее «предрассудком», который «застыл в непрекаемую догму лишь благодаря Иеремию Бентаму, — этому трезво педантичному, тоскливо-болтливому оракулу пошлого буржуазного рассудка XIX века», о самом Бентаме Маркс отозвался так: «Если бы я обладал смелостью моего друга Г. Гейне, я назвал бы господина Иеремию гением буржуазной глупости». Маркс обвиняет Бентама в антиисторичности, в отсутствии диалектического подхода к проблеме.

Одоевский построил свои возражения против Бентама независимо от Маркса, но на тех же основаниях.

Если в «Городе без имени» Одоевский показывает крах общества, основанного на принципах буржуазного индивидуализма, если в «Последнем самоубийстве» изображает последние дни человечества в соответствии с доведенными до логического конца выводами



односторонней, человеконенавистнической теории Мальтуса кошмаром, разгулом низменных инстинктов, полным отчаянием, которые не могут кончиться ничем иным, как только гибелью человечества, и кончаются гибелью, то в романе «4338-й год» человечество предстает совсем иным. В этом романе изображен критический период в существовании человечества: через год должно произойти столкновение прилетевшей из космоса кометы с Землей, в результате которого Земля, а с нею и человечество должны погибнуть. Писатель ставит перед собой задачу «проведать, в каком положении будет находиться род человеческий за год до этой страшной минуты; какие об ней будут толки, какое впечатление она произведет на людей, вообще, какие будут тогда нравы, образ жизни; какую форму получат сильнейшие чувства человека: честолюбие, любознательность, любовь». Человечество 44-го века не охвачено ужасом перед катастрофой, люди «вспоминали все победы, уже одержанные человеческим искусством над природою, и их вера в могущество ума была столь сильна, что они с насмешкою говорили об ожидаемом бедствии»; «ученые очень спокойны и решительно говорят, что если только рабочие не потеряют присутствия духа при действии снарядами, то весьма возможно будет предупредить падение кометы на Землю». Эта спокойная уверенность в разумность будущего человеческого общества — главная черта фантазии Одоевского, и все остальное — технический прогресс, быт, мышление человека будущего — выводится из главной линии его развития.

Белинский считал роман «4338-й год» богатым «остроумными мыслями» и писал, что «главная мысль романа, основанная на таком твердом веровании в совершенствование человечества и в грядущую мирообъемлющую судьбу России, мысль истинная и высокая, вполне достойная таланта истинного».

Убежденность Одоевского — не слепая вера беспочвенного мечтателя, но вывод, сделанный писателем-мыслителем.

В предисловии и заметках к роману «4338-й год» он объясняет принципы, на которых основана его футурологическая фантазия. Начиная конструировать будущее, он прежде всего опирается на уже существующее в обществе и человеке: «...люди всегда останутся людьми, как это было с начала мира: останутся все те же страсти, все те же побуждения; с другой стороны, формы их мыслей и чувств, а в особенности их физический быт должен значительно измениться», учитывает он и то, что генеральные линии технического прогресса уже заложены в настоящем: «...за исключением аэростатов — все это воочью совершается». Также и в отношении «формы — мыслей и чувств». «Фантазия, — отмечает Одоевский, — всегда более или менее находится под влиянием настоящих наших понятий», «я уверен, что всякий человек, который, освободив себя от

всех предрассудков, от всех мнений, в его минуту господствующих, и отсекая все мысли и чувства, порождаемые в нем привычкою, воспитанием, обстоятельствами жизни, его собственными и чужими страстями, <...> тот в последовательном ряду своих мыслей найдет непременно те мысли и чувства, которые будут господствовать в близкую от него эпоху.

Благодаря реалистическому основанию своей фантазии Одоевский предсказал немало будущих научных открытий: цветную фотографию (в то время, когда писался «4338-й год», еще не было даже дагерротипов), открытие фотосинтеза растений, синтетические ткани («эластическое стекло») и так далее. В утопии Одоевского затронуты также проблемы, которые и сейчас являются предметом прогнозов. Он, например, предполагал, что человечество в будущем освоит космос, и задумывался о том, «когда жизнь человечества будет в пространстве, какую форму получит торговля, браки, границы, домашняя жизнь, законодательство, преследование преступлений и проч. т. п.— словом, все общественное устройство?». Поскольку технические предвидения Одоевского время подтвердило, можно поверить, что и предвидения в области гуманитарной — «увеличившееся чувство любви к человечеству» — тоже осуществляются.

Прогресс человечества, по мысли Одоевского, для каждого отдельного человека будет выражаться в уменьшении, а затем и исчезновении страдания. Страдание — «удел лишь несовершенного мира, — создание существа несовершенного», утверждает он в повести «Сильфида». В постановке вопроса о форме жизни в космосе Одоевский как бы предваряет размышления о том же К. Э. Циолковского (никаких сведений о знакомстве Циолковского с произведениями Одоевского не имеется), предваряет и в мыслях о страдании: будущая «заселенная вселенная», пишет Циолковский, «совершенна и не содержит ничего неразумного, следовательно, лишена страданий». («Причина Космоса», Калуга, 1925, с. 14.)

Профессор П. Н. Сакулин — автор единственной обширной монографии об Одоевском (1914 г.) — в своих лекциях отмечал совпадение тем и мыслей у писателей конца XIX — начала XX века — М. Метерлинка, Л. Андреева, В. Брюсова и других с темами и мыслями Одоевского. Но Одоевский в конце XIX — начале XX века был практически совершенно забыт, и в литературу того времени все эти совпадающие темы и мысли пришли не из его сочинений, а из требований жизни. Забвение — горько, но в данном случае оно свидетельствует о прозорливости Одоевского и устремленности его произведений в будущее.

В 1845 году Кюхельбекер писал Одоевскому из ссылки, из далекого Кургана: «Ты — наш: тебе и Грибоедов, и Пушкин, и я за-

вещали все наше лучшее; ты перед потомством и отечеством представитель нашего времени, нашего *бескорыстного* стремления к художественной красоте и к истине безусловной».

Да, начало духовной и творческой жизни Одоевского относится ко времени Пушкина и декабристов, и он, действительно, «представитель» того времени. Однако ни его духовное развитие, ни творческая деятельность не ограничиваются этим, хотя и значительным, и блестящим, но всего лишь одним периодом в поступательном развитии общества. Он принадлежит к тому редкому роду людей, замечательный психологический портрет одного из которых он дал в повести «Эльса»: «В Москве жил-был у меня дядюшка, человек немолодой, но с умом, сердцем и образованностью,— а в этих трех вещах, говорят, скрывается секрет никогда не стариться. Дядюшка не выживал из ума, потому что не выживал из людей; три поколения прошли мимо его, и он понимал язык каждого; новизна его не пугала, потому что ничто не было для него ново; постоянно следя за чудною жизнью науки, он привык видеть естественное развитие этого огромного дерева, где беспрестанно из открытия являлось открытие, из наблюдения — наблюдение, из мысли вырастала другая мысль».

Еще шире время, охватываемое идеями Одоевского. С одной стороны, он воскрешал для современности из забвения мысли древних, оказавшихся в те времена «несвоевременными», с другой стороны, обращался к будущему, твердо веря: «...мысль, которую я посеял сегодня, взойдет завтра, через год, через тысячу лет».

Творческое наследие Одоевского еще далеко не исчерпано, оно сохраняет свое живое значение, и кто знает, какие времена, наши или будущие, признают современными себе его когда-то «несвоевременные» «поэтические» открытия в познании Человека и Мира.

В. Л. Муравьев

---



## ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

### Последний квартет Бетховена

Я был уверен, что Креспель помешался. Профессор утверждал противное. «С некоторых людей,— сказал он,— природа или особенные обстоятельства сорвали завесу, за которою мы потихоньку занимаемся разными сумасбродствами. Они похожи на тех насекомых, с коих анатомист снимает перепонку и тем обнажает движение их мускулов. Что в нас только мысль, то в Креспеле действие».

*Гофман*

1827 года, весною, в одном из домов венского предместья несколько любителей музыки разыгрывали новый квартет Бетховена, только что вышедший из печати. С изумлением и досадою следовали они за безобразными порывами ослабевшего гения: так изменилось перо его! Исчезла прелесть оригинальной мелодии, полной поэтических замыслов; художническая отделка превратилась в кропотливый педантизм бездарного контрапунктиста; огонь, который прежде пылал в его быстрых аллегро и, постепенно усиливаясь, кипучею лавою разливался в полных, огромных созвучиях,— погас среди непонятных диссонансов, а оригинальные, шуточные темы веселых менуэтов превратились в скачки и трели, невозможные ни на каком инструменте. Везде ученическое, недостигающее стремление к эффектам, не существующим в музыке; везде какое-то темное, не понимающее себя чувство. И это был все тот же Бетховен, тот же, которого имя, вместе с именами Гайдна и Моцарта, тевтонец произносит с восторгом и гордостью! — Часто, приведенные в отчаяние бессмыслицею сочинения, музыканты бросали смычки и готовы были спросить: не насмешка ли это над творениями бессмертного? Одни приписывали упадок его глухоте, поразившей Бетховена в последние годы его жизни; другие — сумасшествию, также иногда омрачав-

шему его творческое дарование; у кого вырывалось суетное сожаление; а иной насмешник вспоминал, как Бетховен в концерте, где разыгрывали его последнюю симфонию, совсем не в такт размахивал руками, думая управлять оркестром и не замечая того, что позади его стоял настоящий капельмейстер; но они скоро снова принимались за смычки и из почтения к прежней славе знаменитого симфониста как бы против воли продолжали играть его непонятное произведение.

Вдруг дверь отворилась и вошел человек в черном сюртуке, без галстука, с растрепанными волосами; глаза его горели, — но то был огонь не дарования; лишь нависшие, резко обрезанные оконечности лба являли необыкновенное развитие музыкального органа, которым так восхищался Галль, рассматривая голову Моцарта. «Извините, господа, — сказал нежданный гость, — позвольте посмотреть вашу квартиру — она отдается внаймы...» Потом он заложил руки за спину и приблизился к играющим. Присутствующие с почтением уступили ему место; он наклонил голову то на ту, то на другую сторону, стараясь вслушаться в музыку; но тщетно: слезы градом покатались из глаз его. Тихо отошел он от играющих и сел в отдаленный угол комнаты, закрыв лицо своими руками; но едва смычок первого скрипача завизжал возле подставки на случайной ноте, прибавленной к *септим-аккорду*, и дикое созвучие отдалось в удвоенных нотах других инструментов, как несчастный восторженно вскричал: «я слышу! слышу!» — в буйной радости захлопал в ладоши и затопал ногами.

— Лудвиг! — сказала ему молодая девушка, вслед за ним вошедшая. — Лудвиг! пора домой. Мы здесь мешаем!

Он взглянул на девушку, понял ее и, не говоря ни слова, побрел за нею, как ребенок.

На конце города, в четвертом этаже старого каменного дома, есть маленькая душная комната, разделенная перегородкою. Постель с разодранным одеялом, несколько пуков нотной бумаги, остаток фортепьяно — вот все ее украшение. Это было жилище, это был мир бессмертного Бетховена. Во всю дорогу он не говорил ни слова; но когда они пришли, Лудвиг сел на кровать, взял за руку девушку и сказал ей: «Добрая Луиза! ты одна меня понимаешь; ты одна меня не боишься; тебе одной я не мешаю... Ты думаешь, что все эти господа, которые разыгрывают мою музыку, понимают меня: ничего не бы-

вало! Ни один из здешних господ капельмейстеров не умеет даже управлять ею; им только бы оркестр играл в меру, а до музыки им какое дело! Они думают, что я ослабеваю; я даже заметил, что некоторые из них как будто улыбаются, разыгрывая мой квартет,— вот верный признак, что они меня никогда не понимали; напротив, я теперь только стал истинным, великим музыкантом. Идучи, я придумал симфонию, которая увековечит мое имя; напишу ее и сожгу все прежние. В ней я превращу все законы гармонии, найду эффекты, которых до сих пор никто еще не подозревал; я построю ее на хроматической мелодии двадцати литавр; я введу в нее аккорды сотни колоколов, настроенных по различным камертонам, ибо,— прибавил он шепотом,— я скажу тебе по секрету: когда ты меня водила на колокольню, я открыл, чего прежде никому в голову не приходило,— я открыл, что колокола — самый гармонический инструмент, который с успехом может быть употреблен в тихом *адажио*. В финал я введу барабанный бой и ружейные выстрелы,— и я услышу эту симфонию, Луиза! — воскликнул он вне себя от восхищения.— Надеюсь, что услышу,— прибавил он, улыбаясь, по некотором размышлении.— Помнишь ли ты, когда в Вене, в присутствии всех венчаных глав света, я управлял оркестром моей ватерлооской баталии? Тысячи музыкантов, покорные моему взмаху, двенадцать капельмейстеров, а кругом батальный огонь, пушечные выстрелы... О! это до сих пор лучшее мое произведение, несмотря на этого педанта Вебера<sup>1</sup>.— Но то, что я теперь произведу, затмит и это произведение.— Я не могу удержаться, чтоб не дать тебе о нем понятия».

С сими словами Бетховен подошел к фортепьяно, на котором не было ни одной целой струны, и с важным видом ударил по пустым клавишам. Однообразно стучали они по сухому дереву разбитого инструмента, а между тем самые трудные фуги в 5 и 6 голосов проходили через все таинства контрапункта, сами собой ложились под пальцы творца «Эгмонта», и он старался придать как можно более выражения своей музыке... Вдруг сильно, целою рукою покрыв он клавиши и остановился.

<sup>1</sup> Готфрид Вебер — известный контрапунктист нашего времени, которого не должно смешивать с сочинителем «Фрейшица», — сильно и справедливо критиковал в своем любопытном и ученом журнале «Цецилия» — «Wellingtons Sieg» <«Победа Веллингтона» (нем.)>, слабейшее из произведений Бетховена. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

— Слышишь ли? — сказал он Луизе. — Вот аккорд, которого до сих пор никто еще не осмеливался употребить. — Так! я соединю все тоны хроматической гаммы в одно созвучие и докажу педантам, что этот аккорд правилен. — Но я его не слышу, Луиза, я его не слышу! Понимаешь ли ты, что значит не слышать своей музыки?.. Однако ж мне кажется, что когда я соберу дикие звуки в одно созвучие, — то оно как будто отдается в моем ухе. И чем мне грустнее, Луиза, тем больше нот мне хочется прибавить к *септим-аккорду*, которого истинных свойств никто не понимал до меня... Но полно! может быть, я наскучил тебе, как всем теперь наскучил. — Только знаешь что? за такую чудную выдумку мне можно наградить себя сегодня рюмкой вина. Как ты думаешь об этом, Луиза?

Слезы навернулись на глазах бедной девушки, которая одна из всех учениц Бетховена не оставляла его и под видом уроков содержала его трудами рук своих: она дополняла ими скудный доход, полученный Бетховеном от его сочинений и большею частию издержанный без толку на беспрестанную перемену квартир, на раздачу встречному и поперечному. Вина не было! едва оставалось несколько грошей на покупку хлеба... Но она скоро отвернулась от Лудвига, чтоб скрыть свое смущение, налила в стакан воды и поднесла его Бетховену.

— Славный рейнвейн! — говорил он, отпивая понемногу с видом знатока. — Королевский рейнвейн! он точно из погреба моего батюшки, блаженной памяти Фридерика. Я это вино очень помню! оно день ото дня становится лучше — это признак хорошего вина! — И с этими словами охриплым, но верным голосом он запел свою музыку на известную песню Гетева Мефистофеля:

Es war einmal ein König,  
Der hatt einen grossen Floh <sup>1</sup>,—

но, против воли, часто сводил ее на таинственную мелодию, которою Бетховен объяснил Миньону <sup>2</sup>.

— Слушай, Луиза, — сказал он, наконец, отдавая ей стакан, — вино подкрепило меня, и я намерен тебе сооб-

<sup>1</sup> Жил-был король когда-то,  
Имел блоху-дружка (нем.; перевод Н. Холодковского). (Прим. В. Ф. Одоевского.)

<sup>2</sup> Kennst du das Land etc. Ты знаешь край и проч. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

щить нечто такое, что мне уже давно хотелось и не хотелось тебе сказать. Знаешь ли, мне кажется, что я уж долго не проживу,— да и что за жизнь моя? — это цепь бесконечных терзаний. От самых юных лет я увидел бездну, разделяющую мысль от выражения. Увы, никогда я не мог выразить души своей; никогда того, что представляло мне воображение, я не мог передать бумаге; напишу ли? — играют? — не то!.. не только не то, что я чувствовал, даже не то, что я написал. Там пропала мелодия оттого, что низкий ремесленник не придумал поставить лишнего клапана; там несносный фаготист заставляет меня переделывать целую симфонию оттого, что его фагот не выделяет пары басовых нот; то скрипач убавляет необходимый звук в аккорде оттого, что ему трудно брать двойные ноты.— А голоса, а пение, а репетиции ораторий, опер?.. О! этот ад до сих пор в моем слухе! — Но я тогда еще был счастлив: иногда, я замечал, на бессмысленных исполнителей находило какое-то вдохновение; я слышал в их звуках что-то похожее на темную мысль, западавшую в мое воображение: тогда я был вне себя, я исчезал в гармонии, мною созданной. Но пришло время, мало-помалу тонкое ухо мое стало грубеть: еще в нем оставалось столько чувствительности, что оно могло слышать ошибки музыкантов, но оно закрылось для красоты; мрачное облако его объяло — и я не слышу более своих произведений,— не слышу, Луиза!.. В моем воображении носятся целые ряды гармонических созвучий; оригинальные мелодии пересекают одна другую, сливаясь в таинственном единстве; хочу выразить — все исчезло: упорное вещество не выдает мне ни единого звука,— грубые чувства уничтожают всю деятельность души. О! что может быть ужаснее этого раздора души с чувством, души с душою! Зарождать в голове своей творческое произведение и ежечасно умирать в муках рождения!.. Смерть души! — как страшна, как жива эта смерть!

— А еще этот бессмысленный Готфрид вводит меня в пустые музыкальные тяжбы, заставляет меня объяснять, почему я в том или другом месте употребил такое и такое соединение мелодий, такое и такое сочетание инструментов, когда я самому себе этого объяснить не могу! Эти люди будто знают, что такое душа музыканта, что такое душа человека? Они думают, ее можно обкорить по выдумкам ремесленников, работающих инстру-



менты, по правилам, которые на досуге изобретает засушенный мозг теоретика... Нет, когда на меня приходит минута восторга, тогда я уверяюсь, что такое превратное состояние искусства продлиться не может; что новыми, свежими формами заменятся обветшалые; что все нынешние инструменты будут оставлены и место их займут другие, которые в совершенстве будут исполнять произведения гениев; что исчезнет, наконец, нелепое различие между музыкою писанною и слышимую. Я говорил гг. профессорам об этом; но они меня не поняли, как не поняли силы, сопresentствующей художническому восторгу, как не поняли того, что тогда я предупреждаю время и действую по внутренним законам природы, еще не замеченным простолюдинами и мне самому в другую минуту непонятным... Глупцы! в их холодном восторге, они, в свободное от занятий время, выберут тему, обделают ее, продолжают и не преминут потом повторить ее в другом тоне; здесь по заказу прибавят духовые инструменты или странный аккорд, над которым думают, думают, и все это так благоразумно обточат, оближут; чего хотят они? я не могу так работать... Сравнивают меня с Микель-Анджелом — но как работал творец «Моисея»? в гневе, в ярости, он сильными ударами молота ударял по недвижному мрамору и поневоле заставлял его выдавать живую мысль, скрывавшуюся под каменною оболочкою. Так и я! Я холодного восторга не понимаю! Я понимаю тот восторг, когда целый мир для меня превращается в гармонию, всякое чувство, всякая мысль звучит во мне, все силы природы делаются моими орудиями, кровь моя кипит в жилах, дрожь проходит по телу и волосы на голове шевелятся... И все это тщетно! Да и к чему это все? Зачем? живешь, терзаешься, думаешь; написал — и конец! к бумаге приковались сладкие муки создания — не воротить их! унижены, в темницу заперты мысли гордого духа-создателя; высокое усилие творца земного, вызывающего на спор силу природы, становится делом рук человеческих! — А люди? люди! они придут, слушают, судят — как будто они судьи, как будто для них создаешь! Какое им дело, что мысль, принявшая на себя понятный им образ, есть звено в бесконечной цепи мыслей и страданий; что минута, когда художник нисходит до степени человека, есть отрывок из долгой болезненной жизни неизмеримого чувства; что каждое его выражение, каждая черта — родилась от горьких слез Серафима, за-

клепанного в человеческую одежду и часто отдающего половину жизни, чтоб только минуту подышать свежим воздухом вдохновения? А между тем приходит время — вот, как теперь — чувствуешь: перегорела душа, силы слабеют, голова больна; все, что ни думаешь, все смешивается одно с другим, все покрыто какою-то завесою... Ах! я бы хотел, Луиза, передать тебе последние мысли и чувства, которые хранятся в сокровищнице души моей, чтобы они не пропали... Но что я слышу?..

С этими словами Бетховен вскочил и сильным ударом руки растворил окно, в которое из ближнего дома неслись гармонические звуки.— Я слышу! — воскликнул Бетховен, бросившись на колени, и с умилением протянул руки к раскрытому окну.— Это симфония Эгмонта,— так, я узнаю ее: вот дикие крики битвы; вот буря страстей; она разгорается, кипит; вот ее полное развитие — и все утихло, остается лишь лампада, которая гаснет,— потухает — но не навеки... Снова раздались трубные звуки: целый мир ими наполняется, и никто заглушить их не может...

На блистательном бале одного из венских министров толпы людей сходились и расходились.

— Как жаль! — сказал кто-то, — театральный капельмейстер Бетховен умер, и, говорят, не на что похоронить его.

Но этот голос потерялся в толпе: все прислушивались к словам двух дипломатов, которые толковали о каком-то споре, случившемся между кем-то во дворце какого-то немецкого князя.

## Новый год

(Из записок ленивца)

«Если записывать каждый день своей жизни, то чья жизнь не будет любопытна?» — сказал кто-то.

На это я мог бы очень смело отвечать: «Моя». Что может быть любопытного в жизни человека, который на сем свете ровно ничего не сделал! Я чувствовал, я страдал, я думал за других, о других и для других. Пишу свои записки, перечитываю и не нахожу в них только одного: самого себя. Такое самоотвержение с моей стороны должно расположить читателей в мою пользу; увидим, ошибся ли я в своем расчете; вот несколько дней *немоей* жизни; если они вам не слишком наскучат, то расскажу и про другие.

### ДЕЙСТВИЕ I

— Вина! вина! наливай скорее; уже без пяти минут двенадцать.

— Неправда, еще целых полчаса осталось до Нового года... — отвечал Вячеслав, показывая с гордостью на свои деревянные часы с розанами на циферблате и чугунными гирями.

— Это по твоим часам: они всегда целым часом отстают!..

— Зато они иногда двумя часами бегут вперед; оно на то же и наведет, — заметил записной насмешник.

— Неправда, они очень верны, — возразил Вячеслав с досадою, — я их каждый день поверяю по городским...

— Сколько ему гордости придают его часы! — продолжал насмешник. — Купил у носящего за целковый, повесил на стену, смотрите, точно гостиная...

— Неправда, они куплены у часовщика, и за них заплачено двадцать пять рублей...

— Объявляю вам, господа, что от этой славной покупки у нас будет сегодня двумя бутылками меньше...

Так мы кричали, шумели, спорили и болтали всякий вздор накануне Нового года в маленькой комнатке Вячеслава в третьем этаже. Нас было человек двенадцать —

все мы только что вышли из университета. Вячеслав был немногим богаче всех нас, но как-то щеголеватее и к тому же большой мастер устраивать в своей комнате и хозяйничать; например, у Вячеслава сверх табака водились всегда сыр и так называемое вино из *ренского* погреба; в комнате, вместо классической железной кровати студента с байковым одеялом, стоял диван, обтянутый полосатою холстинкою; на этом диване лежали кожаные подушки, с которых на день снимались наволочки; возле дивана был растянут сплетенный из покровок ковер, отчего диван получал вид роскошного оттомана; книги лежали не на полу, по общему обыкновению, но на доске, прибитой к стене под коленкоровой занавеской; не только был стол для письма, но и еще другой стол особенно, хотя и без ящика; над единственным окошком висел кусок полотна; даже были вольтеровские кресла; наконец, знаменитые часы гордо размахивали маятником и довершали убранство комнаты.

Такое пышное устройство возбуждало всеобщую зависть и всеобщее удивление и с тем вместе было причиною, почему квартира Вячеслава была всегда местом наших собраний.— Так было и сегодня. За месяц еще Вячеслав преважно пригласил нас встретить у него Новый год, обещая даже сделать жженку. Разумеется, отказа не было. Мы знали, что он уже давно хлопочет о приготовлениях, что заказан пирог и что, сверх обыкновенного его так называемого вина, будет по крайней мере три бутылки шампанского!

После смеха и шума, к 12-ти часам все пришло в порядок.

Как мы все уселись на трех квадратных саженьях, я теперь уж не понимаю, только всем было место: кому на диване, кому на окошке, кому на столе, кому на полке; на одних вольтеровских креслах сидели, мне кажется, три человека! — Вот на столе уже уставлены огромный пирог, огромный сыр, бутылки и, разумеется, череп — для того, чтоб наше пиршество больше приближалось к лукуллову. Двенадцать трубок закурились в торжественном молчании; но едва деревянные часы продребезжали полночь, мы чокнулись стаканами и прокричали «ура» Новому году. Правда, шампанское было немножко тепло, а горячий пирог был немножко холоден, но этого никто не заметил. Беседа была веселая. Мы только что вырвались из школьного заточения, мы только что вступали в свет:

широкая дорога открывалась пред нами — простор молодому воображению. Сколько планов, сколько мечтаний, сколько самонадеянности и — сколько благодетельства! Счастливое время! Где ты?..

К тому же мы были люди важные: мы уже имели наслаждение видеть себя в печати — наслаждение, в первый раз неизъяснимое! Уже мы принадлежали к литературной партии и защищали одного добросовестного журналиста против его соперников и ужасно горячились. Правда, за то нам и доставалось. Сначала раздаватели литературной славы приняли было новых авторов с отеческим покровительством; но мы, в порыве беспристрастия, в ответ на нежности, задели всех этих господ без милосердия. Такая неблагодарность с нашей стороны чрезвычайно их рассердила. В эту позорную эпоху нашей критики литературная брань выходила из границ всякой благопристойности; литература в критических статьях была делом совершенно посторонним: они были просто ругательство, площадная битва площадных шуток, двусмысленностей, самой злонамеренной клеветы и обидных применений, которые часто простирались даже до домашних обстоятельств сочинителя; разумеется, в этой бесславной битве выигрывали только те, которым нечего было терять в отношении к честному имени. Я и мои товарищи были в совершенном заблуждении: мы воображали себя на тонких философских диспутах портика или академии, или по крайней мере в гостиной; в самом же деле мы были в райке: вокруг пахнет салом и дегтем, говорят о ценах на севрюгу, бранятся, поглаживают нечистую бороду и засучивают рукава, — а мы выдумываем вежливые насмешки, остроумные намеки, диалектические тонкости, ищем в Гомере или Вергилии самую жестокую эпиграмму против врагов наших, боимся расшевелить их деликатность... Легко было угадать следствие такого неравного боя. Никто не брал труда справляться с Гомером, чтобы постигнуть всю едкость наших эпиграмм: насмешки наших противников в тысячу раз сильнее действовали на толпу читателей, и потому, что были грубее, и потому, что менее касались литературы.

К счастью, это скорбное время прошло. Если бы остаткам героев того века и хотелось возобновить эту выгодную для них битву, — такое предприятие едва ли увенчается успехом; общее презрение мало-помалу налегло на достойных презрения — и им уже не приподняться!

Но тогда,— тогда другое дело. Многие из нас были задеты этими господами со всею лакейскою грубостью; насмешники были против нас, и, стыдно признаться, глупые шутки наших критиков звенели у нас в ушах; мы чувствовали всю справедливость нашего дела — и тем досаднее была нам несправедливость общего голоса.— В зрелых летах человек привыкает к людской несправедливости, находит ее делом обыкновенным, часто горьким, чаще смешным; но в юности, когда так хочется верить всему высокому и прекрасному, несправедливость людей поражает сильно и наводит на душу невыразимое уныние. Этому состоянию духа должно приписать тот байронизм, в котором, может быть, уже слишком упрекают молодых людей и в котором бывает часто виновата лишь доброта и возвышенность их сердца. Люди бездушные никогда и ни о чем не тоскуют.

Как бы то ни было, эти нападки бесславных врагов, их торжество в общем мнении сближали товарищей в нашем маленьком кругу; здесь мы отдыхали; каждый знал труды другого; каждый по себе ценил усилия товарища; общая несправедливость была нам даже полезна: мы с большею бодростью поощряли друг друга к новым трудам и с каждым днем становились более строги к самим себе.

Наша беседа пред Новым годом была полна этой пламенной, этой живой, юношеской жизни.— Сколько прекрасных надежд! Сколько планов, перемешанных с тонкими, аттическими эпиграммами против наших гонителей! Вячеслав был душою нашего общества: он нампреважно доказал, что Новый год непременно должно начать чем-нибудь дельным, сам в качестве поэта схватил лист бумаги и стал импровизировать стихи, а нам предложил каждому выбрать себе какую-нибудь дельную, важную работу, которой надлежало предаться в течение года. Предложение было принято с восторгом — и в этот день мы погрозились читателям несколькими системами философии, несколькими курсами математики, несколькими романами и несколькими словарями. От близкой работы мы перешли к отдаленной; все отрасли деятельности были разобраны: кто обещался возвысить наукою воинственное имя своих предков; кто перенести в наш мир промышленности все знания Европы; кто на царской службе принести в жертву жизнь на поле брани или в тяжких трудах гражданских. Мы верили себе и другим, ибо мысли наши были чисты и сердце не знало расчетов.

Между тем Вячеслав окончил свои стихи, в которых намекал о трудах, заказанных нами самим себе. Нет нужды сказывать, что мы провозгласили его истинным поэтом и убедительно ему доказывали, что его предназначение в этой жизни — *развивать идею поэзии*; долго потом, встречаясь, мы, вместо обыкновенного «здравствуй», приветствовали друг друга стихами нашего поэта: они наводили светлый, радужный отблеск на все наши мысли и чувства.

Мы расстались с дневным светом, обещали друг другу собраться всем в этот день ежегодно у Вячеслава, несмотря на все препятствия, и давать друг другу отчет в исполнении своих обещаний.

Несколько лет мы были неразлучны. Многих судьба переменилась; кромчатый ковер заменился хитрыми изделями английской промышленности; маленькая комната обратилась в пышные, роскошные хоромы; шампанское мерзло в серебряных вазах, наполненных химическим холодом, — но мы, в честь старой студенческой жизни, сходились запросто, в сюртуках, и по-прежнему делились откровенными мыслями и чувствами. Между тем некоторые из наших работ были начаты, большая часть — не окончены, остальные переименованы на другие. Мало-помалу судьба разнесла нас по всем концам мира; оставшиеся сходились по-прежнему в первый день года; отсутствующие писали к нам, что они в эти дни мысленно переносились к друзьям: кто из цареградского храма св. Софии, кто с берегов Ориноко, кто от подошвы Эльборуса, кто с холмов древнего Рима.

## ДЕЙСТВИЕ II

Прошло еще несколько лет. Судьба носила меня по разным странам. Я приехал в Москву накануне Нового года; искать Вячеслава — нет его: он в подмосковной верст за десять; я в том же экипаже в подмосковную, куда приехал около полуночи. Лошади быстро пронесли меня по запушенному снегом двору; в барском доме еще мелькал огонь. Прошед несколько слабо освещенных комнат, я дошел до кабинета. Вячеслав на коленях перед колыбелью спящего младенца; ему улыбалась прекрасная, в цвете лет женщина; он узнал меня и дал знак рукою, чтоб я говорил тише:

— Он только что стал засыпать, — сказал Вячеслав

шепотом; жена его повторила эти слова. Несколько минут я смотрел с умилением на эту семейную картину. Видно было по всему, что в этом доме жили, а не кочевали; все было придумано с английскою прозорливостию для жизни семейной, ежедневной: стол был покрыт книгами и бумагами, мебель спокойная, необходимая занятому человеку; везде беспорядок, составляющий середину между порядком праздного человека и небрежностью ленивца; на креслах пюпитры для чтения, фортепьяно, начатая канва, развернутые журналы и, наконец, воспоминание прежней нашей жизни — студенческие деревянные часы. Я не успел еще осмотреться, когда младенец заснул крепким сном невинности. Вячеслав приподнялся от колыбели и сжал меня в своих объятиях.

— Это мой старый товарищ,— говорил он, знакомя с своею женою,— сегодня канун Нового года, надобно встретить его по старине.

Мы уселись втроем за маленьким столиком; в 12 часов чокнулись рюмками и стали вспоминать о былом, припоминать товарищей... Многих недосчитывались: кто погиб славною смертью на поле брани, кто умер не менее славною смертью, изнуренный кабинетным трудом и ночами без сна; кого убила безнадежная страсть, кого невозвратимая потеря, кого несправедливость людская; но половины уже не существовало в сем мире!

Не было криков, не было юношеских восторгов на этом мирном пире, не было необдуманых обещаний, легкомысленных надежд; мы говорили шепотом, чтоб не разбудить дитя; часто мы останавливались на недоконченной фразе, чтоб взглянуть на спящего младенца; мы говорили не о будущем, но лишь о прошедшем и настоящем; наш разговор был тот тихий семейный лепет, где вас занимают не сказанные слова, но тот, кто сказал их; где мысль вполонину угадывается и где говорят, кажется, для того только, чтоб иметь предлог посмотреть друг на друга.

— Мое время прошло,— сказал наконец Вячеслав.— Стихи мои в камине; попытки не удались; юношеских сил не воротить; великим поэтом мне не бывать, а посредственным быть не хочу; но то, чего я не успел доделать в себе, то постараюсь докончить в нем,— прибавил Вячеслав, указывая на колыбель,— здесь моя настоящая деятельность, здесь мои юношеские силы, здесь надежды на будущее. Ему посвящаю жизнь мою; у него не будет



другого, кроме меня, наставника; у него не будет минуты, которой бы он не разделил со мною, ибо в воспитании важна всякая минута: один миг может разрушить усилия целых годов; отец, не порадевший о своем сыне, есть в моих мыслях величайший преступник. Кто знает! природа на растениях производит слабый, будто ненужный листок, который вырастает только для того, чтоб сохранить нежный зародыш, и потом — увянуть незаметно: не случается ли того же и между людьми? Может быть, я этот слабый, грубый листок, а мой сын зародыш чего-нибудь великого; может быть, в этой колыбели лежит поэт, музыкант, живописец, которому вверило провидение всю будущность человечества. Я увяну незаметно, но все, что есть в моем сыне, выведу в мир; я верю, единое назначение моей второстепенной жизни!

Тут Вячеслав принял мне рассказывать план, предпринятый им для воспитания сына; его библиотека была наполнена всеми возможными книгами о воспитании; он показал мне кучу огромных выписок: он учился не шутя, но по-нашему, по-старинному, как студент, готовящийся к строгому экзамену.

Я расстался с Вячеславом рано; мы не выпили и четверти бутылки: он, как человек семейный, не любил обращать ночи в день; я не хотел заставить его переменить заведенный им строгий порядок. Часы, проведенные с ним, оставили надолго в душе моей сладкое и невыразимое чувство.

### ДЕЙСТВИЕ III

Прошло еще несколько лет. Однажды, под Новый год, судьба занесла меня в П. Я знал, что Вячеслав поселился уже более двух лет в этом городе. Я бросил в трактире мой экипаж и чемоданы и по-старому, не переодеваясь, как был, в дорожном платье, сел на первого попавшегося мне извозчика и поспешил скорее к прежнему товарищу. Быстрое движение блестящих карет, скакавших по улице, привело меня с непривычки в какое-то онемение; я едва мог выговорить мое имя швейцару, встретившему меня у Вячеславова крыльца. Думаю, что он принял меня за сумасшедшего, потому что несколько времени смотрел мне в глаза и не отвечал ни слова.

— Барин сейчас едет, барыня уж уехала, — наконец проговорил он.

— Какой вздор! быть не может.

- Карета уже подана, барин одевается...
- Быть не может.
- Позвольте об вас доложить...
- Я хожу без доклада.
- Однако же...

Я оттолкнул верного приставника и поспешно пробежал ряд блестящих комнат. В доме все суетилось; в крайней комнате я нашел Вячеслава во всем параде перед зеркалом; он ужасно сердился на то, что башмак отставал у него от ноги; парикмахер поправлял на голове его накладку.

Вячеслав, увидя меня, обрадовался и смешался.

— Ах, братец! — говорил он мне с досадою, обращаясь то к камердинеру, то к парикмахеру. — Затяни этот шнурок... Зачем было мне не сказать, что ты здесь?

— Я сейчас только из дорожной кареты.

— Я бы как-нибудь отделался. Ты не знаешь, что такое здешняя жизнь... прикрепи эту пуклю... ни одной минуты для себя, не успеваешь жить и не чувствуешь, как живешь...

— Ты едешь — я тебе не мешаю...

— Ах, как досадно! Как бы хотелось с тобою остаться... здесь накладка сползает... но невозможно, поверишь мне, что невозможно...

— Верю, верю; какое-нибудь важное дело...

— Какое дело! Я дал слово князю Б. на партию вис-та... перчатки... он человек, от которого многое зависит, — нельзя отказаться. Ах, как бы хорошо нам встретить Новый год по старине, вспомнить былое... шляпу...

— Сделай милость, без церемоний...

Тут вошел сын его с гувернером:

— Adieu, рара.

— А, ты уже возвратился? весел ли был ваш маскарад? Ну, прощай, ложись спать... затяни еще шнурок... Бог с тобою.— Ах, боже мой, уже половина двенадцатого... прощай, моя душа! Помнишь, как мы живали! — Карету, карету!..

Вячеслав побежал опростетью; я пошел за ним тихо, посмотрел на прекрасные комнаты, — они были блестящи, но холодны; в кабинете величайший порядок, все на своем месте, пакеты, чернильница; на камине часы *rococo*, на столе развернутый адрес-календарь...

Этот Новый год я встретил один, перед кувшином зельцерской воды, в гостинице для проезжающих.

---

## Бригадир

Жил, жил, и только что в газетах  
Осталось: «выехал в Ростов».

*Дмитриев*

Недавно случилось мне быть при смертной постели одного из тех людей, в существование которых, как кажется, не вмешивается ни одно созвездие, которые умирают, не оставив по себе ни одной мысли, ни одного чувства. Покойник всегда возбуждал мою зависть: он жил на сем свете больше полувека, и в продолжение сего времени, пока цари и царства возвышались и падали, пока открытия сменяли одно другое и превращали в развалины все то, что прежде называлось законами природы и человечества, пока мысли, порожденные трудами веков, разрастались и увлекали за собою вселенную,— мой покойник на все это не обращал никакого внимания: ел, пил, не делал ни добра, ни зла, не был никем любим и не любил никого, не был ни весел, ни печален; дошел, за выслугу лет, до чина статского советника и отправился на тот свет во всем параде: обритый, вымытый, в мундире.

Неприятно, тягостно это зрелище! В торжественную минуту кончины человека душа невольно ожидает сильного потрясения, а вы холодны, вы ищете слез, а на вас находит насмешливая, едва ли не презрительная улыбка!.. Такое состояние неестественно, ваше внутреннее чувство нагло обмануто, растерзано; а что всего хуже, это зрелище заставляет вас обратиться на зрелище еще более несносное — на самого себя, возбуждает в вас докучливую деятельность, разлучает вас с тем сладким равнодушием, которое в гладкую ледяную кору заключало для вас все подлунное. Прощай, свинцовая дремота! Прежде с сладострастием самоубийцы вы прислушивались к той глухой боли, которая мало-помалу точит организм ваш; а теперь вы боитесь этого верного, неизменного наслаждения; вы начинаете по-прежнему считать минуты, раскаиваться; снова решаетесь на новую борьбу с людьми и с самим собою, на старые, давно уже знакомые вам страдания...

Так было со мною. Покойника холодно отпели, холодно бросили на него горсть песку, холодно совсем закрыли землю. Нигде ни слезы, ни вздоха, ни слова. Разошлись; я вместе с другими... мне было смешно, грустно, душно; мысли и чувства теснились в душе моей, перебежали от предмета к предмету, мешали размышление с безотчетностью, веру с сомнением, метафизику с эпиграммой; долго волновались они, как волшебные пары над треножником Калиостро, и наконец мало-помалу образовали предо мною образ покойника. И он явился — точь-в-точь как живой: указал мне на свои брюшные полости, вперил в меня глаза, ничего не выражающие. Тщетно хотел я бежать, тщетно закрывал лицо руками; мертвец всюду за мною, смеется, прядает, дразнит мое отвращение и щеголяет предо мною каким-то родственным со мною сходством...

«Ты смотрел холодно на мою кончину!» — сказал мне мертвец, и вдруг лицо его приняло совсем иное выражение: я с удивлением заметил, что во взоре его место бесчувственности заступила глубокая, неистощимая грусть; черты бессмыслия выразили лишь холодное, обжившееся отчаяние; отсутствие вдохновения превратилось в выражение беспрестанного горького упрека...

«Ты даже с насмешкою, с презрением смотрел на мои последние страдания», — продолжал он уныло.

«Напрасно! ты не понял их: обыкновенно жалеют, плачут об умершем гении, бросившем плодоносную мысль на почву человечества; о художнике, оставившем в звуках и красках все царство души своей; о законодателе, в себе одном заключившем судьбу миллионов; и о ком жалеют? о ком плачут? — о счастливых! Над их смертною постелью витает все прекрасное, ими созданное; им разлуку с миром услаждает их право на гордость, от которого так свежо душе человека; они в последнюю минуту, больше нежели когда-нибудь, вспоминают о делах, ими совершенных; в эту минуту и похвалы, ими слышанные и предполагаемые, и их тяжкие, таинственные страдания, даже самая неблагодарность людей — все сливается для них в громкий благодарственный гимн, который чудною гармониею отдается в их слухе! — А я и мне подобные? Мы в тысячу раз более достойны слез и сожаления! Что могло усладить мою последнюю минуту, что? разве беспмятство, то есть продолжение того же состояния, в котором я находился во

всю мою жизнь? Что я оставляю по себе? *мое все со мною!* — А если то, что я говорю тебе теперь, пришло мне в голову в мою последнюю минуту; если что-либо шевелилось в душе моей в продолжение моей жизни; если последнее, судорожное потрясение нерв внезапно развернуло во мне жажду любви, самосвѣдения и деятельности, заглушенную во время жизни,— буду ли я тогда достоин сожаления?»

Я содрогнулся и проговорил почти про себя: «Кто же мешал тебе?»

Мертвец не дал мне окончить, горько улыбнулся и взял меня за руку.

«Посмотри на эти китайские тени,— сказал он,— вот это я. Я в доме отца моего. Отец мой занят службою, картами и псовой охотой. Он меня кормит, поит, одевает, бранит, сечет и думает, что меня воспитывает. Матушка моя занята надзором за нравственностью целого окологка, и потому ей некогда присмотреть ни за моею, ни за своею собственною: она меня нежит, лелеет, лакомит потихоньку от отца; для приличия заставляет меня притворяться; для благопристойности говорить не то, что я думаю; быть почтительным к родне; выучивать наизусть слова, которых она не понимает,— и также думает, что она меня воспитывает. В самом же деле меня воспитывают челядинцы: они учат меня всем изобретениям невежества и разврата, и — их уроки я понимаю!..

Вот я с учителем. Он толкует мне то, чего сам не знает. Никогда не думавши о том, что есть у понятий естественный ход, он перескакивает от предмета к предмету, пропуская необходимые связи. Ничего не остается и не может остаться в голове моей. Когда я не понимаю его — он обвиняет меня в упрямстве; когда я спрашиваю о чем — он обвиняет меня в умничанье. Школа мне мука; а ученье не развертывает, а только убивает мои способности.

Мне еще не исполнилось 14 лет, а уж конец ученью! Как я рад! я уж затянут в сержантский мундир; днем хожу в караул и на ученье, а больше езжу по родне и начальникам; ночью завиваю пукли, пудрюсь и танцую до упада. Время бежит, и подумать физически некогда. Батюшка учит меня ходить на поклоны и подличать; матушка показывает мне богатых невест. Когда я осмеливаюсь сделать какое-нибудь возражение — это называют неповиновением родительской власти; когда мне случай-

но удастся выговорить мысль, которую я не слышал ни от батюшки, ни от матушки, — это называют вольнодумством. Меня бранят и грозят мне за все, за что бы должно хвалить, и хвалят за все, за что бы должно бранить. И естественное состояние души моей превратилось: я запуган, закружен; к тому же природа, совсем некстати, снабдила меня слабыми нервами, и я — *оторопел на всю жизнь*: на все мои душевные способности нашло какое-то онемение; нечему развернуть их: они еще в почке, а уж раздавлены всем, меня окружающим; нет предмета для мыслей; может быть, мог бы я думать, да не с чего начать и не умею; я также не могу вообразить, что можно о чем-нибудь думать, кроме моих ботфортов, как глухонемой не может себе вообразить, что такое звук... Между тем я пью и играю, ибо иначе меня назовут дурным товарищем, что бы мне было очень прискорбно.

Все женятся. Надобно жениться и мне. Вот я женат. Жена мне под пару. А я все тот же: в голове у меня до сих пор одни батюшкины мысли; если как-нибудь придет мне в голову мысль, не похожая на батюшкину, то я от нее отмаливаюсь, как от бесовского наваждения; боюсь быть дурным сыном, ибо хоть не понимаю, в чем состоит добродетель, но мне по инстинкту хочется быть добродетельным. Вот почему утром мы с женою сводим разные счета — ибо батюшка, пуще совести, наказал мне не растерять имение; а потом — потом туалет, обед, карты, танцы. Мы живем очень весело; время бежит и очень скоро. Когда мне по инстинкту захочется переменить что-нибудь в нашем образе жизни — жена мне грозит названием дурного мужа, и я продолжаю ей покоряться, потому что мне хочется сохранить уже приобретенное мною название истинного христианина и человека с правилами. Этому много помогает то, что я усердно езжу к родне и не пропускаю ни одних именин и ни одного рождения.

Вот у меня дети; я очень рад; говорят, что их надобно воспитывать, — почему не так! В чем состоит воспитание — мне некогда было подумать, и потому я счел за лучшее воспользоваться батюшкиными советами и стал детей точно так же воспитывать, как меня воспитывали, и говорить им точно те же слова, которые мне батюшка говорил. Так гораздо покойнее! Правда, многие из его слов я повторяю так, по привычке, кстати и некстати, не присоединяя к ним никакого смысла, — но что нужды! — очевидно, что отец не мог мне желать худого, и потому

все-таки его слова принесут моим детям пользу, и опытность отцов не будет потеряна для детей. Иногда от такого повторения чужих слов у меня краска вспыхивает в лице; но чем другим, если не таким беспрестанным памятованием отцовских наставлений, можно лучше доказать сыновнее почтение, и что мне, в свою очередь, может доставить больше прав на такое же почтение детей моих? — не знаю.

По инстинкту мне захотелось отдать детей в общественное заведение; но вся родня мне сказала, что в школе мои дети потеряют приобретенные ими в доме правила нравственности и сделаются вольнодумцами. Для сохранения семейного спокойствия я решился учить их дома и, не умея выбрать учителей, выбираю их и плачу дорого; вся родня моя за то мною не нахвалится и уверяет, что на детей моих сошло божие благословение, потому что они во всем на меня похожи, как две капли воды. Но это не совсем правда: жена мне много мешает.

Я жены моей никогда не любил, и что такое любовь, я никогда не знал; я сначала не замечал этого; пока нам говорить было некогда и не о чем, мы как-то уживались; теперь же, как народились дети и мы стали меньше выезжать — беда моя приходит! мы ни в чем с женою не согласны: я хочу одного, она другого; начнем ни с того, ни с сего; оба говорим; друг друга не понимаем, и — сам не знаю — всякий спор обратится в спор о том, кто из нас умнее, а этот спор длится всегда 24 часа; и так, только мы вместе, то или молчим, да скучаем, или — содом содомом! она закричит — я уговаривать; она завизжит — я кричать; она в слезы, потом больна — я ухаживать. Так проходят целые дни; время бежит и очень скоро.

Отчего происходят наши ссоры — право, не понимаю: мы оба, кажется, смиренного нрава и люди (все говорят) нравственные; я почтительный сын, она почтительная дочь; я уже сказал, что учу детей своих тому, чему меня сам отец учил, а она учит, чему ее сама мать учила, — чего бы лучше? Но, к несчастью, мой батюшка и ее матушка противоречили друг другу; оттого мы свято исполняем родительский долг; а сбиваем детей с толку: она их держит в хлопках, я вожу на мороз, — дети мрут; за что бог меня наказывает?

Мне уж приходит невтерпеж — и, хоть для спасения детей, я хотел было пустить мою жену на все четыре стороны; но как я покажусь на глаза людям, подавши такой

пример безнравственности? Нечего делать! видно, век терпеть муку; утешительно, что хоть чужие люди нас за то хвалят и называют примерными супругами, потому что хотя друг друга терпеть не можем, да живем вместе по закону.

Между тем время все бежит да бежит, а с ним растут и мои чины; по чинам мне дают место; по инстинкту я догадываюсь, что не могу занимать его,— ибо от привычки к чтению я, читая, ничего не понимаю. Но мне сказали, что я буду дурным отцом, если не воспользуюсь этим местом, чтоб пристроить детей; я не захотел быть дурным отцом и потому принял место; сначала посоветился, стал было читать, да вижу, что хуже, а потом отдал все бумаги на попечение секретаря, а сам принялся подписывать, да пристраивать детей — чем и заслужил название доброго начальника и попечительного отца.

А время бежит да бежит; вот я уже переступил через 4-й десяток; период жизни, в котором умственная деятельность достигает высшей точки своего развития, уже прошел; мои брюшные полости раздвигаются все больше и больше, и я начал, как говорится, идти в тело. Когда уже прежде, до сего периода, ни одна мысль не могла протолкаться мне в голову — чему же быть теперь? Не думать сделалось мне привычкою, второю природой. Когда от ослабления сил нельзя мне выехать — мне скучно, очень скучно, а отчего? — сам не знаю. Примусь раскладывать гран-пасиянс — скучно. Бранюсь с женою — скучно. Пересилю себя, поеду на вечер — все скучно. Примусь за книгу — кажется, русские слова, а словно по-татарски; придет приятель, да расскажет, я как будто пойму; стану читать — опять не понимаю. От всего этого на меня находит, что говорится, *хандра*, за что жена меня очень бранит; она спрашивает меня: разве чего мне недостает, или я в чем несчастен? — я приписываю все это геморрою.

Вот я болен, в первый раз в жизни; я тяжело болен,— меня уложили в постель. Как неприятно быть больным! Нет сна, нет аппетита! как скучно! а вот и страдания! чем заглушить их? Как приедут люди поговорить,— ибо вся моя родня свято наблюдает родственные связи,— то как будто легче, а все скучно и страшно. Но что-то родные начинают чаще приезжать; они что-то шепчутся с доктором,— плохо! Ахти! говорят уж мне о причастии, о собо-



ровании маслом. Ах! они все такие хорошие христиане,— но ведь это значит, что я уже при последнем конце. Так нет уже надежды? Должно оставить жизнь — все: и обиды, и карты, и мой шитый мундир, и четверку вороных, на которых я еще не успел поездить,— ах, как тяжело! Принесите мне показать новую ливрею; позовите детей; нельзя ли еще помочь? призовите еще докторов; дайте какого хотите лекарства; отдайте половину моего имения, все мое имение: поживу, наживу — только помогите, спасите!..

Но вдруг сцена переменялась: страшная судорога потрясла мой нервы, и как завеса упала с глаз моих. Все, что тревожит душу человека, одаренного сильною деятельностью: ненасытная жажда познаний, стремление действовать, потрясать сердца силою слова, оставить по себе резкую бразду в умах человеческих,— в возвышенном чувстве, как в жарких объятиях, обхватить и природу, и человека,— все это запылало в голове моей; предомною раскрылась бездна любви и человеческого самосвѣдения. Страдания целой жизни гения, не утолимые никаким наслаждением, врезались в мое сердце — и все это в ту минуту, когда был конец моей деятельности. Я метался, рвался, произносил отрывистые слова, которыми в один миг хотел высказать себе то, на что недостаточно человеческой жизни; родные воображали, что я в беспамятстве. О, каким языком выразить мои страдания! Я начал *думать!* Думать — страшное слово после шестидесятилетней бессмысленной жизни! Я понял *любовь!* любовь — страшное слово после шестидесятилетней бесчувственной жизни!

И вся жизнь моя предстала мне во все отвратительной наготе своей!

Я позабыл все обстоятельства, встретившие меня с моего рождения; все неумолимые условия общества, которые связывали меня в продолжение жизни. Я видел одно: посрамленные мною дары провидения! И все минуты моего существования, затоптанные в бессмыслии, приличиях, ничтожестве, слились в один страшный упрек и жгучим холодом обдавали мое сердце!

Тщетно искал я в своем существовании одной мысли, одного чувства, которыми б я мог прикрыться от гнева вседержителя! Пустыня отвечала мне, и в детях моих я видел продолжение моего ничтожества; ах! если бы я мог говорить, если бы я мог вразумить меня окружающих,

если б мог поделиться собою с ними, дать ощутить им то чувство, которым догорала душа моя! Тщетно я простирал мои руки к людям, — хладные, загубелые — они хотели познать дружеское пожатие; но человечество чуждалось немеющего трупа, и я видел лишь одного себя перед собою — себя, одинокого, безобразного! Я жаждал взора, который бы отрадою сочувствия пролился в мою душу, — и встретил лишь насмешливое презрение на лице твоём! Я понял его, я разделил его! и с страшною, неотвратимою, вечною горечью оставил земную оболочку!.. Теперь, если хочешь, не сожалей обо мне, не плачь обо мне, презирай меня!»

Кровавые слезы покатались по синим щекам мертвеца, и он исчез с грустною улыбкой... Я возвратился на его могилу, преклонил колени, молился и долго плакал; не знаю, поняли ли проходящие, о чем я плакал...

## Бал

Gaudium magnum nuntio vobis<sup>1</sup>

### 1

Победа! победа! читали вы бюллетень? важная победа! историческая победа! особенно отличились картечь и разрывные бомбы; десять тысяч убитых; вдвое против того отнесено на перевязку; рук и ног груды; взяты пушки с бою; привезены знамена, обрызганные кровью и мозгом; на иных отпечатались кровавые руки. Как, зачем, из-за чего была свалка, знают немногие, и то про себя; но что нужды! победа! победа! во всем городе радость! сигнал подан: праздник за праздником; никто не хочет отстать от других. Тридцать тысяч вон из строя! Шутка ли! все веселится, поет и пляшет...

Бал разгорался час от часу сильнее; тонкий чад волновался над бесчисленными тускнеющими свечами; сквозь него трепетали штофные занавесы, мраморные вазы, золотые кисти, барельефы, колонны, картины; от обнаженной груди красавиц поднимался знойный воздух, и часто, когда пары, будто бы вырвавшиеся из рук чародея, в быстром кружении промелькали перед глазами,— вас, как в безводных степях Аравии, обдавал горячий, удушающий ветер; час от часу скорее развивались душистые локоны; смятая дымка небрежнее свертывалась на распаленные плечи; быстрее бился пульс; чаще встречались руки, близились вспыхивающие лица; томнее делались взоры, слышнее смех и шепот; старики поднимались с мест своих, расправляли бессильные члены, и в полупотухших, остолбенелых глазах мешалась горькая зависть с горьким воспоминанием прошедшего,— и все вертелось, прыгало, бесновалось в сладострастном безумии...

На небольшом возвышении с визгом скользили смычки по натянутым струнам; трепетал могильный голос валторн, и однообразные звуки литавр отзывались насмеш-

<sup>1</sup> «Великую радость возвещаю вам»,— обыкновенная формула, которую в Риме объявляется об избрании папы. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

ливым хохотом. Седой капельмейстер, с улыбкой на лице, вне себя от восторга, беспрестанно учащал размер и взором, телодвижениями возбуждал утомленных музыкантов.

«Не правда ли? — говорил он мне отрывисто, не оставляя смычка. — Не правда ли? я говорил, что бал будет на славу, — и сдержал свое слово; все дело в музыке; я ее нарочно так и составил, чтобы она с места поднимала... не давала бы задуматься... так приказано... в сочинениях славных музыкантов есть странные места — я славно подобрал их — в этом все дело; вот, слышите: это вопль Донны-Анны, когда Дон-Жуан насмехается над нею; вот стон умирающего командора; вот минута, когда Отелло начинает верить своей ревности, — вот последняя молитва Дездемоны».

Еще долго капельмейстер исчислял мне все человеческие страдания, получившие голос в произведениях славных музыкантов; но я не слушал его более, — я заметил в музыке что-то обворожительно-ужасное: я заметил, что к каждому звуку присоединялся другой звук, более пронзительный, от которого холод пробегал по жилам и волосы дыбом становились на голове; прислушиваюсь: то как будто крик страждущего младенца, или буйный вопль юноши, или визг матери над окровавленным сыном, или трепещущее стенание старца, и все голоса различных терзаний человеческих явились мне разложенными по степеням одной бесконечной гаммы, продолжавшейся от первого вопля новорожденного до последней мысли умирающего Байрона; каждый звук вырывался из раздраженного нерва, и каждый напев был судорожным движением.

Этот страшный оркестр темным облаком висел над танцующими, — при каждом ударе оркестра вырывались из облака: и громкая речь негодования; и прерывающийся лепет побежденного болью; и глухой говор отчаяния; и резкая скорбь жениха, разлученного с невестой; и раскаяние измены; и крик разъяренной, торжествующей черни; и насмешка неверия; и бесплодное рыдание гения; и таинственная печаль лицемера; и плач; и взрыд; и хохот... и все сливалось в неистовые созвучия, которые громко выговаривали проклятие природе и ропот на провидение; при каждом ударе оркестра выставлялись из него то посинелое лицо изможденного пыткой, то смеющиеся глаза сумасшедшего, то трясущиеся колена убий-

цы, то спекшиеся уста убитого; из темного облака капали на паркет кровавые капли и слезы,— по ним скользили атласные башмаки красавиц... и все по-прежнему вертелось, прыгало, бесновалось в сладострастно-холодном безумии...

Свечи нагорели и меркнут в удушливом паре. Если сквозь колеблющийся туман всмотреться в толпу, то иногда кажется, что пляшут не люди... в быстром движении с них слетает одежда, волосы, тело... и пляшут скелеты, постукивая друг о друга костями... а над ними под ту же музыку тянется вереница других скелетов, изломанных, обезображенных... но в зале ничего этого не замечают... все пляшет и беснуется, как ни в чем не бывало.

## 2

Долго за рассвет длился бал; долго поднятые с постели житейскими заботами останавливались посмотреть на мелькающие тени в светлых окошках.

Закруженный, усталый, истерзанный его мучительным весельем, я выскочил на улицу из душных комнат и впивал в себя свежий воздух; утренний благовест терялся в шуме разъезжающихся экипажей; предо мною были растворенные двери храма.

Я вошел; в церкви пусто; одна свеча горела пред иконою, и тихий голос священника раздавался под сводами: он произносил заветные слова любви, веры, надежды; он возвещал таинство искупления, он говорил о том, кто соединил в себе все страдания человека; он говорил о высоком созерцании божества, о мире душевном, о милосердии к ближнему, о братском соединении человечества, о забвении обид, о прощении врагам; о тщете замыслов богопротивных, о непрерывном совершенствовании души человека, о смирении пред судьбами всевышнего; он молился об убиенных и убийцах, он молился об оглашенных, о предстоящих!

Я бросился к притвору храма, хотел удержать беснующихся страдальцев, сорвать с сладострастного ложа их помертвелое сердце, возбудить его от холодного сна огненною гармониею любви и веры,— но уже было поздно! все проехали мимо церкви, и никто не слышал слов священника...

## Импровизатор

Es möchte Kein Hund so länger leben!  
D'rum hab'ich mich der Magie ergeben...

Göthe<sup>1</sup>

По зале раздавались громкие рукоплескания. Успех импровизатора превзошел ожидания слушателей и собственные его ожидания. Едва назначали ему предмет,—и высокие мысли, трогательные чувства, в одежде полновзвучных метров, вырывались из уст его, как фантазмагорические видения из волшебного жертвенника. Художник не задумывался ни на минуту: в одно мгновение мысль и зарождалась в голове его, и проходила все периоды своего возрастания, и претворялась в выражения. Разом являлись и замысловатая форма пьесы, и поэтические образы, и щегольской эпитет, и послушная рифма. Этого мало: в одно и то же время ему задавали два и три предмета совершенно различные; он диктовал одно стихотворение, писал другое, импровизировал третье, и каждое было прекрасно в своем роде: одно производило восторг, другое трогало до слез, третье морило со смеху; а между тем он, казалось, совсем не занимался своею работою, беспрестанно шутил и разговаривал с присутствующими. Все стихии поэтического создания были у него под руками, как будто шашки на шахматной доске, которые он небрежно передвигал, смотря по надобности.

Наконец утомилось и внимание и изумление слушателей, они страдали за импровизатора; но художник был спокоен и холоден,— в нем не заметно было ни малейшей усталости,— но на лице его видно было не высокое наслаждение поэта, довольного своим творением, а лишь простое самодовольство фокусника, проворством удивляющего толпу. С насмешкою смотрел он на слезы; на смех, им производимые; один из всех присутствующих не плакал, не смеялся; один не верил словам своим и с вдохновением обращался как холодный жрец, давно уже привыкший к таинствам храма.

<sup>1</sup> Так пес не стал бы жить!

Вот почему я магии решил предаться...

Гете (нем.; перевод Н. Холодковского). (Прим. В. Ф. Одоевского.)

Еще последний слушатель не вышел из залы, как импровизатор бросился к собиравшему деньги при входе и с жадностью Гарпагона принялся считать их. Сбор был весьма значителен. Импровизатор еще отроду не видал столько монеты и был вне себя от радости.

Восторг его был простителен. С самых юных лет жестокая бедность стала сжимать его в своих ледяных объятиях, как статуя спартанского тирана. Не песни, а болезненный стон матери убаюкивали младенческий сон его. В минуту рассвета его понятий не в радужной одежде жизнь явилась ему, но хладный остов нужды неподвижно улыбкой приветствовал его развивающуюся фантазию. Природа была к нему немного щедрее судьбы. Она, правда, наделила его творческим даром, но осудила в поте лица отыскивать выражения для поэтических замыслов. Книгопродавцы и журналисты давали ему некоторую плату за его стихотворения, плату, которая могла бы доставить ему достаточное содержание, если б для каждого из них Киприяно не был принужден употреблять бесконечного времени. В те дни редко тусклая мысль, как едва приметная звездочка, зарождалась в его фантазии; но когда и зарождалась, то ясна медленно и долго терялась в тумане; уже после трудов невероятных достигала она до какого-то неясного образа; здесь начиналась новая работа: выражение отлетало от поэта за мириады миров; он не находил слов, а если и находил, то они не клеились; метр не гнулся; привязчивое местоимение хваталось за каждое слово; долговязый глагол путался между именами, проклятая рифма пряталась между несозвучными словами. Каждый стих стоил бедному поэту нескольких изгрызенных перьев, нескольких вырванных волос и обломанных ногтей. Тщетны были его усилия! Часто хотел он бросить ремесло поэта и променять его на самое низкое из ремесл; но насмешливая природа, вместе с творческим даром, дала ему и все причуды поэта: и эту врожденную страсть к независимости, и это непреборимое отвращение от всякого механического занятия, и эту привычку дожидаться минуты вдохновения, и эту беззаботную неспособность рассчитывать время. Прибавьте к тому всю раздражительность поэта, его природную склонность к роскоши, к этому английскому приволью, к этому маленькому тиранству, которыми, наперекор обществу, природа любит отличать своего собственного аристократа! Он не мог ни переводить, ни рабо-

тать на срок или по заказу; и между тем как его собратия собирали с публики хорошие деньги за какое-нибудь сочинение, случайно возбуждавшее ее любопытство,— он еще не мог решиться приняться за работу. Книгопродавцы перестали ему заказывать; ни один из журналистов не хотел брать его в сотрудники. Деньги, изредка получаемые несчастным за какое-нибудь стихотворение, стоившее ему полугодовой работы, обыкновенно расхватывали займодавцы, и он снова нуждался в самом необходимом.

В том городе жил доктор по имени Сегелиель. Лет тридцать назад его многие знали за довольно сведущего человека; но тогда он был беден, имел столь малую практику, что решился оставить медицинское ремесло и пустился в торги. Долго он путешествовал, как говорят, по Индии, и наконец возвратился на родину со слитками золота и множеством драгоценных камней, построил огромный дом с обширным парком, завел многочисленную прислугу. С удивлением замечали, что ни лета, ни продолжительное путешествие по знойным климатам не произвели в нем никакой перемены; напротив, он казался моложе, здоровее и свежее прежнего, также не менее удивительным казалось и то, что растения всех климатов уживались в его парке, несмотря на то, что за ними почти не было никакого присмотра. Впрочем, в Сегелиеле не было ничего необыкновенного: он был прекрасный, статный человек, хорошего тона, с черными модными бакенбардами; носил просторное, но щегольское платье; принимал к себе лучшее общество, но сам почти никогда не выходил из своего огромного парка; он давал молодым людям денег взаймы, не требуя отдачи; держал славного повара, чудесные вина, любил сидеть долго за обедом, ложиться рано и вставать поздно. Словом, он жил в самой аристократической, роскошной праздности. Между тем он не оставлял и своего врачебного искусства, хотя принимался за него нехотя, как человек, который не любил беспокоить себя; но когда принимался, то делал чудеса; какая бы ни была болезнь, смертельная ли рана, последнее ли судорожное движение, доктор Сегелиель даже не пойдет взглянуть на больного: спросит об нем слова два у родных, как бы для проформы, вынет из ящика какой-то водицы, велит принять больному — и на другой день болезни как не бывало. Он не брал денег за лечение, и его бескорыстие, соединенное с чудным его



искусством, могло бы привлечь к нему больных всего мира, если бы за излечение он не назначал престранных условий, как, например: изъявить ему знаки почтения, доходившие до самого подлого унижения; сделать какой-нибудь отвратительный поступок; бросить значительную сумму денег в море; разломать свой дом, оставить свою родину и проч.; носился даже слух, что он иногда требовал такой платы, такой... о которой не сохранило известия целомудренное предание. Эти слухи расхоложали усердие родственников, и с некоторого времени уже никто не прибегал к нему с просьбою: к тому же замечали, что когда просившие не соглашались на предложение доктора, то больной умирал уже непременно; та же участь постигала всякого, кто или заводил тяжбу с доктором, или сказал про него что-нибудь дурное, или просто не понравился ему. От всего этого у доктора Сегелиеля набралось множество врагов: иные стали доискиваться об источнике его неймоверного богатства; медики и аптекари говорили, что он не имеет права лечить непозволенными способами; большая часть обвиняли его в величайшей безнравственности, а некоторые даже приписывали ему отравление умерших людей. Общий голос принудил, наконец, полицию потребовать доктора Сегелиеля к допросу. В доме его сделан был стражайший обыск. Слуги забраны. Доктор Сегелиель согласился на все без всякого сопротивления и позволил полицейским делать все, что им было угодно, ни во что не мешался, едва удостоивал их взглядом и только что изредка с презрением улыбался.

В самом деле, в его доме не нашли ничего, кроме золотой посуды, богатых курильниц, покойных мебели, кресел с подушками и рессорами, раздвижных столов с разными затеями, нескольких окруженных ароматами кроватей, утвержденных на деках музыкальных инструментов,— вроде кроватей доктора Грема, за позволение провести ночь на которых он некогда брал сотни стерлингов с английских сластолюбцев; словом, в доме Сегелиеля нашли лишь выдумки богатого человека, любящего чувственные наслаждения, лишь все то, из чего составляет приволье (comfortable) роскошной жизни, но больше ничего, ничего могущего возбудить малейшее подозрение. Все бумаги его состояли из коммерческих переписок с банкирами и знатнейшими купцами всех частей света, нескольких арабских рукописей и кипы бумаг, сверху до-

низу исписанных цифрами. Сначала эти последние очень обрадовали полицейских чиновников: они думали найти в них цифрованное письмо; но по внимательном осмотре оказалось, что то были простые черновые счета, накопившиеся, по словам Сегелиеля, от долговременных торговых оборотов, что было весьма вероятно. Вообще на все пункты обвинения доктор Сегелиель отвечал весьма ясно, удовлетворительно и без всякого замешательства; во всех словах его и во всех поступках видна была больше досада на то, что его беспокоят из пустяков, нежели боязнь запутаться в своих ответах. Для объяснения богатства он сослался на свои бумаги, по которым можно было видеть всю историю его торговли; торговля эта, правда, ведена была им с каким-то волшебным успехом, но, впрочем, не заключала в себе ни одного преступного действия; медикам и аптекарям отвечал он, что докторский диплом дает ему право лечить, кого и как он хочет; что он никому не навязывается с своим лечением; что не обязан объявлять составление своего лекарства и что, впрочем, они могут разлагать его лекарство, как им угодно; что, не предлагая никому своих услуг, он был вправе назначать какую ему угодно плату; и что если он часто назначал странные условия, которые всякий был волен принять или не принять, то это для того только, чтоб избавиться от докучливой толпы, нарушавшей его спокойствие — единственную цель его желаний. Наконец, при пункте об отравлении доктор возразил, что, как известно всему городу, он большею частию лечил людей, ему совершенно неизвестных; что никогда не спрашивал ни об имени больного, ни об имени того, кто приходил просить об нем, ни даже о месте его жительства; что больные, когда он отказывался лечить, умирали оттого, что прибегали к нему тогда уже, когда находились при последнем издыхании; наконец, что враги его, вероятно, умирали по естественному ходу вещей; причем он доказал очевидными свидетельствами и доводами, что ни он и никто из его дома не имел ни малейшего сношения с покойниками. Люди Сегелиеля, допрошенные поодиночке со всеми судейскими хитростями, подтвердили все его показания от слова до слова. Между тем следствие продолжалось; но все, что ни открывали, все говорило в пользу доктора Сегелиеля. Ученый совет, подвергнув химическому разложению Сегелиелево лекарство, по долгом рассуждении объявил, что это славное лекарство

было не иное что, как простая речная вода, и что действии, будто бы ею производимое, должно отнести к сказкам или приписать воображению больных. Сведения, собранные о болезнях людей, в смерти которых обвиняли Сегелиеля, показали, что ни один из них не умер скоропостижно; что большая часть из них умерли от застарелых или наследственных болезней; наконец, при вскрытии трупов людей, об отравлении которых существовали сильнейшие подозрения, не оказалось и тени отравления, а обнаружилось только известные и обыкновенные признаки обыкновенных болезней.

Этот процесс, привлечший многочисленное стечение народа в тот город, долго длился, ибо обвинителями была почти половина его жителей; но наконец, как судьи ни были предупреждены против доктора Сегелиеля, принуждены были единогласно объявить, что обвинения, на него внесенные, не имели никакого основания, что доктора Сегелиеля должно освободить от суда и от всякого подозрения, а доносчиков подвергнуть взысканию по законам. По произнесении приговора Сегелиель, наблюдавший до тех пор совершенное равнодушие, казалось, ожил; он немедленно внес в суд несомненные доказательства об убытках, понесенных им от сего процесса, по его обширной торговле, и просил, чтоб они взысканы были с его обвинителей, с которых, сверх того, требовал удовлетворения за бесчестие, ему нанесенное. Никогда еще не видали в нем такой неутомимой деятельности: казалось, он переродился; исчезла его гордость; он сам ходил от судьи к судье, платил несчетные деньги лучшим стряпчим и рассылал гонцов во все края света; словом, употребил все способы, которые находил и в законах, и в своем богатстве, и в своих связях, для конечного разорения своих обвинителей, всех членов их семейств до последнего, родственников и друзей их. Наконец он достиг своей цели: многие из его обвинителей лишились своих мест — и с тем вместе единственного пропитания; целые имения нескольких семейств отсуждены были в его владение. Ни просьбы, ни слезы разоренных не трогали его души: он с жестокосердием изгонял их из жилищ, истреблял дотла их дома, заведения; вырывал с корнями деревья и бросал жатву в море. Казалось, и природа и судьба помогали его мщению; враги его, все до одного, их отцы, матери, дети умирали мучительною смертью, — то в семействе являлась заразительная горячка и пожги-

рапа всех членов его; то возобновлялись старинные, давно уснувшие болезни; малейший ушиб в младенчестве, бездельное уколотье руки, незначущая простуда — обращались в болезнь смертельную, и скоро самые имена целых семейств были стерты с лица земли. То же было и с теми, которые избегли от наказания законов. Этого мало: поднималась ли буря, восставал ли вихрь, — тучи проходили мимо замка Сегелиелева и раздражались над домами и житницами его неприятелей, и многие видали, как в это время Сегелиель выходил на террасу своего парка и весело чокался стаканом с своими друзьями.

Это происшествие навело сначала всеобщий ужас, и хотя Сегелиель после своего процесса переселился в город Б... где снова начал вести столь же роскошную жизнь, как и прежде, но многие из жителей его родины, знавшие подробно все обстоятельства процесса и раздраженные поступками Сегелиеля, не оставили своего плана — погубить. Они обратились к старикам, помнившим еще прежние процессы о чародействе, и, потолковав с ними, составили новый донос, в котором изъясняли, что хотя по существующим законам и нельзя обвинить доктора Сегелиеля, но что нельзя и не видеть во всех его действиях какой-то сверхъестественной силы, и вследствие того просили: придерживаясь к прежним законам о чародействе, снова разыскать все дело. К счастью Сегелиеля, судьи, к которым попала эта просьба, были люди просвещенные: один из них был известен переводом Локка на отечественный язык; другой — весьма важным сочинением о юриспруденции, к которой он применил Кантову систему; третий оказал значительные услуги атомистической химии. Они не могли удержаться от смеха, читая эту странную просьбу, возвратили ее просителям, как недостойную уважения, а один из них, по добродушию, прибавил к тому изъяснение всех случаев, казавшихся просителям столь чудесными; и — благодаря европейскому просвещению — доктор Сегелиель продолжал вести свою роскошную жизнь, собирать у себя все лучшее общество, лечить на предлагаемых им условиях, а враги его продолжали занемогать и умирать по-прежнему.

К этому страшному человеку решился идти наш будущий импровизатор. Как скоро его впустили, он бросился доктору на колени и сказал: «Господин доктор! господин Сегелиель! вы видите пред собою несчастнейшего

человека в свете: природа дала мне страсть к стихотворству, но отняла у меня все средства следовать этому влечению. Нет у меня способности мыслить, нет способности выражаться; хочу говорить — слова забываю, хочу писать — еще хуже; не мог же бог осудить меня на такое вечное страдание! Я уверен, что мое несчастье происходит от какой-нибудь болезни, от какой-то нравственной натуги, которую вы можете вылечить».

— Вишь, Адамовы сынки,— сказал доктор (это была его любимая поговорка в веселый час),— Адамовы детки! Все помнят батюшкину привилегию; им бы все без труда доставалось! И получите вас работают на сем свете. Но, впрочем, так уж и быть,— прибавил он, помолчав,— я тебе помогу; да ты ведь знаешь, у меня есть свои условия...

— Какие хотите, господин доктор! — что б вы ни предложили, на все буду согласен; все лучше, нежели умирать ежеминутно.

— И тебя не испугало все, что в нашем городе про меня рассказывают?

— Нет, господин доктор! хуже того положения, в котором я теперь нахожусь, вы не выдумаете. (Доктор засмеялся.) Я буду с вами откровенен: не одна поэзия, не одно желание славы привели меня к вам; но и другое чувство, более нежное... Будь я половчее на письме, я бы мог обеспечить мое состояние, и тогда бы моя Шарлотта была ко мне благосклоннее... Вы понимаете меня, господин доктор?

— Вот это я люблю,— вскричал Сегелиель,— я, как наша матушка инквизиция, до смерти люблю откровенность и полную ко мне доверенность; беда бывает только тому, кто захочет с нами хитрить. Но ты, я вижу, человек прямой и откровенный; и надобно наградить тебя по достоинству. Итак, мы соглашаемся исполнить твою просьбу и дать тебе способность *производить без труда*; но первым условием нашим будет то, что эта способность никогда тебя не оставит: согласен ли ты на это?

— Вы шутите надо мною, господин Сегелиель!

— Нет, я человек откровенный и не люблю скрывать ничего от людей, мне предающихся. Слушай и пойми меня хорошенько: способность, которую я даю тебе, делается частью тебя самого; она не оставит тебя ни на минуту в жизни, с тобою будет расти, созревать и умрет вместе с тобою. Согласен ли ты на это?

— Какое же в том сомнение, г. доктор?

— Хорошо. Другое мое условие состоит в следующем: ты будешь *все видеть, все знать, все понимать*. Согласен ли ты на это?

— Вы, право, шутите, господин доктор! Я не знаю, как благодарить вас... Вместо одного добра вы даете мне два,— как же на это не согласиться!

— Пойми меня хорошенько: ты будешь *все знать, все видеть, все понимать*.

— Вы благодетельнейший из людей, господин Сегелиель!

— Так ты согласен?

— Без сомнения; нужна вам расписка?

— Не нужно! Это было хорошо в то время, когда не существовало между людьми заемных писем; а теперь люди стали хитры; обойдемся и без расписки; сказанного слова так же топором не вырубишь, как и писанного. Ничто в свете, любезный приятель, *ничто* не забывается и не уничтожается.

С этими словами Сегелиель положил одну руку на голову поэта, а другую на его сердце, и самым торжественным голосом проговорил:

«От тайных чар прими ты дар: обо всем размышлять, все на свете читать, говорить и писать, красно и легко, слезно и смешно, стихами и в прозе, в тепле и морозе, наяву и во сне, на столе, на песке, ножом и пером, рукой, языком, смеясь и в слезах, на всех языках...»

Сегелиель сунул в руку поэту какую-то бумагу и повернул его к дверям.

Когда Киприяно вышел от Сегелиеля, то доктор с хохотом закричал: «Пепе! фризую шинель!» — «Агу!» — раздалось со всех полок докторской библиотеки, как во 2-м действии «Фрейшюца».

Киприяно принял слова Сегелиеля за приказание камердинеру; но его удивило немного, зачем щеголеватому, роскошному доктору такое странное платье; он заглянул в щелочку — и что же увидел: все книги на полках были в движении; из одной рукописи выскочила цифра 8, из другой арабский алеф, потом греческая дельта; еще, еще — и наконец вся комната наполнилась живыми цифрами и буквами; они судорожно сгибались, вытягивались, раздувались, переплетались своими неловкими ногами, прыгали, падали; неисчислимые точки кружились между ними, как инфузории в солнечном микроскопе, и старый

халдейский полиграф бил такт с такою силою, что рамы звенели в окошках...

Испуганный Киприяно бросился бежать опроретью.

Когда он несколько успокоился, то развернул Сегелиелеву рукопись. Это был огромный свиток, сверху донизу исписанный непонятными цифрами. Но едва Киприяно взглянул на них, как, оживленный сверхъестественною силою, понял значение чудесных письмен. В них были расчислены все силы природы: и систематическая жизнь кристалла, и беззаконная фантазия поэта, и магнитное биение земной оси, и страсти инфузория, и нервная система языков, и прихотливое изменение речи; все высокое и трогательное было подведено под арифметическую прогрессию; непредвиденное разложено в Ньютонов бином; поэтический полет определен циклоидой; слово, рождающееся вместе с мыслию, обращено в логарифмы; невольный порыв души приведен в уравнение. Пред Киприяно лежала вся природа, как остов прекрасной женщины, которую прозектор выварил так искусно, что на ней не осталось ни одной живой жилки.

В одно мгновение высокое таинство зарождения мысли показалось Киприяно делом весьма легким и обыкновенным; чертов мост с китайскими погрешками протянулся для него над бездною, отделяющею мысль от выражения, и Киприяно — заговорил стихами.

В начале сего рассказа мы уже видели чудный успех Киприяно в его новом ремесле. В торжестве, с полным кошельком, но несколько усталый, он возвратился в свою комнату; хочет освежить запекшиеся уста, смотрит — в стакане не вода, а что-то странное: там два газа борются между собою, и мириады инфузорий плавают между ними; он наливает другой стакан, все то же; бежит к источнику — издали серебром льются студёные волны — приближается — опять то же, что и в стакане; кровь поднялась в голову бедного импровизатора, и он в отчаянии бросился на траву, думая во сне забыть свою жажду и горе; но едва он прилег, как вдруг под ушами его раздаётся шум, стук, визг: как будто тысячи молотов бьют об наковальни, как будто шероховатые поршни протираются сквозь груды камней, как будто железные грабли цепляются и скользят по гладкой поверхности. Он встает, смотрит: луна освещает его садик, полосатая тень от садовой решетки тихо шевелится на листьях кустарника, вблизи муравьи строят свой муравейник, все тихо,

спокойно; прилег снова — снова начинается шум. Киприяно не мог заснуть более; он провел целую ночь, не смыкая глаз. Утром он побежал к своей Шарлотте искать покоя, поверить ей свою радость и горе. Шарлотта уже знала о торжестве своего Киприяно, ожидала его, принарядилась, приправила свои светло-русые волосы, вплела в них розовую ленточку и с невинным кокетством поглядывала в зеркало. Киприяно вбегает, бросается к ней, она улыбается, протягивает к нему руку, — вдруг Киприяно останавливается, уставляет глаза на нее...

И в самом деле было любопытно! Сквозь клетчатую перепонку, как сквозь кисею, Киприяно видел, как трепетная артерия, называемая сердцем, затрепетала в его Шарлотте; как красная кровь покатила из нее и, достигая до волосных сосудов, производила эту нежную белизну, которою он, бывало, так любовался... Несчастный! в прекрасных, исполненных любви глазах ее он видел лишь какую-то камер-обскуру, сетчатую плеву, каплю отвратительной жидкости; в ее миловидной поступи — лишь механизм рычагов... Несчастный! он видел и желчный мешочек, и движение пищеприемных снарядов... Несчастный! для него Шарлотта, этот земной идеал, пред которым молилось его вдохновение, сделалась — анатомическим препаратом!

В ужасе оставил ее Киприяно. В ближнем доме находилось изображение Мадонны, к которой, бывало, прибегал Киприяно в минуты отчаяния, которой гармонический облик успокаивал его страждущую душу; он прибежал, бросился на колени, умолял; но увы! для него уже не было картины: краски шевелились на ней, и он в творении художника видел — лишь химическое брожение.

Несчастный страдал до невероятности; все: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, — все чувства, все нервы его получили микроскопическую способность, и в известном фокусе малейшая пылинка, малейшее насекомое, не существующее для нас, теснило его, гнало из мира; щебетание бабочкина крыла раздирало его ухо; самая гладкая поверхность щекотала его; все в природе разлагалось пред ним, но ничто не соединялось в душе его: он *все видел, все понимал*, но между им и людьми, между им и природою была вечная бездна; ничто в мире не сочувствовало ему.

Хотел ли он в высоком поэтическом произведении забыть самого себя, или в исторических изысканиях набре-



сти на глубокую думу, или отдохнуть умом в стройном философском здании — тщетно: язык его лепетал слова, но мысли его представляли ему совсем другое.

Сквозь тонкую пелену поэтических выражений он видел все механические подставки создания: он чувствовал, как бесился поэт, сколько раз переламывал он стихи, которые казались невольно вылившимися из сердца; в самом патетическом мгновении, когда, казалось, все внутренние силы поэта напрягались и перо его не успевало за словами, а слова за мыслями,— Киприяно видел, как поэт протягивал руку за «Академическим словарем» и отыскивал эффектное слово; как посреди восхитительно-го изображения тишины и мира душевного поэт драл за уши капризного ребенка, надоедавшего ему своим криком, и зажимал собственные свои уши от действия женина трещоточного могущества.

Читая историю, Киприяно видел, как утешительные выские помыслы об общей судьбе человечества, о его постоянном совершенствовании, как глубокомысленные догадки о важных подвигах и характере того или другого народа, которые, казалось, сами выливались из исторических изысканий,— в самом деле держались только искусственным сцеплением сих последних, как это сцепление держалось за сцепление авторов, писавших о том же предмете; это сцепление — за искусственное сцепление летописей, а это последнее — за ошибку переписчика, на которую, как на иголку, фокусники поставили целое здание.

Вместо того чтоб удивляться стройности философской системы, Киприяно видел, как в философе зародилось прежде всего желание сказать что-нибудь новое; потом попало ему счастливое, задорное выражение; как к этому выражению он приделал мысль, к этой мысли целую главу, к этой главе книгу, а к книге целую систему; там же, где философ, оставляя свою строгую форму, как бы увлеченный сильным чувством, пускался в блестящее отступление,— там Киприяно видел, что это отступление только служило прикрышкой для среднего термина силлогизма, которого игру слов чувствовал сам философ.

Музыка перестала существовать для Киприяно; в восторженных созвучиях Генделя и Моцарта он видел только воздушное пространство, наполненное бесчисленными шариками, которые один звук отправлял в одну сторону, другой в другую, третий в третью; в раздирающем сердце

вопле гобоя, в резком звуке трубы он видел лишь механическое сотрясение; в пении страдивариусов и амати — одни животные жилы, по которым скользили конские волосы.

В представлении оперы он чувствовал лишь мучение сочинителя музыки, капельмейстера; слышал, как настраивали инструменты, разучивали роли, словом, ощущал все прелести репетиций; в самых патетических минутах видел бешенство режиссера за кулисами и его споры с статистами и машинистом, крючья, лестницы, веревки и проч. и проч.

Часто вечером измученный Киприяно выбегал из своего дома на улицу: мимо его мелькали блестящие экипажи; люди с веселыми лицами возвращались от дневных забот под мирный домашний кров; в освещенные окна Киприяно смотрел на картины тихого семейного счастья, на отца и мать, окруженных прыгающими малютками, — но он не имел наслаждения завидовать сему счастью; он видел, как чрез реторту общественных условий и приличий, прав и обязанностей, рассудка и правил нравственности — выработывался семейственный яд и прижигал все нервы души каждого из членов семейства; он видел, как нежному, попечительному отцу надоедали его дети; как почтительный сын нетерпеливо ожидал родительской кончины; как страстные супруги, держась рука за руку, помышляли: чем бы поскорее отделаться друг от друга?

Киприяно обезумел. Оставив свое отечество, думая спастись от самого себя, пробежал он разные страны, но везде и всегда по-прежнему продолжал *все видеть* и *все понимать*.

Между тем и коварный дар стихотворства не дремал в Киприяно. Едва на минуту замолкнет его микроскопическая способность, как стихи водою польются из уст его; едва удержит свое холодное вдохновение, как снова вся природа оживет перед ним мертвою жизнью — и без одежды, неприличная, как нагая, но обутая женщина, явится в глаза ему. С каким горем он вспоминал о том сладком страдании, когда, бывало, на него находило редкое вдохновение, когда неясные образы носились перед ним; волновались, сливались друг с другом!.. Вот образы яснее, яснее; из другого мира медленно, как долгий поцелуй любви, тянется к нему рой пиитических созданий; приблизились, от них пахнет неземной теплотою, и

природа сливается с ними в гармонических звуках — как легко, как свежо на душе! Тщетное, тяжкое воспоминание! Напрасно хотел Киприяно пересилить борьбу между враждебными дарами Сегелиеля: едва незаметное впечатление касалось раздраженных органов страдальца, и снова микроскопизм одолевал его, и незрелая мысль прорывалась в выражение.

Долго скитался Киприяно из страны в страну; иногда нужда снова заставляла его прибегать к пагубному Сегелиелю дару: дар этот доставлял избыток, а с ним и все вещественные наслаждения жизни; но в каждом из наслаждений был яд, и после каждого нового успеха умножалось его страдание.

Наконец он решился не употреблять более своего дара, заглушить, задавить его, купить его ценою нужды и бедности. Но уж поздно! От долговременного борения расшаталось здание души его; поломались тонкие связи, которыми соединены таинственные стихии мыслей и чувствований, — и они распались, как распадаются кристаллы, проржавленные едкой кислотой; в душе его не осталось ни мыслей, ни чувствований: остались какие-то фантомы, облеченные в одежду слов, для него самого непонятных. Нищета, голод истерзали его тело, — и долго бред он, питаясь милостынею и сам не знаю куда...

Я нашел Киприяно в деревне одного степного помещика; там исправлял он должность — шута. В фризовой шинели, подпоясанный красным платком, он беспрестанно говорил стихи на каком-то языке, смешанном из всех языков... Он сам рассказывал мне свою историю и горько жаловался на свою бедность, но еще больше на то, что никто его не понимает; что бьют его, когда он, в пылу поэтического восторга, за недостатком бумаги, изрежет столы своими стихами; а еще более на то, что все смеются над его единственным сладким воспоминанием, которого не мог истребить враждебный дар Сегелиеля, — над его первыми стихами к Шарлотте.

---

## Сказка

*о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалось в светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником*

Во светлой мрачности блистающих ночей  
Явился темный свет из солнечных лучей.

*Кн. Шаховской*

Коллежский советник Иван Богданович Отношенье,— в течение сорокалетнего служения своего в звании председателя какой-то временной комиссии,— проводил жизнь тихую и безмятежную. Каждое утро, за исключением праздников, он вставал в 8 часов; в 9 отправлялся в комиссию, где хладнокровно,— не трогаясь ни сердцем, ни с места, не сердясь и не ломая головы понапрасну,— очищал нумера, подписывал отношения, помечал входящие. В сем занятии проходило утро. Подчиненные подражали во всем своему начальнику: спокойно, бесстрастно писали, переписывали бумаги и составляли им реестры и алфавиты, не обращая внимания ни на дела, ни на просителей. Войдя в комиссию Ивана Богдановича, можно было подумать, что вы вошли в трапезу молчальников,— таково было ее безмолвие. Какая-то тень жизни появлялась в ней к концу года, пред составлением годовых отчетов; тогда заметно было во всех чиновниках особенного рода движение, а на лице Ивана Богдановича даже беспокойство; но когда по составлении отчета Иван Богданович подводил итог, тогда его лицо прояснялось и он,— ударив по столу рукою и сильно вздохнув, как после тяжелой работы,— восклицал: «Ну, слава богу! в нынешнем году у нас бумаг вдвое более против прошлого года!» — и радость разливалась по целой комиссии, и назавтра снова с тем же спокойствием чиновники принимались за обыкновенную свою работу; подобная же аккуратность замечалась и во всех действиях Ивана Богдановича: никто ранее его не являлся поздравлять на-

чальников с праздником, днем именин или рожденья; в Новый год ничье имя выше его не стояло на визитных реестрах; мудро ли, что за все это он пользовался репутациею основательного, делового человека и аккуратного чиновника. Но Иван Богданович позволял себе и маленькие наслаждения: в будни едва било 3 часа, как Иван Богданович вскакивал с своего места, — хотя бы ему оставалось поставить одну точку к недоконченной бумаге, — брал шляпу, кланялся своим подчиненным и, — проходя мимо их, говорил любимым чиновникам — двум начальникам отделений и одному столоначальнику: «Ну... сегодня... знаешь?» Любимые чиновники понимали значение этих таинственных слов и после обеда являлись в дом Ивана Богдановича на партию бостона; и аккуратным поведением начальника было произведено столь благодетельное влияние на его подчиненных, что для них — поутру явиться в канцелярию, а вечером играть в бостон — казалось необходимою принадлежностью службы. В праздники они не ходили в комиссию и не играли в бостон, потому что в праздничный день Иван Богданович имел обыкновение после обеда, — хорошенько расправив свой Аннинский крест, — выходить один или с дамами на Невский проспект; или заходить в кабинет восковых фигур или в зверинец, а иногда и в театр, когда давали веселую пьесу и плясали по-цыгански. В сем безмятежном счастье протекло, как сказал я, более сорока лет, — и во все это время ни образ жизни, ни даже черты лица Ивана Богдановича нимало не изменились; только он стал против прежнего немного поплотнее.

Однажды случись в комиссии какое-то экстренное дело, и, вообразите себе, в самую страстную субботу; с раннего утра собрались в канцелярию все чиновники, и Иван Богданович с ними; писали, писали, трудились, трудились и только к 4 часам успели окончить экстренное дело. Устал Иван Богданович после девятичасовой работы; почти обеспамятел от радости, что сбыл ее с рук и, проходя мимо своих любимых чиновников, не утерпел, проговорил: «Ну... сегодня... знаешь?» Чиновники нимало не удивились сему приглашению и почли его естественным следствием их утреннего занятия, — так твердо был внушен им канцелярский порядок; они явились в урочное время, разложились карточные столы, поставились свечи, и комнаты огласились веселыми словами: шесть в сюрках, один на червях, мизер уверт и проч. т. п.

Но эти слова достигли до почтенной матушки Ивана Богдановича, очень набожной старушки, которая имела обыкновение по целым дням не говорить ни слова, не вставать с места и прилежно заниматься вывязыванием на длинных спицах фуфаек, колпаков и других произведений изящного искусства. На этот раз отворились запекшиеся уста ее, и она, прерывающимся от непривычки голосом, произнесла:

— Иван Богданович! А! Иван Богданович! что ты... это?... ведь это... это... это... не водится... в такой день... в карты... Иван Богданович!.. а!.. Иван Богданович! что ты... что ты... в эдакой день... скоро заутреня... что ты...

Я и забыл сказать, что Иван Богданович, тихий и смиренный в продолжение целого дня, делался львом за картами; зеленый стол производил на него какое-то очарование, как Сивиллин треножник, — духовное начало деятельности, разлитое природою по всем своим произведениям; потребность раздражения; то таинственное чувство, которое заставляет иных совершать преступления, других изнурять свою душу мучительною любовью, третьих прибегать к опиуму, — в организме Ивана Богдановича образовалось под видом страсти к бостону; минуты за бостоном были *сильными минутами* в жизни Ивана Богдановича; в эти минуты сосредоточивалась вся его душевная деятельность, быстрее билась пульс, кровь скорее обращалась в жилах, глаза горели, и весь он был в каком-то самозабвении.

После этого не мудрено, если Иван Богданович почти не слышал или не хотел слушать слов старушки: к тому же в эту минуту у него на руках были десять в сюрсах, — неслыханное дело в четверном бостоне!

Закрыв десятую взятку, Иван Богданович отдохнул от сильного напряжения и проговорил:

— Не беспокойтесь, матушка, еще до заутрени далеко; мы люди деловые, нам нельзя разбирать времени, нам и бог простит — мы же тотчас и кончим.

Между тем на зеленом столе ремиз цепляется за ремизом; пулька растет горою; приходят игры небывалые, такие игры, о которых долго сохраняется память в изустных преданиях бостонной летописи; игра была во всем пылу, во всей красе, во всем интересе, когда раздался первый выстрел из пушки; игроки не слышали его; они не видали и нового появления матушки Ивана Богдановича, которая, истощив все свое красноречие, молча по-

качала головою и наконец ушла из дома, чтобы присесть себе в церкви место попокойнее.

Вот другой выстрел — а они все играют: ремиз цепляется за ремизом, пулька растет, и приходят игры небывалые.

Вот и третий, игроки вздрогнули, хотят приподняться, — но не тут-то было: они приросли к стульям; их руки сами собою берут карты, тасуют, раздают; их язык сам собою произносит заветные слова бостона; двери комнаты сами собою прихлопнулись.

Вот на улице звон колокольный, все в движении, говорят прохожие, стучат экипажи, а игроки все играют, и ремиз цепляется за ремизом.

«Пора б кончить!» — хотел было сказать один из гостей, но язык его не послушался, как-то странно перевернулся и, сбитый с толку, произнес:

— Ах! что может сравниться с удовольствием играть в бостон в страстную субботу.

«Конечно! — хотел отвечать ему другой, — да что подумают о нас домашние?» — но и его язык также не послушался, а произнес:

— Пусть домашние говорят что хотят, нам здесь гораздо веселее.

С удивлением слушают они друг друга, хотят противоречить, но голова их сама нагибается в знак согласия.

Вот отошла заутреня, отошла и обедня; добрые люди, — а с ними матушка Ивана Богдановича, — в веселых мечтах сладко разговеться залегли в постелю; другие примеривают мундир, справляются с адрес-календарем, выправляют визитные реестры. Вот уже рассвело, на улицах чокаются, из карет выглядывает золотое шитье, треугольные шляпы торчат на фризových и камлотных шинелях, курьеры навеселе шатаются от дверей к дверям, суют карточки в руки швейцаров и половину сеют на улице, мальчишки играют в биток и катают яйца.

Но в комнате игроков все еще ночь; все еще горят свечи; игроков мучит и совесть, и голод, и сон, и усталость, и жажда; судорожно изгибаются они на стульях, стараясь от них оторваться, но тщетно: усталые руки тасуют карты, язык выговаривает «шесть» и «восемь», ремиз цепляется за ремизом, пулька растет, приходят игры небывалые.

Наконец догадался один из игроков и, собрав силы, задул свечки; в одно мгновение они загорелись черным

пламенем; во все стороны разлились темные лучи, и белая тень от игроков протянулась по полу; карты выскочили у них из рук: дамы столкнули игроков со стульев, сели на их место, схватили их, перетасовали,— и составила целая масть Иванов Богдановичей, целая масть начальников отделения, целая масть столоначальников, и началась игра, игра адская, которая никогда не приходила в голову сочинителя «Открытых таинств картежной игры».

Между тем короли уселись на креслах, тузы на диванах, валеты снимали со свечей, десятки, словно толстые откупщики, гордо расхаживали по комнате, двойки и тройки почтительно прижимались к стенкам.

Не знаю, долго ли дамы хлопали об стол несчастных Иванов Богдановичей, загибали на них углы, гнули их в пароль, в досаде кусали зубами и бросали на пол...

Когда матушка Ивана Богдановича, тщетно ожидавшая его к обеду, узнала, что он никуда не выезжал, и вошла к нему в комнату,— он и его товарищи, усталые, измученные, снали мертвым сном: кто на столе, кто под столом, кто на стуле...

И по канцеляриям долго дивились: отчего Ивану Богдановичу не удалось в светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником?



---

## Сказка

о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем

Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе, и уверял с божбою в том все село; но миряне качали головами и даже подымали его на смех.

Гоголь, в «Вечерах на хуторе»

По торговым селам Реженского уезда было сделано от земского суда следующее объявление:

«От Реженского земского суда объявляется, что в ведомстве его, на выгонной земле деревни Морковкиной-Наташиной тож, 21-го минувшего ноября найдено неизвестно чье мертвое мужеска пола тело, одетое в серый суконный ветхий шинель; в нитяном кушаке, жилете суконном красного и отчасти зеленого цвета, в рубашке красной пестрядинной; на голове картуз из старых пестрядинных тряпич с кожаным козырьком; от роду покойному около 43 лет, росту 2 арш. 10 вершков, волосом светлорус, лицом бел, гладколиц, глаза серые, бороду бреет, подбородок с проседью, нос велик и несколько на сторону, телосложения слабого. По чему сим объявляется: не окажется ли оному телу бывших родственников или владельца оногo тела; таковые благоволили бы уведомить от себя в село Морковкино-Наташино тож, где и следствие об оном, неизвестно кому принадлежащем, теле производится; а если таковых не найдется, то и о том благоволили б уведомить в оное же село Морковкино».

Три недели прошло в ожидании владельцев мертвого тела; никто не являлся, и наконец заседатель с уездным лекарем отправились к помещику села Морковкина в гости; в выморочной избе отвели квартиру приказному Севастьянычу, также прикомандированному на следствие. В той же избе, в заклету, находилось мертвое тело, которое назавтра суд собирался вскрыть и похоронить обыкновенным порядком. Ласковый помещик, для утешения Севастьяныча в его уединении, прислал ему с

барского двора гуся с подливой да штоф домашней желудочной настойки.

Уже смерклось. Севастьяныч, как человек аккуратный, вместо того чтоб, по обыкновению своих собратий, взобраться на полати возле только что истопленной печи,—рассудил за благо заняться приготовлением бумаг к завтрашнему заседанию, по тому более уважению, что хотя от гуся остались одни кости, но только четверть штофа была опорожнена; он предварительно поправил светильню в железном ночнике, нарочито для подобных случаев хранимом старостою села Морковкина,—и потом из кожаного мешка вытащил старую замасленную тетрадку. Севастьяныч не мог на нее смотреть без умиления: то были выписки из различных указов, касающихся до земских дел, доставшиеся ему по наследству от батюшки, блаженной памяти подьячего с приписью,—в городе Реженске за ябеды, лихоимство и непристойное поведение отставленного от должности, с таковым, впрочем, пояснением, чтобы его впредь никуда не определять и просьб от него не принимать,—за что он и пользовался уважением всего уезда. Севастьяныч невольно вспоминал, что эта тетрадка была единственный кодекс, которым руководствовался Реженский земский суд в своих действиях; что один Севастьяныч мог быть истолкователем таинственных символов этой Сивиллиной книги; что посредством ее магической силы он держал в повиновении и исправника и заседателей и заставлял всех жителей околodka прибегать к себе за советами и наставлениями; почему он и берег ее как зеницу ока, никому не показывал и вынимал из-под спуда только в случае крайней надобности; с усмешкою он останавливался на тех страницах, где частию рукою его покойного батюшки и частию его собственною были то замараны, то вновь написаны разные незначащие частицы, как-то: *не, а, и проч.*, и естественным образом Севастьянычу приходило на ум: как глупы люди и как умны он и его батюшка.

Между тем он опорожнил вторую четверть штофа и принялся за работу; но пока привычная рука его быстро выгибала крючки на бумаге, его самолюбие, возбужденное видом тетрадки, работало: он вспоминал, сколько раз он перевозил мертвые тела на границу соседнего уезда и тем избавлял своего исправника от излишних хлопот; да и вообще: составить ли определение, справки

ли навести, подвести ли законы, войти ли в сношение с просителями, рапортовать ли начальству о невозможности исполнить его предписания,— везде и на все Севастьяныч; с улыбкою вспоминал он об изобретенном им средстве: всякий повальный обыск обращать в любую сторону; он вспомнил, как еще недавно таким невинным способом он спас одного своего благоприятеля: этот благоприятель сделал какое-то дельце, за которое мог бы легко совершить некоторое не совсем приятное путешествие; учинен допрос, наряжен повальный обыск,— но при сем случае Севастьяныч надоумил спросить прежде всех одного грамотного молодца с руки его благоприятеля; по словам грамотного молодца написали бумагу, которую грамотный молодец, перекрестясь, подписал, а сам Севастьяныч приступил к одному обывателю, к другому, к третьему с вопросом: «И ты тоже, и ты тоже?» — да так скоро начал перебирать их, что, пока обыватели еще чесали за ухом и кланялись, приготавливаясь к ответу,— он успел их переспросить всех до последнего, и грамотный молодец снова, за неумением грамоты своих товарищей, подписал, перекрестясь, их *единогласное* показание. С не меньшим удовольствием вспоминал Севастьяныч, как при случившемся значительном начете на исправника он успел вплести в это дело человек до пятнадцати, начет разложить на всю братию, а потом всех и подвести под милостивый манифест.— Словом, Севастьяныч видел, что во всех знаменитых делах Реженского земского суда он был единственным виновником, единственным выдумщиком и единственным исполнителем; что без него бы погиб заседатель, погиб исправник, погиб и уездный судья, и уездный предводитель; что им одним держится древняя слава Реженского уезда,— и невольно по душе Севастьяныча пробежало сладкое ощущение собственного достоинства. Правда, издали — как будто из облаков — мелькали ему в глаза сердитые глаза губернатора, допрашивающее лицо секретаря уголовной палаты; но он посмотрел на занесенные метелью окошки; подумал о трех стах верстах, отделяющих его от сего ужасного призрака; для увеличения бодрости выпил третью четверть штофа — и мысли его сделались гораздо веселее: ему представился его веселый реженский домик, нажитый своим умком; бутылки с наливкою на окошке между двумя бальзаминными горшками; шкаф с посудой и между нею в середине на почетном ме-

сте хрустальная на фарфоровом блюде перешица: вот идет его полная белолицая Лукерья Петровна; в руках у ней сдобный крупчатый каравай; вот телка, откормленная к святкам, смотрит на Севастьяныча; большой чайник с самоваром ему кланяется и подвигается к нему; вот теплая лежанка, а возле лежанки перина с камчатым одеялом, а под периною свернутый лоскут пестрядки, а в пестрядке белая холстинка, а в холстинке кожаный книжник, а в книжнике серенькие бумажки; — тут воображение перенесло Севастьяныча в лета его юности, ему представилось его бедное житье-бытье в батюшкином доме; как часто он голодал от матушкиной скупости; как его отдали к дьячку учиться грамоте, — он от души хохотал, вспоминая, как однажды с товарищами забрался к своему учителю в сад за яблоками и напугал дьячка, который принял его за настоящего вора; как за то был высечен и в отмщение оскоромил своего учителя в самую страстную пятницу; потом представлялось ему: как наконец он обогнал всех своих сверстников и достиг до того, что читал апостол в приходской церкви, начиная самым густым басом и кончая самым тоненьким голоском, на удивление всему городу; как исправник, заметив, что в ребенке будет прок, приписал его к земскому суду; как он начал входить в ум; оженился с своею дражайшею Лукерьей Петровной; получил чин губернского регистратора, в коем и до днесь пребывает да добра наживает; сердце его растаяло от умиления, и он на радости опорожнил и последнюю четверть обворожительного напитка. Тут пришло Севастьянычу в голову, что он не только что в приказе, но хват на все руки: как заслушиваются его, когда он под вечерок в веселый час примется рассказывать о Бове Королевиче, о похождениях Ваньки Каина, о путешествии купца Коробейникова в Иерусалим — неумолкаемые гусли, да и только! — и Севастьяныч начал мечтать: куда бы хорошо было, если бы у него была сила Бовы Королевича и он бы смог кого за руку — у того рука прочь, кого за голову — у того голова прочь; потом захотелось ему посмотреть, что за Кипрский таков остров есть, который, как описывает Коробейников, изобилен деревянным маслом и греческим мылом, где люди ездят на ослах и на верблюдах, и он стал смеяться над тамошними обывателями, которые не могут догадаться запрячь их в сани; тут начались в голове его рассуждения: он нашел, что или в книгах не-

правду пишут, или вообще греки должны быть народ очень глупый, потому что он сам расспрашивал у греков,— приезжавших на реженскую ярмарку с мылом и пряниками, и которым, кажется, должно было знать, что в их земле делается,— зачем они взяли город Трои, — как именно пишет Коробейников,— а Царьград уступили туркам! и никакого толка от этого народа не мог добиться: что за Троя такая, греки не могли ему рассказать, говоря, что, вероятно, выстроили и взяли этот город в их отсутствие; — пока он занимался этим важным вопросом, пред глазами его проходили: и арабские разбойники; и Гнилое море; и процессия погребения кота; и палаты царя Фараона, внутри все вызолоченные; и птица Строфокамил, вышиною с человека, с утиною головою, с камнем в копыте...

Его размышления были прерваны следующими словами, которые кто-то проговорил подле него:

— Батюшка, Иван Севастьяныч! я к вам с покорнейшею просьбою.

Эти слова напомнили Севастьянычу его ролю приказного, и он, по обыкновению, принялся писать гораздо скорее, наклонил голову как можно ниже и, не сворачивая глаз с бумаги, отвечал протяжным голосом:

— Что вам угодно?

— Вы от суда вызываете владельцев поднятого в Морковкине мертвого тела.

— Та-ак-с.

— Так изволите видеть — это тело мое.

— Та-ак-с.

— Так нельзя ли мне сделать милость, поскорее его выдать?

— Та-ак-с.

— А уж на благодарность мою надейтесь...

— Та-ак-с.— Что же покойник-та, крепостной, что ли, ваш был?..

— Нет, Иван Севастьяныч, какой крепостной, это тело мое, собственное мое...

— Та-ак-с.

— Вы можете себе вообразить, каково мне без тела... сделайте одолжение, помогите поскорее.

— Все можно-с, да трудновато немного скоро-то это дело сделать,— ведь оно не блин, кругом пальца не обернешь; справки надобно навести... Кабы подмазать немного...

— Да уж в этом не сомневайтесь,— выдайте лишь только мое тело, так я и пятидесяти рублей не пожалею...

При сих словах Севастьяныч поднял голову, но, не видя никого, сказал:

— Да войдите сюда, что на морозе стоять.

— Да я здесь, Иван Севастьяныч, возле вас стою.

Севастьяныч поправил лампадку, протер глаза, но, не видя ничего, пробормотал:

— Тьфу, к черту! — да что я, ослеп, что ли? — я вас не вижу, сударь.

— Ничего нет мудреного! как же вам меня видеть? я — без тела!

— Я, право, в толк не возьму вашей речи, дайте хоть взглянуть на себя.

— Извольте, я могу вам показаться на минуту... только мне это очень трудно...

И при этих словах в темном углу стало показываться какое-то лицо без образа; то явится, то опять пропадет, словно молодой человек, в первый раз приехавший на бал,— хочется ему подойти к дамам и боится, выставит лицо из толпы и опять спрячется...

— Извините-с,— между тем говорил голос,— сделайте милость, извините, вы не можете себе вообразить, как трудно без тела показываться!.. сделайте милость, отдайте мне его поскорее,— говорят вам, что пятидесяти рублей не пожалею.

— Рад вам служить, сударь, но, право, в толк не возьму ваших речей... есть у вас просьба?..

— Помилуйте, какая просьба? как мне было без тела ее написать? уж сделайте милость, вы сами потрудитесь.

— Легко сказать, сударь, потрудиться, говорят вам, что я тут ни черта не понимаю...

— Уж пишите только,— я вам буду сказывать.

Севастьяныч вынул лист гербовой бумаги.

— Скажите, сделайте милость: есть ли у вас по крайней мере чин, имя и отчество?

— Как же?.. Меня зовут Цвеерлей-Джон-Луи.

— Чин ваш, сударь?

— Иностранец.

И Севастьяныч написал на гербовом листе крупными словами:

«В Реженский земский суд от иностранного недоросля из дворян Савелия Жалуева, объяснение».

— Что ж далее?

— Извольте только писать, я уж вам буду сказывать; пишите: имею я...

— Недвижимое имение, что ли? — спросил Севастьяныч.

— Нет-с: имею я несчастную слабость...

— К крепким напиткам, что ли? о, это весьма непохвально...

— Нет-с: имею я несчастную слабость выходить из моего тела...

— Кой черт! — вскричал Севастьяныч, кинув перо, — да вы меня морочите, сударь!

— Уверю вас, что говорю сущую правду, пишите только знайте; пятьдесят рублей вам за одну просьбу, да пятьдесят еще, когда выхлопчете дело...

И Севастьяныч снова принялся за перо.

«Сего 20 октября ехал я в кибитке, по своей надобности, по реженскому тракту, на одной подводе, и как на дворе было холодно, и дороги Реженского уезда особенно дурны...»

— Нет, уж на этом извините, — возразил Севастьяныч, — этого написать никак нельзя, это личности, а личности в просьбах помещать указами запрещено...

— По мне, пожалуй; ну, так просто: на дворе было так холодно, что я боялся заморозить свою душу, да и вообще мне так захотелось скорее приехать на ночлег... что я не утерпел... и, по своей обыкновенной привычке, выскочил из моего тела...

— Помилуйте! — вскричал Севастьяныч.

— Ничего, ничего, продолжайте; что ж делать, если такая у меня привычка... ведь в ней ничего нет противозаконного, не правда ли?

— Та-ак-с, — отвечал Севастьяныч, — что ж далее?

— Извольте писать: выскочил из моего тела, уклад его хорошенько во внутренности кибитки... чтобы оно не выпало, связал у него руки вожжами и отправился на станцию в той надежде, что лошадь сама прибежит на знакомый двор...

— Должно признаться, — заметил Севастьяныч, — что вы в сем случае поступили очень неосмотрительно.

— Приехавши на станцию, я взлез на печку отогреть душу, и когда, по расчислению моему, лошадь должна была возвратиться на постоянный двор... я вышел ее проведать, но однако же во всю ту ночь ни лошадь, ни тело

не возвращались. На другой день утром я поспешил на то место, где оставил кибитку... но уже и там ее не было... полагаю, что бездыханное мое тело от ухабов выпало из кибитки и было поднято проезжим исправником, а лошадь улелася за обозами... После трехнедельного тщетного искания я, уведомившись ныне о объявлении Реженского земского суда, коим вызываются владельцы найденного тела, покорнейше прошу оное мое тело мне выдать, яко законному своему владельцу... к чему присовокупляю покорнейшую просьбу, дабы благоволил вышеписанный суд сделать распоряжение, оное тело мое предварительно опустить в холодную воду, чтобы оно отошло; если же от случившегося падения есть в том часто упоминаемом теле какой-либо изъян или оное от мороза где-либо попортилось, то оное чрез уездного лекаря приказать поправить на мой кошт и о всем том учинить как законы повелевают, в чем и подписуюсь.

— Ну, извольте же подписывать,— сказал Севастьяныч, окончив бумагу.

— Подписывать! легко сказать! говорят вам, что у меня теперь со мною рук нету — они остались при теле; подпишите вы за меня, что за неимением рук...

— Нет! извините,— возразил Севастьяныч,— этакой и формы нет, а просьб, писанных не по форме, указами принимать запрещено; если вам угодно: за неумением грамоты...

— Как заблагорассудите! по мне все равно.

И Севастьяныч подписал: «К сему объяснению за неумением грамоты, по собственной просьбе просителя, губернский регистратор Иван Севастьянов сын Благосердов руку приложил».

— Чувствительнейше вам обязан, почтеннейший Иван Севастьянович! Ну, теперь вы похлопочите, чтоб это дело поскорее решили; не можете себе вообразить, как неловко быть без тела!.. а я сбегаю куда повидаться с женою, будьте уверены, что я уже вас не обижу.

— Пойдите, пойдите, ваше благородие! — вскричал Севастьяныч, — в просьбе противоречие. Как же вы без рук уклались или уклали в кибитке свое тело? Тьфу, к черту, ничего не понимаю.

Но ответа не было. Севастьяныч прочел еще раз просьбу, начал над нею думать, думал, думал...

Когда он проснулся, ночник погас и утренний свет пробился сквозь обтянутое пузырем окошко. С досадою



взглянул он на пустой штоф, пред ним стоявший; эта досада выбила у него из головы ночное происшествие; он забрал свои бумаги не посмотря и отправился на барский двор в надежде там опохмелиться.

Заседатель, выпив рюмку водки, принялся разбирать Севастьянычевы бумаги и напал на просьбу иностранного недоросля из дворян.

— Ну, брат Севастьяныч, — вскричал он, прочитав ее, — ты вчера на сон грядущий порядком подтянул; экую околесную нагородил! Послушайте-ка, Андрей Игнатьевич, — прибавил он, обращаясь к уездному лекарю, — вот нам какого просителя Севастьяныч предоставил. — И он прочел уездному лекарю курьезную просьбу от слова до слова, помирая со смеху.

— Пойдемте-ка, господа, — сказал он наконец, — вскрыемте это болтливое тело, да если оно не отзовется, так и похороним его подобру-поздорову, в город пора.

Эти слова напомнили Севастьянычу ночное происшествие, и как оно ни странно ему казалось, но он вспомнил о пятидесяти рублях, обещанных ему просителем, если он выхлопочет ему тело, и серьезно стал требовать от заседателя и лекаря, чтоб тело не вскрывать, потому что этим можно его перепортить, так что оно уже никуда не будет годиться, а просьбу записать во входящий обыкновенным порядком.

Само собою разумеется, что на это требование Севастьянычу отвечали советами протрезвиться, тело вскрыли, ничего в нем не нашли и похоронили.

После сего происшествия мертвцово тело стала ходить по рукам; везде ее списывали, дополняли, украшали, читали, и долго реженские старушки крестились от ужаса, ее слушая.

Предание не сохранило окончания сего необыкновенного происшествия: в одном соседнем уезде рассказывали, что в то самое время, когда лекарь дотронулся до тела своим бистурием, владелец вскочил в тело, тело поднялось, побежало и что за ним Севастьяныч долго гнался по деревне, крича изо всех сил: «Лови, лови покойника!»

В другом же уезде утверждают, что владелец и до сих пор каждое утро и вечер приходит к Севастьянычу, говоря: «Батюшка Иван Севастьяныч, что ж мое тело? когда вы мне его выдадите?» — и что Севастьяныч, не теряя бодрости, отвечает: «А вот собираются справки». Тому прошло уже лет двадцать.

---

## История о петухе, кошке и лягушке

Рассказ провинциала

Дмитрию В. Путяте

Критик. Какая цель вашей сказки?  
Автор (*униженно кланяясь*).—  
Рассказать ее вам.

В бытность свою в городе Реженске покойная моя бабушка была свидетельницей одного странного происшествия: будучи уверен, что публике необходимо знать все, что касается до меня или до моих родственников и знакомых, я расскажу это происшествие со всею подробностью, как мне его рассказывали, и, по моему обыкновению, не прибавляя от себя ни единого слова.

Много лет тому назад находился в нашем городе в звании городничего отставной прапорщик Иван Трофимович Зернушкин. Давно уже исправлял он эту должность,— да и не мудрено: все так им были довольны — никогда он ни во что не мешался; позволял всякому делать, что ему было угодно; зато не позволял никому и в свои дела вмешиваться. Некоторые затейники, побывавшие в Петербурге, часто приступали к нему с разными, небывалыми у нас и вредными нововведениями; они, например, толковали, что не худо бы осматривать, хоть изредка, лавки с съестными припасами, потому что реженские торговцы имели, не знаю отчего, привычку продавать в мясоястие баранину, а в пост рыбу, да такую, прости господи! — что хоть вон беги с рынка; иные прибавляли, что не худо бы хотя песку подсыпать по улицам и запретить выкидывать на них всякий вздор из домов, ибо от того будто бы в осень никуда пройти нельзя, и будто бы от того заражается воздух; бывали даже такие, которые утверждали, что необходимо в городе завести хотя одну пожарную трубу с лестницами, баграми, топорами и другими вычурами. Иван Трофимович

на все сии неразумные требования отвечал весьма рассудительно, остроумно и с твердостью. Он доказывал, что лавочники никому своего товару не навязывают и что всякой сам должен смотреть, что покупает; что одни лишь пустодомы да непорядочные люди могут требовать от городничего наблюдения за таким делом, которое должна знать последняя кухарка. Касательно мостовой он говорил, что бог дает дождь и хорошую погоду, и, видно, уж такой положен предел, чтобы осенью была по улицам грязь по колено: сверх того добрые люди сидят дома и не шатаются по улицам, а когда русскому человеку нужна, так он везде пройдет. Если бы, прибавлял он, на улицу ничего не выкидывали, свиньям бедных людей нечего было бы есть в осеннее и зимнее время. Что касается до воздуха, то воздух не человек и заразиться не может. Относительно пожарной трубы Иван Трофимович доказывал, что таковой и прежде в городе Реженске не имелось, а ныне, когда три части оно уже выгорели, для четвертой нечего уже затевать такие затеи; что, наконец, он, карабинерного полка отставной прапорщик, Иван Трофимов сын Зернушкин, уже не первый десяток на сем свете живет и сам знает свою должность исправлять, городом управлять и начальству отвечать. Такие благоразумные и неоднократно повторенные рассуждения скоро закрыли уста затейникам, особенно, когда однажды, в сердитый час, Иван Трофимович присокупил, что его, городничего, должность не за грязью на мостовых и не за гнилою рыбою смотреть, а за теми, которые учнут в фортеции злые толки распускать и противу службы злое умышлять.

Все в городе похвалили Ивана Трофимовича за его твердый нрав и обычай, и, благодаря бога, у нас, в Реженске, и до сих пор все осталось по-прежнему: на улицах грязь по колено, по рынкам пройти нельзя. Та только разница, что вместо пожарной трубы в последнее время у нас заведена прекрасная зеленая бочка с двумя также зелеными баграми, но, по завещанию Ивана Трофимовича, на пожар они никогда не вывозятся, ибо иначе легко могли бы испортиться, а хранятся за замком, в нарочно для того определенном сарае. Время оправдало благоразумное распоряжение Ивана Трофимовича: скоро потом проезжавший чиновник долгом почел донести губернатору об отличном устройстве пожарных инструментов в городе Реженске.

Как бы то ни было, Иван Трофимович, избавившись от доуки реженских затейников, обратился к своим любимым занятиям, которых у него было два,— а именно: чай и кошка. Да, милостивые государи! Иван Трофимович очень любил чай, и даже в нем был большой знаток.

По сей-то причине он часто хаживал по лавкам собирать у купцов чайные пробочки, чтоб не ошибиться. Таким образом, у Ивана Трофимовича набиралось когда четверть, когда полфунтика. Не то чтоб он все пробочки мешал вместе: нет! Как настоящий знаток, он выпивал каждую поодиночке, и которого чай он похвалит, тот купец и несет ему гостинец. Говорят, однако же, к чести Ивана Трофимовича,— такая была у него добрая душа! — что он при этом случае руководствовался не столько качеством чая, сколько или очередью между купцами, или разными случавшимися обстоятельствами: так, например, тот, у кого что-нибудь было на душе, уже наверное знал, что Иван Трофимович придет к нему за пробочкою. Не то чтоб это можно было назвать взяточкою! Нет! Наши реженские лавочники так любили Ивана Трофимовича, что носили к нему все *из чести!* Да не для чего было и взятки давать: дел таких, как нынче, не было. Разумеется, и тогда в городе было не без ссор, не без зависти, не без злости,— только тогда обычай был другой; придут, бывало, к Ивану Трофимовичу тяжущиеся: оба говорят, говорят,— кто кого перекричит; а Иван Трофимович послушает, послушает,— да одному толчок, другому другой: — никого не обидит, покойник, и вот тяжущиеся потолкуют между собою, потолкуют, много что подерутся,— душеньку отведут, да тут же в питейном доме и помирятся,— да еще за здоровье Ивана Трофимовича выпьют. Счастливое тогда времечко было!

Любил кушать чай Иван Трофимович, но не менее того любил он и кошку. Не то чтоб он кошку любил,— нет! — а любил, чтоб кошка у него вокруг шеи ходила, ластилась, терлась да на ухо ему шептала. Правду сказать, да что и за кошка! Нынче уж нет таких кошек! Большая, лоснистая, черная, а мордка, душка и лапки белые, как снег, словно в перчатках. Уж нечего и говорить: у Ивана Трофимовича мышей и в заводе не бывало. Да какие у ней были милые привычки! Говорю вам, что нынче уж нет таких кошек. Бывало, Иван Трофимович проснется, а кошка прямо к нему на постелю, то вытянется, то согнется дугою, то замурлычет, то замя-

учит,— а зеленые глазки у ней так и катаются, словно изумруды. Тогда Иван Трофимович вставал, разводил огонь, ставил чайник в печку, надевал фризую шинель, брал кулечек и отправлялся на рынок, а кошка вслед за ним. Тут и собаки лают, и возы везут, и народ кричит, а ей горя мало: только что через лужицы перепрыгивает да лапки отряхает. Куда в лавку Иван Трофимович, туда и его кошка,— удивленье всему городу! — и вот ей где рыбку, где свежинки: она знай кушает да мурлычет! Возвратится Иван Трофимович, возьмет чайник, сядет к столику возле окошка, а кошка даром, что съта: не думайте, чтоб она, как нынешние кошки, свернулась в кружок да захрапела,— нет!— она на столик проберется, между чашки и сахарницы, ничего не заденет, или сядет на окошке на солнышко, или на плечо к Ивану Трофимовичу, и мурлыкать не мурлычет, а трется, трется вокруг шеи, и шепчет-шепчет на ухо Ивану Трофимовичу; Иван же Трофимович то погладит ее, то чайку прихлебнет... Так протекали долгие дни.

Один из новейших сочинителей описал эти немые минуты семейственного счастья, когда в голове не проходит ни одной мысли, в душе рождается какое-то тихое, невыразимое чувство; но кто опишет счастье Ивана Трофимовича в этом уединении! Теплая избушка, теплый тулуп, пестрые обои, мышцы кота погребают во всю стену, треугольная шляпа, шпага; солнышко светит, от чаю пар столбом, мимо окошка всякой кланяется, вокруг шеи теплая Васькина шкурка, и больше никого — ни детей, ни жены, ни кухарки, и триста верст от губернского города! И это тихое, невыразимое счастье повторяется каждый день; и не один раз в день, а два, поутру и после обеда; иногда же и в промежутках! Две были цели в жизни Ивана Трофимовича: напиться чаю и молча держать Ваську на шее. Эта мысль не оставляла его ни на минуту: он засыпал с нею, видел ее во сне и с нею просыпался; к этой мысли были привязаны все его поступки, все желания, все малейшие движения его души,— других в ней не было. Приставал ли к нему кто-нибудь с делом, случалось ли что важное в городе, он отлагал все, чтоб не пропустить положенного часа для чаю. Говорили ли о ревизоре,— он боялся его только потому, что к нему неловко будет явиться вместе с Ваською.

Но нет вечного счастья в этой жизни! У Ивана Тро-

фимовича была однофамилица, и даже несколько сродни, из дворян,— вдова Марфа Осиповна Зернушкина. Случись у ней какое-то дело в городе Реженске: никак, кто-то у ней мельницу околдовал, ртути в плотину напустил. Марфа Осиповна была женщина бойкая, умная, скопидомка и хотя грамоте не умела, но тяжёбые дела знала лучше иного приказного: потому решилась она хлопотать о делах сама, своею особою, а Иван Трофимович был ей нужен, чтоб за нее по родству руку прикладывать. Она въехала к нему прямо в дом. Соблазна тут никакого быть не могло, потому что им обоим вместе было лет сотня с лишком: добрый Иван Трофимович с радушием отвел ей у себя каморку. Вот, разумеется, при свидании родные обрадовались. Пошли толки о том, о сем, о старине, о новизне, об урожае,— Васька туда же, то ластится, то трется, то замурлычет, то замаячит, то посмотрит на них прищуренными глазками...

— Э! да какая у тебя товарка! — сказала Марфа Осиповна, — давно ли, батюшка, завелся?

— Да давно уж, матушка! лет восемь; с тех пор как мы с тобою не видались...

— Да где, батюшка, и видеться! Ведь восемьдесят верст не шутка! Ты человек служебный, а мне уж не под лета. Три дня, батюшка, к тебе тащилась: ведь на своих!.. Чуть было в грязи не утонула, а еще все большой дороги держалась; ты знаешь, у нас новую дорогу сделали! Кисанька! Кисанька!.. Экая славная!.. Ну, вижу я, ты, право, домком позавелся! Уж не жениться ли хочешь? На дворе я у тебя видела матерого петуха, а здесь кота заморского: а ведь по нашему, по бабьему реченью, кот да петух, что жена, милый друг!

— Ну уж, матушка Марфа Осиповна: что до петуха касается, то его хоть бы не было. Такой крикун — провал его возьми! — глаз свести не даст. Я, пожалуй, вам его хоть даром отдам...

— Благодарствую, батюшка Иван Трофимович. Да зачем это?

— И! ничего, матушка! свои люди, сочтемся. А уж Васька-то мой! То уж подлинно сказать, Марфа Осиповна, что мой Васька милее иной жены. Кабы вы знали, какой затейник, какой забавник! Не только что на охоту ходит, да песни поет, да старую шею у меня греет; нет, матушка: ведь от меня он крохи не получает, а сам со мною по городу бродит да с лавочников оброк берет!..

— Неужели в самом деле!

Невозможно описать всех рассказов Ивана Трофимовича и всех расспросов Марфы Осиповны, и я, подобно сочинителям чувствительных романов, когда дело доходит до страшной завязки, предоставляю читателям дополнить воображением все, что было сказано, недосказано и пересказано при этом свидании.

Прошло несколько дней. Однажды после обеда, сидя за чайным столиком, Марфа Осиповна сказала Ивану Трофимовичу:

— Смотрю я на тебя, батюшка!..

— Да! — отвечал Иван Трофимович. — Так что же?

— А то, что нехорошо!

— Что нехорошо?

— Да так! нехорошо...

— Да что оно такое нехорошо, матушка?

— А то, зачем ты позволяешь кошке себе на ухо шептать!

— На ухо шептать?

— Да, вон видишь: ты, батюшка, ее отогнал, а она тебе опять в ухо лезет.

— Признательно вам сказать, Марфа Осиповна, что же тут дурного? Оно тепло и приятно.

— Да то тут дурного, Иван Трофимович, что она тебе жабу в голове нашепчет.

— Как жабу нашепчет?

— Да так, что у тебя, ни с того ни с сего, жаба в голове заведется.

— Что ты, матушка, говоришь? Уж жаба в голове заведется!.. Да как она туда пойдет?

— Как хочешь, Иван Трофимович! верь или не верь: я тебе не свои слова говорю, а что от родителей слыхала. Ты помнишь батюшку, покойника: он, бывало, слова даром не проронит; а он частенько — царство ему небесное! — толковал, что если кому кошка на ухо шепчет, у того непременно в голове жаба заведется.

«Что эта баба мелет? — думал про себя Иван Трофимович, ложась в постель и поглаживая Ваську. — Вишь, кошка жабу может нашептать! Чего эти бабы не выдумают!»

Однако ж у Ивана Трофимовича в голове и один и два. Вот кажется Ивану Трофимовичу, что его что-то в голову стукнуло, и будто голова у него заболела. И он

думает: «Болит она аль нет? болит, точно болит!.. Нет, не болит, точно не болит!..»

Вставши поутру, Иван Трофимович, как человек благоразумный, рассудил, что в таких случаях лучше всего спросить человека знающего. Был у него задушевный приятель, Богдан Иванович, уездный лекарь. Давно они уже с ним не видались.— «Дай-ка зайду к Богдаше,— сказал Иван Трофимович,— да спрошу: он человек искусный и верно мне всю правду скажет».— Сказано — сделано.

Не хотелось Ивану Трофимовичу признаться, что он поверил бабьим сплетням, но, как человек тонкий, завел речь стороной.

После обыкновенных приветствий Иван Трофимович сказал лекарю:

— Что это, батюшка, Богдан Иванович? У нас в городе все головой жалуются. Отчего бы это?

— Да не мудрено, Иван Трофимович! — отвечал лекарь.— Теперь пора осенняя, а в эту пору обыкновенно усиливается геморрой.

— А разве только что от геморроя и может болеть голова?

— Нет; она может болеть и от разных причин: от простуды, от угару, от несварения пищи.

— А от каких ни есть других причин может болеть голова?

— Да от каких же это?

— Ну, примером сказать, правда ли это, батюшка, что будто бы иногда у человека жаба заводится в голове?

— Мало ли чудес в теле человеческом! Бывали и такие примеры.

— Как! Бывали?

— Да, но, к счастью, очень редко.

— Какие чудеса на свете бывают! Да как же помочь в таком несчастном случае?

— Ну, тут уж надобно делать операцию!

— Операцию!

— Да! И очень трудную. Вскрывают голову.

— Вскрывают голову? Да как же это?

— Да вот, видишь: есть такой инструмент; он словно крышка с чайника, только кругом его острые зубчики, как у пилки.

— Ну?



— Вот на голове выбреют волосы, кожицу подрежут кругом, да и примутся вертеть этот инструмент на черепе: он и выпилит из него кружочек.

— Ну?

— Ну, кружочек снимут: если лягушка или что другое на том месте, то...

— Как, если на том месте!.. А если на другом?

— Ну, так еще вертят череп.

Ноги оледенели у Ивана Трофимовича; однако ж он собрался с силами и выговорил:

— Как же это, батюшка! этак всю голову как тыкву изрежут!.. Да что ж с человеком-то в это время бывает?

— Чему быть с человеком! Он лежит без памяти.

— И живут еще после такового мучения?

— Признательно сказать, Иван Трофимович, так почти всегда умирают.

В раздумье пошел Иван Трофимович от лекаря.— «Не соврала баба! — сказал он дорогою, — не соврала! Экая беда какая!» — И, пришедший домой, он увидел, что Марфа Осиповна уже собирается в путь.

— Куда спешишь, матушка?

— Да что, Иван Трофимович, время терять! Спасибо тебе, все дела мои покончила; какие хвосты остались, ты и без меня их заправишь. Благодарим за хлеб, за соль..

— Не на чем, матушка, не на чем!

Когда Марфа Осиповна собралась совсем уже садиться в кибитку, Иван Трофимович, скрепя сердце, сказал ей:

— Послушай, матушка: подарил я тебе петуха... возьми уж... и кошку!

Марфе Осиповне того только и хотелось.

— И! зачем это! — отвечала она. — Ведь у тебя Васька единое утешение...

— Нет, матушка! Я вот, видишь, человек холостой, прибирать в доме некому, а ведь кошка блудница; прыгнет неравно куда, да заденет, разобьет... У тебя же в деревне простор большой.

— И подлинно так, Иван Трофимович! Давай, давай; а я тебе за то к великому посту пришлю медку к чаю да грибков сушеных... Ведь ты, чай, постничаешь?..

Почти слезы навернулись у Ивана Трофимовича, когда пришлось расставаться с Ваською; но делать было нечего. Петуха усадили в лукошко, Ваську в мешок,

Марфу Осиповну в кибитку, и все тряхнулось и пока- тилось.

С тех пор жизнь опостылела Ивану Трофимовичу. Все ему грустно, все холодно вокруг шеи; даже чай ему ка- зался горьким, сколько он ни прикусывал сахара. Вой- дет ли в комнату,— ему чудится, что Васька мурлычет; пойдет ли по городу — все оборачивается полюбоваться на него; то схватится за холодную шею,— и нет Васьки!..

Однажды, когда Иван Трофимович сидел за чайным столиком и перед ним стыла налитая чашка, зашел к нему приятель.

— Здравствуй, батюшка Иван Трофимович! Подобру ли, поздорову поживаешь?..

— Нет, почтеннейший!.. нездоровится! Даже чай в горлышко не идет.

— Да что ж такое с вами, Иван Трофимович?

— Да бог весть что!.. И голова побаливает, да и что- то грустно все; ни на что глядеть не хочется.

— И, батюшка, Иван Трофимович! Хотите, я вас ле- карству научу?

— Удружи, почтеннейший!

— Прибавляйте кизлярской водочки к чаю,— так не то заговорите.

— Что ты, почтеннейший! Я сроду хмельного в рот не брал и вкусу в нем не знаю.

— Попробуйте. Ведь вам уж пьяницею не сделать- ся!.. А кизлярская водка с чаем, скажу вам, лучшее ле- карство от всех болезней. Лекаря обыкновенно ее отсо- ветывают оттого, что это лекарство отнимает у них барыши, а его действительность я сам на себе испытал. Вот, онамнясь, у бугорья мост у меня под кибиткою провалился: кучер еще как-то удержался, а меня отбро- сило в промоину,— по уши в воду, батюшка! — Нитки сухой не осталось! Приехал домой,— день-то был мороз- ный,— такая меня проняла трясовица, что свету божьего невзвидел: в голову бьет, зубы стучат, руки и ноги ходе- нем ходят. Что ж я? — Жена! давай чаю, давай водки! Да как вытянул стаканчика два, на другой день как ру- кою сняло. Ведь это уж видимый опыт!.. Какое бы лекар- ство так скоро подействовало? Послушайтесь, Иван Тро- фимович, попробуйте: право, благодарить меня будете! Ведь есть у вас кизлярская?..

— Держу для приятелей.

— Ну, попробуйте! Ведь раз — ничего не стоит!

Иван Трофимович послушался, попробовал; сперва было поморщился, но потом он сказал: «Странное дело!.. Водка лучше вкус придает чаю! Посмотрим, какая-то будет польза».

После двух чашек в самом деле Ивану Трофимовичу сделалось гораздо веселее. Это наслаждение он повторил и на другой день, и на третий, и на четвертый, и так далее.

Однажды сильная головная боль разбудила Ивана Трофимовича: он вскочил с постели как угорелый. Скорей к кизлярке: выпил — помогло. Через несколько времени другой толчок, и сильнее первого: опять к кизлярке, — и опять помогло. Потом еще третий, — и кизлярка уже не помогла. Тщетно Иван Трофимович увеличивал прием своего лекарства: ему все было хуже да хуже. Иван Трофимович струсил; ему уже кажется, что у него в голове что-то шевелится и царапается: беда, и только!

И с этого времени страшные сны пошли у Ивана Трофимовича. То ему кажется, что у него череп снимают, как крышку, а в черепе-то целое гнездо лягушек и всяких гадов. То ему кажется, будто он сам обратился в огромную и толстую жабу: и горько и стыдно ему!.. Хочет надеть сюртук, чтоб прикрыться, а сюртук не застегивается! — Лишь рукава по воздуху болтаются!.. То, наконец, ему кажется, что у него в голове целый город Реженск, — крик, шум, скрип от возов... а по улицам все ходят не люди, а лягушки на задних лапках и с ножки на ножку переваливаются!..

Не на шутку испугался Иван Трофимович! И стыд прочь, и бросился он к лекарю.

— Батюшка, Богдан Иванович! помогите, спасите!

— Что с вами случилось, Иван Трофимович? Дайте-ка пульс пощупать...

— И! полно, батюшка!.. какой тут пульс! Помните, мы с вами недавно разговор имели об одной странной болезни?..

— Ну, помню. Так что же?

— Ну, батюшка! Эта самая болезнь со мною, грешным, и приключилась...

— Я вас не понимаю, Иван Трофимович...

— Чего тут не понимать, батюшка! Жаба у меня в голове завелась. Да!.. жаба, понимаете? Жаба в голове!..

— Бог с вами, Иван Трофимович! Да с чего вы это взяли?

— Как с чего взял? Я перед вами, батюшка, как перед отцом духовным, таиться не буду; все вам расскажу. Пристрастился я к кошке... Помните, у меня кошка была, такая славная, теплая,— провал ее возьми! — черная, лоснистая... Вот и повадилась она, окаянная, мне на ухо шептать: шептала, шептала, да жабу и нашептала...

Лекарь захохотал во все горло.

— Помилуйте, Иван Трофимович! С вашим умом, и верить такому вздору?..

— Смейся, батюшка, смейся, как хочешь! — вскричал Иван Трофимович сквозь слезы.— Ведь ты не знаешь, что у меня в голове делается, а я так знаю; я ведь чувствую, как в ней кто-то проклятой царапается,— индо голова трещит; а уж болит-то она, болит-то,— едва рассудка не теряю! Что за беда такая! Уж шестой десяток живу на свете, на службе уже сороковой год, всегда верой и правдой служил, и под турку ходил и под картечью бывал, дошел до звания городничего, и никогда со мною таковой оказии не бывало, а теперь, под старость лет, бог меня посетил таким позором!.. Помогите, батюшка, помогите как хочешь, не то я сам на себя руки наложу!..

Лекарь, видя, что все его увещания будут тщетны в эту минуту, решил более не противоречить старику и сказал:

— Ну, слушайте ж, Иван Трофимович! Если подлинно в вас есть такая болезнь, то возьмите несколько терпенья: я уже вам, кажется, сказывал, что я только мельком слышал о такой странной болезни, но, признательно вам откроюсь, никогда в глаза не видывал, ни в книгах не читывал. Дайте мне время немножко подумать да в книжках справиться. Я сам не замедлю к вам ответ принести, а теперь вот примите этот прохладительный порошок да привяжите к голове капустных листьев, а там, даст бог, увидим, что надобно делать.

По выходе Ивана Трофимовича лекарь задумался. В нем невольно взволновалась старая студенческая кровь; он невольно вспомнил то восхищение, с каким, бывало, он и его товарищи узнавали о поступлении в клинику какого-нибудь странного больного или странного мертвого.— «Что за несчастье! — говаривали они,— зима уже давно началась, а еще так мало к нам привозят замороженных кадаверов!» — «Какое счастье! — кричали они друг другу,— целых шесть славных кадаве-

ров привезли!» — А если между кадаверами попадался какой-нибудь урод с шестью пальцами, с сердцем на правой стороне, с двойным желудком: то-то радость!.. то-то восхищение!.. Новое знание! надежда открытия! пояснение наблюдений! новые толки профессора! новые системы!

Давно уже этот род наслаждения потерялся для нашего уездного лекаря; уже пятнадцать лет, как он оставил столицу; до него не дошло почти ни одного из наблюдений, сделанных в продолжение этого времени, в продолжение пятнадцати лет, — этого медицинского века! Близ него ни академии, ни журналов, ни библиотеки, а одна почти механическая работа, одна нужда доставать себе пропитание посреди людей необразованных: не с кем поверить даже самого простого наблюдения; нет минуты, чтобы привести в порядок свои опыты! все двадцать четыре часа в сутки расходятся на разъезды, на следствия, на самые мелочные занятия жизни. С отчаянием врач посмотрел на свою скудную библиотеку: Лаврентия Гейстера «Анатомия», изданная в 1775 году; какой-то «Полный Врач», того же времени; школьная диссертация его приятеля, «О нервном соке»; его собственная диссертация на степень лекаря, в свое время наделавшая много шума: «О пристойном железу наименовании», с эпитафией из Гейстера:

Железо, какая часть, чтоб сказал врач, трудно;  
Ибо доктора в том все учили скудно,—

несколько номеров «Московских ведомостей», школьные тетрадки, — вот и все!..

С чем справиться? Где найти не только средство лечения, но даже описание болезни своего пациента?..

В досаде, в уверенности ничего не найти, он берет своего руководителя Гейстера, отыскивает главу «О голове», читает: «Содержимые части (contentae partes) суть: мозг (cerebrum)... Около мозга головного жестокая мать (dura mater), или твердая оболочка над мозгом, из волокон сухожильных состоящая...»

Он бросил от себя книгу: все это было им читано, перечитано, учено и переучено!..

Тут ему пришла на мысль еще книга, которую некогда получил он в университете в награду за прилежание, которую тщательно завертывал он в бумажку и бе-

режно хранил особо от других книг, по причине ее дорогого переплета: то был перевод книги «О предчувствиях и видениях», только что тогда появившейся в свет.

Развернув эту книгу, он напал на то место, где описывается известный поступок знаменитого Бургава в Гарлемском сиротском доме. Одна из воспитанниц дома впала в судороги: на нее смотря, другая, третья, четвертая, и таким образом почти все до последней. Бургав, видя, что это было действие одного воображения, приказал принести в комнату жаровню с угольями и щипцы и объявил, что у первой, которая впадет в судороги, станут жечь руку раскаленными щипцами. Это лекарство так устрашило больных, что все они в одну минуту выздоровели.

Прочитав это описание, Богдан Иванович задумался. Продолжая читать, он встретил описание больного, который воображал, будто у него ноги хрустальные и которого излечила служанка, уронив ему на ноги вязанку дров. Потом нашел он еще описание больного, который воображал, будто у него на носу сидит муха, и беспрестанно махал рукою, тщетно желая согнать ее. «Остроумный врач,— сказано было в книге,— уверив больного, что он имеет средство излечить его, ударил его по носу ланцетом, и в ту же минуту показал больному приготовленную прежде для того муху».

Слова «остроумный врач, знаменитый Бургав» невольно остановили Богдана Ивановича.

— Что! — сказал он сам себе,— если бы и мне удалось произвести в действие подобное лечение! Я бы описал подробно темперамент моего пациента, его мономанические припадки, средство, мною придуманное для его излечения, полный успех мой, и слава обо мне пролилась бы во всем мире, мое описание послал бы я в Академию... даже в иностранных газетах возвестили бы миру о том, как редки и замечательны в летописях науки подобные случаи, какую трудность представлял Иван Трофимович для излечения, как «остроумный» врач искусно воспользовался состоянием нервного сока в своем пациенте, и прочая, и прочая: и, может быть, за это бы вызвали меня в Петербург, приняли бы в Академию?.. О радость! о счастье!.. Решено!

И Богдан Иванович поспешно собрал все находившиеся у него инструменты,— кривые и прямые ножницы, кривые и прямые ножички; присоединил еще к ним все,

что только могло найтись в его скудном хозяйстве: вертела, пирожные загибки, обломки невинных щипцов,— все пошло впрок! Засим в ближнем болоте он поймал огромную лягушку, согнул ей лапки, положил ее в карман камзола и с этим запасом, нахмутив брови как можно грознее, явился к Ивану Трофимовичу. Не говоря ни слова, он разложил на столе возле самого окошка, где обыкновенно сиживал Васька, все свои военные снаряды. Иван Трофимович побледнел.

— Что это? — вскричал городничий с ужасом.

— Я долго размышлял, рылся в книгах о вашей болезни, Иван Трофимович,— сказал лекарь с величайшею важностью,— и нахожу, что единственное средство для вашего спасения есть операция... правда, ужасная.

— Операция! — вскричал Иван Трофимович,— то есть повертеть мне голову!.. Нет, ни за что на свете! Уж лучше так умереть, нежели под твоими ножами...

— Но это единственное средство.

— Нет! Ни за что на свете!

— Но вы чувствуете в голове нестерпимую боль, которая будет усиливаться все больше и больше...

— Нет! Ничего не бывало!.. теперь уж все прошло...

— Но за два часа перед сим?..

— Прошло, говорят тебе! Совсем прошло!

Тщетны были все усилия лекаря: он видел, что цель его испугать больного была слишком достигнута, и рассудил, что надобно несколько отдалить ее.

— Но послушайте! — сказал он.— Ведь эта операция совсем не так опасна, как вы думаете...

— Нет, отец родной! Меня не перехитришь: я сам человек лукавый. Я помню все ужасы, которые ты мне рассказывал. Я как подумаю о том, то едва голова с плеч не валится.

— Но уверяю вас, что я сделаю так искусно, так осторожно, что вы и не почувствуете...

— Какое тут искусство поможет, как начнешь мне череп сверлить!.. Дурак, что ли, я тебе дался?

Лекарь был в отчаянии. Он к Ивану Трофимовичу и с вертелом, и с ланцетом, и с щипцами: Иван Трофимович не дается. Наконец городничий рассердился, лекарь также; минута была решительная: от нее зависели и будущая слава Богдана Ивановича, и богатство, и Академия, и статьи в газетах, и завидная участь его ученого поприща. Вооруженный ланцетом, он в отчаянии броса-

ется на своего пациента, стараясь хотя дотронуться до его головы и показать ему успех операции; но Иван Трофимович вдруг вспомнил прежнюю молодецкую силу... они борются: стол вверх ногами; чашки, чайник, все вдребезги: для обоих дело о жизни и смерти!.. И в самую эту минуту... холодная свидетельница и невинная участница происшествия, пользуясь одним из движений лекаря, изо всех сил шлепнулась на пол.

— Это что? — вскричал удивленный Иван Трофимович.— Злодей! окаянный! Ты не только хотел умертвить меня, но и посадить мне в голову какую-то гадину!.. Вон отсюда, окаянный!.. вон, говорю тебе!..

И с сими словами Иван Трофимович, понатужившись, выкинул Богдана Ивановича из окошка...

Доныне в архиве Реженского земского суда хранится «жалоба отставного прапорщика пехотного карабинерного полка, реженского городничего, Ивана Трофимова сына Зернушкина, на такового же уезда лекаря Богдана Иванова сына Горемыкина, о разбитии фаянсовых чашек и чайника, о явном умысле предать его, Зернушкина, умертвию и посадить ему в голову некую гадину».

Старики говорят, однако же, что с того времени Иван Трофимович освободился навсегда от своего припадка.



## Княжна Мими

«Извините,— сказал живописец,— если мои краски бледны: в нашем городе нельзя достать лучших».

*Биография одного живописца*

### I

#### БАЛ

La femme de Cèsar ne doit pas être soupçonnée<sup>1</sup>

— Скажите, с кем вы теперь танцевали? — сказала княжна Мими, остановив за руку одну даму, которая, окончив мазурку, проходила мимо княжны.

— Он когда-то служил с моим братом! Я забыла его фамилию,— отвечала баронесса Даурталь мимоходом и, усталая, бросилась на свое место.

Этот короткий разговор незаметно для окружающих мелькнул посреди общего движения, которое обыкновенно бывает после окончания танца.

Но баронессу этот разговор заставил задуматься,— и недаром. Баронесса, хотя уже и в другой раз замужем, все еще была молода и прекрасна; ее любезность, ее роскошный стан, ее каштановые шелковистые локоны привлекали к ней толпу молодых людей. Каждый из них невольно сравнивал Элизу с ее мужем, осиплым старым бароном, и каждому из них, казалось, ее томные, облитые влагою глаза говорили о надежде: лишь один опытный наблюдатель находил в этих темных голубых глазах не пламень неги, а просто ту южную лень, которая, по его мнению, так странно соединяется в наших дамах с северным флегматизмом и составляет их отличительный характер.

Баронесса знала все свои преимущества; знала, что для всякого она вместе с бароном была чем-то невозможным, противным приличию, какую-то нелепостию;

<sup>1</sup> Жены Цезаря не должно коснуться подозрение (франц.).

знала и то, как во время ее свадьбы толковали в городе, что она вышла за барона по расчету; ей нравилось не сходить с доски на балах, никогда не иметь времени задуматься на раутах, всегда иметь несколько готовых товарищей для кавалькады; но никогда она не позволяла себе ни взора, в котором можно бы было заметить предпочтение одному пред другим, ни сильного восхищения, ни сильной радости, ни сильного огорчения — словом, ничего такого, чем бы душа могла быть приведена в движение: притом, по чувству ли долга, или по какой-то противоестественной любви к своему мужу, — хотелось ли ей доказать, что она вышла за него не по расчету, — или просто потому, что вышеозначенное замечание наблюдателя было справедливо, — или, наконец, от соединения всех этих причин, — только баронесса так же была верна барону, как ее Бьюти была верна баронессе; она никуда не выезжала без мужа, даже спрашивала у него советов о своем туалете; барон, с своей стороны, не сомневался в привязанности Элизы, позволял ей делать что угодно и спокойно предавался своим любимым занятиям: поутру нюхал табак, ввечеру играл в вист, а в промежутках выхлопывал себе награждения. В городе издавна уже добродетельные дамы отыскивали предмет баронессиной нежности; но, когда они для решения вопроса собирались на общее совещание, одна называла одного, другая другого, третья третьего, и дело расходилось за спором. Тщетно перебирали они всех молодых людей общества: только что согласятся про одного, как он или женится, или станет волочиться за другою, — отчаяние, да и только! Наконец такие беспрестанные неудачи наскучили блюстительницам нравственности: они нашли, что баронесса лишь отнимает у них время для наблюдения за другими дамами; единогласно решили, что ее искусство сохранять наружную пристойность стоит лучшей нравственности, что ее должно ставить в пример другим женщинам, и отложили баронессино дело впредь до могущих представиться обстоятельств.

Баронесса знала, что княжна Мими принадлежала к сему нравственному сословию, знала также, что это сословие, в свою очередь, принадлежит к тому страшному обществу, которое бросило свои отпрыски во все классы. Открываю великую тайну; слушайте: все, что ни делается в свете, делается для некоторого безыменного общества! Оно — партер; другие люди — сцена. Оно дер-

жит в руках и авторов, и музыкантов; и красавиц, и гениев, и героев. Оно ничего не боится — ни законов, ни правды, ни совести. Оно судит на жизнь и смерть и никогда не переменяет своих приговоров, если бы они и были противны рассудку. Членов сего общества вы легко можете узнать по следующим приметам: другие играют в карты, а они смотрят на игру; другие женятся, а они приезжают на свадьбу; другие пишут книги, а они критикуют; другие дают обед, а они судят о поваре; другие дерутся, а они читают реляции; другие танцуют, они становятся возле танцовщиков. Члены сего общества везде тотчас узнают друг друга не по особенным знакам, но по какому-то инстинкту; и каждый, прежде нежели вслушается, в чем дело, уже поддерживает своего товарища: тот же из членов, кто вздумает *что-нибудь* делать на сем свете, в ту же минуту лишается всех преимуществ, сопряженных с его званием, входит в общее число подсудимых, и ничем уже не может возратить прав своих. Известно также, что самую важную роль в этом судилище играют те, про которых решительно нельзя отыскать, зачем они существуют на сем свете.

Княжна Мими была душою этого общества, и вот как это случилось. Надобно вам сказать, что она никогда не была красавицею, но в юности была недурна собою. В это время она не имела никакого определенного характера. Вы знаете, какое чувство, какая мысль может развернуться тем воспитанием, которое получают женщины: канва, танцевальный учитель, немножко лукавства, *tenez vous droite*<sup>1</sup> да два, три анекдота, рассказанные бабушкою как надежное руководство в сей и будущей жизни, — вот и все воспитание. Все зависело от обстоятельств, которые должны были встретить Мими при ее вступлении в свет: она могла сделаться и доброю женою, и доброю матерью семейства, и тем, чем теперь она сделалась. В это время у ней бывали и женихи; но никак дело не могло сладиться: первый ей самой не понравился, — другой был не в чинах и не понравился матери, — третий было очень понравился и той и другой, уже сделано было и обручение, и день свадьбы был назначен, но накануне, к удивлению, узнали, что он им в близкой родне: все расстроилось, Мими занемогла с печали, чуть было не умерла, однако же оправилась. Затем женихи

---

<sup>1</sup> Держитесь прямо (*франц.*).

долго не являлись; прошло десять лет, потом и другие десять, Мими подурнела, постарела, но отказаться от мысли выйти замуж было ей ужасно. Как! отказаться от мысли, о которой твердила ей матушка в семейных совещаниях; о которой ей говорила бабушка на смертной постели? от мысли, которая была любимым предметом разговоров с подругами, с которою она просыпалась и засыпала? Это было ужасно! И княжна Мими продолжала выезжать в свет с беспрестанно новыми планами в голове и с отчаянием в сердце. Ее положение сделалось нестерпимо: все вокруг нее вышло или выходило замуж; маленькая вертушка, которая вчера искала ее покровительства, нынче уже сама говорила ей тоном покровительства, — и не мудрено: она была замужем! у этой был муж в звездах и лентах! у другой муж играл в большую партию виста! Уважение от мужей переходило к женам; жены по мужьям имели голос и силу; лишь княжна Мими оставалась одна, без голоса, без подпоры. Часто на бале она не знала, куда пристать — к девушкам или к замужним, — не мудрено: Мими была не замужем! Хозяйка встречала ее с холодной учтивостию, смотрела на нее, как на лишнюю мебель, и не знала, что сказать ей, потому что Мими не выходила замуж. И там и здесь поздравляли, но не ее, но все ту, которая выходила замуж! А тихий шепот, а неприметные улыбки, а явные или воображаемые насмешки, падающие на бедную девушку, которая не имела довольно искусства, или имела слишком много благородства, чтобы не продать себя в замужество по расчетам! Бедная девушка! Каждый день ее самолюбие было оскорблено; с каждым днем рождалось новое уничижение; и, — бедная девушка! — каждый день досада, злоба, зависть, мстительность мало-помалу портили ее сердце. Наконец мера переполнилась: Мими увидела, что если не замужеством, то другими средствами надобно поддержать себя в свете, дать себе какое-нибудь значение, занять какое-нибудь место; и коварство — то темное, робкое, медленное коварство, которое делает общество ненавистным и мало-помалу разрушает его основания, — это общественное коварство развилось в княжне Мими до полного совершенства. В ней явилась особого рода деятельность: все малые ее способности получили особое направление; даже невыгодное ее положение обратилось в ее пользу. Что делать! Надобно было поддержать себя! И вот княжна Мими, как девушка,

стала втираться в общество девиц и молодых женщин; как зрелая девушка, сделалась любезным товарищем в глубоких рассуждениях старых почтенных дам. И ей было время! Проведши двадцать лет в тщетном ожидании жениха, она не думала о домашних заботах; занятая единственною мыслию, она усилила в себе врожденное отвращение к печатным литерам, к искусству, ко всему, что называется чувством в сей жизни, и вся обратилась в злобное, завистливое наблюдение за другими. Она стала знать и понимать все, что делается перед нею и за нею; сделалась верховным судьей женихов и невест; приучилась обсуждать каждое повышение местом или чином; завела своих покровителей и своих питомцев (*protégés*); начала оставаться там, где видела, что она мешает; начала прислушиваться, где говорили шепотом; наконец — начала говорить о всеобщем развращении нравов. Что делать! Надобно было поддерживать себя в свете.

И она достигла своей цели: ее маленькое, но постоянное муравьиное прилежание к своему делу или, лучше сказать, к делам других, придало ей действительную власть в гостиных; многие боялись ее и старались не ссориться с нею; одни неопытные девушки и юноши осмеливались смеяться над ее поблекшей красотой, над ее нахмуренными бровями, над ее горячими проповедями против нынешнего века и над неприятностью, обратившеюся ей в привычку, приезжать на бал и уезжать домой, не сделавши даже вальсового круга.

Баронесса знала все могущество княжны Мими и страшного ее судилища; хотя чистая, невинная, холодная, уверенная в самой себе, она и не боялась его преследований: до сих пор избегать их помогали ей самые обстоятельства жизни; но теперь баронесса находилась в весьма затруднительном положении. Границкий, с которым она только что танцевала, был прекрасный, статный молодой человек, — с густыми черными бакенбардами; он почти всю свою жизнь провел в чужих краях, где подружился с братом баронессы; брат баронессы жил теперь в ее доме, а Границкий у ее брата, он почти ни с кем не был знаком в городе; каждый день обедал и выезжал с ними вместе: словом, все сближало его с баронессою, и она понимала, какой прекрасный роман добродетельная душа может построить на таком выгодном основании. Эта мысль занимала ее в то время, когда она танцевала

с молодым человеком, и она невольно задумывалась, приискивая в голове средства, как бы ей защититься от злословия добродетельных дам. Баронесса с досадою вспомнила, что внезапный, так близко подходивший к предмету ее размышлений, вопрос княжны Мими привел ее в смущение, которое, верно, не укрылось от пронизательных взоров лазутчицы; ей уже казалось, что при сем вопросе в голосе княжны было что-то особенное; к тому ж она заметила, что княжна вслед за тем стала с жаром говорить с сидевшей возле нее старою дамою и что они обе как бы нехотя то улыбались, то пожимали плечами. Все это в одно мгновение пробежало в голове баронессы и в то же мгновение родило в ней мысль — одним разом сделать два дела, — и отвратить от себя подозрение, и снискать благоволение княжны. Баронесса стала искать глазами Границкого, но не находила его. Тому была причина, и очень важная.

На другом конце дома находилась заветная комната, неприступная для мужчин. Там огромное зеркало, ярко освещенное, отражало голубые шелковые занавески; оно было окружено всеми прихотями причудливой моды; цветы, ленты, перья, локоны, перчатки, румяны, все было разбросано по столам, как Рафаэлены арабески; на низком диване лежали рядами бело-синеватые парижские башмаки, — это воспоминание о хорошеньких ножках, — и, казалось, скучали своим одиночеством; несколько в отдалении, под легким покрывалом, перегибались через спинку кресел те таинственные выдумки образованности, которых благоразумная женщина не открывает и тому, кто имеет право на ее полную откровенность: эти эластические корсеты, эти шнуры, эти подвязки, эти непонятные накрахмаленные платки, вздернутые на шнурок или перевязанные посередине, и проч., и проч. Один мосье Рави с великолепным, будто из фарфора вылитым хохлом на голове, в белом фартуке, с щипцами в руках, имел право находиться в этом гинекее во время бала; на мосье Рави не действовал магнетический воздух женской уборной, от которого у другого дрожь пробегает по телу; он не обращал внимания на эти роскошные оттиски, остающиеся в женской одежде, которую так хорошо понимали древние ваятели, взмачивая покрывало на Афродите; как начальник султанского гарема, он хладнокровно дремал посреди всего его окружающего, не ду-

мая ни о значении своего имени, ни о том, что внушила подобная комната его пламенному единоплеменнику.

Перед концом мазурки одна молодая дама, сказав два слова своему кавалеру, незаметно от других порхнула в эту комнату, показала господину Рави свой развившийся локон, г. Рави вышел за другими щипцами, в одно мгновение молодая дама оторвала от булавки лоскут бумажки, быстро выдернула тонкий карандаш из сувенира, оперлась на диван своею маленькою ножкою, написала несколько слов на колене, сжала записку в не приметный комочек и, когда г. Рави возвратился, жаловалась на его медленность.

После окончания танца, когда в воздухе носится несколько недоговоренных слов, танцовщики в хлопотах бегают из угла в угол за дамами, дамы лениво просматривают нумера своих контрадансов, и даже неподвижные фигуры, окружающие танцующих, переменяют место, чтобы подать какой-нибудь признак жизни,— в эту минуту беспорядка та же дама проходила мимо Границкого: дымчатый шарф слетел с распаленных плеч ее, Границкий поднял его, дама наклонилась, их руки встретились, и свернутая бумажка осталась в руке молодого человека. Границкий не изменился в лице, остался несколько времени на том же месте, тщательно поправил на руке перчатку и потом, жалуясь на духоту и усталость, пошел тихими шагами в отдаленную комнату, где несколько игроков в сладком уединении сидели за карточным столом. К счастью, один из них объявил Границкому, что его пари проиграно. Границкий отошел в сторону, вынул портфель и, как бы отыскивая в нем деньги, прочитал следующие слова, наскоро написанные знакомою рукою:

«Я не успела вас предупредить. Не танцуйте со мною более одного раза. Мне кажется, что муж мой начинает замечать...»

Остального нельзя было разобрать.

По праву нескромности, присвоенной рассказчиком, мы объявим, кем была написана эта записка. Границкий знал ее сочинительницу еще девушкой: она была первою его страстию; тогда еще они поклялись друг другу в вечной любви, хотя разные семейственные расчеты противились их соединению, — это было во Флоренции. Вскоре они расстались; Границкий отправился в Рим; его Лидию мать увезла в Петербург и, волею или неволею, вы-

дала замуж за графа Рифейского. Как бы то ни было, встретившись снова, старые любовники вспомнили прежнюю свою клятву: вспыхнул огонь из-под пепла; они решились возратить потерянное время и, в отмщение свету за его своеволие, торжественно его обманывать.

Границкий привез к графу целый короб рекомендательных писем, подарков, посылок, и проч.; успел в самом Петербурге оказать ему какую-то услугу и наконец сделался в его доме почти домашним человеком.

Покорный своей владычице, он, возвратясь в залу, стал осматривать, не попадутся ли ему знакомые дамы, которые бы помогли ему добить сегодняшней вечер. В эту минуту баронесса подошла к нему и спросила, не хочет ли он познакомиться с танцовщицею. Границкий принял ее предложение с величайшею радостью; она подвела его к княжне Мими.

Но баронесса ошиблась в своем расчете: княжна вспыхнула, отозвалась нездоровою, объявила, что она не намерена танцевать, и, когда смущенная баронесса удалилась, сказала сидевшей возле нее старой даме:

— С чего она взяла навязывать мне своих друзей? Ей хочется мною прикрыть свои хитрости. Она думала, что трудно догадаться...

Целый мир злости был в этих немногих словах. Как хотелось княжне, чтобы кто-нибудь подошел пригласить ее на танцы! С какою бы радостью она показала баронессе, что не хочет танцевать только с ее Границким! Но княжне, к несчастью, не удалось это: и целый бал она, по обыкновению, не сошла с своего стула и возвратилась домой с планами жесточайшего мщения.

Не подумайте, однако ж, любезные читатели и читательницы, чтобы злоба княжны на баронессу была произведена лишь минутною досадою. Нет! Княжна Мими была девушка очень благоразумная и издавна приучила себя без причины не увлекаться сердечным движением. Нет! давно, давно уже Элиза нанесла тяжкую обиду княжне Мими: в последнем периоде ее странствования по балам первый муж Элизы казался будто полуженихом княжны, то есть не имел к ней такого отвращения, как другие мужчины; княжна была уверена, что если б не Элиза, то она бы теперь имела наслаждение быть замужем, или, по крайней мере, вдовою,— что не менее производит удовольствия. И все понапрасну! Явилась баронесса, отбила обожателя, вышла за него замуж, умо-



рила его, вышла за другого,— и все еще всем нравится, заставляет в себя влюбляться, умеет не сходить с доски, а княжна Мими все в девках да в девках,— а время все бежит да бежит! Часто за туалетом княжна с тайным отчаянием смотрела на свои перезревшие прелести: она сравнивала свой высокий стан, свои широкие плечи, свой мужественный вид с маленьким измятым личиком баронессы. О, если б кто мог подсмотреть, что тогда делалось в сердце княжны! что мерещилось ее воображению! как было оно изобретательно в ту минуту! какую бы прекрасною моделью она могла служить живописцу, который бы хотел изобразить дикую остро-витянку, терзающую попавшегося на ее долю пленника! И все это надобно было сжимать под узким корсетом, под условными фразами, под вежливой наружностью!.. Пламень целого ада выпускать тоненькою неприметною ниточкой!.. О, это ужасно, ужасно!

В эти минуты грусти, скорби, зависти, досады к княжне являлась утешительница.

То была горничная княжны. Сестра этой горничной занималась у баронессы. Часто сестрицы сходились вместе и, побранив порядком своих барынь, каждая свою,— принимались рассказывать друг другу домашние происшествия; потом, возвратившись домой, передавали своим господам все собранные ими известия. Баронесса помирала со смеху, слушая подробности туалета Мими,— как страдала она, затягивая свою широкую талию,— как белила посиневшие от натуги свои шершавые руки,— как дополняла разными способами несколько скосившийся правый бок свой,— как на ночь привязывала к багровым щекам своим — ужас! — сырые котлеты! как выдергивала из бровей лишние волосы, подкрашивала седые, и проч.

Известия, получаемые княжною, были гораздо важнее; в этом была виновата сама баронесса: об ней почти нечего было рассказывать, и Маша,— так называлась служанка княжны,— невольно должна была прибегать к изобретениям. Справедливо старинное, опытом доказанное сказание, что человек всегда сам подает повод к своим несчастиям!

Когда княжна возвратилась с бала,— хотя в это время она и всегда бывала не в духе, но сегодня Маша заметила, что с ее госпожою произошло что-то особенное: ей показалось, будто уже шевелятся башмаки, банки с

помадою, стклянки и прочие вещи, которые в таких обстоятельствах княжна имела обыкновение отправлять — отпралять — как бы сказать это повежливее? — отпралять параллельно полу и перпендикулярно к той линии, которая оканчивалась лицом горничной. Кажется, довольно не ясно?.. Бедная девушка, чтоб отвратить грозную тучу, не преминула прибегнуть к единственной своей защите:

— А я-с сегодня была у сестрицы! — сказала она. — Уж что там делается, ваше сиятельство!

Маша не обманулась. В одно мгновение лицо княжны прояснилось; она вся обратилась во внимание, и уже давно начался городской шум, а Маша еще толковала с княжною о том, как барон часто выезжает со двора, как в это время *новоприезжий* сидит с баронессою, как они уговариваются ехать вместе в театр, быть вместе на бале, и проч., и проч.

Долго не могла заснуть княжна и, заснувши, беспрестанно просыпалась от различных сновидений: то ей кажется, что она выходит замуж, стоит уже перед налоем, все ее поздравляют, — вдруг явится баронесса и утащит жениха ее; то княжна рассматривает свое венчалное платье, примеривает его, любится, — явится баронесса и раздерет платье на мелкие части; то княжна ложится в постелю, хочет обнять своего мужа, — а в постели баронесса лежит и хохочет; то княжна танцует на бале, все восхищаются ее красотою, говорят, что она танцует с женихом своим, — а баронесса подставит ногу, и княжна падает на пол. Но были и сны утешительные: то баронесса представляется ей в виде горничной, — княжна бранит ее, бьет ее башмаками и обрезывает ей кругом волосы; то в виде большого черного пуделя, — княжна приказывает его выгнать и с удовольствием смотрит в окошко, как лакеи каменьями бросают в ее неприятельницу, то в виде канвы, — княжна колет ее большою острою иглой и прошивает красными нитками.

И не вините ее в том, но вините, плачьте, проклиняйте развращенные нравы нашего общества. Что же делать, если для девушки в обществе единственная цель в жизни — выйти замуж! если ей с колыбели слышатся эти слова — «когда ты будешь замужем!». Ее учат танцевать, рисовать, музыке для того, чтоб она могла выйти замуж; ее одевают, вывозят в свет, ее заставляют

«молиться господу богу, чтоб только скорее выйти замуж. Это предел и начало ее жизни. Это самая жизнь ее. Что же мудреного, если для нее всякая женщина делается личным врагом, а первым качеством в мужчине — *удобоженность*. Плачьте и проклинайте,— но не бедную девушку.

## II

### КРУГЛЫЙ СТОЛ

On cause, on rit, on est heureux.

*Romans français*<sup>1</sup>

Под покровом тишины и спокойствия, в кругу своего семейства...

*Русские романы*

На другой день, после обеда, княжна Мими, младшая сестра ее Мария, молодая вдова, старая княгиня — мать обеих, да еще человека два домашних сидели, по обыновению, за круглым столом в гостиной и, в ожидании партнеров для виста, прилежно занимались канвою.

Княгиня была очень старая и почтенная женщина; во всей ее долгой, долгой жизни нельзя было найти ни одного поступка, ни одного слова, ни одного чувства, которое бы не было строго сообразовано с принятыми приличиями; она говорила по-французски очень чисто и без ошибок; сохраняла в полной мере суровость и неприступность, приличную женщине хорошего тона; не любила отвлеченных рассуждений, но целые сутки могла поддерживать разговор о том, о сем; никогда не брала на себя неприятной обязанности вступаться за человека не в ладу с общим мнением; вы могли быть уверены, что в ее доме не встретитесь с человеком, на которого дурно смотрят или которого вы не встречали в обществе. Сверх того, княгиня была женщина ума необыкновенного: она была очень небогата и не могла давать ни обедов, ни балов; но, несмотря на то, умела так искусно нырять между интригами, так искусно оцеплять людей посредством своих племянников, племянниц, внуков и внучек, так искусно попросить об одном, побранить другого, что приобрела всеобщее уважение и, как говорится, поставила себя на хорошую ногу.

---

<sup>1</sup> Беседуют, смеются, счастливые. *Французские романы (франц.)*.

Сверх того, она была женщина очень благотворительная: несмотря на недостаточное состояние, ее гостиная была всякий день освещена, и чиновники иностранных посольств могли быть уверены, что всегда найдут у ней камин или карточный стол, за которым можно провести время между обедом и балом; в ее доме часто разыгрывались лотереи для бедных; она всегда была завалена концертными билетами дочерних учителей; она покровительствовала кому бы то ни было, когда кто ей был рекомендован порядочным человеком. Словом, княгиня была добрая, благоразумная и благотворительная дама во всех отношениях.

Все это, как мы сказали, давало ей право на всеобщее уважение: княгиня знала себе цену и любила пользоваться своим правом. Но только с некоторого времени княгине все стало как-то скучно и досадно; вист и люди, люди и вист еще как-то оживляли ее, но до начала партии она не могла (разумеется, в семейном кругу) скрывать своей невольной тоски, и внезапно наружу являлись какая-то жесткость сердца, какая-то маленькая ненависть ко всему окружающему, какое-то отсутствие всякого радушия, какое-то отвращение ко всякой услуге, даже какое-то отвращение к жизни. Как не пожаловаться на судьбу? За что такая несправедливость? Зачем так худо награждена была эта почтенная дама? Ибо, уверяю вас, этот маленький байронизм княгини происходил не от воспоминания о каких-нибудь прежних тайных прегрешениях, не от раскаяния,— о нет, не от раскаяния! Я уже сказал вам, что в продолжение всей своей жизни княгиня не позволяла себе никогда делать что-нибудь такое, чего бы не делали другие: она была невинна, как голубица; она смело могла смотреть на происшествия своей прежней жизни — чистые как стекло,— ни единого пятнышка. Словом, я никак не могу вам объяснить, отчего происходила тоска княгини. Пусть эту загадку решат те почтенные дамы, которые будут или не будут читать меня, и пусть растолкуют ее своим внучкам, надежде нового поколения.

Итак, княгиня, среди своего семейства, сидела за круглым столом. О круглый семейный стол! свидетель домашних тайн! чего тебе не вверяли? чего ты не знаешь? Если б к твоим четырем ногам прибавить голову, ты бы сравнялся даже с нашими глубокомысленными описателями нравов, которые столь верно и резко нападают на

недоступное им общество и которым я столь тщетно подражать стараюсь. За круглым столом обыкновенно начинается маленькая откровенность; чувство досады, сжатое в другое время, начинает мало-помалу развертываться; из-под канвы выскакивает эгоизм в полном роскошном цвете; тут приходят на мысль счеты управителя и расстройство имения; тут откровенно обнаруживается непреодолимое желание выйти или выдать замуж; тут вспоминаются какая-нибудь неудача, какая-нибудь минута уничтожения; тут жалуются и на самых близких приятелей и на людей, которым, кажется, вы преданы всею душою; тут дочери ропщут, мать сердится, сестры упрекают друг друга; словом, тут делаются явными все те маленькие тайны, которые тщательно скрываются от взоров света. Послышится звонок, и все исчезло! Эгоизм спрячется за дымчатое каньзу, на лице явится улыбка, и входящий в комнату холостяк с умилением смотрит на дружеский кружок милого семейства.

— Я не знаю,— говорила старая княгиня княжне Мими,— зачем вы ездите на балы, когда всякой раз жалуетесь, что вам было скучно... что вы не танцуете... Выезды стоят денег, и все понапрасну! Только что я остаюсь одна дома, даже без партии... Вот как вчера! Право, пора этому всему кончиться: ведь тебе уже гораздо за тридцать, Мими,— выходи, бога ради, замуж поскорее; по крайней мере я тогда буду спокойнее. Я, право, не в состоянии одевать тебя...

— Я думаю,— сказала молодая вдова,— что ты, Мими, сама виновата во многом. Зачем эта беспрестанная презрительная мина на лице твоём? Когда к тебе подойдет кто-нибудь, то по лицу твоему можно подумать, что тебя лично обидели. Ты, право, страшна на бале... ты отталкиваешь всякого от себя.

*Княжна Мими.* Неужли ж мне вешаться на шею всякому встречному, как твоя баронесса? Жеманиться, показывать всякому мальчику мою благодарность за то, что он мне сделает честь провести меня в контраданс?

*Мария.* Не говори мне о баронессе! Твой вчерашний с ней поступок на бале таков, что я не знаю, как назвать его. Это была беспримерная неучтивость. Баронесса хотела тебе сделать удовольствие, подвела к тебе кавалера...

*Мими.* Подвела ко мне для того, чтобы мною при-

крыть свои любовные хитрости. Вот прекрасное одолжение!

*Мария.* Ты любишь все толковать в дурную сторону. Где ты заметила эти любовные хитрости?

*Мими.* Одна ты ничего не видишь и не слышишь! Ты, разумеется, как женщина замужняя, можешь презирать светское мнение,— но я... слишком дорожу собою. Я не хочу, чтоб обо мне стали то же говорить, что о твоей баронессе.

*Мария.* Не знаю! Но что до сих пор ни говорили о баронессе, все вышло неправда...

*Мими.* Конечно, все ошибаются! одна ты права!.. Я не могу надивиться, как ты можешь за нее вступаться. Ее репутация сделана.

*Мария.* О, я знаю! Баронесса имеет много врагов,— и на это есть причины: она прекрасна собою; муж ее урод; ее любезность привлекает к ней толпу мужчин.

Мими вспыхнула, а старая княгиня прервала Марию:  
— Уж правду сказать, я совсем не рада вашему знакомству с баронессою; она совсем не умеет вести себя. Что это за беспрестанные кавалькады, пикники? Нет бала, на котором бы она не вертелась; нет мужчины, с которым бы она не была как с братом. Я не знаю, как все это называется у вас, в нынешнем веке, но в наше время такое поведение называлось неблагопристойным.

— Да дело идет не о баронессе! — возразила Мария, хотевшая отклонить разговор о своей приятельнице.— Я говорю о тебе, Мими: ты меня истинно приводишь в отчаяние. Ты говоришь об общем мнении! Не думаешь ли ты, что оно в твою пользу? О, ты весьма ошибаешься! Ты думаешь, приятно мне видеть, что твоего языка боятся как огня, перестают говорить, когда ты подойдешь к какому-нибудь кружку? Мне, мне, сестре твоей, говорят в глаза о твоих сплетнях, о твоей злости; ты мужу намекаешь о тайнах его жены; жене рассказываешь о муже; молодые люди просто ненавидят тебя. Нет их шалости, которой бы ты не знала, о которой бы ты не судила и не рядила. Уверяю тебя, что с твоим характером ты ввек не выйдешь замуж.

— О, я об этом очень мало забочусь! — отвечала Мими.— Лучше целый век оставаться в девках, чем выйти замуж за какого-нибудь большого калеку и до смерти затаскать его на балах.

Мария вспыхнула в свою очередь и готовилась отве-

чать, но ударил звонок, дверь отворилась, и вошел граф Сквирский, старинный приятель, или, что все равно, старинный партнер княгини. То был один из тех счастливцев, которым нельзя не завидовать. Целый век и целый день он был занят: поутру надобно поздравить того-то с именинами, купить узор для княжны Зизи, сыскать собаку для княжны Биби, завернуть в министерство за новостями, поспеть на крестины или на похороны, потом на обед и проч., и проч. В продолжение пятидесяти лет граф Сквирский все собирался сделать что-нибудь дельное, но отлагал день за днем и, за ежедневными хлопотами, не успел даже жениться. Ему вчера и тридцать лет назад было одно и то же: переменались моды и мебели, но гостиные и карты все были те же — сегодня как вчера, завтра как сегодня, — он уже третьему поколению показывал свою неизменную спокойную улыбку.

— Сердце радуется, — говорил Сквирский княгине, — когда войдешь к вам в комнату и посмотришь на ваш милый семейный кружок. Нынче уже мало таких согласных семейств! Все вы вместе, всегда так веселы, так довольны, — и вздохнешь невольно, как вспомнишь о своем холостом угле. Честью могу вас уверить, — пусть другие говорят что хотят, — но что до меня касается, я так думаю, холостая жизнь...

Философические рассуждения Сквирского были прерваны поданною ему карточкою.

Между тем скоро гостиная княгини наполнилась: тут были и супруги, для которых собственный дом есть род калмыцкой кибитки, годной лишь для ночлега; и те любезные молодые люди, которые приезжают к вам в дом затем, чтоб было что сказать в другом; и те, которых судьба, наперекор природе, втянула в маховое колесо гостиных; и те, для которых самый простой визит есть следствие глубоких расчетов и пособие для годовой интриги. Тут были и те лица, которым сам Грибоедов не мог приискать другого характеристического имени, как г-н N и г-н D.

— Вы долго вчера оставались на бале? — спросила княжна Мими у одного молодого человека.

— Мы еще танцевали после ужина.

— Скажите ж, чем кончилась комедия?

— Княжне Биби наконец удалось прикрепить свою гребенку...

— Ох! не то...

— А, понимаю!.. Длинная фигура в черном фраке наконец решилась разговориться: он задел шляпою графиню Рифейскую и сказал: «Извините!»

— О! все не то... Вы, стало быть, ничего не заметили?

— А, вы говорите про баронессу?..

— О нет! Я и не думала об ней... Да почему вы об ней заговорили? Разве о чем-нибудь говорят?

— Нет! Я ничего не слышал. Мне хотелось только отгадать, что вы хотели сказать своим вопросом.

— Я ничего не хотела сказать.

— Но о какой же комедии?

— Я так говорила вообще о вчерашнем бале.

— Нет, воля ваша, тут что-нибудь да есть! Вы скажали таким тоном...

— Вот свет! Вы уж выводите заключения! Я вас уверяю, что ни о ком особенно не думала. Кстати о баронессе: она еще много после меня танцевала?

— Не сходила с доски.

— Она совсем не бережет себя. С ее здоровьем...

— О! княжна, вы совсем не об ее здоровье говорите. Теперь все понимаю. Этот гвардейский полковник?.. Не так ли?

— Нет! Я его не заметила.

— Так позвольте ж? Надобно вспомнить всех, с кем она танцевала...

— Ах, бога ради, перестаньте! Я вам говорю, что я об ней и не думала. Я так боюсь этих всех пересудов, сплетней... В свете люди так злы...

— Позвольте, позвольте! Князь Петр... Бобо... Лейденмиц, Границкий?..

— Кто это? Это новое лицо, высокий с черными бакенбардами?..

— Так точно.

— Он, кажется, приятель баронессина деверя?

— Так точно.

— Так его зовут Границким?

— Скажите, пожалуйста,— сказала одна сидевшая за картами дама, вслушиваясь в слова Мими,— что такое этот Границкий?

— Его баронесса всюду развозит,— отвечала соседка княжны на бале.

— И сегодня,— заметила третья дама,— она показывала его в своей ложе.



— Это только баронессе может прийти в голову,— сказала соседка княжны.— Бог знает что он такое! Какой-то выходец с того света...

— То уж правда, что он бог знает что такое! Он какой-то этакой якобинец не якобинец, un frondeur<sup>1</sup>, не умеет жить. И какие глупости он говорит! Намедни я стала уговаривать графа Бориса взять билет к нашему Целини, а этот — как его, Границкий, что ли,— принялся возле меня рассказывать о какой-то страховой конторе, которую здесь заводят против концертных билетов...

— Он не хороший человек,— заметили многие.

— Не слышит этого баронесса! — сказала Мими.

— Ну, теперь понимаю! — прервал ее молодой человек.

— О, нет! Ей-богу, я только хотела сказать, как бы ей этот разговор был неприятен; он друг их дома... И для всякого...

— Позвольте мне еще раз перервать ваши слова, потому что я расскажу именно то, что вам хотелось знать. Баронесса после ужина не переставала танцевать с Границким. О, теперь я все понимаю! Он не отходил от нее: то она на стуле оставит шарф, он принесет его; то ей жарко, он носится с стаканом...

— Как вы злы! Я ни об чем об этом вас не спрашивала. Что тут мудреного, что он за ней ухаживает! Он ей почти родной, живёт у них в доме...

— А! живёт у них в доме! Какая самоуверенность в этом бароне!.. Не правда ли?

— О, бога ради, перестаньте! Вы заставляете меня говорить то, чего у меня в голове нет: с вами тотчас попадешь в кумушки,— а я, я так всего этого боюсь!.. избави меня бог за кем-нибудь замечать!.. А особенно баронесса, которую я так люблю...

— Да! Она достойна любви и... сожаления.

— Сожаления?

— Без сомнения! Согласитесь, что барон и баронесса вместе составляют что-то странное.

— Да! это правда!.. Муж баронессы совсем не занимается ею: она, бедная, дома, всегда одна...

— Не одна! — возразил молодой человек, улыбаясь своему остроумию.

---

<sup>1</sup> Недовольный (франц.).

— О, вы все толкуете по-своему! Баронесса очень нравственная женщина...

— О, будемте справедливы! — заметила соседка княжны. — Не надобно никого осуждать; но я не знаю, какие правила у баронессы. Не знаю, как-то зашла речь об «Антони», об этой ужасной, безнравственной пьесе; я не могла досидеть до конца, а она вздумала вступаться за эту пьесу и уверять, что только такая пьеса может остановить женщину на краю гибели...

— О! признаюсь вам, — заметила княгиня, — все, что говорится, делается и пишется в нынешнем веке... Я ровно ничего не понимаю!

— Да! — отвечал Сквирский. — Я скажу, что до меня касается, я так думаю, нравственность необходима; но и просвещение также...

— Ну уж и вы, граф, туда же! — возразила княгиня. — Нынче все твердят — просвещение, просвещение! — куда ни оглянись, всюду просвещение, — и купцов просвещают, и крестьян просвещают, — в старину не было этого, а все шло лучше нынешнего. Я сужу по-старинному: говорят — просвещение, а поглядишь — развращение!

— Нет, позвольте, княгиня! — отвечал Сквирский. — Я с вами не согласен. Просвещение необходимо, и это я докажу вам как дважды два — четыре. Ведь что такое просвещение? Вот, например, мой племянник: он вышел из университета, знает все науки: и математику, и по латыни — имеет аттестат, и вот ему всюду открыта дорога, — и в коллежские ассесоры, и в действительные. Ведь, позвольте сказать: просвещение просвещению рознь. — Вот, например, свеча: она светит, нам бы нельзя было без нее в вист играть; но я взял свечу и поднес к занавеске, — занавеска загорится...

— Позвольте записать! — сказал один из играющих.

— То, что я говорю? — спросил Сквирский, улыбаясь.

— Нет, роберт!

— Вы сделали ренонс, граф! Как это можно? — сказал с досадою партнер Сквирского.

— Как?.. я?.. ренонс? Ах боже мой!.. В самом деле? Вот вам и просвещение!.. Ренонс! Ах, боже мой, ренонс! Да, точно ренонс!

Тут уже ничего нельзя было расслушать: все заговорили о несчастьи Сквирского, и все рассуждения, все интересы, все чувства сосредоточились в этом предмете.

Пользуясь общим движением, двое гостей неприметно вышли из комнаты: один из них, казалось, только что приехал определиться, другой возил его знакомить по гостиним. На лице одного видны были досада и насмешка; другой спокойно и внимательно всматривался в ступеньки лестницы, по которой они сходили.

— Мне на роду написано встречаться с этим бездельником! — сказал первый. — Этот Сквирский, старый знакомый, — я его знал в Казани, — чего он там не чудесил! А здесь еще он ораторствует! И о чем же? О нравственности. И что всего замечательнее, он убежден в том, что говорит: напомни ему, что он вконец разорил своих племянников, бывших у него под опекою, он будет в состоянии спросить: какое это имеет отношение к нравственности? Скажи, пожалуй, как вам возможно такого безнравственного человека принимать в общество?

Товарищ пожал плечами.

— Что ж мне делать с тобою, мой любезный! — отвечал он, садясь в карету, — если ты не знаешь нашего языка; учись, учись, мой милый: это необходимо, — мы здесь перемешали значение всех слов, и до такой степени, что если ты назовешь безнравственным человека, который обыгрывает в карты, клеветает на ближнего, владеет чужим именем, тебя не поймут, и твое прилагательное покажется странным; но если ты дашь волю уму и сердцу, протянешь руку к какой-нибудь жертве светских предрассудков или попробуешь только запереть твою дверь от встречного и поперечного, тебя тотчас назовут безнравственным человеком, и это слово будет для всех понятно.

После некоторого молчания первый продолжал:

— Знаете ли, что мне гораздо сноснее ваши блестящие, большие рауты! Тут по крайней мере говорят мало, у всех чинный вид, — точно люди: но избави бог от их семейных кружков! Минуты их домашней откровенности ужасны, отвратительны, — отвратительны даже до любопытства. Княгиня — судья литературы! Граф Сквирский — защитник просвещения! Право, после этого захочется быть невеждою.

— Однако ж в словах княгини было нечто справедливое! Согласись сам, — что такое в нынешней литературе? Беспрестанные описания пыток, злодеяний, разврата; беспрестанные преступления и преступление...

— Извини! — отвечал его товарищ, — но так говорят

те, которые ничего не читали, кроме произведений нынешней литературы. Ты, конечно, уверен, что она портит общественную нравственность, не правда ли? Было бы что портить, мой любезный! С середины XVIII века все так исправно испортилось, что уже нашему веку ничего портить не осталось. И одну ли нынешнюю литературу можно попрекнуть этим грехом? На одно действительно безнравственное нынешнее произведение я тебе укажу десять XVIII, XVII и даже XVI века. Теперь нагота больше в словах, тогда она была в самом деле, в самом вымысле. Прочти хоть Брантома, прочти даже «Поездку на остров любви» Тредьяковского: я не знаю на русском языке безнравственнее этой книги; это ручная книга для самой бесстыдной кокетки. Нынче не напишут такой книги в пользу чувственных наслаждений; нынче автор, вопреки древнему правилу — «si vis me plerueg...»<sup>1</sup> — кощунствует, смеется для того, чтоб заставить плакать читателя. Вся нынешняя литературная нагота есть последний отблеск прошедшей действительной жизни, невольная исповедь в старых прегрешениях человечества, хвост старинной беззаконной кометы, по которому, — знаешь ли что? — по которому можно судить, что сама комета удаляется с горизонта, ибо кто пишет, тот уже не чувствует. Наконец, нынешняя литература, по моему мнению, есть казнь, ниспосланная на ледяное общество нашего века: нет ему, лицемеру, и тихих наслаждений поэзии! оно недостойно их!.. И, может быть, это казнь благотворная: неисповедимы определения ума человеческого! Может быть, нужно нашему веку это сильное средство; может быть, оно, непрерывно потрясая его нервы, пробудит его заснувшую совесть, как телесное страдание пробуждает утопленника. С тех пор как я в вашем свете, я понимаю нынешнюю литературу: Скажи мне, чем другим, какую поэзию она заинтересует такое существо, какова княжна Мими? какую искусною катострофою ты тронешь ее сердце? какое чувство может быть понятно ей, кроме отвращения, — да, отвращения! Это, может быть, единственный путь к ее сердцу. О, эта женщина навела на меня ужас! Смотря на нее, я рядил ее в разные платья, то есть логически развивал ее мысли и чувства, представлял себе, чем бы могла быть такая душа в разных обстоятельствах жизни, и прямехонь-

---

<sup>1</sup> Если хочешь меня заставить плакать... (франц.)

ко дошел... до костров инквизиции! Не смейся надо мною: Лафатер говаривал — дайте мне одну линию на лице, и я вам расскажу всего человека. Найди мне только степень, до которой человек любит сплетни, любит выведывать и рассказывать домашние тайны, и все под личиною добродетели, и я тебе с математическою точностью определю, до какой степени простирается в нем безнравственность, пустота души, отсутствие всякой мысли, всякого религиозного, всякого благородного чувства. В моих словах нет преувеличения: я сошлюсь хотя на отцов церкви. Они глубоко знали сердце человеческое. Послушай, с каким горьким сожалением они вспоминают о таких людях: «Горе будет им в день судный, — говорят они, — лучше бы им не знать святыни, нежели посреди ее поставить престол диаволу».

— Помилуй, братец! Да что с тобою? Это уж, кажется, проповедь.

— Ах, извини! Все, что я видел и слышал, так гадко, что надобно же мне было отвести душу. Впрочем, скажи, — разве ты не слышал разговора княжны Мими с этим прокатным танцовщиком?

— Нет. Я не обратил внимания.

— Ты? литератор?.. Да в этом милом светском разговоре зародыш тысячи преступлений, тысячи бедствий!

— Э, братец! Мне в это время рассказывали историю поинтереснее, — как сделал карьеру один из моих сослуживцев...

Карета остановилась.

### III

#### СЛЕДСТВИЯ ДОМАШНИХ РАЗГОВОРОВ

Я говорю, ты говоришь, он говорит, мы говорим, вы говорите, они или оне говорят.

*Труды...?!*

К счастью, немногие разделяли грозное мнение незнакомого оратора о нынешнем обществе, и потому все его маленькие дела шли своим чередом без всякого помешательства. А между тем, незаметно ни для кого, двигался этот род предрассудка, который называют временем.

Графиня Рифейская, издавна дружная с баронессою, старалась еще более с нею сблизиться с тех пор, как приехал Границкий: их видали вместе и на прогулке и

в театре; баронесса не знала ничего о старинном знакомстве Границкого с графиней; правда, она замечала, что они были равнодушны друг к другу, но почитала это обыкновенным, минутным волокитством, которое иногда предпринимают люди от нечего делать, в свободное от других занятий время. Сказать ли? Баронесса незаметно для нее самой даже радовалась своему открытию: оно ей показалось верною защитой против нападения своей неприятельницы.

Но Границкий и графиня вели свои дела с особенным искусством, приобретаемым долгою опытностию: в обществе они умели быть совершенно равнодушными; говоря с другими о предметах совершенно посторонних, они умели или назначить друг другу место свидания, или передать какие-либо меры предосторожности; они даже умели кстати смеяться друг над другом. Пламенные их взоры встречались лишь в зеркале; но ни одна минута не была ими потеряна: они ловили тот миг, когда глаза других были отвлечены каким-нибудь предметом. При мгновенном выходе из комнаты, из театра, словом, при каком бы то ни было удобном случае, их руки сливались вместе, и часто за долгое принуждение их награждал поцелуй любви, распаленный насмешкою над общим мнением.

Между тем семена, брошенные искусною рукою княжны Мими, росли и множились, как те чудные деревья девственного бразильского леса, которые раскинут свои ветви, и каждая ветвь опустится к земле, и станет новым деревом, и снова вопьется в землю ветвями, и еще, еще... И горе неосторожному путнику, попавшемуся в эти бесчисленные сплетения! Молодой болтун рассказал разговор с княжною Мими другому; этот своей маменьке; маменька своей приятельнице, и так далее. Такую же галерею устроила вокруг себя и Мими; такую же и княгиня; такую же и старая соседка княжны на бале. Все эти галереи росли, росли: наконец встретились, переплелись, укрепили друг друга, и частая сеть охватила баронессу с Границким, как Марса с Венерою. По этому случаю все языки, которые только могли шевелиться в городе, зашевелились,—одни по желанию убедить слушателей, что они непричастны подобным грехам,—другие по ненависти к баронессе,—третьи, чтоб посмеяться над ее мужем,—иные просто по желанию показать, что им также известны гостинные тайны.

Границкий, занятый своими стратегическими движениями с графиней, баронесса, успокоенная своим открытием, не знали бури, которая была готова над ними разразиться: они не знали, что каждое их слово, каждое их движение были замечены, обсуждены, растолкованы; они не знали, что беспрестанно находились перед глазами судилища, составленного из чепчиков всех возможных фасонов. Когда баронесса запросто, дружески обращалась с Границким, тогда судилище решало, что она играет роль невинности. Когда она, по какому-нибудь стечению обстоятельств, в продолжение целого вечера ни слова не говорила с Границким, тогда судилище находило, что это сделано для того, чтоб отвлечь общее внимание. Когда Границкий говорил с бароном, это значило, что он желает усыпить подозрение бедного мужа. Когда молчал, это значило, что любовник не в силах преодолеть своей ревности. Словом, что бы ни делала баронесса и Границкий,— садился он или не садился подле нее за столом,— танцевал или не танцевал с нею,— встречался или не встречался на прогулке,— была ли баронесса при людях любезна или нелюбезна с своим мужем,— выезжала с ним или не выезжала,— все для досужего судилища служило подтверждением его заключений.

А бедный барон! Если бы он знал, какое нежное участие принимали в нем дамы, если бы он знал все добродетели, открытые ими в его особе! Его всегдашняя сонливость была названа внутренним страданием страстного мужа; его глупая улыбка знаком непритворного добродушия; в его заспанных глазах они нашли глубокомыслие; в его страсти к висту — желание не видеть женщиной неверности или сохранить наружное приличие.

Однажды в доме общей знакомой баронесса Даурталь встретила с княжню Мими. Они, разумеется, очень обрадовались, дружески пожали друг другу руки, сделали друг другу бесчисленное множество вопросов и с обеих сторон оставили их почти без ответа: словом, ни тени вражды, ни тени воспоминания о приключении на бале,— как будто бы целый век они не переставали быть истинными приятельницами. В гостиной, кроме их, было мало гостей,— только старая княжна, молодая вдова — сестра Мими, старая и всегдашняя ее соседка на балах, Границкий и еще человека два, три.

Границкий целый день протаскался по разным гости-

ным, чтоб увидеться с своею графинею, и, нигде не найдя ее, был скучен и рассеян. Баронессе было очень неприятно встретиться с княжною Мими, а старой княгине с баронессою. Одна Мими была очень рада удобному случаю делать наблюдения над баронессою и Границким в маленьком обществе. От всего этого произошла в гостиной несносная принужденность: разговор беспрестанно переходил от предмета к предмету и беспрестанно прерывался. Хозяйка поднимала из-под спуда старые новости, потому что о новых все возможное было сказано, и все смотрели на нее видимо не слушая. Мими торжествовала: говоря с другими, она не пропускала ни одного слова ни баронессы, ни Границкого и в каждом слове находила ключи для гieroглифического языка, обыкновенно употребляемого в таких случаях. Приметную рассеянность Границкого она переводила то маленькою ссорою между любовниками, то возбужденным подозрением мужа. А баронесса! Ни одно ее движение не ускользало от внимательного наблюдения Мими, и каждое ей рассказывало целую историю со всеми подробностями. Между тем бедная баронесса, как будто виноватая, отворачивалась от Границкого: то почти не отвечала на его слова, то вдруг обращалась к нему с вопросами; не могла удерживаться, чтоб иногда не взглядывать на княжну Мими, и часто, когда их глаза искоса встречались, баронесса приходила в невольное смущение, которое еще более увеличивалось тем, что она сердилась на себя за свое смущение.

Спустя несколько времени Границкий посмотрел на часы, сказал, что он едет в оперу, и исчез.

— Ведь мы расстроили это свидание,— тихо сказала Мими своей неразлучной соседке.— Впрочем, они наведут!

Едва вышел Границкий, как слуга доложил баронессе, что приехала ее карета, которой она давно уже дождалась.

В ту минуту какая-то неясная мысль пробежала в голове княжны Мими: она сама не могла дать себе отчета,— это было темное, беспредметное вдохновение злости,— это было чувство человека, который ставит сто против одного в верной надежде не выиграть.

— У меня ужасный мигрень! — сказала она.— Позвольте, баронесса, вашей карете перевезти меня домой через улицу: мы свою отпустили.



Они взглянули и поняли друг друга. Баронесса, по инстинкту, догадалась, что происходило в душе княжны Мими. Она также не составляла себе никакого определенного понятия о намерении последней; но — сама не зная чего-то испугалась; — она, разумеется, без труда согласилась на предложение Мими, но вспыхнула, и так вспыхнула, что все это заметили. Все это произошло во сто раз быстрее, нежели во сколько мы могли рассказать сцену.

На дворе была сильная метель; ветер задувал фонари, и в двух шагах нельзя было различить человека. Закутанная с ног до головы в салон, Мими, с трепетом в сердце, всходила, поддерживаемая двумя лакеями, по ступенькам кареты. Она едва сделала два шага, как вдруг в карете большая мужская рука схватила ее руку, помогая ей войти. Мими бросилась назад, вскрикнула, — и едва ли это был не крик радости! Опрометью побежала она назад по лестнице, и вне себя, задыхаясь от различных чувств, загоревшихся в душе, бросилась к сестре Марии, которую крик ее, раздавшийся по всему дому, заставил выбежать из гостиной вместе с другими дамами.

— Ну, говорите еще! — шептала она сестре своей, но так, чтоб все могли слышать, — защищайте вашу баронессу! У ней... в карете... ее Границкий. Посоветуйте ей по крайней мере осторожнее устраивать свои свидания и не подвергать меня такому стыду...

На шум пришла баронесса. Мими замолчала и, как бы без чувств, бросилась в кресла. Пока баронесса тщетно спрашивала у княжны, что с нею случилось, — дверь отворилась и —

но позвольте, милостивые государи! Я думаю, что теперь самая приличная минута заставить вас прочесть —

## ПРЕДИСЛОВИЕ

C'est avoir l'esprit de son âge! <sup>1</sup>

С некоторого времени вошел в употребление и успел уже обветшать обычай писать предисловие середине книги. Я нахожу его прекрасным, то есть очень выгодным для автора. Бывало, сочинитель становился на колени, просил, умолял читателя обратить на него внима-

<sup>1</sup> Быть верным своему веку! (франц.)

ние; а читатель гордо перевертывал несколько страниц и хладнокровно оставлял сочинителя в его унижительном положении. В нашу эпоху справедливости и расчета сочинитель в предисловии ставит читателя на колени или выбирает ту минуту, когда сам читатель становится на колени и вымаливает развязки; тогда сочинитель важно надевает докторский колпак и доказывает читателю, почему он должен стоять на коленях, — все это с невинным намерением заставить читателя прочесть предисловие. Воля ваша, а это прекрасное средство, ибо кто не читал предисловия, тот знает только половину книги. Итак, милостивые государи, становитесь на колени, читайте, и читайте с глубочайшим вниманием и с глубочайшим уважением, потому что я буду говорить вам то, что уже давно вам всем известно.

Знаете ли вы, милостивые государи читатели, что писать книги дело очень трудное?

Что из книг труднейшие для сочинителя — романы и повести.

Что из романов труднейшие те, которые должно писать на русском языке.

Что из романов на русском языке труднейшие те, в которых описываются нравы нынешнего общества.

Пропуская тысячи причин этих затруднений, я упомяну о тысяче первой.

Эта причина, — извините! — pardon! — verzeihen sie! scusate! — forgive me! <sup>1</sup> — эта причина: наши дамы не говорят по-русски!!

Послушайте, милостивые государыни: я не студент, не школьник, не издатель, ни А, ни В; я не принадлежу ни к какой литературной школе и даже не верю в существование русской словесности; я сам говорю по-русски редко; по-французски изъясняюсь почти без ошибок; картавлю самым чистым парижским наречием: словом, я человек порядочный, — я уверяю вас, что стыдно, совестно и бессовестно не говорить по-русски! Знаю я, что французский язык уже начинает выходить из употребления: но какой нечистый дух шейнул вам заменить его не русским, а проклятым английским, для которого надобно ломать язык, стискивать зубы и выставлять нижнюю челюсть вперед? А с этою необходимостью прощай, хорошенький ротик с розовыми, свежими славянскими губками? Лучше бы его не было.

<sup>1</sup> Извините! (франц., нем., итал., англ.)

Вы знаете не хуже моего, что в обществе действуют сильные страсти — страсти, от которых люди бледнеют, краснеют, желтеют, занемогают и даже умирают; но в высших слоях общественной атмосферы эти страсти выражаются одною фразою, одним словом, словом условным, которого, как азбуку, нельзя ни перевести, ни выдумать. Романист, в котором столько совести, что он не может решиться выдавать алеутский разговор за язык общества, должен знать в совершенстве эту светскую азбуку, должен ловить эти условные слова, потому что, повторяю, их выдумать невозможно: они рождаются в пылу светского разговора, и приданный им в ту минуту смысл остается при них навсегда. Но где поймать такое слово в русской гостиной? Здесь все русские страсти, мысли, насмешка, досада, малейшее движение души выражаются готовыми словами, взятыми из богатого французского запаса, которыми так искусно пользуются французские романисты и которым они (талант в сторону) обязаны большею частию своих успехов. Как часто им бывают не нужны эти длинные описания, объяснения, приготовления, которые мука и сочинителю и читателю и которые они легко заменяют несколькими светскими для всех понятными фразами! Те, которые знают несколько механизм расположения романа, те поймут все выгоды, приносимые этим обстоятельством. Спросите нашего поэта<sup>1</sup>, одного из немногих русских писателей, в самом деле знающих русский язык, почему он, в стихах своих, употребил целиком слово *vulgar, vulgaire*?<sup>2</sup> Это слово рисует половину характера человека, половину его участи; но, чтобы выразить его по-русски, надобно написать страницы две объяснений, — а куда как это ловко для сочинителя и как весело для читателя! Вот вам один пример, а таких можно найти тысячу. И потому я прошу моих читателей принять в уважение все эти обстоятельства и пенять не на меня, если для одних разговор моих героев покажется слишком книжным, а для других не довольно грамматическим. В последнем случае я сошлюсь на Грибоедова, едва ли не единственного, по моему мнению, писателя, который постиг тайну перевести на бумагу наш разговорный язык.

---

<sup>1</sup> Напоминать ли, что здесь идет речь об Онегине Пушкина. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

<sup>2</sup> Вульгарно (англ., франц.).

Засим я прошу извинения у моих читателей, если наскучил им, поверяя их доброму расположению эти маленькие, в полном смысле слова домашние затруднения и показывая подставки, на которых движутся романтические кулисы. Я поступаю в этом случае как директор одного бедного провинциального театра. Приведенный в отчаяние нетерпением зрителей, скучавших долгим антрактом, он решился поднять занавес и показать им на деле, как трудно превращать облака в море, одеяло в царский намет, ключницу в принцессу, и арапа в *premier ingénu*<sup>1</sup>. Благоклонные зрители нашли этот спектакль любопытнее самой пьесы. Я думаю то же.

Конечно, родятся люди с необыкновенными дарованиями, для которых все готово — и нравы, и ход романа, и язык, и характеры: надобно ли им изобразить человека высшего общества или, как они говорят, модного тона, — ничего не может быть легче! Они непременно пошлют его в чужие края; для большей верности в costume заставят его не служить, спать до двух часов пополудни, ходить по кондитерским и пить до обеда, разумеется, шампанское. Нужно им написать разговор в порядочном обществе, — и того легче! Развернуть первый переводной роман г-жи Жанлис, прибавить в необходимых местах слова *mon cher*, — *ma chère*, — *bonjour* — *comment vous portez-vous*<sup>2</sup>, — и разговор готов! Но такую точность описания, такой верный, пронизательный взгляд природа дает немногим гениям. Я был обижен ею в этом отношении и потому просто прошу читателя сердиться не на меня, если я в некоторых из моих домашних разговоров не умел вполне сохранить светского колорита; а дамам повторяю мою убедительную просьбу говорить по-русски.

Не говоря по-русски, они лишаются множества выгод:

I. Они не могут так хорошо понимать наших сочинений; но как с этим по большей части их можно поздравить, то мы пропустим это обстоятельство.

II. Если они, несмотря на мои увещания, все-таки не будут говорить по-русски, то я — я — вперед не напишу для них ни одной повести, пусть же читают они гг. А, Б, В и проч.

<sup>1</sup> Первого любовника (*франц.*).

<sup>2</sup> Мой дорогой, — моя дорогая, — здравствуйте, — как вы себя чувствуете (*франц.*).

Уверенный, что эта угроза сильнее всех доказательств подействует на моих читателей, я спокойно обращаюсь к моему рассказу.

Итак — дверь отворилась, и... ввалился старый барон, ничего не понимавший в этом приключении. Он приезжал за женою, и как он намеревался сейчас же куда-то ехать с нею по какому-то непредвиденному обстоятельству, то рассудил остаться в карете и не говорить о себе хозяйке дома. Крик княжны Мими, которую он сначала принял было за жену, заставил его выйти.

Но таково было магнетическое действие, приготовленное и городскими слухами и всем предшедшим, что все смотрели на него и не верили глазам своим: уже спустя несколько времени, после стакана воды, после одеколона, гофманских капель и прочего тому подобного, догадались, что в таких случаях надобно смеяться. Я уверен, что многие из моих читателей замечали в разных случаях жизни действие этого магнетизма, производящего в толпе сильное убеждение почти без всякой видимой причины: подвергшись сему действию, мы потом уже тщетно хотим уничтожить его рассудком; слепое убеждение так овладевает нашею волею, что в нас сам рассудок невольно начинает отыскивать обстоятельства, которые бы могли подтвердить это убеждение. В те минуты сказанное самое нелепое слово производит сильное влияние; иногда самое это слово забывается, но произведенное им впечатление остается в душе и, незаметно для человека, порождает в нем ряд таких мыслей, которые бы не пришли в голову без этого слова и которые к нему имеют иногда самое отдаленное отношение. Этот магнетизм играет весьма важную роль как в важных, так и в самых мелочных происшествиях и, может быть, для многих должен служить единственным объяснением. Так случилось и теперь: происшествие с княжною было очень просто и понятно, но предрасположение всех присутствующих к другого рода развязке было так сильно, что у многих в одно и то же мгновение родилась неясная мысль, как будто бы барон тут явился в роде *кума*. Каким образом могло это случиться, в ту минуту никто не был в состоянии объяснить себе; но впоследствии эта мысль развилась, укрепилась, и рассудок вместе с памятью отыскивали в прошедшем множество подтверждений

для того, что действительно было только одно слепое убеждение.

Если б вы знали, какой шум поднялся в городе после этого происшествия! Во всех углах шепотом, вслух, за канвою, за книгою, в театре, перед алтарем божиим собеседники и собеседницы говорили, толковали, объясняли, спорили, выходили из себя. Огонь небесный не произвел бы в них сильнеешего впечатления! И все оттого, что мужу вздумалось приехать за женою. Наблюдая подобные прискорбные явления, истинно приходишь в изумление. Что привлекает этих людей к делам, которые до них не касаются? Каким образом эти люди, эти люди бездушные, ледяные при виде самого благородного и самого подлого поступка, при виде самой высокой и самой пошлой мысли, при виде самого изящного произведения и при нарушении всех законов природы и человечества,— каким образом эти люди делают пламенными, глубокомысленными, пронизательными, красноречивыми, когда дело дойдет до креста, до чина, до свадьбы, до какой-нибудь домашней тайны или до того, что они выжали из своего сухого мозга под именем приличия?

#### IV

#### СПАСИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

Б а р и н. Дурак! Тебе надобно было это сделать стороною.

С л у г а. Я и так, сударь, подошел к нему со стороны.

У старого барона был меньшой брат, гораздо моложе его годами; офицер, вообще очень милый малой.

Описать его характер довольно трудно: надобно начать издалека.

Видите ли! отцов наших добрые люди научили, что надобно во всем сомневаться, рассчитывать свой каждый поступок, избегать всяких систем, всего бесполезного, а везде искать существенной пользы или, как тогда говорили, обирать вокруг себя и вдаль не пускаться. Отцы наши послушались, оставили в сторону все бесполезные вещи, которых я не назову, чтобы не прослыть педантом, и очень были рады, что вся мудрость человеческая ограничилась обедом, ужином и прочими тому подобными полезными предметами. Между тем у отцов наших завелись дети; дошло дело до воспитания; они благо-

разумно продолжали во всем сомневаться, смеяться над системами и заниматься одними полезными предметами. Между тем их дети росли, росли и, наперекор добрым людям, сами составили себе систему жизни,— однако систему не мечтательную, а в которой поместилась эпитаграмма Вольтера, анекдот, рассказанный бабушкой, стих из Парни, нравственно-арифметическая фраза Бентама, насмешливое воспоминание о примере для прописи, газетная статья, кровавое слово Наполеона, закон с карточной чести и прочее тому подобное, чем до сих пор пробавляются старые и молодые воспитанники XVIII столетия.

Молодой барон обладал этою системою в совершенстве: влюбиться он не мог — в этом чувстве было для него что-то смешное; он просто любил женщин, — всех, с малыми исключениями, — свою легавую собаку, Лепажевы ружья и своих товарищей, когда они ему не надоедали; он верил в то, что дважды два четыре, в то, что ему скоро откроется вакансия в капитаны, в то, что завтра он должен танцевать 2, 5 и 6 нумера контраданса...

Впрочем, будем справедливы: молодой человек имел благородную, пылкую и добрую душу; но чего не задавило преступное воспитание гнилого и раздушенного века! Радуйтесь, люди расчета, сомнения и существенной пользы! радуйтесь, защитники насмешливого неверия во все святое! расплылись ваши мысли, все затопили, и просвещение и невежество. Где встанет солнце, которое должно высушить это болото и обратить его в плодородную почву?

В комнате, обвешанной парижскими литографиями и азиатскими кийжалами, на вогнутых креслах, затянутый в узком архалухе, лежал молодой барон, то посматривая на часы, то перевортывая листки французского водевиля.

Человек подал записку.

— От кого?

— От маркизы де Креки.

— От тетушки!

Записка была следующего содержания:

«Заезжай ко мне сегодня после обеда, мой милый. Да не забудь, по обыкновению; у меня до тебя есть дело, и очень важное».

— Ну, уж верно, — проворчал про себя молодой человек, — тетушка изобрела еще какую-нибудь кузину, которую надобно выводить на паркет! Уж мне эти кузи-

ны! И откуда они берутся?.. Скажи тетушке,— сказал он громко,— что очень хорошо,— буду. Одеваться.

Когда молодой барон Даурталь явился к маркизе, она оставила свои большие вязальные спицы, взяла его за руку и с таинственным видом, через ряд комнат, отличающихся характеристическим безвкусием, повела к себе в кабинет и посадила на маленький диван, окруженный горшками с геранием, бальзамино, мятою и фамильными портретами. Воздух был напоитан одеколоном и спермацетом.

— Скажите, тетушка,— спросил ее молодой человек,— что все это значит? Уж не женить ли вы меня хотите?

— Пока еще нет, моя душа! Но шутки в сторону: я должна с тобою говорить очень и очень серьезно. Скажи мне, сделай милость, что у тебя за друг такой — Границкий, что ли, он? как его?..

— Да, Границкий! Прекрасный молодой человек, хорошей фамилии...

— Я никогда об ней не слыхала. Скажи мне, отчего такая связь между вами?

— В одном местечке, в Италии, измученный, голодный, полубольной, я не нашел комнаты в трактире: он поделился со мною своею; я занемог: он ухаживал за мною целую неделю, ссудил меня деньгами; я взял с него слово, приезжая в Петербург, останавливаться у меня: вот начало нашего знакомства... Но что значат все ваши вопросы, тетушка?

— Послушай, мой милый! Все это очень хорошо; я очень понимаю, что какой-нибудь Границкий был рад оказать услугу барону Даурталю.

— Тетушка, вы говорите о моем истинном приятеле! — прервал ее молодой человек с неудовольствием.

— Все это очень хорошо, мой милый! Я не осуждаю твоего истинного приятеля,— его поступок с тобою делает ему много чести. Но позволь мне тебе сказать откровенно: ты молодой человек, едва вступаешь в свет: тебе надобно быть осторожным в выборе знакомства. Нынче молодые люди так развращены...

— Я думаю, тетушка, ни больше ни меньше, как всегда...

— Ничего не бывало! Тогда по крайней мере было больше почтения к родственникам; родственные связи, не как теперь,— они были теснее...



— И даже иногда слишком тесны, любезная тетушка, не правда ли?

— Не правда! Да дело не о том. Позволь мне тебе заметить, что ты в этом случае, о котором мы говорим, поступил очень ветрено: встретился и связался с человеком, которого никто не знает. Служит ли он по крайней мере где-нибудь?

— Нет.

— Ну, скажи же сам после этого, что он за человек! Даже не служит! Уж верно потому, что его не принимают в службу.

— Вы ошибаетесь, тетушка. Он не служит, потому что у него мать италиянка, и все его имение в Италии; он не может ее оставить, именно по причине родственных связей...

— Зачем же он здесь?

— По делам своего отца. Но скажите, бога ради, к чему ведут все эти вопросы?

— Одним словом, мой милый, мне очень неприятна твоя дружба с этим человеком, и ты мне сделаешь большое одолжение, если... если выживешь его из дома.

— Помилуйте, тетушка! Вы знаете, что я во всем вам беспрекословно повинуюсь; но войдите в мое положение: с какой стати я вдруг переменюсь к человеку, которому столько обязан, и ни с того ни с сего выгоню его из дому? Воля ваша, я не могу решиться на такую неблагодарность.

— Все это вздор, мой милый! романические идеи, больше ничего! Есть манера, и очень вежливая, показать ему, что он тебе в тягость.

— Разумеется, тетушка, что это очень легко сделать; но я повторяю вам, что я не могу взять на мою совесть такую гнусную неблагодарность. Воля ваша, не могу, никак не могу...

— Послушай же! — отвечала маркиза после некоторого молчания, — ты знаешь все, чем ты обязан твоему брату...

— Тетушка!

— Не перерывай меня. Ты знаешь, что по смерти твоего отца он мог воспользоваться всем твоим имением; он не сделал этого, он взял тебя по третьему году на свои руки, воспитал тебя, привел все запущенные дела в порядок; когда ты взрос, записал тебя в службу, чест-

но поделился с тобою именем; словом, ты ему обязан всем, чем ты дышишь...

— Тетушка, что вы хотите сказать?

— Слушай. Ты уже не ребенок и малый не глупый, но вынуждаешь меня сказать тебе то, чего бы я не хотела.

— Что такое, тетушка?

— Послушай! Дай мне прежде слово не делать никаких глупостей, а поступить, как следует благоразумному человеку.

— Бога ради, договорите, тетушка!

— Я в тебе уверена и потому спрашиваю тебя, не заметил ли ты чего-нибудь между баронессою и твоим Границким?

— Баронессою! Что это значит?..

— Твой Границкий с ней в интриге...

— Границкий?.. Быть не может!

— Я тебя не стану обманывать. Это верно: твой брат обещан, его седые волосы поруганы.

— Но надобны доказательства...

— Какие тебе доказательства? Ко мне уж об этом пишут из Лифляндии. Все жалеют о твоём брате и удивляются, как ты можешь помогать его обманывать.

— Я? его обманывать? Это клевета, тетушка, сущая клевета. Кто осмелился к вам написать это?

— Этого я тебе не скажу; но оставляю тебе только рассудить, можно ли Границкому оставаться у тебя в доме. Твой долг тебя обязывает, пока эта связь не сделалась еще слишком гласною, стараться учтивым образом заставить его выехать из твоего дома, а если можно, и из России. Ты понимаешь, что это должно сделать без шума; найти какой-нибудь предлог...

— Будьте уверены, что все будет исполнено, тетушка. Благодарю вас за известие. Мой брат стар, слаб; это мое дело, мой долг... Прощайте...

— Постой, постой! не горячись! Тут не надобно никакой горячности, а хладнокровие: ты мне обещаешь, что ты не сделаешь никакой глупости, а поступишь, как следует благоразумному человеку, не мальчику?

— О, будьте спокойны, тетушка! Я все улажу как нельзя лучше. Прощайте.

— Не забудь, что тебе надобно поступить в этом случае очень осторожно! — кричала ему вслед маркиза. — Говори с Границким тихо, не горячись. Заведи речь сторуною, обиняками... Понимаешь?

— Будьте спокойны, будьте спокойны, тетушка! — отвечал барон, убегая.

Кровь была ключом в голове молодого человека.

## V

### БУДУЩЕЕ

...l'avenir n'est à personne, Sire, l'avenir est à Dieu.

*Victor Hugo*<sup>1</sup>

Во время этой сцены происходила другая.

Во внутренности огромного дома, позади блестящего магазина, находилась небольшая комната с одним окошком на двор, завешенным сторою. По виду комнаты трудно было отгадать, кому она принадлежала: простые штукатурные стены, низкий потолок, несколько старых стульев и огромное зеркало, в алькове богатый диван со всеми затеями роскоши, низкие кресла с выгнутою спинкою, — все это как-то спорило между собою. Одна дверь комнаты, через глухой коридор, соединяла ее с магазином; другая выходила на противоположную улицу.

По комнате ходил скорыми шагами молодой человек и часто останавливался, то посередине, то у дверей, и тщательно прислушивался. То был Границкий.

Вдруг послышался шорох, дверь отворилась, и прекрасная женщина, прекрасно одетая, бросилась в его объятия. То была графиня Лидия Рифейская.

— Знаешь ли, Габриель, — сказала она ему поспешно, — что здесь мы с тобою видимся в последний раз?

— В последний раз? — вскричал молодой человек, — но постой! что с тобою? ты так бледна?

— Ничего! Я немножко озябла. Спеша к тебе, я забыла надеть ботинки. Коридор такой холодный... Это ничего!

— Как ты неосторожна! Здоровьем пренебрегать не надо...

Молодой человек подвинул кресла к камину, посадил на них прекрасную женщину, разул ее и старался согреть прелестные ножки своим дыханием.

— О, перестань, Габриель! Минуты дороги; я насилу могла вырваться из дома; я пришла к тебе с важною

<sup>1</sup> ...будущее никому не принадлежит, Ваше величество, будущее в руках божьих. *Виктор Гюго (франц.)*.

новостью. У моего мужа второй удар и,—страшно выговорить,—доктора мне сказали, что мужу не пережить его: у него отнялся язык, лицо перекосилось, он страшен! бедный, не может выговорить ни слова!.. Едва поднимает руку! Ты не можешь поверить, как он мне жалок.

И графиня закрыла лицо свое рукою. Между тем Габриель целовал ее холодные, как будто из белого мрамора выточенные ножки и прижимал их к горячим щекам своим.

— Лидия,—говорил он,—Лидия! ты будешь свободна...

— Ах, говори мне это чаще, Габриель! Это одна мысль, которая на минуту заставляет меня забывать мое положение; но в этой мысли есть что-то страшное. Чтобы быть счастливою в твоих объятиях, мне надобно перешагнуть через гроб!.. Для моего счастья нужна смерть человека!.. Я должна желать этой смерти!.. Это ужасно, ужасно! Это переворачивает сердце, это противно природе.

— Но, Лидия, если кто-нибудь виноват в этом, то, верно, не ты. Ты невинна, как ангел. Ты жертва приличий; тебя выдали замуж поневоле. Вспомни, сколько ты сопротивлялась воле твоих родителей, вспомни все твои страдания, все наши страдания...

— Ах, Габриель, я все это знаю: и когда я подумаю о прошедшем, тогда совесть моя покойна. Бог видел, чего я не перенесла в моей жизни! Но когда я взгляну на моего мужа, на его скосившееся лицо, на его дрожащую руку; когда он манит меня к себе, меня, в которой он в продолжение шести лет производил одно чувство — отвращение; когда я вспомню, что его всегда обманывала, что его теперь обманываю, тогда забываю, какая цепь страданий, нравственных и физических, довела меня до этого обмана. Я изнываю между этими двумя мыслями,—и одна не уничтожает другой!

Границкий молчал: тщетно бы стал он утешать Лидию в эту минуту.

— Не сердись на меня, Габриель! — сказала она наконец, обнимая его голову.— Ты понимаешь меня; ты с детства привык понимать меня. Я одному тебе могу поверить мои страдания...

И она пламенно прижала его к груди своей.

— Но полно! Время бежит; я не могу здесь более оставаться... Вот тебе мой последний поцелуй! Теперь слу-

шай: я верю, мы будем счастливы; я верю, то, что у нас отняло самовластие общества, возвратит нам провидение; но до того дня я вся принадлежу моему мужу. С сей поры я ежеминутною заботою, долгими ночами без сна у его постели, страданием не видеть тебя должна выкупить нашу любовь и вымолить у бога наше счастье. Не старайся меня видеть, не пиши ко мне; позволь мне забыть тебя. Я тогда стану спокойнее, и совесть меньше меня будет мучить. Мне легче будет вообразить себя совершенно чистою, невинною... Прощай!.. Еще два слова: не переменяй ничего в твоём образе жизни, продолжай выезжать, танцевать, волочиться, как будто для тебя не готовится никакой перемены... Заезжай сегодня же наведаться о моем муже, но я тебя не приму: ты не родня. И сегодня же поезжай и везде равнодушно рассказывай об его болезни. Прощай!

— Поймай! Лидия! Еще один поцелуй!.. Сколько долгих дней пройдет...

— О, не напоминай мне больше об этом!.. Прощай. Будь терпеливее меня. Помни: будет время, и я не буду говорить тебе: «идут — отойди, Габриель!..» О, ужасно! ужасно!

Они расстались.

## VI

### ЭТО МОЖНО БЫЛО ПРЕДВИДЕТЬ

— Vous allez me rabacher je ne sais quels lieux communs de morale, que tous ont dans la bouche, qu'on fait sonner bien haut, pourvu que personne ne soit obligé de les pratiquer.

— Mais s'ils se jettent dans le crime?

— C'est de leur condition.

*Le neveu de Rameau*<sup>1</sup>

В сильном волнении молодой барон Даурталь возвратился домой.

— Дома ли Границкий? — спросил он.

<sup>1</sup> — Вы станете мне твердить бог знает какие общие морали, которые у всех на устах и провозглашаются всеми очень громко, только бы никто не обязан был бы их исполнять.

— Но если они дойдут до преступления?

— Это их дело.

*Племянник Рамо (франц.).*

— Никак нет.

— Сказать мне, как скоро он придет.

Тут он вспомнил, что Границкий должен был вечером ехать к Б \*\*\*.

Минуты этого ожидания были ужасны для молодого человека: он чувствовал, что в первый раз в жизни он призван на важное дело; что тут нельзя было отвертеться ни эпиграммой, ни равнодушием, ни улыбкою; что здесь надобно было сильно чувствовать, сильно думать, сосредоточить все силы души; что, одним словом, надобно было действовать, и действовать самому, не требуя советов, не ожидая подпоры. Но такое напряжение было ему незнакомо; он не мог себе отдать отчета в своих мыслях. Лишь кровь его разгоралась, лишь сердце в нем билось чаще. Ему представлялись, как будто во сне, городские толки; его брат в сединах, оскорбленный и слабый; желание показать свою любовь и благодарность к старику; товарищи, эполеты, сабля, ребяческая досада; охота показать, что он уже не ребенок; мысль, что смертоубийством заглаживается всякое преступление. Все эти грезы сменялись одна другою, но все было темно, неопределенно: он не умел спросить у того судилища, которое не зависит от временных предрассудков и мнений, произносит всегда точно и верно: воспитание забыло ему сказать об этом судилище, а жизнь не научила спрашивать. Язык судилища был неизвестен барону.

Наконец пробил час. Молодой человек бросился в карету, поскакал, нашел Границкого, взял его за руку, вывел из толпы в отдаленную комнату, и... не знал, что сказать ему; наконец вспомнил слова тетушки и, стараясь принять вид хладнокровный, проговорил:

— Ты едешь в Италию!

— Нет еще,— отвечал Границкий, приняв эти слова за вопрос и смотря на него с удивлением.

— Ты должен ехать в Италию! Ты меня понимаешь?

— Нисколько!

— Я хочу, чтоб ты ехал в Италию! — сказал барон, возвысив голос. — Теперь понимаешь?

— Скажи мне, сделай милость: что, ты с ума сошел, что ли?

— Есть люди, которых я не назову, для которых всякое благородство — сумасшествие...

— Барон, ты не знаешь, что говоришь! Твои слова пахнут порохом.

— Я привык к этому запаху.

— На маневрах?

— Это мы увидим.

Глаза барона заблестали: дело шло уже о личной обиде.

Они взяли слово с людей, вошедших в комнату к концу разговора, сохранить его в тайне, воротились снова в залу, сделали несколько вальсовых кругов и исчезли.

Через несколько часов уже секунданты отмеривали шаги и заряжали пистолеты.

Границкий подошел к барону.

— Прежде нежели мы отправим друг друга на тот свет, мне очень любопытно узнать, за что мы стреляемся.

Барон отвел своего соперника в сторону от секундантов.

— Вам это должно быть понятнее меня...— сказал он.

— Нисколько.

— Если я вам назову одну женщину...

— Женщину!.. Но какую?

— Это уж слишком! Жена моего брата, моего старшего, больного брата, моего благодетеля... Понимаете?

— Теперь уж совершенно ничего не понимаю!

— Это странно! Весь город говорит, что вы обесчестили моего брата; все смеются над ним...

— Барон! вас бессовестно обманули. Прошу вас назвать мне обманщика.

— Это мне сказала женщина.

— Барон! вы поступили очень опрометчиво. Если бы вы прежде спросили меня, я бы вам рассказал мое положение; но теперь поздно, мы должны драться. Но я не хочу умереть, оставив вас в обмане: вот вам моя рука, что я и не думал о баронессе.

Молодой барон был в сильном смущении в продолжение разговора: он любил Границкого, знал его благородство, верил, что он его не обманывает, и проклинал самого себя, тетушку, целый свет.

Один из секундантов, старинный дуэлист и очень строгий в делах этого рода, сказал:

— И, и, господа! У вас, кажется, дело на лад идет? Тем лучше: миритесь, миритесь; право, лучше...

Эти слова были сказаны очень просто, но барону они показались насмешкою,— или в самом деле в тоне голо-

са секунданта было что-то насмешливое. Кровь вспыхнула в молодом человеке.

— О нет! — вскричал он, почти сам не зная, что говорит.— Нет, мы и не думаем мириться. У нас есть важное объяснение...

Последнее слово снова напомнило молодому человеку его преступную неосторожность: вне себя, волнуемый необъяснимыми чувствами, он вторично отвел своего соперника в сторону.

— Границкий! — сказал он ему, — я поступил как ребенок. Что нам делать?

— Не знаю, — отвечал Границкий.

— Рассказать секундантам нашу странную ошибку?..

— Это будет значить распространить слухи о жене твоего брата.

— Ты смеялся над моею храбростию; секунданты знают это.

— Ты мне говорил таким тоном...

— Это не может так остаться!

— Это не может так остаться!

— Скажут, что на нашем дуэле пролилась не кровь, а шампанское...

— Постараемся оцарапать друг друга.

Они стали к барьеру. Раз, два, три! — пуля Границкого оцарапала руку барона; Границкий упал мертвый.

## VII

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Существуют охотники защищать всех и всё: они ни в чем не хотят видеть дурного. Эти люди очень вредны...

*Светское суждение*

Всякий читатель, вероятно, уже догадывается, что вышло из всей этой истории.

Пока о дуэли знали одни мужчины, то приписывали его просто насмешке Границкого над храбростью молодого барона; толки были различны. Но когда узнали об этом происшествии нравственные дамы, описанные нами выше, тогда прекратились все недоразумения: истинная причина была тотчас отыскана, исследована, обработана, дополнена примечаниями и распространена всеми возможными способами.



Бедная баронесса не устояла против этого жестокого преследования: ее честь, единственное чувство, которое было в ней живо и свято,— ее честь, которой она приносила в жертву все мысли ума, все движения юного сердца,— ее честь была поругана без вины и без возврата. Баронесса слегла в постель.

Молодой барон и двое секундантов были сосланы,— далеко от всех наслаждений светской жизни, которая одна могла быть для них счастьем.

Графиня Рифейская осталась вдовою.

Есть поступки, которые преследуются обществом: погибают виновные, погибают невинные. Есть люди, которые полными руками сеют бедствие, в душах высоких и нежных возбуждают отвращение к человечеству, словом, торжественно подпиливают основания общества, и общество согревает их в груди своей, как бессмысленное солнце, которое равнодушно всходит и над криками битвы, и над молитвою мудрого.

Для княжны Мими была составлена партия,— она уже отказалась от танцев. Молодой человек подошел к зеленому столу.

— Сегодня поутру наконец кончились страдания баронессы Даурталь! — сказал он.— Здешние дамы могут похвалиться, что они очень искусно ее убили до смерти.

— Какая дерзость! — шепнул кто-то другому.

— Ничего не бывало! — возразила княжна Мими, закрывая взятку,— убивают не люди, а незаконные страсти.

— О, без сомнения! — заметили многие.

## Княжна Визи

(Посв. Е. А. Сухозанет)

Иногда в домашнем кругу нужно больше героизма, нежели на самом блистательном поприще жизни. Домашний круг — для женщины поле чести и святых подвигов. Зачем немногие это понимают?..

*Слова женщины*

— Откуда ты?

— С биржи.

— Ну, что?

— Каждый день выше!

— Тем лучше.

— Как тем лучше? Я от этого теряю двадцать тысяч пятьсот рублей.

— Теряешь?

— О, да что с тобой толковать! ты не поймешь меня...

— Однако ж...

— Видишь ли ты: у меня теперь свободных денег сто двадцать тысяч пятьсот рублей: на сто тысяч я покупаю землю к моей тульской деревне, на двадцать тысяч пятьсот я хотел купить акций новой страховой компании, но они теперь поднялись в такую цену, которой не стоят, и мои двадцать тысяч пятьсот рублей я должен держать у себя почти без всякой пользы.

— Это ты называешь потерять двадцать тысяч?..

— О, я уже сказал, что ты ничего не понимаешь!

С этими словами мой приятель, принадлежавший к новой породе фешенеблей-индустриалистов, бросился в кресла, погрузился в задумчивость и с досадою крутил усы свои.

— У тебя сегодня сплин? — спросил я его.

— Да, сплин, и ужасный... Чему ж ты смеешься?

— Я не смеюсь, а наблюдаю, каким образом байронизм соединяется с биржею. Если и на наше поколение

повеял этот мрачно-промышленный дух, что же будет с новым?..

— Новое будет умнее нас: оно не потеряет столько времени и особенно столько денег на мечты, на звонкие слова и на филантропические бредни; оно будет заниматься солидным, положительным...

— Скажи мне, ведь ты, кажется, в старину писал элегии?..

— Как же! И про них толковали в журналах, что они *обличают во мне решительное направление к элегическому роду...*

— В самом деле, ты и теперь смотришь элегическим поэтом... И ты, разумеется, бывал и влюблен?..

— Я и теперь от этого не отказываюсь.

— Я это знаю, и это доказывает твоя коллекция писем в нескольких томах. Только берегись, я когда-нибудь ее украду, хоть для того только, чтобы посмотреть, чем ты мог нравиться женщинам и как уживаются все эти разноязычные соперницы, сдавленные одним и тем же переплетом? Нет, без шуток — давно мне хотелось спросить тебя: бывал ли ты влюблен в самом деле, влюблен хоть один раз в жизни, но так, как понимают те люди, которые занимаются сочинением романов, сказок и про-чего тому подобного?

Мой промышленник встал.

— Некогда мне теперь об этом толковать, — сказал он, — прощай; мне надобно наведаться у одного человека, который обещал мне достать акций подешевле.

— Погоди! Кого ты теперь застанешь? Уж пять часов; пообедай у меня — и отведаем вместе новое вино, которое мне предлагают купить. Ты между тем мне расскажешь...

— А! понимаю, зачем тебе хочется остановить меня: у тебя требуют повести — *et le baron s'embarrasse*<sup>1</sup>; в портфеле и голове пусто; ты думаешь, не наткнешься ли на какую-нибудь мысль в моем болтанье.

— Может быть; тебе что за дело? Это моя биржевая спекуляция.

— Хорошо, я тебя потешу, буду сантиментальничать; но только вели давать обедать скорее. Повторяю тебе, мне некогда.

После нескольких рюмок вина мой приятель в самом

---

<sup>1</sup> И барон смущается (франц.).

деле сделался гораздо нежнее. Вино — великое дело; это единственная поэтическая сторона нашего века. Если оно вредно в физическом отношении, как утверждают гомеопаты, то необходимо в нравственном. Оно сдерживает с человека хоть на несколько минут его промышленную, расчетливую оболочку, естественное состояние выводит наружу и часто помогает вам открывать под холодным, насмешливым человеком — другого, у которого есть и душа и сердце или нечто похожее на то и другое. Отнимите у нас вино — мы будем хуже китайцев и американцев.

— Да, я был влюблен, — сказал наконец мой рассказчик, — т. е. влюблен по-вашему, так влюблен, что и до сих пор не могу отвыкнуть от негодной привычки вздыхать, вспоминая о моей красавице... Красавице!.. Но постой, не хочу тебе сказывать конца прежде начала. Я сам, признаюсь, люблю начинать роман с четвертого тома, но по опыту знаю, что это не приносит ни пользы, ни удовольствия; к тому же надобно для тебя и исторические свидетельства: пошли своего человека принести от меня зеленый портфель, который лежит возле бритвенного столика.

В 18... я возвратился в Москву из чужих краев. Десять лет я не видал моей родины, и потому для меня все было ново — и улицы, и дома, и люди. В гостиной моего опекуна собирались каждый вечер гости; занятия были обыкновенные: пили чай, играли в вист и рассказывали городские новости; многие из этих рассказов возбуждали во всех живейшее участие, но для меня, разумеется, долго были тарабарскою грамотою: я не понимал ни условных названий, ни семейных намеков, ни занимательности имен, которые доходили до моего слуха, — словом, ничего, чем живет домашний разговор. Ты знаешь, я не принадлежу к тем людям, которые из чужих краев привозят полное равнодушие ко всему отечественному и которым так же непонятна своя родина, как непонятны им были и чужие края; я не хотел быть совершенно чуждым в моем семействе, старался прислушиваться к ежедневным рассказам и почти заучивал имена. Одно из них, не знаю отчего, более привлекло мое внимание; это имя было княжна Зизи. Оно напомнило мне неподражаемого Грибоедова, заставило подумать, как бесполезны ваши, гг. сочинители, насмешки над странным обычаем коверкать имена; или в этом

имени было что-то особенное, но я невольно придвигал к кружку мои кресла, когда произносили это имя.

Вот тебе разговор о ней:

— Княжна Зизи выходит замуж,— сказала одна из моих кузин.

— За кого?

— За какого-то деревенского помещика.

— Очень бы хорошо сделала,— заметила тетушка.

— А жаль! преумная девушка,— заметил кто-то.

— Большая чудиха,— заметила одна дама.

— Настоящая христианка.

— Большая ханжа, притворщица.

— Премилая...

— Прегордая...

— Она все ждет, что на ней женится какой-нибудь кронпринц,— проговорила пожилая дама, невольно взглянув на своего сына, пожилого архивного юношу, приготовлявшегося в дипломаты.

— И, помилуйте! — отвечала другая с видимым злобным умыслом, — кто на ней и захочет жениться? разве какой-нибудь сумасшедший: у нее ничего нет...

— Извините, она очень богата.

— Все, батюшка, буки — и пропасть долгов.

— Я вас могу уверить,— сказал с значительным видом чиновник, занимавшийся дядюшкиными делами, своему партнеру,— что княжна никогда не выйдет замуж.

— Почему же?

— На это есть важные причины,— отвечал чиновник, понизив голос.

— Скажите мне, сделайте милость,— наконец обратился я к тетушке,— что это за княжна Зизи?

— Она в родне с Городковыми. Ты, я думаю, его помнишь: один Городков хаживал к твоему отцу.

— Помню,— высокого роста, худощавый и с большими поклонами.

— Княжна в самом деле имеет большие странности в характере: например, не успела умереть ее мать, как она, не ожидая года, бросилась ездить повсюду — по театрам, по балам, то жила с сестрою душа в душу, то вдруг рассорилась с нею и хотела ее оставить; потом опять осталась у ней в доме, согласилась было выйти замуж за одного очень порядочного человека, потом вдруг ни с того ни с сего ему отказала; потом завела пренегодный про-

цесс с своим зятем; то хотела идти в монастырь, то вдруг опять явилась в свете,— вообще в ней очень много странного. Прошлою зимою она приезжала сюда и никому визитов не сделала — даже у меня не была... В ней, говорю тебе, много странностей. Она большая кокетка — однако ж имела хорошие партии и ни за кого не вышла замуж... В ней много, много странного...

Слова тетушки не удовлетворяли моему любопытству; из них узнал я только то, что тетушка сердита на княжну Зизи, потому что княжна не была у ней с визитом. Я старался составить себе какое-нибудь понятие об этой девушке, которая успела возбудить о себе столько разноречащих мнений. То она мне представлялась просто московскою зрелую девою, вскормленную романами мадам Жанлис и со всеми причудами монастырки; то находил я, что, может быть, ее называли странною по той причине, по которой всякого человека, непохожего на других, называют чудаком. В этих размышлениях я присел к столику, где Марья Ивановна, небогатая вдова, жившая у тетушки, как говорят, «для компании», по обыкновению разливала чай. Она, как все «дамы для компании», была большая болтунья, мастерица варить варенье и страстная охотница до романов.

— Вы спрашивали тетушку о княжне Зизи,— сказала мне Марья Ивановна тихим голосом,— я не смела вмешаться в разговор, потому что все бы поднялись на меня; но никто лучше меня ее не знает. Я езжала в дом к старой княгине учиться танцевать; там мы познакомились с княжной Зинаидой, и до сих пор мы с ней в дружбе и в переписке. Придите завтра к нам перед обедом, и я вам расскажу подробно пространную жизнь этой несчастной девушки: ее совсем без вины опорочили в свете.

С сими словами мой рассказчик вынул из зеленого портфеля связку писем, вздохнул, покачал головою:

— Я храню эти письма как нечто святое,— сказал он, подавая мне одно из них.

— Номер первый,— продолжал мой приятель. Это было письмо княжны Зизи к Марье Ивановне. Взглянув на него, я с удивлением увидел, что оно было написано по-русски довольно правильно,— а уже одно это, особенно в то время, было очень замечательно. Вот это письмо:

«Москва. 4 февр. 18...

Ты забыла меня, Маша, совсем забыла. Вот уж прошло два месяца после последнего твоего письма. Неужли ты в своей Казани нашла другую приятельницу, которая заставила тебя позабыть твою бедную Зизи? Напиши мне, что ты делаешь? Довольна ли ты своим местом? танцуешь ли ты? — Дядюшка прислал нам из Парижа прекрасные эшарпы — голубой с белыми полосками для Лидии и пунцовый для меня; но нам нет и случая надеть их. К тому же маменька хочет, чтоб я носила голубой эшарп, а Лидия пунцовый. Когда я сказала, что черноволосым голубой цвет не к лицу, маменька по обыкновению рассердилась. Мы живем по-прежнему: маменька все больна, все скучает, всем недовольна, никуда сама не выезжает, и к нам никто не ездит. Мы бог знает как рады, когда приедет к нам старая Ракитина да хоть расскажет то, что она видела у обедни в своей приходской церкви; больше к нам никто не ездит. Поэтому ты видишь, что мы живем очень скучно. Поутру, пока маменька молится, мы сидим с Лидией на мезонине: она зевает за канвою, я за книгою, ибо я по-прежнему продолжаю красть книги из папенькиной библиотеки: это одна моя отрада. Хоть маменька и не дает нам ключа, говоря, что в этой библиотеке все мужские книги, но я прочла всего Карамзина, всю историю о странствиях аббата Лапорта, весь «Вестник Европы». Мне наконец удалось достать «Клариссу» из шкафа, помнишь, у которого была такая крепкая проволока, — хоть я оцарапала себе руку, зато наплакалась вдоволь; только последнего тома никак не могу достать: он упал за большой лексикон, и рука никак не доходит, — такая досада. Ракитина дала нам несколько разрозненных русских номеров журналов, — где недостает конца, где начала; что за охота этим господам писать: *продолжение впрдь*; терпеть не могу этого слова! Но зато я нашла там прекрасные стихи Жуковского и нового стихотворца Пушкина. Постарайся достать его стихов. Ах, никто так хорошо не пишет, как Жуковский и Пушкин! Так все у них идет к сердцу и невольно остается в памяти. Я все их стихи вписала в мою знакомую тебе тетрадку: теперь она очень потолстела. К обеду мы ходим вниз, до ночи мы сидим с маменькой и молчим. Что ни заговорим, она сердится, беспрестанно жалуется и на погоду, и на здоровье, и на людей. Мы уж с сестрою решились было молчать и счи-

тать трубы у окошка; но маменька опять сердится — говорит, что мы ее оставляем, чуждаемся, что мы неблагодарные, что, разумеется, со старухой скучно, — и знаешь все, что она обыкновенно прибирает. Бог видит мое сердце; об одном и прошу его, чтоб как-нибудь разве-селить маменьку; но как это сделать — он же один и знает! Летом было еще сноснее: бывало, хоть мы езжали в Симонов монастырь, а теперь — хоть плакать. О выезде и не говори. Попросишь маменьку в карете выехать прогуляться — она вздохнет, охнет, да тем и кончится. Прощай, милая Маша. Пиши, бога ради, ко мне: по крайней мере будет хоть о чем слово сказать. Твоя верная *Зизи*.

Р. С. Совсем было забыла тебе написать, да Лидия напомнила: вчера за обедней маменька устала, лакей был далеко; это заметил один молодой человек, тотчас бросился, отыскал стул, усадил маменьку; она его благодарила. Это какой-то господин Городков; мы его уже несколько раз видели в нашем приходе; кажется, сосед наш; он очень понравился маменьке, и она, ты не поверишь, кажется, даже звала его к себе. Да, дожидайся, поедет он в нашу пустыню!..»

— Нумер второй, — сказал мой приятель, подавая мне другое письмо.

*«Москва. Февраля 15-го.*

Благодарю тебя, Маша, за твое письмо, оно много меня порадовало. Если бы ты знала, — уж мы хохотали, хохотали, читая, как казанские кавалеры хлопают каблуками во французской кадрили; даже маменька улыбнулась. Вообще она теперь веселее. У нас был Владимир Лукьянович Городков — премилый человек. Как он умел занять маменьку! Она к нему с своими тяжбами, а он тотчас вошел в дело, успокоил маменьку и взял у нее целый пук бумаг, обещал хлопотать в судах... Добрый человек! Сам бог его послал. Может быть, маменька будет повеселее — дай-то бог! На радости маменька поехала с нами в *город*<sup>1</sup>. Ах, как там весело! Пропасть народа, экипажей, шум... А какие прелести в магазинах! Я видела совсем новую материю: ее называют *satin turque*<sup>2</sup>; ее делают двуличневою — прелесть! Маменька

<sup>1</sup> Так называется гостинный двор в Москве. (*Прим. В. Ф. Одоевского.*)

<sup>2</sup> Турецкий атлас (*франц.*).



купила для Лидии серенькую с оранжевым отливом: это теперь в большой моде; посылаю тебе образчик. Мне маменька купила также клетчатую тафтичку; посоветуй, каким фасоном сделать; я хочу, чтобы лиф был разрезной, с эполетами на плечах, кушачок с мыском, а кругом обшить выпущенной фалбалой. Не правда ли, это будет прекрасно?..»

— Во всем этом письме,— сказал я моему приятелю,— дело идет о тряпках; что тут интересного? Да и, признаюсь тебе, до сих пор не вижу никаких необычайностей, о которых ты столько толковал; вижу, что мать старая дура, в хандре, которая мучит без толка своих дочерей, а дочерям до смерти хочется наряжаться и выйти замуж: это мы каждый день видим...

— Нумер третий,— хладнокровно проговорил мой приятель.

*«Москва. Апреля 3-го.*

Ты не знаешь, что делается с нами, Маша. Представь себе, что я в самом деле в тюрьме,— да, в тюрьме: я не схожу с мезонина. Но пестой, надобно все рассказать по порядку. Все это время Городков не переставал навещать нас; маменька от него без ума. Он устроил маменькины дела, успел уверить ее, что они совсем не так худы, как она думает, хотя и требуют внимания... Право, этот человек лучше родного. Мы так привыкли к нему, что когда он у нас день не побывает, то мы уже думаем, не болен ли он,— и маменька посылает наведываться о его здоровье. Словом... Но слушай; с некоторого времени, как скоро придет Владимир Лукьянович, маменька начнет говорить, что ей кажется, будто я не по себе, или сыщет какое-нибудь дело, какой-нибудь предлог, чтоб отправить меня на мезонин. Я долго не понимала, но теперь догадалась: маменька воображает, что Владимир Лукьянович делает нам глазки, и ей хочется, чтоб Лидия, как старшая, прежде меня вышла замуж; теперь она уже просто запретила мне сходить с мезонина, а Владимира Лукьяновича уверяет, что я все нездорова. Но, я думаю, все это пустое. Правда, он очень любезен с нами, но с нами обеими. Лидии он приносит узоры для канвы, мне — книги; с каждою говорит не больше, как с другою, и, верно, он не помышляет о планах маменьки. Чем-то все это кончится! А между тем мне очень

скучно сидеть на мезонине, особенно когда внизу Владимир Лукьянович: он такой веселый, такой смешливый,— всегда умеет занять; он, кажется, и литератор, но этого еще я не могла узнать хорошенько, хотя мне и очень хотелось поговорить с ним о литературе, о Жуковском, о Пушкине, но боюсь, чтоб он не счел меня педанткой,— да теперь нет и надежды. Я с досады ничего не могу читать: только и дела, что вешаюсь на лестнице да прислушиваюсь, что говорят внизу: И смех и горе! Хоть бы как-нибудь да поскорее все это кончилось. Мне бы очень хотелось, чтоб он женился на Лидии: тогда мы, верно, будем жить веселее; я буду с нею выезжать и на танцы и на гулянье, потому что она уж будет *дама*. Непременно попрошу ее, чтобы она меня свозила в книжную лавку: я еще никогда не бывала в книжной лавке. Владимир Лукьянович, верно, знаком с сочинителями, и я увижу какого-нибудь сочинителя, может быть, Жуковского — какой это должен быть человек!.. А между тем я все сижу на мезонине! прощай, милая Маша. Пиши к твоей бедной затворнице

Зизи».

— Ну мер четвертый.

«Маша! участь моя решилась: я... влюблена, Маша, я влюблена до безумия! Я хотела скрыть это и от тебя и от себя самой, но я не могу далее сохранить в душе моей этой тайны... Я полюбила его с первой минуты нашего свидания, я не могу жить без него... Если б ты видела его — ты бы поняла меня. Оң соединение всех совершенств: прекрасен собою, глаза его — огонь, а его сердце, его доброе, прекрасное сердце, его кроткий, тихий разговор, его милое обращение... Я без ума, Маша; я стыжусь себя самой, я готова бежать за ним на край света,— и я не могу его видеть. Целый день я как пришита к окошку на моем проклятом мезонине, чтоб-услышать стук его дрожек: я их узнаю между тысячи; услышу — и кровь у меня стынет в жилах, сердце бьется, я вся дрожу, я вся в огне, в глазах темно и голова кругом — нет сил больше. Когда он уедет, я сбегаю вниз, ищу стула, на котором он сидел, стола, к которому он подходил, двери, в которую он вышел; я готова расцеловать их,— а тут мученье: Лидия, холодная Лидия, рассказывает, что он говорил, шутит, смеется над ним, а я... я ревную, я готова растерзать Лидию... Ах, что

делает со мною маменька? Зачем сначала позволила она мне видеть его? Зачем теперь запрещает?.. Он не равнодушен ко мне: он всякий раз спрашивает обо мне, спрашивает, что сказал доктор. *Его* безжалостно обманывают... Что, если моя мнимая болезнь огорчает его?.. А я должна молчать, скрывать все, что у меня на сердце, и перед сестрою и перед маменькою!.. Иногда я готова все рассказать ей; но когда посмотрю на ее суровый вид — язык прилипнет; а она еще сердится или говорит, что и слышать не хочет о моей хандре... Но по крайней мере до сих пор ей ничего не удается; он до сих пор еще не объяснился; я жду этого, как приговора к смерти... Ах, хоть ты пожалей о твоей

*Зизи!*»

— Нумер пятый.

«Плачь, Маша, и молись за меня! Мне нужна твоя молитва: сама я молиться не могу — ты понимаешь, что все-кончено... Он объяснился, он помолвлен... с Лидиею. Это было вчера; я в это время лежала без памяти в постели, и маменька в самом деле послала за доктором. Что может доктор? Все для меня кончилось! Мир мой — гроб, надежда — смерть. Ах, Лидия, счастливая Лидия!.. И что нашел он в ней? Она как ни в чем не бывало! Ей ли сделать его счастливым? Она холодна как лед; ей выйти замуж — как выпить стакан воды; она по-прежнему так же долго спит, так же шьет по канве, так же кушает за обедом и удивляется, отчего я брожу целую ночь как шальная, отчего мне кусок в горло нейдет, отчего я все книги раскидала по полу. Я часто не хочу верить, что все это не тяжелый сон. Часто мне кажется — вот пройдет, вот исчезнет; я силюсь проснуться — тщетная мечта! Лидия приходит ко мне показать свое подвенечное платье; она просит меня, чтоб я помогла ей наложить оборку; она смеется, хохочет, она не понимает своего счастья... Ей ли быть женою этого ангела?.. Неблагодарный, неверный, коварный, он не знает, чего он во мне лишился. Я бы утешала его каждую минуту жизни, я бы не спала над ним ночью, я бы ухаживала за ним целый день, я бы смешила его, когда ему скучно, я бы лелеяла его, как ребенка... Но я не могу писать далее; слезы падают на бумагу, пальцы дрожат, вся комната кругом меня вертится. Молись, молись обо мне, Маша!..»

— Письма княжны Зинаиды, говорила мне Марья Ивановна, занимали и пугали ее. Она знала пламенное воображение княжны, знала, что, привыкшая к суровому обращению своей матери, к ее совершенному отсутствию всякой любезности, Зинаида должна была видеть в каждом ласковом слове несомненный признак высокого сердца; знала, что, живя век в четырех стенах, она должна была влюбиться в первого мужчину, который ей на глаза попадетя: но, может быть, этот человек был недостоин ее доверенности, может быть, он хотел воспользоваться ее неопытностью... Все это представлялось Марье Ивановне в виде ужасном. «Обстоятельства заставили меня,— говорила она,— с ранних лет больше вникать в людей, строже ценить их; словом, я была старше Зизи не только летами, но и жизнью».

Но что оставалось ей делать? Писать, утешать свою приятельницу — дело невозможное. Те, у которых Марья Ивановна жила в доме, собирались ехать в Москву; она упросила их взять ее с собой.

Приехав сюда, она узнала разом две новости: свадьбу княжны Лидии и смерть ее матери. Марья Ивановна нашла княжну Зинаиду в доме ее сестры. Последний удар, казалось, уменьшил действие первого. Правда, княжна очень похудела, но все еще была прекрасна; очень грустна, но спокойнее, нежели ожидала Марья Ивановна. Зинаида мало говорила о Лидии, об ее муже, но подробно рассказывала о последних днях своей матери: как она прощалась с детьми, как просила у них прощения, как просила поминать ее, как она заклинала Зинаиду никогда не оставлять сестры своей. «Ты знаешь,— говорила старуха, оставшись одна с Зинаидою,— что хотя ты и младшая, но я на тебя больше надеюсь; ты знаешь, у Лидии нет царя в голове; я вижу теперь: она не сумеет ни с мужем ужиться, ни детей воспитать, ни с имением управиться; хоть я и рада, что выдала ее замуж, но крепко боюсь за нее. Если б бог продлил мою жизнь, я бы поддержала ее, остановила, наставила; но, верно, богу так не угодно — да будет его святая воля! Тебе поручаю мое дело, Зинаида: смотри за ней, как за ребенком, не давай ей тратить много денег, отводи ее от ссоры с мужем,— она взбалмошна, ты знаешь; люби ее детей, люби ее, люби...» Зинаида не могла выговорить, кого. Но повторяю, она была спокойна: она понимала великость своей жертвы, и невольно в ее серд-

це вкрадывалось чувство самодовольствия. Жизнь для нее была не без цели.

Марья Ивановна познакомилась и с Городковым. Глядя на него, она поняла, что не всякая женщина могла быть к нему равнодушною. Он был прекрасный молодой человек, одевался чисто и щегольски, был веселого, даже шутливого нрава, обращался с Лидией без излишней ласки, но с большою любезностью, с Зинаидой же — со всеми возможными знаками уважения. Марья Ивановна обедала с ними вместе в комнатах Зинаиды, которая еще была не совсем здорова: ей была отведена особая половина. Владимир Лукьянович во все время стола был очень мил и говорлив, читал несколько шарад, которые намеревался послать в «Вестник Европы», которые, как заметила Марья Ивановна, были написаны в стихах и очень замысловаты. Потом рассказывал о своем знакомстве с разными сочинителями и другими известными лицами; все его анекдоты были очень любопытны, так что, как признавалась Марья Ивановна, она и не заметила, как прошло время, и сама Зинаида несколько раз принуждена была улыбнуться. После обеда он распрошался с ними, сказав, что должен ехать хлопотать по делам, которые после старой княгини остались в большом расстройстве. Вот какое впечатление произвел Городков даже на рассудительную Марью Ивановну. Вскоре затем она снова должна была ехать в Казань с своими домашними. Прошло около года; в течение этого времени она получила от Зинаиды несколько писем, которые, впрочем, ничего не содержали для нее нового. Но вот одно из них более замечательное:

«Спешу тебя уведомить, любезная Маша, что бог даровал Лидии дочь: вчера, около полудня, она разрешилась от бремени очень благополучно; дочь назвали Прасковью, в честь матушки. Итак, наше семейство прибавилось еще одним лицом.— Что сказать тебе обо мне? Горячка прошла; я не провожу ночей напролет в слезах, но тебе могу признаться, что часто на сердце у меня бывает так тяжело, что и описать нельзя. Если бы я была за тысячу верст от Москвы, то, может быть, я бы обо всем позабыла; но иметь беспрестанно перед глазами счастье, которое никогда не будет принадлежать мне,— это ужасно; скрывать от всех, от сестры, от себя самой, от *него* мое чувство — нестерпимо; одно мое уте-

шение — молитва. Тогда я вспоминаю слова матушки, данное мною обещание, и становлюсь спокойною. Теперь я только начинаю понимать всю истину ее слов, — с тобой могу говорить откровенно: без меня Лидия погибла бы. Я никогда не могла вообразить в ней такой неспособности быть хозяйкою; она не знает цены ничему, даст приказание, потом забудет и прикажет совсем противное; слуги не знают, что делать; теперь они привыкли спрашивать меня, а я, пользуясь забывчивостью Лидии, без спроса отменяю ее приказания; ей и нужды до того нет — даже это ей так понравилось, что она теперь уж вовсе не вмешивается ни во что, спит половину дня, а другую ездит по магазинам; и там я ее должна удерживать, ибо она, как ребенок, готова купить все, что ей на глаза ни попадется. Часто я таким образом предупреждаю домашние вспышки, которые были бы неизбежны, ибо он большой хозяин и любит во всем порядок; часто в долгие зимние вечера мы разговариваем с ним о домашних наших делах; он отдает мне отчет в управлении общего нашего имения; я рассказываю ему о моих хозяйственных распоряжениях, а Лидия дремлет, — ей ни до чего нет дела, — и тогда мне кажется, что я настоящая хозяйка в доме, что я — боюсь вымолвить — жена его... Но бьют часы, он остается с Лидией, а я с сжатым сердцем бреду в мою уединенную келью и бросаюсь в холодную постелью... Но прочь эти мысли, я не буду роптать на провидение: оно создало меня на томительное, ежедневное, медленное страдание; но оно дало мне и утешение: оно дало мне способ содействовать счастью благородного, честного человека — способ сохранять спокойствие его прекрасной души, хотя он и не подозревает этого; я смотрю на себя как на жертву, принесенную его счастью, на жертву чистую, бескорыстную — и эта мысль возвышает мою душу. Я почти счастлива, мои грезы вполнину исполнились. С каждым днем я стараюсь сделаться достойною моего долга. — Поверишь ли, что как скоро Лидия сделалась беременна, я принялась читать книги о воспитании; эти книги, может быть, в другое время показались бы мне скучными, но нечувствительно расширили круг моих мыслей: многое я вижу яснее, и многие новые чувства родились в душе моей; иногда в забвении мне кажется, что на меня возложено звание матери, что я могу ему сказать: «наш ребенок». О, тогда мое сердце бьется силь-

но, кровь поднимается в голову, и странные вещи проходят чрез мои мысли, такие мысли, что я пугаюсь себя самой, вскакиваю и бросаюсь на колени перед иконою. Вчера, когда я слезно молилась, раздался первый крик младенца Лидии... его младенца. Что со мною сделалось в эту минуту — рассказать нет сил; это было — и невыразимая скорбь, и невыразимая радость, и ад и рай; я и плакала и смеялась, я молилась и проклинала; я чувствовала трепетание в каждом нерве, в ушах звенело, дух захватывало, я была готова броситься к младенцу, расцеловать и — растерзать его... Такое состояние не могло быть продолжительное; я упала без чувств; когда очнулась, все порочное во мне затихло, передо мной носился образ матушки; я видела перед собой только его ребенка и долг мой. А Лидия, Лидия... она еще слаба, но уж горюет только о том, что ей нельзя будет выезжать в продолжение нескольких недель. Как она счастлива, или, лучше сказать, как она несчастлива!..»

Чрез несколько времени после этого письма из Казани отправился в Москву на службу молодой человек, родственник домашним Марьи Ивановны; он был человек не без состояния, молод, недурен собою, стихотворец и с совершенно романическим характером; он попросил у Марьи Ивановны писем в Москву к ее знакомым, и тогда, при взгляде на него, какая-то неясная мысль пробежала в голове Зинаидиной приятельницы: она дала ему записочку к княжне с поручением вручить ей лично, только не влюбиться. «Почему знать, — думала Марья Ивановна, — ей этот молодой человек может понравиться; она молода, чувства ее живы, и тогда, может быть, в душе ее произойдет счастливая перемена, и она избавится от своего мучительного положения». Письмо, которое вскоре после того Марья Ивановна получила от Зизи, убедило ее в том, что она хорошо сделала. Вот оно:

«Лидия совершенно оправилась. Мы уже начали выезжать. Часто я бы хотела оставаться дома с моей Пашенькой, которая день ото дня хорошеет, любит меня больше, нежели свою кормилицу, протягивает ко мне ручки; но нельзя Лидию оставлять одну: она, как я тебе писала, настоящий ребенок, любит моды, но не может понять, которые пристали к ней и которые нет; великого

труда стоит мне иногда уговорить ее не поднимать талии так высоко, что ее совершенно безобразит. В обществе она приводит меня в совершенное отчаяние: она так рада музыке, балу, своему наряду, что не может скрыть своего восхищения; иногда, забывшись, она захохочет во всю залу так, что все на нее оглянутся; особенно в театре я должна беспрестанно дергать ее за рукав, чтобы она не сказала чего-нибудь неприличного молодым людям, которые толпою приходят к нам в ложу. Владимир Лукьянович, кажется, замечает это и стороною дает мне чувствовать свою благодарность. Вчера, пока Лидия в десятый раз примеривала в уборной новое платье, я, сидя в спальне, качала на руках Пашу. Он подошел ко мне и долго смотрел на меня, задумавшись. Я невольно смутилась; чтоб прекратить это странное состояние, я спросила у него: о чем он задумался? «Об вас,— отвечал он ласково,— вы, может быть, не знаете, как я часто об вас думаю, Зинаида». Тут он подошел ко мне, взял меня за руку и с меланхолическим взглядом пожал ее... Я затрепетала; еще в первый раз в жизни он с такою нежностью прикоснулся к руке моей... Не зная, что отвечать, я принялась ласкать Пашеньку, а он бросился в кресла, стоявшие в другом углу. Не знаю, заметил ли он мое смущение, или точно такой был смысл его слов, но он продолжал с особенным выражением и придавая вес каждому слову: «Мне бы хотелось устроить ваше имение, чтоб отделить вам вашу часть, чтоб вы имели свое, независимое». — «А зачем это? — спросила я. — Разве оно не может оставаться под вашим управлением?» — «Но вы можете выйти замуж,— отвечал он, глядя на меня пристально,— надобно, чтобы все было в порядке». — «О, никогда!» — вскричала я, забывшись, и потом, одумавшись, стала говорить разные незначащие слова, чтоб объяснить мою мысль; но они еще более обнаруживали мое смущение. «Таковы-то вы все, девушки: как можете вы за себя на один день отвечать?» — продолжал он с тем же выражением и не сводя с меня глаз. Я не отвечала ничего, а он продолжал: «Да, это необходимо будет сделать; я теперь стараюсь окончить нашу тяжбу о лесе, тогда у нас руки будут развязаны». — Тут вошла Лидия, повертываясь и показывая свое платье; наш разговор прекратился. Выйти замуж... До сих пор эта мысль мне не приходила еще в голову; выйти замуж за кого-нибудь другого... Боже, пощади меня!»



*Письмо от княжны Зизи к Марье Ивановне; месяц спустя.*

«Благодарю тебя, любезная Маша, за письмо твое, которое мне привез твой казанский знакомый, Радецкий. Я не могла тебе отвечать тотчас, потому что Паша была больна и Лидия также: она опять беременна и, несмотря на все увещания докторов, танцует без отдыха, — вот что говорится, не сходит с доски. Твой знакомый очень мил, но только, кажется, слишком романического характера; он на меня смотрит такими странными глазами, что мне становится смешно, или у вас в Казани уж такая мода? Мне кажется, он не слишком понравился и Владимиру Лукьяновичу: он с ним учтив и вежлив, по обыкновению, но, между нами, Владимир Лукьянович шутя называет его *размазней*, в чем и я, признаюсь тебе, согласна. Владимир Лукьянович очень заботится о нашей тяжбе с казною; как ни тверд его характер, но это дело его видимо беспокоит. Часто, когда Лидия бывает на бале, он приезжает прежде ее домой и часто ночи просиживает за бумагами; я это очень хорошо знаю, ибо он всегда заходит ко мне. Теперь, благодаря бога, он не настаивает больше, чтоб я выезжала с Лидией, и, кажется, рад, что я остаюсь дома, потому что Пашенька беспрестанно больна, а Лидия не может обойтись без танцев. Меня же на бале ничто не занимает, и я так счастлива, когда могу добраться до моей комнаты. Прощай».

Это письмо, несмотря на его холодный тон, очень встревожило Марью Ивановну; в нем было что-то недосказанное; княжна что-то от нее скрывала. Письмо Радецкого объяснит тебе до некоторой степени эту загадку.

*Письмо Радецкого к Марье Ивановне:*

«Милостивая государыня, Марья Ивановна! Хорошее дали вы мне поручение; я исполнил его в точности: влюбился в вашу прекрасную приятельницу, да так, как никогда не ожидал, то есть до безумия. Как это случилось, рассказывать вам не буду, потому что сам не знаю. Дело в том, что моя участь решена; я чувствую, что не могу жить без княжны Зинаиды. Вы начали, вы должны кончить; вы были причиной моего знакомства с нею, вы должны помогать мне. Вы, может быть, спросите меня: направляюсь ли я ей — в этом вся и задача. Чувства княжны

Зинаиды для меня непроницаемы; в разговорах с нею я заметил прекрасный, образованный ум; но что скрывается за этим умом — неизвестно. Мне кажется, она принадлежит к числу женщин, одаренных от природы нежным сердцем, но которому гордость мешает чувствовать. Чувство им кажется слабостью, чем-то унижительным. Они боятся обнажить свое сердце, они стараются прикрыть его всякою мишурою, чтоб избегнуть от пронизательных глаз мужчины. Может быть, я ошибаюсь, но такую мне кажется княжна Зинаида; отчего это происходит, от образа ли воспитания, или от ложной системы, — не знаю, только я не всегда понимаю мою княжну. Я еще не заговаривал ей о моей любви: так я боюсь этой девушки; от одного её слова зависит жизнь или смерть моя, а может быть, ее гордость или излишняя скромность заставит ее произнести страшное «нет» даже тогда, как сердце ее будет противоречить этому слову. Вы лучше меня знаете княжну Зинаиду: научите меня, что должно мне делать, что говорить, как глядеть на нее. Она умеет одним взглядом приводить меня в трепет, и слова, которые рвутся из моей души, замирают на языке. Скажите, не лучше ли будет, если бы вы к ней написали, если бы вы стороною постарались выпытать ее обо мне мысли. Не может быть, чтоб она не понимала, что во мне происходит; неужли она думает, что я стараюсь ездить к ним в дом так часто только для того, чтоб слушать холодные учтивости ее зятя, его толкования о литературе «Вестника Европы», перемешанные с рассказами о больших обедах? Сверх того, она должна понимать, что я, говоря по-светски, имею право предложить ей руку; я, как вы знаете, не беден, лета наши сходны, я имею порядочный чин, надежды на будущее — все это, разумеется, вздор, но я упоминаю обо всем этом потому только, что все это должно было бы обратить на меня внимание княжны в ту или другую сторону, но ничего не бывало; вот уже третий месяц, как я езжу к ним в дом, и княжна обходится со мною, как в первое свидание: ни знака неудовольствия, ни знака приязни; она по-прежнему со мною ласкова, любезна и холодна. Как объяснить? С другой стороны, неужли ей так дорога ее теперешняя девическая жизнь? У ней нет матери, живет она почти в чужом доме, целый день нянчится с чужим ребенком, играет в доме роль какой-то гувернантки или даже ключницы; она — женщина с большим умом, с начитанностью, с пламенным вооб-

ражением!.. Не понимаю. Бога ради, объясните мне все это, если можете, и не замедлите ответом; каждая минута для меня век страдания.

*Радецкий».*

Получив это письмо, Марья Ивановна, как видно, пришла в большое недоумение. Что, в самом деле, ей было отвечать Радецкому? Вверить ему тайну Зинаиды — было делом невозможным; писать к Зинаиде, описывать ей все достоинства Радецкого — было бы бесполезно. Она могла ожидать успеха от молодых его глаз, от его ума, любезности, но не от своих писем. Сколько я мог догадаться, эгоизм, кажется, уже нашептывал Марье Ивановне, что она напрасно вмешалась в это дело, и она решилась, на что обыкновенно решаются нерешительные люди, то есть ничего не делать, не отвечать Радецкому и предоставить развязку его собственному уму и времени. Но не прошло двух почтовых дней, Марья Ивановна получила новое письмо от Радецкого. Вот оно:

«Вы не отвечаете мне, бог вам судья! Не отвечать мне в такую минуту, когда вся жизнь моя есть цепь непрерывных терзаний!.. Мое дело не только не подвинулось вперед, но еще отодвинулось назад, потому что я рассорился с Городковым, и сам не знаю как. Вот как это случилось. У них был вечер; все уселись за карты; из играющих остались только трое: хозяйка дома, княжна и я. Я присел к столу у дивана, на котором сидели обе сестры; я очень был рад этому случаю говорить с нею наедине, потому что хозяйки дома нечего было считать: она или молчала, не понимая нашего разговора, или хохотала без всякой причины, или вскакивала с места. Княжна была задумчивее обыкновенного.

— Вы не играете? — сказала мне княжна, подняв на меня свои блестящие, черные глаза.

— И без игры, — отвечал я, — довольно терзаний на свете. Я не знаю, зачем человеку изобретать новое средство себя мучить, когда слишком довольно и старых.

Княжна улыбнулась; но если не ошибаюсь, в ее улыбке было что-то грустное.

— Сделайте милость, — сказала она насмешливым тоном, — перестаньте притворяться; я знаю, теперь в моде у молодых людей играть роль страдальцев, твердить об

увядшей молодости, о потерянных надеждах; вы не можете себе представить, как все это смешно.

Эти слова тронули меня за живое.

— Неужли,— сказал я,— оттого, что есть люди, которые притворяются больными, вы в состоянии засмеяться, видя человека на смертной постели?

— Нет, но я бы послала за доктором.

— А если б доктор не захотел прийти?

— Я бы послала за другим.

— Неужли вы думаете, что менять докторов так легко?

Не знаю, отчего этот незначущий вопрос заставил княжну задуматься, по крайней мере мне так показалось,— но она скоро переменяла разговор:

— Вы еще долго останетесь в Москве?

— Не знаю; я не принадлежу самому себе...

— Кому же? — спросила княжна простодушно.

— Я принадлежу одному из тех слов, над которыми вы смеетесь.

— Опять! Как вы странны теперь, молодые люди!

— Столько же странны, как и все молодые люди от сотворения мира, разумеется, в известных случаях.

— Я без шуток думаю, что по большей части вы сами не знаете, чего хотите; в голове у вас бродит несколько слов, несколько заученных стихов, из которых вы составляете что-то похожее на жизнь и потом уверяете себя, что эта жизнь вас терзает.

— Неужели, княжна, вы обо всех так думаете без исключения?..

— О, нет! — сказала она с обыкновенным выражением.— Но о многих,— прибавила она спокойно.— Так мало надобно для счастья жизни, а это не многие понимают: все гоняются за невозможным, как дети за тенью, и потом жалуются, что не могут поймать ее.

— Вы справедливо заметили, что для счастья надобно мало, но так же мало надобно и для страданий. Иногда в них виноват сам человек, нечистая совесть, корыстные чувства, порочная, непозволенная страсть — об этом и говорить нечего. Но бывает, что в душе горит чистое, святое чувство, что ощущаешь в себе способность посвятить всю свою жизнь, например женщине, что на это отвечают холодностию, презрением...

Мои слова явно производили впечатление на княжну: она была в волнении — то краснела, то бледнела; грудь

ее высоко поднималась; я видел это действие, производимое моими словами, старался воспользоваться редкою минутою пробудившегося в княжне чувства и выразить в словах все, что волновалось в душе моей; но ко мне подошел хозяин дома.

— Сделайте мне одолжение,— сказал он приветливо,— займите на минуту мое место за бостоном; мне надобно кое-что приказать в доме...

В сию минуту я готов был выбросить его за окошко.

— Я не играю... я не умею играть! — сказал я с видимою досадою.

— Но одну минуту, только одну минуту подержать карты в руках,— отвечал он, улыбаясь.— Впрочем, как вам угодно; я не хочу принуждать вас сделать мне одолжение. Извините, что беспокоил вас,— прибавил он холодно.

Я опамятовался, хотел было просить у него карты, но он уже раскланивался со входившим гостем, который с радостью принял его предложение. Я посмотрел вокруг себя — княжна исчезла; я остался с глаза на глаз с хозяйкой дома.

— Что сделалось с княжною? — спросил я ее.

— Ей спать захотелось,— отвечала Лидия и захохотала во все горло.

О чем мне было говорить с нею? Я был огорчен, взбешен и не в состоянии пересыпать из пустого в порожнее. Воспользовавшись первою минутою, когда Лидия Петровна вскочила по своему обыкновению, я выбежал из дома как сумасшедший.

Вы можете себе представить, что во мне происходило в это время! Дождаться в течение долгих дней этой минуты, как заветного рая; быть прерванным тогда, как может быть, душа ее стала открываться для чувства, и остаться, не разрешив загадки, не высказав вполне души своей... это ужасно!

Я целую ночь не мог заснуть и поутру рано поехал к Городкову, чтоб извиниться в моей невежливости; меня не приняли. На другой день то же, на третий день опять то же. Я осведомляюсь о здоровье всех домашних поименно; лакеи мне отвечают, что все, слава богу, здоровы и изволили уехать со двора; но это была неправда: на дворе стояли экипажи, следовательно, хозяева были дома; это значило просто, что меня не хотели принимать. Я не знал, что делать; я уже решился писать к Городко-

ву и откровенно объяснить ему все; но страх подвергнуть свою участь одному слову, не приготовив княжну к моему объяснению, удержал меня. Вечером я встретил Городкова в одном знакомом доме и скрепя сердце подошел к нему, начал было извиняться в моей невежливости; но прервал мои слова с обыкновенною своею улыбкою, говоря: «И! помилуйте, как это можно! есть ли о чем и говорить! сделайте милость, не беспокойтесь!» — и прочее, тому подобное; а между тем он обратился к другому. Еще раз начать говорить с ним — в эту минуту было выше сил моих; однако ж я решился ехать к нему на другой день, но меня опять не приняли. Я был совершенно в отчаянии и не знал, что предпринять; каждый день ходил я на почту, чтоб узнать, нет ли от вас письма, не затерялось ли оно — тщетно! Бога ради, не медлите ответом, не мучьте меня. Вы лучше знаете семейственные отношения этого дома: объясните мне, что все это значит. Неужели Зинаидин зять мог на меня рассердиться за вещь столь обыкновенную в свете? Тут должна скрываться какая-то тайна, над которой я тщетно ломал себе голову. Я не могу скрыть от вас, что поведение г. Городкова мне кажется очень странным: он пользуется прекраснейшею репутациею в свете; он принят в лучших домах; он очень любезен в обращении, но мне не понравился он с первого раза — и знаете отчего? Он входит в комнату боком, всегда как-то пролезает между людьми. Не хочу без вины обвинять его: это невольное движение может происходить и от глубоко сокрытого в душе низкого чувства, может происходить и от излишней скромности, и от застенчивости; но, воля ваша: он, право, что-то слишком любезен, слишком приветлив, слишком уступчив; достигнув в свете некоторой оседлости, или что называют *арлоуб*, он все во всяком чего-то ищет, соглашается, с чем не должно соглашаться, улыбается тому, кто ему надоедает; все это, как хотите, переступает пределы обыкновенной светскости и переходит за ту черту, где любезности не отличишь от притворства и бесцветность характера — может быть, от грехов тайных и тяжких. Я не могу постигнуть существования человека, который никогда никому не противоречит, точно так же, как человека, который спорит только для спора. Словом, есть что-то непонятное в этом Городкове. В нынешнем свете, когда искусство лицемерия вошло в правила воспитания между грамматикой и нравственностью, чело-

века угадать трудно: надобно знать всю его историю с колыбели, чтоб составить себе о нем какое-нибудь понятие. Я старался наведываться о Городкове сколько можно и узнал, что он целый век служил, взяток не брал, что он *классик*, прекрасно играет в бостон, пишет шарады — и только. Но когда я смотрю на его голову, уплывшую в воротник фрака, на эту едва приметную складку возле глаз под висками, на его румяное, вечно улыбающееся лицо, — что-то тайное говорит мне, что все это маска и что в душе его не то. Бога ради, расскажите о нем все, что вы знаете и что вы заключаете из последнего его поступка, а больше всего напишите о Зинаиде. Писали ли вы к ней? что она отвечала вам? Бога ради, не морите меня медленною смертью. Родных у ней никого нет: вы одни моя надежда. Я не знаю, на что я в состоянии теперь решиться».

Бедная Марья Ивановна, получив это письмо, была не в меньшем замешательстве. Пока она собиралась отвечать ему, пришло новое, следующее письмо:

«Спешу вас уведомить, что участь моя решена. Я счастлив, так счастлив, что не могу этого и выразить: *княжна Зинаида соглашается выйти за меня замуж!* Я плачу от радости, как ребенок. Наше объяснение с княжною было очень странно. Вот как это случилось, посудите сами:

Получая беспрестанно отказы в доме, я, как пошлый любовник, бродил под окнами моей красавицы; но все было тщетно: княжна не выезжала со двора и не подходила к окошку; люди, у которых я осведомлялся об ее здоровье, смотрели на меня с насмешкою; неприязнь господ перешла к слугам, как обыкновенно случается, без всякого с их стороны сознания: барин косится и они также. Но, к счастью, на сем свете существуют могущественные полтинники, которыми отпираются двери и от которых немые делают говорящими; этим способом узнал я однажды, что княжна в церкви — я поспешил туда; вхожу: в церкви темно; с трудом в отдаленном углу за столбом я узнаю княжну: прихожан мало; она, вероятно думая, что на нее нисколько не обращают внимания, стояла на коленях, горячо молилась и горько плакала. Я не хотел мешать ей и стал так, чтоб она не могла меня заметить. Что значили эти слезы? Были ли они действием одной набожности, или тайной скорби? Как бы то ни было, мне показалось, что теперь говорить с княжною

было для меня долгом. Я дождался окончания службы и, когда княжна вышла с другими в притвор, подошел к ней. Взглянув на нее при тусклом свете свечи, горевшей у образа, я испугался: глаза ее были красны, щеки впали, лицо носило отпечаток жестокого внутреннего страдания.

— Княжна! — сказал я ей, — мне необходимо сказать вам несколько слов.

В первую минуту она как будто испугалась и хотела скрыться от меня; но потом, подумав немного, остановилась и отвечала:

— Говорите, я вас слушаю.

Мы вышли на паперть: она отослала провожавшего ее лакея к церковной ограде. Никогда еще она не казалась мне столь прекрасною... Вечер был тихий, последние багряные лучи солнца освещали ее прекрасное, благородное лицо, вокруг которого из-под соломенной шляпки вились по плечам в беспорядке черные, мелкие кудри.

— Княжна! — сказал я твердым голосом, — вы несчастливы!

В одно мгновение на этом лице, удрученном горестью, блеснуло ее обыкновенное, гордое чувство.

— Кто дает вам право, — отвечала она, — спрашивать у меня отчета??

— Мне на это дает право то чувство, которое вы мне внушили, и клятва, данная мною перед богом, которому мы вместе теперь молились, посвятить вам жизнь мою до последнего издыхания. В моем теперешнем положении я должен говорить прямо и решительно.

Княжна задумалась; горькие слезы полились из ее глаз; исчезло выражение гордости, на минуту мелькнувшее в лице ее: я видел пред собою слабую, истерзанную женщину...

Вдруг она взяла меня за руку:

— Скажите, вы меня не обманываете?..

— Княжна!..

— Вы были бы готовы на мне жениться, если бы я согласилась?

— Я был бы счастливейшим человеком.

— Здесь говорить нам нельзя; не спрашивайте меня ни о чем... Через несколько часов я пришлю к вам в дом записку...

Я хотел поцеловать ее руку; но она, отдернув ее, поспешно пошла к ограде; я хотел за ней следовать, но она дала мне знак рукою, чтоб я оставил ее одну. Я возвра-



гился домой в большом раздумье; как ни радовала меня надежда на счастье, но такое быстрое, неожиданное исполнение моих желаний пугало меня; в поведении княжны по-прежнему было что-то странное и неизъяснимое; я терялся в догадках. Не прошло получаса, как я получил от нее следующую записку: «Я согласна отдать вам мою руку и ввериться вам, как благородному человеку; но особенные обстоятельства заставляют меня желать, чтобы наш брак совершился как можно скорее. Одно мое условие: не спрашивать меня о причине такой странной просьбы; не спрашивать меня ни о чем; ввериться безусловно моей совести... Когда-нибудь вы все узнаете».

Я отвечал на эту записку, что верю ее благородному сердцу, не буду ее ни о чем спрашивать и что надеюсь завтра же устроить все для нашей свадьбы.

Вот что со мной было! Хотя я и не получил еще от вас ответа, но здесь не имею никого, с кем поделиться моим странным счастьем. Пишу к вам ночью; душевное волнение мещает мне сомкнуть глаза. Со светом отправляюсь хлопотать, чтоб устроить все для венчания. Едва ли кому-нибудь удавалось жениться так чудно!»

На следующей почте Марья Ивановна получила следующее письмо от молодого человека:

«Все кончено: участь моя решена! Вот новая записка ко мне от княжны Зинаиды: «Простите меня, не проклинайте меня, сочтите меня безумною, если хотите... Нет, благородный молодой человек, я не могу быть вашею женою! Я не хочу вас обманывать: я не могу любить вас. Постарайтесь найти другую женщину, которая бы была вас достойна. Я знаю, для моего поступка нет оправдания, но в вашем сердце я найду себе по крайней мере прощение. Не спрашивайте отчета у несчастной жертвы судьбы; не допытывайтесь узнать мою тайну; забудьте, забудьте меня!»

Мне нечего прибавлять к этому письму: вы можете вообразить себе мое положение. Бога ради, напишите мне, что вы можете понять во всем этом. Если я и не могу сам быть счастливым, то это не мешает мне пожертвовать, если нужно, моею жизнью, чтоб спасти бедную девушку от козней неизъяснимых, но действительных, которые, может быть, ее окружают. Проникнуть эти козни я почитаю святым долгом; я уже начинаю подозревать

некоторые из них, но, может быть, все это мечта... Мои мысли не имеют никакого прочного основания; сеть, в которой находится княжна, заплетена так искусно, что укрывается от самого пронизательного взора. В смертной скорби моей я не имею даже сил действовать; мысли мои мешаются, одна истребляет другую, и, после долгого напряжения, я нахожу только то, что я страдаю, страдаю ужасно и не вижу конца моим страданиям. Напишите мне хоть два слова; может быть, они наведут меня на открытие того, над чем я тщетно терзаюсь».

Марья Ивановна на этот раз решилась отвечать молодому человеку; она, кажется, отвечала ему пустыми фразами и уверениями, что ей самой совершенно непонятен поступок Зинаиды. Приязнь к подруге своего детства мешала ей открыть страшную тайну, но между тем она написала к ней письмо, где, как мне говорила, в самых сильных выражениях, какие умела только найти, упрекала ее за ее поступки, намекала, что догадывается об их причине, и первый раз в жизни осмелилась говорить княжне о том, как порочно ее чувство. Ответ княжны Зинаиды довольно любопытен. Вот он:

«Если бы кто-нибудь другой упрекал меня, а не ты, я бы оставила эти упреки без внимания; но ты — ты знаешь мое положение, ты знаешь все терзания моего сердца, все долгое бремя с самой собою, продолжающееся не день, не два, но годы, — и ты можешь упрекать меня! Да, мой поступок с Радецким может быть неизвинительным в глазах света, но не в твоих глазах. Мне жаль молодого человека, но что же делать? В минуту скорби и отчаяния я думала, что могу замужеством с ним заглушить то, что происходит в моем сердце и о чем говорить не смею; но когда я прочла в его записке, что завтра я должна предстать с ним пред алтарем, вся твердость меня оставила. Обмануть человека, поклясться ему в вечной любви, когда я... нет, это было невозможно! Я решилась лучше принести себя в жертву, прослыть ветреною, безумною... Моя участь решена: никогда никому не буду принадлежать я; и когда ни Лидия, ни ее дети не будут во мне нуждаться, монастырь сокроет несчастную, если не от собственных страданий, то по крайней мере от светских толков. Впрочем, если я во многом виновата пред Радецким, то и он нанес мне оскорбление жесточайшее, какое только могла избрести его ревность. Радецкий человек

без сердца. То, что он говорит обо мне, оскорбительное подозрение, которого он не мог скрыть,— это все я ему прощаю; но, в негодовании на меня, он старается излить желчь на все, меня окружающее. Представь себе, он осмелился написать ко мне, что проникнул в жизнь мою, что он угадывает, кто мне *препятствует* выйти за него замуж; он осмелился предостерегать меня и обвинять в каких-то корыстных видах — кого ты думаешь? — его, ангела доброты, бескорыстия... Оттого, что прямота его ума, прямота его сердца не допускают его до романических бредней; оттого, что он видит жизнь яснее других и в глубине сердца скрывает свои высокие чувства, твой Чайльд-Гарольд *mapqué*<sup>1</sup> почитает его способным к низким, корыстным видам!.. Это письмо, признаюсь тебе, даже утешило меня: я показалась себе не столь виновною пред Радецким, как прежде; ибо лишь тот, кто сам способен к низким расчетам, мог изобрести такую выдумку, и против кого же?.. Где справедливость на свете? Юноша влюбляется, его намерение не удастся, и он почитает себя вправе чернить героя добродетели, несчастного... несчастного, может быть, столько же, сколько и я?»

В этом письме также, как ты видишь, много недосказанного: княжна многое скрывала от своей приятельницы.

Уже впоследствии Марья Ивановна узнала все, что случилось в промежутках между семи письмами.

С некоторого времени, когда княжна начала более выезжать, Городков приметно стал беспокоен; он изыскивал разные предлоги, чтоб удерживать жену свою от выездов; он часто заводил речь о семейственном счастье, о расходах, с которыми сопряжены выезды, и о святой обязанности отца семейства стараться умерять свои издержки, чтобы оставить более детям; но эти слова трогали одну княжну Зинаиду, — для Лидии они были непонятны. Как ни ограничены были ее понятия, но все она была правнучка Евы и умела с непостижимым искусством так направлять разные домашние обстоятельства, чтобы выезды делались необходимостью; сам муж ее, несмотря на всю свою прозорливость, невольно увлекался жениным влиянием: то являлся неожиданный визит, который необходимо надобно отплатить, а этот визит

<sup>1</sup> Неудавшийся (франц.).

втягивал в какое-нибудь новое знакомство; то являлось приглашение в такой дом, где можно было ему сойтись с нужным человеком; все это устроивалось как бы нечаянно, а между тем было делом простодушной Лидии. Для этого у ней являлась и хитрость и сметливость; с молодыми людьми, с которыми она кокетничала, у ней устроен был действительный заговор против мужа; посредством их она действовала на тетюшек, бабушек — словом, на все *приглашающие* лица, — и благодаря этой тактике, выезды не перемежались. Не успев с этой стороны, Владимир Лукьянович обратился к другому средству: за несколько дней до выезда он начинал беспокоиться о здоровье своей дочери. «Что это, — говорил он, — Зинаида Петровна? кажется, Паша как будто нездорова; посмотрите, и глазки у нее посоловели, и кушает мало». Зинаида пугалась, посылала за доктором: доктор советовал дать дитяти гуфландов порошок: тогда дитя действительно занемогало, а княжна, разумеется, оставалась дома. Появление Радецкого в доме немало озаботило пронницательного Владимира Лукьяновича; он вообще терпеть не мог людей не по себе, тех людей, которые читали не то, что он читал, говорили не то, что он говорил, не восхищались его шарадами, без внимания слушали его литературные суждения и особенно — засматривались на княжну. К сожалению, Радецкий соединял в себе все эти качества и недостатки. Крепко задумался Владимир Лукьянович: он не знал, на что решиться; страшил его выезд, страшил его и гость неприглашенный. Предвидя беду заранее, он начал, как мы видели, исподволь и очень тонко над ним подшучивать, разумеется в его отсутствие; стороною заводил он речь о появлявшейся тогда романтической школе, которая тогда журналистам служила мишенью для холостых зарядов, как ныне искренность, благородство, бескорыстие и прочее тому подобное. В это счастливое время даже журналисты занимались только литературою; теперь они хватились за ум — литература у них последнее дело. Владимир Лукьянович часто толковал лишь о самонадеянности, о тщеславии молодых людей, о их дурном вкусе. Известно, что самые пошлые мысли суть самые высокие, и, наоборот, самые высокие суть самые пошлые, точно как самая смешная острота есть всегда самая грубая: все зависит от той точки зрения, с которой они представлены, и кем представлены. Когда Байрон говорит о нена-

висти к жизни, о презрении к людям, его слова поражают; те же самые мысли смешны в устах какого-нибудь журнального рифмоторца; книги Сильвио-Пеллико нельзя читать без особенного чувства, а между тем каждая строка в ней была уже двадцать тысяч раз прежде сказана. Эти, по-видимому, столь простые мысли, вошедшие, так сказать, в домашний обиход нашей жизни, равно являются невольному гению среди его высоких мечтаний; ими же пользуется и человек, повторяющий их понаслышке, без всякого сознания. Что может быть выше мысли, заключающейся в сих словах: «Для истины я готов пожертвовать жизнью»? И что может быть смешнее этого выражения, когда оно встречается в наших газетных нравоописательных статейках?.. Все это длинное рассуждение было необходимо, чтоб объяснить тебе, каким образом Владимир Лукьянович производил такое сильное впечатление на княжну Зинаиду: весь его разговор был составлен из подобных фраз, но для княжны они были выражением искреннего, глубокого, внутреннего чувства; и когда от этих фраз Владимир Лукьянович искусно переходил к оценке людей, которые почему-либо казались ему странными, — как мелки, как ничтожны казались эти люди для княжны Зинаиды, в сравнении с предметом ее обожания! Разговор Радецкого с княжною сильно поразил Владимира Лукьяновича. На его лице не было заметно никакого движения; но он поставил несколько ремизов, чего с ним еще никогда не случалось — и не мудрено: слух его был напряжен и направлен к тому месту, где сидели молодые люди; многие слова доходили до его ушей, но по этим словам он мог судить, что дело идет не на шутку. Чтоб прервать этот разговор, он употребил описанный Радецким маневр, который, с одной стороны, удался совершенно. На княжну последние слова Радецкого, которыми он нечаянно намекнул на ее собственное положение, сильно подействовали; в ее слухе беспрестанно звучали: *неповоленная страсть, нарушение долга*; она убежала в свою комнату в совершенном отчаянии. Это не укрылось от проницательного дипломата; но он видел только волнение княжны и, не постигая вполне его причины, приписывал начинающемуся расположению к Радецкому. С этой минуты Владимир Лукьянович начертал себе предварительно полный план атаки: первое дело было — отдалить опасного соперника, а второе — самому

принять решительные меры; прежде всего надлежало увериться, до какой степени Радецкий мог быть ему препятствием. На другой день Владимир Лукьянович, оставив жену на бале, под предлогом дел возвратился домой и прямо пошел в комнаты Зинаиды. Зинаида, отослав нянюку ужинать, осталась одна с Пашенькою на руках... Представь себе маленькую комнату, темно-синие обои, ковры; в углу небольшой турецкий диван, небольшой открытый шкаф с книгами, фортепьяно, на окошках и по столам цветы. В комнате темно; тусклым светом лампы освещается один диван, а на нем прекрасная девушка в белой блузе, в этой самой обольстительной женской одежде (которая лишь начинала входить в моду и которую дамы тогда осмеливались надевать только дома); темноватого цвета лента обхватывает тонкую талию; черные лоснистые волосы рассыпаются по плечам мелкими кудрями; на стройной ножке бархатные туфли, опушенные мехом. Княжна держит на руках младенца; он улыбается ей, хватая ее за кудри, за блестящие серьги; княжна отвечает ему улыбкою, играет с ним, но черные мысли отражаются в ее задумчивом взоре; ее улыбка горька; ее веселый разговор с ребенком печален; она наклоняется к нему, целует его, как бы для того, чтобы вдохнуть в себя воздух невинности и спокойствия,— но тщетно: вся жизнь ее разворачивается пред нею; она вспоминает свои детские игры, первые впечатления, которые произвели на нее в первый раз прочитанные украдкою стихи; она помнит их от слова до слова; она вспоминает, как трепетало ее сердце при чтении первого попавшегося ей романа, как искренно плакала над судьбою героини и прятала драгоценную, запрещенную книгу под изголовье, чтоб прочесть ее вновь и с новым наслаждением; потом представляется ей, как нечувствительно чтением расширился круг ее понятий, как твердел ее ум и крепло сердце; как новые, неожиданные мысли из глубины души, как будто из другого таинственного мира, возникали пред нею; как она ощущала в себе зарождение новых чувств, которые невольно вмешивались во все ее существование и наводили магический свет на все, ее окружавшее: тогда, как часто, обративши внимание на собственные движения души, она не узнавала самой себя и дивилась своему перерождению; тогда с насмешкою она смотрела на себя в прошедшем, сравнивала себя с своими сверстницами, и в ее сердце зарожда-

лась могучая гордость, эта сила и болезнь человека; вот уже является в ней нетерпение выйти из тесного круга, в котором заключила ее домашняя жизнь: она мечтает быть супругою, матерью, хочет жить, действовать; в ее голове звучат беспрестанно стихи Залиса, так счастливо переданные одним русским поэтом:

Действуй! мудрец познается делами:  
Слава с бессмертьем грядет им вослед.  
Действуй! означи благими трудами  
Алчного времени быстрый полет.

Но вот все ее мечтания, все чувства сливаются в один определенный предмет: пред ней является наяву исполнение всех ее идеалов — прекрасный мужчина, скромный, тихий, добрый; в его разговоре она слышит те заветные, любимые слова, которые до того она встречала только в книгах, которые отзывались в ее сердце и были непонятны всем ее окружающим; и это соединение всех совершенств — первый мужчина, которого она видит; с ним является первая любовь, первые надежды, первые муки... И этот мужчина возле нее; она видит его каждый день, — но их разделяет страшная, вечная бездна! Она скрывает пред ним душевные бури; когда сердце ее полно, голова горит и грудь высоко поднимается, она убегает его, она не смеет прикоснуться к нему, не смеет выговорить ему лишнего ласкового слова; она не может, она не должна любить его! И так протечет вся ее жизнь, жизнь неполная, ложная, как жизнь блестящего насекомого, пригвожденного к дереву холодным наблюдателем; тщетно оно расправляет радужные крылышки, трепещет, рвется; вокруг — солнце, вольный душистый воздух, а внутри — долгая, томительная боль, и нет сил от нее оторваться, — нет конца и страданиям бедной девушки: что бы ни случилось, какое бы ни было стечение обстоятельств, какие бы перевороты ни потрясли общества, всю землю, — бездна между ним и ею останется вечною, а перед нею еще долгая, долгая жизнь! Достанет ли у ней сил переносить это непрерывное страдание? Достанет ли ей сил каждый день быть с ним вместе и скрывать это брение с самой собою, когда часто оно доводит ее до степени, близкой к сумасшествию? Достанет ли ей сил убегать в свою комнату, когда при одном его взгляде кровь кипучим ключом бьет в ее жилах, когда все мысли о долге, о чести, о стыде уле-

тают из ее головы как будто волшебством — и она готова броситься в его объятия? «Нет,— думает княжна,— пора этому положить конец, должно оставить этот дом; матушка простит меня; бог сохранит Лидию и ее ребенка... келья в дальнем монастыре, власяница и камень в изголовье — вот что лишь может спасти меня от самой себя!» Но в эту минуту младенец, как будто понявший ее мысли, схватил ее за шею своими ручонками; княжна очнулась; она снова вспомнила о матери этого ребенка, о последних словах своей матери,— и все ее мысли смешались: ее душа пришла в то страшное, тяжкое состояние, когда два противоположные долга борются между собою, когда одна мысль уничтожает другую, когда человек обвиняет себя и в эгоизме и в неблагоразумном самоотвержении, когда он тщательно перебирает все изгибы своего сердца, боится обмануть себя, ищет первой отдаленной причины каждого своего чувства, каждой своей мысли, взвешивает каждое движение и в отчаянии не находит ответа...

В эту минуту дверь отворилась, и вошел Городков. Он остановился на пороге; его поразила прекрасная картина, бывшая пред его глазами. Княжна сначала не узнала его, но невольно вздрогнула; не знаю, что происходило в его душе в эту минуту, но он был задумчив. Он тихо, почти шепотом, поздоровался с княжною и в глубоком молчании бросился в кресла, стоявшие возле дивана. Так прошло несколько минут.

— Что с вами? — спросила наконец его Зинаида с беспокойством. — Отчего вы так задумчивы?

— Мало ли о чем мне думать! — отвечал он печально, — много бывает на сердце такого, чего не расскажешь и что, между тем, наводит невольную тоску.

— Но, говорят, рассказ того, что на сердце, облегчает печаль.

Городков вздрогнул.

— Да, — отвечал он, — есть люди счастливые, вот как, например, наш романтик, у которого для всего есть готовые фразы и который, мимоходом сказать, кажется, делает вам глазки — вероятно, чтоб иметь предлог сочинить туманную элегию в модном вкусе.

Княжна вздрогнула. Городков посмотрел на нее со вниманием.

— Я не думаю, чтоб из моих слов он мог сочинить нежную элегию, — сказала она, улыбаясь, — я ему всегда



говорю столько резких истин, что, верно, они отобьют у него охоту толковать о своих романтических страданиях.

Городков вздохнул еще раз; но, кажется, от удовольствия, по лицу отгадать этого было невозможно.

— Что до него! — продолжала княжна, — скажите мне лучше, что с вами?

Городков придвинул кресла.

— Я буду говорить с вами откровенно, — сказал он, положив на стол свои прекрасные, белые, аристократические руки. — Скажите, что моя за жизнь? С кем могу я поделиться сердцем? Что ожидает меня в будущем? Вы знаете вашу сестру; вы знаете... — прибавил он, запинаясь, — она не может понимать меня, она мне не может быть помощницею в жизни, ни другом в печали, ни матерью детей, ни даже хозяйкою дома. Хорошо, что вы теперь, из любви к ней, взяли на себя все ее обязанности; но вы можете выйти замуж, я могу занемочь, умереть — что тогда будет с моим ребенком?

Княжна затрепетала, хотела что-то говорить, но стискивала зубы. Городков не сводил с нее глаз.

— Смотрите, как покойно Пашенька заснула на ваших руках; она вас знает больше, нежели Лидию, и, в самом деле, вы настоящая мать, вы единственный друг мой.

Городков закрыл лицо свое руками, но, вероятно, не так плотно, чтоб не видеть, что делается с княжною.

— Но надолго ли это? Вы выйдете замуж; у вас будут свои обязанности, другого рода привязанность, свои дети...

— Никогда! — вскричала княжна вне себя.

Он взял ее за руку; Зинаида была как в огне. Невнятные слова срывались с ее языка и замирали.

— Как это может быть? — отвечал Городков, смотря на нее нежно. — Вы сами не можете отвечать за себя; да и с моей стороны было бы слишком бессовестно требовать от вас такой жертвы. Не правда ли?

Княжна была в сильном волнении. Городков снова взял ее за руку, поцеловал ее; бедная девушка невольно прижалась к его щеке; ее густые кудри рассыпались по их сомкнутым лицам и как бы непроницаемой пеленою сокрыли то, что происходило в эту минуту; но ребенок, разбуженный этим движением, вскрикнул; княжна опаматовалась.

— Паше пора спать, — сказала она, поспешно вста-

ла и понесла ребенка в детскую. Городков последовал за нею в размышлений; княжна наклонилась над колыбелью, говорила скоро, отрывисто несвязные слова; вся она была как в лихорадке, лицо ее горело, руки дрожали. В эту минуту явилась Лидия в бальном платье, напевая мазурку и почти танцуя. Она не заметила ничего, хотя княжна смотрела на нее как преступница.

— Паша нездорова,— сказал муж,— мы с сестрицей насилу могли ее успокоить.

— Что такое? — сказала Лидия с своим остолбенелым взглядом, который один служил ей для выражения всех возможных чувств. Посмотрев на колыбельку, Лидия прибавила:

— Она, кажется, започивала, и мне также спать очень хочется: я так устала!

Ребенок в самом деле заснул спокойно, ибо несколько не был болен. Слова Городкова были ложь, но Зинаида разделила ее своим молчанием; между ней и мужем Лидии уже как будто заключилось тайное условие; она уже чувствовала необходимость что-то скрывать от сестры своей... Лидия рассеянно благословила Пашу, чего никогда не забывала делать и чем, кажется, ограничивала весь долг материнский, и отправилась в спальню. Зинаида всю ночь промолилась пред образами и к рассвету почти в беспмятстве бросилась в постель.

В следующие дни посещения Городкова сделались чаще прежнего; иногда он говорил княжне такие слова, которые она одна могла понимать; иногда просто смотрел на нее, но такими глазами, которые говорили больше слов. Борение в сердце княжны достигло высшей степени; она не смела смотреть на сестру, хотя Лидия ничего не понимала, что вокруг нее происходило, и только радовалась тому, что муж не мешает ей выезжать. Княжна проводила ночи без сна, а когда засыпала, то воспаленное воображение повторяло ей все слова, сказанные во время дня, все движения ее сердца, досказывало недосказанное и увлекало ее в мир обольстительных, сладострастных видений. Просыпаясь, она с ужасом и наслаждением вспоминала свои ночные грезы; она видела, что стоит на краю пропасти, и не имела сил остановиться. Ее комната, в которой все напоминало обольстительный вечер, сделалась ей невыносимой, ее постель — ужасной; она потеряла способность молиться в этой комнате. Однажды вечером, когда она сидела у

растворенного окна и теплый летний вечер коварно раздражал ее воображение, послышался благовест — и тысяча воспоминаний возродились в душе ее: она вспомнила свою детскую невинность, свою детскую, чистую, безмятежную молитву. Как бы ей хотелось снова пробудить эти тихие чувства в душе своей! Она почти невольно вышла из комнаты и, сама не зная как, очутилась в церкви. Там произошла сцена, описанная в письме Радецкого. Молитва придала бодрости княжне; слова молодого человека, столь ясные, простые, столь исполненные чувства, поразили ее; они ей показались неожиданною помощью, ниспосланною свыше; твердость ее воли восторжествовала; она решилась одним ударом рассечь узел преступной страсти, принести себя в жертву, не отнимая у себя средств исполнить последнюю волю матери; она с геройскою решительностью предложила свою руку молодому человеку. Но когда она написала записку Радецкому, тогда осталось ей еще другое, трудное дело — объявить о своем решении Городкову. Она выбрала ту минуту, когда муж и жена были вместе, собралась с силою и задыхающимся голосом выговорила: «Я выхожу замуж за Радецкого». Лидия захохотала, Городков побледнел, княжна поспешила договорить: «У нас уже все условлено; завтра наша свадьба; он едет отсюда... надобно скорее...» С этими словами ее голос прервался... она удалилась. Городков остался с женою и проговорил несколько незначащих фраз, которых она почти не слышала, потому что ей тотчас в уме представился бал, который надобно будет дать по случаю свадьбы.

Когда Лидия заснула, муж ее отправился в комнату Зинаиды; он знал, что она не может спать. Княжна сидела на диване; слезы ручьями лились из ее глаз.

— Я пришел поговорить с вами о ваших делах, — сказал Владимир Лукьянович прерывающимся голосом. — Времени остается немного, а мне нужно кое о чем с вами условиться. Как родственник ваш, я должен позаботиться о том, о чем, может быть, вы сами забыли. У вас есть имение...

Княжна рыдала.

— Мне ничего не надобно, — говорила она, — я оставляю все вам, вашим детям, сестре.

— Это невозможно; ваш муж найдет это странным, неприличным; вы сами будете жалеть; у вас будут новые обязанности... новая привязанность... могут быть дети.

Эти слова, напоминавшие княжне прежний, обольстительный вечер, разрушили ее последнюю твердость; она бросилась на шею к Городкову и с отчаянием произнесла только одно слово: «*Владимир!*..» Но в этом слове были забыты и долг, и данное обещание, и девическая стыдливость. Обольститель сжал ее в своих объятиях, и длинный, длинный поцелуй помешал княжне договорить это слово. Но вдруг она вырвалась из его объятий, прислонилась к столу и трепещущим голосом произнесла:

— Владимир! именем бога, оставь меня!

Городков хотел к ней приблизиться; но она сложила руки в умоляющим видом:

— Именем бога, оставь меня!.. Завтра, завтра все узнаешь,— произнесла она, задыхаясь от слез.

— Но завтра,— отвечал Городков,— завтра ты будешь замужем?

Княжна всплеснула руками и закрыла лицо свое:

— Как ты мог поверить этому, Владимир?.. Разве ты не видишь?.. разве ты не знаешь?.. Ты... один, ты... один! — вскричала она вне себя и выбежала из комнаты.

Городков хотел за ней последовать, но, боясь разбудить домашних, возвратился в свою комнату. Вошедши в нее, он насмешливо улыбнулся. «Черт возьми! — сказал он,— дело не на шутку!» Но он взглянул в зеркало и испугался своего собственного образа; оглянулся, нет ли в комнате кого из посторонних, и — в одно мгновение исчезла с его лица насмешливая улыбка,— как будто ее и не бывало; он лег в постель и преспокойно проспал до утра.

На другой день княжна написала свою вторую записку к Радецкому. Радецкий отвечал на нее и в тот же день уехал из Москвы.

Не знаю, что бы могло случиться с княжною в это время; к ее счастью, особенное происшествие сделало большой переворот в ее семейной жизни. Лидия уже беременная танцевала, как я говорил выше, без устали; в то самое утро, когда Зинаида решила судьбу Радецкого, Лидия почувствовала себя нездоровою. Послали за доктором; он, осмотрев Лидию, значительно покачал головою и попросил пригласить других докторов для консилиума; прежде нежели начался консилиум, Лидия выкинула; доктора объявили ее в самом опасном положении.

Долго тянулась болезнь несчастной жертвы легкомыслия. Зинаида не отходила от ее постели. Иногда

больная приподнималась с постели и говорила слабым голосом, вспоминала о назначенных днях городских ба-лов, просила посмотреть свое последнее платье, которое она еще не успела примерить,— и ей расстилали на по-стели блонды, бархаты, атласы; она любовалась, играла ими, как ребенок; потом начинала плакать и приказыва-ла уносить все свой уборы.

Иногда, показывая на мужа, она говорила Зинаиде:

— Пожалуйста, будь его женою, когда я умру; он такой добрый... ты умеешь лучше угодить ему, нежели я; ты умница, а я бедная, глупенькая!

Но иногда в минуты бреда на Лидию находил при-падок ревности.

— Что вы на меня смотрите? — говорила она, — вы дожидаетесь, скоро ли я умру. Вы любите друг друга... я это знаю. Только берегись, Зинаида! он ужасно хитр и ужасно зол; он и тебя обманет... У него много бумаг, разных бумаг... он все пишет, пишет...

Слова ее превращались в рыдание или хохот.

Однажды в Казани небольшое общество чиновников сидело за чайным столиком: все люди должностные, дав-но служащие, что говорится, *кореняки*; между ими не-сколько дам, а между дамами и наша Марья Ивановна. Разговор шел дельный: толковали о том, кто как сделал свою карьеру; рассказано было многое в пользу случая, а многое в пользу ума и сметливости.

— Нет! — сказал полковой лекарь, который любил играть ролю балагура и, мимоходом будь сказано, не-сколько приволакивался за Марьей Ивановной, как она очень тонко дала мне это почувствовать.— Нет, нет, — сказал он, — я узнал недавно штуку, так уж чудо как хитра! На днях, разбирая бумаги покойного брата (у него незадолго перед тем умер брат, уездный стряпчий), я нашел письмо одного человека, немалозначащего чи-новника в Москве, — так уж могу сказать, удивительную вещь придумал! Как вы думаете? У него есть свояченица, сестра его жены, девушка небедная; имение у них еще не разделено, вместе обе части составляют, как видно, богатый кус, и он в него порядочно запустил лапки; но вот зятюшка-то думает и гадает: неравно она, окаян-ная, выйдет замуж, муж потребует половины имения, а с именем-то расстаться жаль. Как тут быть? Как вы думаете, что тут делать?

Все призадумались.

— Купить у нее за бесценок,— сказал старый советник палаты.

— Нет, Флор Игнатич! — отвечал лекарь, — это все старина; нынче люди поумнее, потоньше стали! купишь за бесценок — молва будет, репутации повредишь; нынче умный человек разные обороты имеет — на такие хитрости подымается, что век гадай, не отгадаешь. Вот что он выдумал, господа: он подъехал к свояченице с турусами на колесах, свел девку с ума, да и отбивает от нее женихов, а между тем в нераздельном имении то крестьян переведет, то пустошь обменяет, то людей на волю выпустит — вот какой молодец!

Марья Ивановна вздрогнула и, как сама она говорила, ей при рассказе лекаря что-то под сердце подступило: но на эту минуту со всею женскою хитростию она скрыла свое волнение.

Не знаю, уж какие средства Марья Ивановна употребила для убеждения своего обожателя, но только чрез несколько дней таинственное письмо очутилось в ее руках и в подлиннике летело в Москву на имя княжны Зинаиды.

Между тем в Москве Лидия с каждым днем ослабевала; доктора называли ее болезнь изнурительною чахоткою и другими латинскими, французскими и немецкими названиями, с утешительным замечанием, что она неизлечима.

Однажды, когда Зинаида вышла в переднюю, чтоб поскорей послать с рецептом в аптеку, незнакомый человек вошел, спрашивая: не здесь ли живет княжна Зинаида Петровна?

— На что вам ее? — спросила княжна.

— Я имею поручение, — отвечал незнакомец, — отдать ей письмо очень важное.

— Пожалуйте мне его, — сказала Зинаида.

— Я должен отдать ей собственноручно.

— Я сама княжна Зинаида.

Она подумала, что это письмо какого-нибудь бедного, и не затруднилась принять его; развернула его, быстро пробежала — едва ноги у нее не подкосились! В другой комнате послышались шаги; она проворно спрятала письмо под косынку; незнакомец между тем удалился.

В тот же день княжна, жалуясь на головную боль, попросила кареты проехаться. Лицо ее было бледно, но

спокойно. Городков приписал ее бледность нескольким ночам, проведенным без сна, и советовал ей поберечь себя. Княжна отвечала ему улыбкою. «Я постараюсь,— сказала она,— сохранить себя для вас». В последнем слове было особое выражение. Городков нежно поцеловал у нее руку. Княжна села в карету и отправилась к одной из своих приятельниц.

— Ты должна оказать мне услугу,— сказала ей княжна,— и услугу важную: вели заложить свою карету и вези меня к предводителю дворянства.

Приятельница княжны не могла прийти в себя от изумления; любопытство ее было сильно встревожено, но она не могла добиться от княжны никакого ответа. Они оставили карету княжны Зинаиды на дворе, а сами поехали, не сказав у подъезда куда. Приехав в дом предводителя, княжна оставила свою приятельницу в гостиной, а сама с неженскою смелостью пошла прямо в кабинет.

— Ваше превосходительство! — сказала она твердым и несколько торжественным голосом.— Вы поставлены от правительства для защиты сирот...

Предводитель, пораженный таким необыкновенным тоном, улыбнулся и сказал:

— Что с вами, княжна? за кого вы так горячо вступаетесь?

— За тех,— отвечала княжна Зинаида,— за которых некому, кроме меня, вступиться. Не смейтесь, бога ради, и не удивляйтесь тому, что буду говорить! Забудьте, что я девушка! В эту минуту в нескольких шагах от вас совершается преступление, которого никакой закон не может предвидеть, ни наказать, но которое может предупредить твердая воля человека.

Предводитель слушал княжну с возрастающим изумлением.

— То, что я вам скажу, должно остаться между нами: у меня умирает сестра, у ней остается ребенок. Я прошу вас быть у него опекуном.

— Помилуйте,— отвечал предводитель,— у ребенка остается отец!

— Этот человек,— отвечала княжна в сильном волнении,— не заслуживает доверенности ни правительства, ни честных людей.

Предводитель остолбенел; одумавшись, он отвечал:

— Позвольте, однако ж, княжна! ваши слова слыш-

ком сильны; но если б я и поверил им, то, по законам, я могу быть только назначен в помощь Владимиру Лукьяновичу, и то, если на это будет согласие матери.

— Согласие матери? — сказала княжна с беспокойством. — Вы, как благородный человек, и в этом должны мне помочь; что надобно для этого?

— Надобно, чтоб она назначила меня в духовном завещании в помощь своему мужу.

— Вы должны к ней ехать вместе со мною.

— Помилуйте, вам ближе это сделать.

— Я не могу, она мне не поверит. Прибавлю к этому, что вы должны вместе с духовным отцом говорить с нею и, не забудьте, в отсутствие ее мужа.

— Признайтесь, княжна, что вы ставите меня в самое затруднительное положение: заставляете ехать секретно к умирающей женщине для того, чтоб заставить ее сделать то, что может быть неприятно ее мужу, человеку почтенному, уважаемому в целом городе. Нет, воля ваша, княжна, я на это не согласен.

Княжна была в отчаянии.

— Почтенного... уважаемого... — повторяла она, — когда я вам говорю, что он без чести, без совести...

— Но где ж доказательства? — сказал наконец предводитель, вышедши из терпения.

— Доказательства! — воскликнула княжна, — доказательства! у меня есть доказательства, и неоспоримые. Но умоляю вас — дайте мне честное слово, что вы никогда не откроете тайны, которую я вам поверю.

— Даю вам слово честного и благородного человека.

Княжна несколько минут была в недоумении; наконец, скрепив сердце и произнеся про себя: «господи, еще жертва!..» — сказала: — Читайте, сударь!

*Письмо Городкова к покойному казанскому уездному стряпчему:*

«М. Г. и почтеннейший товарищ, Фома Иванович! Премного и чувствительно я одолжен вам за исполнение всех моих комиссий: истинно вы показываете свою старую дружбу и приязнь. Ваше благорасположение ко мне осмеливает меня просить вас: во-первых, прочесть сие письмо поотдаль от всех, ибо я имею сообщить вам нечто весьма секретное, для чего и письмо сие посылаю не по почте, но с верною оказией. Предупреждаю вас,



что по ходу дел мне надобно объяснить вам мое положение в подробности, но это дело весьма деликатное; почему я в будущих письмах уже не буду прибегать к объяснениям, кои не всегда могут быть удобны, а уже по этому письму, почтеннейший, понимайте то, о чем впоследствии буду только намекать. Неоднократно я уже относился к вам, почтеннейший товарищ и однокорытник, поспешить окончанием продажи леса при селе Анисовке<sup>1</sup>; вы пишете ко мне, что, несмотря на мое согласие, остановили продажу, потому что считаете цену слишком дешевою и боитесь, чтобы я не переменял мыслей. Я за такой знак приязни вас чувствительно благодарю, но мои обстоятельства не позволяют мне ждать других покупателей; я вынуждаюсь объяснить вам откровенно, с тем, разумеется, чтобы сие сохранилось в величайшей тайне и никому не было поверено. Описание сих обстоятельств убедит вас, почтеннейший друг, сколько необходимо нужно поспешать, ибо случай, как говорили древние писатели, плешив,— тотчас из-под руки выскользнет. Вы знаете, почтеннейший, что у меня собственно за мною ни кола ни двора; чтобы поправить мое состояние и сделать себе карьеру, я, как вам неизвестно, долго искал себе невесты; наконец бог мне послал жену, правда, глупенькую, но небезбедную, как вам также известно. Пока положение мое недурно, я на хорошей дороге, и в связях, и в родстве, и, благодаря бога, могу не только себе, но и приятелям моим быть полезен. Но, любезнейший друг, вникните хорошенько в мое положение. Вы знаете:

Все на свете сем не прочно;

должно помышлять о будущем; умри жена — чего боже сохрани! — я опять, с позволения сказать, останусь гол как сокол! Правда, есть у нас ребенок но и ребенок — чего боже сохрани! — может умереть; да если останется жив, то все я буду ни при чем, а разве при его милости. Это бы еще ничего, да опека, почтеннейший!.. Знаю, что и с нею можно концы с концами свести, но все хлопотно, опасно... хотелось бы иметь свое, отдельное, независимое... понимаете, любезнейший друг! Для сего-то я и желаю, елико возможно, поспешить продажею леса — хотя бы то было за бесценюк — лишь бы не пропустить слу-

---

<sup>1</sup> Общее имение обеих сестер. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

чая, когда дают чистые деньги; а вы знаете: чистоган святое дело! Да к тому же, признательно вам сказать, я не знаю, зачем мне упускать из вида и другую половину имения, когда бог его так кстати мне посылает, тем более что обе половины вместе — настоящий объект, а врозь уже гораздо теряют свою цену. Тут дело, почтеннейший, повторяю вам за тайну, так сказать, пределикатного свойства. Извольте видеть, ведь свояченица может выйти замуж — понимаете?.. Правда, она ко мне, с позволения сказать, на шею вешается; я, разумеется, как благородный человек, не стараюсь воспользоваться ее слабостью, но, с другой стороны, смотря на сие обстоятельство с сурьезной точки зрения, нахожу его весьма сообразным с моими намерениями. А между тем и то приходит в ум, что все-таки ей мужем быть не могу; но, не равен час, может подвернуться какой-либо смазливенький, — тогда, вы сами понимаете, почтеннейший, беда, да и только. Мне необходимо воспользоваться временем, пока в моих руках доверенность от обеих сестер на нераздельное управление общим имением. Во всех отношениях для меня нужно спешить. Все для меня опасно — выйдет ли свояченица замуж, или не выйдет: на грех мастера нет. Мало ли что может случиться!.. Боюсь зазору, молвы людской; вы знаете — я человек благородный, с амбициею; хочу, чтобы под меня нельзя было иголки подпустить; так и дорожу своей репутацией. Все сие пишу к вам, как к другу, и прошу вас покорнейше по прочтении сего письма оное уничтожить и в ваших письмах ко мне не упоминать о моих обстоятельствах иначе, как весьма аллегорически. Постарайтесь, почтеннейший, тотчас по совершении купчей на лес немедленно доставить мне свидетельство на залог всего имения, о чем я уже к вам писал. Бога ради, поспешайте, елико возможно; денег не жалейте, только бы не замедлили. Прежде взятья свидетельства спросите у Клементья Федорова, хочет ли он выкупиться, или нет; если хочет, то деньги бы выслал ко мне немедленно; иначе я должен буду принять свои меры. Прощайте, почтеннейший! не замедлите вашим ответом. Извините, что я обременяю вас своими комиссиями; но что делать, почтеннейший! живой о живом и помышляет. Я человек благородный и нравственный: никогда для своей выгоды, даже если бы не имел и дневного пропитания, не в состоянии прибегнуть к непопозволенному средству; но, с другой стороны,

было бы слишком глупо и не воспользоваться теми видами, кои ныне представляются. Повторяю мою просьбу об уничтожении сего письма. Прекратя все сие, честь имею быть с совершенным почтением и таковой же преданностию ваш истинный друг и слуга

*В. Городков».*

Пока это письмо было читано предводителем, княжна Зинаида не сводила с него глаз. Она знала письмо наизусть; она следовала за каждым словом; она видела краску, выступившую на лице ей почти незнакомого человека, видела его полуулыбку, когда глаза его дошли до того места, которое относилось к княжне,—она все это видела. Все, что она перенесла, сколькими годами постарела в эти немногие минуты,—рассказывать не нужно.

Прочитав письмо, предводитель сказал:

— Теперь я на все согласен: располагайте мною как хотите.

В тот же день, в минуту, когда Городкова не было дома, предводитель, духовный отец и двое свидетелей были в комнате Лидии; она подписала завещание; в котором предводитель был назначен душеприказчиком и опекуном в помощь Владимиру Лукьяновичу, а дети сверх того вверялись особому попечению княжны Зинаиды. Когда все кончилось и все бывшие в комнате умирающей удалились, возвратился Владимир Лукьянович. Предводитель, встретившись с ним в дверях, холодно поклонился и сказал, что он не замедлит к нему отнестись официально как душеприказчик жены его. Владимир Лукьянович уже знал о вчерашней поездке Зинаиды; теперь загадка для него разгадалась, но только вполчину. Взволнованный, взбешенный, он побежал в комнату Зинаиды, но за дверью остановился и, приняв на себя нежно-печальный вид, вошел тихими шагами.

— Что это значит, княжна? вы и мне не доверяете? — сказал он, устремив на нее свои глаза, которых знал магнетическое действие.

Впервые и, верно, в последние, злобная улыбка появилась на устах княжны. Она посмотрела на своего обожателя с презрением и бросила ему в лицо письмо его к казанскому стряпчему...

Положение Городкова было затруднительно. Благодарзумие требовало немедленно бежать в комнату больной,

расспросить ее, заменить старое завещание новым, — но уже Лидия была без языка. Несколько мгновений — и ее не стало. Кончина человека поражает невольно самое загрубелое сердце; в эту минуту остающийся в живых смотрит на окружающих, ищет в их глазах убеждения в жизни... Городков встретил лишь холодный, укоряющий взор Зинаиды.

Прошли дни похорон. В доме все вымыто, выметено, накурено; аптекарские стеклянки выброшены за окошко, мебель поставлена на место, в стекла светит солнце, на кухне готовят кушанье... Городков ожил; сперва стенания его слышались только за дверью; потом, в рассчитанное с толком время, двери для приезжающих утешителей отворились. Владимир Лукьянович плакал и вздыхал уже официально; мимоходом он принимал на себя вид оскорбленной невинности и легкими намеками наводил черную краску на княжну Зинаиду. Между тем к ней был послан управитель с низким поклоном и извещением, что барин хочет переселиться в занимаемые ею комнаты, потому что, дескать, ему очень тяжело оставаться в тех, где находилась покойная Лидия Петровна.

Зинаида оставила дом, переехала к одной приятельнице — у княжны не было ни копейки денег.

Мало-помалу приезжающим утешителям было растолковано, что княжна Зинаида в последнее время оказала очень дурной характер; что она старалась овладеть больною сестрою и выманить у покойницы разные щедроты в изъяз мужу и детям; что даже при ее заносчивом характере опасно было оставлять ее при ребенке, и прочее тому подобное. Эти краски очень хорошо ложились на приготовленную растушевку.

Наступило время чтения завещаний. Их было два: первое предоставляло Городкову неограниченное право располагать детьми и имением, второе — то, о котором я говорил выше. Оно одно, как последнее, имело законную силу.

Городков, выслушав все, хладнокровно сказал:

— Я весьма радуюсь, что имею в почтенном Иване Гавриловиче (имя предводителя) столь достойного помощника; но долгом считаю объявить, что покойница состояла мне должною на такую сумму, которая превосходит цену имения. Если бы мне, отцу (это сказано было

сквозь слезы), было оказано больше доверенности и не было никакого постороннего вмешательства, я бы изорвал заемные письма: на что мне они? разве я не отец моему ребенку? Но теперь я считаю себя в обязанности предъявить их, дабы иметь право предохранять от постороннего управления достояние моего ребенка.

Все эти слова были произнесены тоном достойным, благородным и трогательным. Они произвели видимое действие на всех слушателей: многие из них плакали, другие с негодованием говорили об *интриганке* Зинаиде.

Одна она не потеряла головы.

— Неправда! — сказала она, когда предводитель почти упрекал ее, что она посвятила его в дураки, — неправда! сестра не могла быть ему должною — ему нечего ей дать; я буду доказывать пред судом безденежность заемных писем.

— Как, княжна! вам, девушке, входить в процесс с мужем вашей сестры?

— Так вы подайте просьбу...

— Это легко сказать: какие доказательства могу я представить в безденежности этих заемных писем? Знаете ли, к чему ведет это? Ведь Городкова надобно будет обвинить в бесчестном поведении...

— А вы еще сомневаетесь в этом, после письма его?..

— Да, письмо! разве письмо бы годилось. Но подумайте о себе: оно компрометирует вас...

— Что нужды! — отвечала она, но потом, одумавшись, спросила с трепетом: — Это письмо необходимо?

— Необходимо.

— Оно — у Городкова!

У опекуна опустились руки. Он решительно отказался от всякого процесса.

Княжна была в отчаянии, но не теряла духа. Без денег, без друзей, поражаемая светской болтовней, негодованием честных, но обманутых людей — она начала процесс о безденежности заемных писем, данных ее сестрою. К такому действию ее еще более понуждала открытая ею связь Городкова с одною безнравственною женщиною, которая, перехитрив и самого Владимира Лукьяновича, вытягивала из него деньги и, наверное, должна была обвенчать его на себе. Необходимо иметь капитал для такого процесса заставила княжну завести другою — о разделе имения, а к этому процессу третий — о разорении, сделанном Городковым в имении. И во всех

гостиных, в присутственных местах толковали, смеялись, порицали девушку, которая забыла стыд, обложила себя указами, окружила себя стряпчими, приказными; болтливость и клевета прибавляли к сему тысячи оскорбительных небылиц, которые имели вид истины.

Посреди самого разгара этого дела в Москву возвратился из Парижа дядя обеих сестер, князь З... Княжна бросилась к нему, как к своему избавителю; она рассказала ему всю историю — рассказала с жаром, с чувством, с силою. Старый князь, чопорный, чинный, в коричневом фраке с иностранною звездою, сначала ничего не понимал; но жар, с которым говорила его племянница, как-то подействовал на его благоприличную душу: он сам ни с того ни с сего разгорячился и начал приговаривать:

— Comment donc! nous lui ferons rendre, gorge mordicus<sup>1</sup>.

Один мой приятель сделал очень глубокомысленное замечание, а именно: что есть люди, которые очень умны, когда говорят по-французски, и делаются невыразимо пошлы и глупы, как скоро заговорят по-русски. Это довольно странно, но справедливо и понятно. Мы учимся не языку, но только заучиваем тысячи фраз, сказанных на этом языке умными людьми; говорить хорошо по-французски — значит повторять эти тысячи готовых фраз; эти фразы и мешают мыслям и избавляют от своих собственных; вы слушаете, чужой ум выглядывает из болтовни, обманывает вас: кажется — дело, переведите по-русски — пустошь, ни к селу, ни к городу. Князь принадлежал к числу таких людей. Едва ввалился он в гостиные, как посыпались к нему со всех сторон нарекания на Зинаиду; добрый князь обомлел. Едва заговорил он по-русски с деловыми людьми, как и совсем потерялся; в голове его осталось только одно, что племянница его играет самую смешную, самую неприличную роль — un rôle ridicule et peu convenable!<sup>2</sup>

Князь считал долгом принять на себя достойный вид старшего родственника и, положив одну ногу на другую, преподать княжне нужные, спасительные советы самым чистым парижским наречием, с заветными поговорками и с особенною интонацією, которая так несносно скучна в разговоре и природных французов.

<sup>1</sup> И как еще! мы у него все вырвем обратно, черт побери! (франц.)

<sup>2</sup> Роль смешная и неприличная! (франц.)

Хотя он с княжною говорил и по-французски, следственно очень умно, но не убедил ее; она продолжала начатое, и в гостиных явился ее новый гонитель — ее собственный дядя: он пожимал плечами, поутру уверял встречного и поперечного, что он в этом деле умывает руки, а вечером, вздыхая, ездил смотреть французские водевили.

Однажды к княжне Зинаиде явился ее стряпчий.

— Ваше сиятельство,— сказал он,— вам остается теперь одно: *очистительная присяга*,— и я долгом считаю вас уведомить, что ваш соперник, говоря, что для детей отец должен на все решиться, не прочь от такой присяги.

— Что такое очистительная присяга?

— Вы должны будете идти с большой церемонией в церковь и публично присягать в истине вашего показания касательно безденежности заемных писем...

Княжна окаменела при таком известии. Это было слишком!

Но твердость ее не оставила; она готова была принести и эту жертву любимому ей ребенку, но ее спасло одно из тех нечаянных происшествий, которые неправдоподобны, но очень просто разрешают, по воле провидения, самые трудные задачи. Городкова разбили лошади — и он умер. При последнем издыхании он не хотел или не успел испросить прощения Зинаиды.

Смерть Городкова возвратила все права несчастной девушке над ее племянницею. Она взяла ее к себе, не выходит замуж и все минуты жизни посвящает на ее воспитание: а в гостиных толкуют, что она, расстроив свое семейство, теперь надела маску и играет роль нежной родственницы, чтобы прикрыть старые грехи и между тем воспользоваться именем племянницы.

— Вот что я узнал,— продолжал мой приятель,— от Марьи Ивановны. Разумеется, она рассказывала все это гораздо короче, нежели как я тебе сказываю. Но ты человек аккуратный — тебе надобно было знать все подробности. Этот рассказ возбудил во мне сильное любопытство познакомиться с столь необыкновенною женщиною, которая в малом семейном круге умела показать более благородства и твердости души, нежели многие мужчины на поприщах более возвышенных.

У графини Дарфельд бывали по вторникам маскарады. В тогдашнюю зиму на маскарады была мода; все ря-

дились, мистифицировали друг друга, танцевали и волочились без ума; под снега севера перенеслись все обольстительные прелести старинных итальянских маскарадов.

Однажды я с любопытством осматривал пестрый мир, вертевшийся вокруг меня, и почти с досадой отгрызался от масок, которые не давали мне покоя. «Княжна Зизи здесь», — сказал кто-то за мною. — «Где? где?» — спросил другой. «Вот сидит в зеленом домино; моя племянница с нею».

Этого разговора с меня было довольно; я отправился к зеленому домино. В жизни я не видывал такой стройной талии, таких прекрасных ножек, которые, ты знаешь, в женщине для меня — почти все; из-под капюшона были видны знакомые мне черные, мелкие кудри, а в отверстиях маски горели живые, блестящие глаза.

— Позвольте мне вас мистифицировать, — сказал я, — хотя я и без маски.

Я сел подле княжны и ни с того ни с сего принялся рассказывать ей всю ее историю со всеми подробностями. Княжна была встревожена моим рассказом; но участие в ней, уважение к ее подвигу, которым дышало каждое мое слово, ее тронуло. Когда я окончил, она мне сказала:

— Благодарю вас; вы мне доставили первое наслаждение в жизни: видеть, что клевета не совсем могла очернить меня и что есть люди, убежденные в чистоте моего сердца.

На следующий вторник мы встретились уже как знакомые. Разговор княжны был жив, умен и занимателен; я не замечал, как проходили часы и как посматривали на нас любопытные.

На третий вторник я счел уже нужным также нарядиться в домино, чтобы спокойнее говорить с княжною...

Что тебе рассказывать! Чрез несколько времени быть с княжною сделалось для меня необходимостью; тщетно я искал ее в гостиных: она выезжала только в маскарады — без домино она боялась показываться в свете и сначала лишь под маскою хотела к нему привыкнуть.

Однажды, после долгого вечера, который я считаю одним из счастливейших в моей жизни, сходя с подъезда, я сказал ей:

— Княжна! мне тяжело видеть вас только один раз в неделю; позвольте мне быть у вас.

Она задумалась и потом отвечала:



— Это невозможно!

— Почему же?

— Я живу почти одна. Вы знаете Москву и знаете, что заговорят, если вы будете ко мне ездить.

Эти слова заставили меня в мою очередь задуматься.

— Послушайте,— сказал я,— не сочтите меня ветреным, легкомысленным. Что вам до толков? Неужели нет средства посмеяться над клеветниками?

— Как же? — спросила она почти с насмешкою.

Эта насмешка рассердила меня. Я говорил, говорил — и, сам не знаю, как сказал ей, что я влюблен в нее до безумия, и предложил ей свою руку.

Княжна вздохнула.

— И я люблю вас, молодой человек,— отвечала она,— но вы знаете, что о таком деле надобно подумать...

Тут закричали карету с условленным именем; княжна поспешно меня оставила, говоря:

— До будущего вторника! ко мне пока я вам ездить запрещаю...

В эту ночь я прошел все степени любовного безумия: я и писал несколько писем, и бросался в кресла, и закрывал себе лицо руками; и бродил из угла в угол — и... как все это у вас описывается?

К утру не стало мне больше сил. Я бросился в карету и велел ехать к княжне Зинаиде; она заставила меня довольно долго ждать у подъезда, но наконец меня приняли. Я взбежал на лестницу как угорелый, и первый предмет, который бросился в глаза в гостиной, была княжна — и в своем домино.

— Вы не исполнили моей просьбы,— сказала она,— что делать! Но за то я хочу наказать вас, вы будете говорить со мною, но не увидите меня...

Я бросился к ней и стал умолять, чтобы она сняла маску; чего уже тут я наговорил, не помню, потому что был в совершенном бреду.

— Сядемте,— сказала она мне,— и поговорим; дело серьезное... Вы любите меня, молодой человек; я вам верю, верю чистой, юной, прекрасной душе вашей; когда смотрю на вас, мне приходит на мысль, что я бы могла еще быть счастливою в жизни... да, сударь, я к вам почти равнодушна... вы воскресили для меня старые, забытые чувства... как бы я желала продолжить эту минуту...

Я был вне себя, целовал ее руку, дыхание мое захватывало.

— Постойте! — сказала княжна, — в этом деле есть препятствие, и очень важное...

— Препятствие! — сказал я, — какое? Вы свободны.

— Препятствие небольшое, но важное, — повторила княжна со смехом, срывая с себя маску, — мне сорок, а вам едва ли восемнадцать! Моя племянница вам ровесница и уже замужем! Жаль мне разрушить свое и ваше очарование, но — вы опоздали, и я также; мне не суждено этого рода счастья в жизни, вы — найдете другое.

— Что тебе рассказывать далее! — продолжал мой приятель. — Я было принялся выдумывать пошлые фразы о том, что я молод на лицо, что неравенство лет не мешает счастью, и прочее тому подобное; но мои слова как-то не вязались, а княжна грустно и насмешливо забавлялась моим смущением... На другой день я уехал из Москвы — а теперь мне пора ехать за акциями.

Он взял шляпу.

— Постой! Постой! — кричал я ему вслед. — Как же ты не догадался о годах княжны по письмам?

— Разве я тебе не сказал, что получил их после всей этой истории? — отвечал мой приятель.

## Сильфида

(Из записок благоразумного человека)

*Посв. Анас. Серг. П-вой*

Поэта мы увенчаем цветами и выведем  
его вон из города.

*Платон*

Три столба у царства: поэт, меч и за-  
кон.

*Предания северных бардов*

Поэты будут употребляться лишь в  
назначенные дни для сочинения гимнов  
общественным постановлениям.

*Одна из промышленных  
компаний XVIII века  
!?!?*

*XIX век*

### ПИСЬМО I

Наконец я в деревне покойного дядюшки. Пишу к тебе, сидя в огромных дедовских креслах, у окошка; правда, перед глазами у меня вид не очень великолепный: огород, две-три яблони, четвероугольный пруд, голое поле — и только; видно, дядюшка был не большой хозяин; любопытно знать, что же он делал, проживая здесь в продолжение пятнадцати лет безвыездно. Неужели он, как один из моих соседей, встанет поутру рано, часов в пять, напьется чаю и сядет раскладывать гранпасьянс вплоть до обеда; отобедает, ляжет отдохнуть и опять за гранпасьянс вплоть до ночи; так проходят 365 дней. Не понимаю. Спрашивал я у людей, чем занимался дядюшка? Они мне отвечали: «Да так-с». Мне этот ответ чрезвычайно нравится. Такая жизнь имеет что-то поэтическое, и я надеюсь вскоре последовать примеру дядюшки; право, умный был человек покойник!

В самом деле, я здесь по крайней мере хладнокровнее, нежели в городе, и докторá очень умно сделали, отправив меня сюда; они, вероятно, сделали это для того, чтоб сбить меня с рук; но, кажется, я их обману: сплин мой, подивись, почти прошел; напрасно думают, что рассеянная жизнь может лечить больных в моем роде; неправда: светская жизнь бесит, книги также бесят, а здесь, вообрази себе мое счастье, — я почти никого не

вижу, и со мной нет ни одной книги! этого счастья описать нельзя — надобно испытать его. Когда книга лежит на столе, то невольно протягиваешь к ней руку, раскрываешь, читаешь; начало тебя заманивает, обещает золотые горы, — подвигаешься дальше, и видишь одни мыльные пузыри, ощущаешь то ужасное чувство, которое испытали все ученые от начала веков до нынешнего года включительно: искать и не находить! Это чувство мучило меня с тех пор, как я начал себя помнить, и я ему приписываю те минуты сплина, которые докторам угодно приписывать желчи.

Однако ж не думай, чтоб я жил совершенно отшельником: по древнему обычаю, я, как новый помещик, сделал визиты всем моим соседям, которых, к счастью, немало; говорил с ними об охоте, которой терпеть не могу, о земледелии, которого не понимаю, и об их родных, о которых сроду не слыхивал. Но все эти господа так радушны, так гостеприимны, так чистосердечны, что я их от души полюбил; ты не можешь себе представить, как меня прельщает их полное равнодушное невежество обо всем, что происходит вне их уезда; с каким наслаждением я слушаю их невероятные суждения о единственном номере «Московских ведомостей», получаемом на целый уезд; в этом номере, для предосторожности обвернутом в обойную бумагу, читается по очереди все, от привода лошадей в столицу до ученых известий включительно; первые, разумеется, читаются с любопытством, а последние для смеха, — который я разделяю с ними от чистого сердца, хотя по другой причине; за то пользуюсь всеобщим уважением. Прёжде они меня боялись и думали, что я, как приезжий из столицы, буду им читать лекции о химии или плодопеременном хозяйстве; но когда я им высказал, что, по моему мнению, лучше ничего не знать, нежели знать столько, сколько знают наши ученые, что ничто столько не противно счастью человека, как много знать, и что невежество никогда еще не мешало пищеварению, тогда они ясно увидели, что я добрый малый и прекраснейший человек, и стали мне рассказывать свои разные шутки над теми умниками, которые назло рассудку заводят в своих деревнях картофель, молотильни, крупчатки и другие разные вычурные новости: умора, да и только! — И поделом этим умникам — об чем они хлопчут? Которые побойчее, те из моих новых друзей рассуждают и о политике; всего больше их тревожит турец-

кий султан по старой памяти, и очень их занимает распря у Тигил-Бузи с Гафис-Бузи; также не могут они добраться, отчего Карла X начали называть Дон-Карлосом... Счастливые люди! Мы спасаемся от омерзения, которое наводит на душу политика, искусственным образом,— т. е. отказываемся читать газеты, а они самым естественным — т. е. читают и не понимают...

Истинно, смотря на них, я более и более уверяюсь, что истинное счастье может состоять только в том, чтоб все знать или ничего не знать, и как первое до сих пор человеку невозможно, то должно избрать последнее. Я эту мысль в разных видах проповедую моим соседям: она им очень по сердцу; а меня очень забавляет то умиление, с которым они меня слушают. Одного они не понимают во мне: как я, будучи *прекраснейшим* человеком, не пью пунша и не держу у себя псовой охоты; но надеюсь, что они к этому привыкнут и мне удастся, хотя в нашем уезде, убить это негодное просвещение, которое только выводит человека из терпения и противится его внутреннему, естественному влечению: сидеть склавши руки... Но к черту философия! она умеет вмешаться в мысли самого животного человека... Кстати о животных: у иных из моих соседей есть прехорошенькие дочки, которых, однако ж, нельзя сравнить с цветами, а разве с огородной зеленью,— тучные, полные, здоровые — и слова от них не добьешься. У одного из ближайших моих соседей, очень богатого человека, есть дочь, которую, кажется, зовут Катенькой и которую можно бы почесть исключением из общего правила, если б она также не имела привычки прижимать язычок к зубам и краснеть при каждом слове, которое ей скажешь. Я бился с нею около получаса и до сих пор не могу решить, есть ли ум под этою прекрасною оболочкою, а эта оболочка в самом деле прекрасна. В ее полужаспанных глазках, в этом носике, вздернутом кверху, есть что-то такое милое, такое ребяческое, что невольно хочется расцеловать ее. Мне очень *желательно*, как здесь говорят, заставить заговорить эту куколку, и я przygotowляюсь в будущее свидание начать разговор хоть словами несравненного Ивана Федоровича Шпоньки: «летом-с бывает очень много мух»<sup>1</sup>, и посмотрю, не вый-

<sup>1</sup> Гоголь. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

дет ли из этого разговора нечто продолжительнее беседы Ивана Федоровича с его невестою.

Прощай. Пиши ко мне чаще; но от меня ожидай писем очень редко; мне очень весело читать твои письма, но едва ли не столь же весело не отвечать на них.

## ПИСЬМО II

*(Два месяца спустя после первого)*

Говори теперь о твердости духа человеческого! Давно ли я радовался, что со мною нет ни одной книги; но не прошел месяц, как мне взгрустнулось по книгам. Началось тем, что соседи мои надоели мне до смерти; правду ты мне писал, что я напрасно сообщаю им мои иронические замечания об ученых и что мои слова, возвышая их глупое самолюбие, еще больше сбивают их с толка. Да! я уверился, мой друг: невежество не спасенье. Я скоро здесь нашел все те же страсти, которые меня пугали между людьми так называемыми образованными, то же честолюбие, то же тщеславие, та же зависть, то же корыстолюбие, та же злоба, та же лесть, та же низость, только с тою разницею, что все эти страсти здесь сильнее, откровеннее, подлее, — а между тем предметы мельче. Скажу более: человека образованного развлекает самая его образованность, и душа его по крайней мере не каждую минуту своего существования находится в полном унижении; музыка, картина, выдумка роскоши — все это отнимает у него время на низости... Но моих друзей страшно узнать поближе; эгоизм проникает, так сказать, весь состав их; обмануть в покупке, выиграть не правое дело, взять взятку — считается не втихомолку, но прямо, открыто, делом умного человека; ласкательство к человеку, из которого можно извлечь пользу, — долгом благовоспитанного человека; долголетняя злоба и мщенье — естественным делом; пьянство, карточная игра, разврат, какой никогда в голову не войдет человеку образованному, — невинным, дозволенным отдыхом. И между тем они несчастливы, жалуется и проклинают жизнь свою. — Как и быть иначе! Вся эта безнравственность, все это полное забвение человеческого достоинства переходит от деда к отцу, от отца к сыну в виде отеческих наставлений и примера и заражает целые поколения. Я понял, наблюдая вблизи этих господ, отчего безнрав-

ственность так тесно соединена с невежеством, а невежество с несчастьем: христианство недаром призывает человека к забвению здешней жизни; чем более человек обращает внимания на свои вещественные потребности, чем выше ценит все домашние дела, домашние огорчения, речи людей, их обращение в отношении к нему, мелочные наслаждения, словом, всю мелочь жизни,— тем он несчастливее; эти мелочи становятся для него целью бытия; для них он заботится, сердится, употребляет все минуты дня, жертвует всею святынею души, и так как эти мелочи бесчисленны, душа его подвергается бесчисленным раздражениям; характер портится; все высшие, отвлеченные, успокаивающие понятия забываются; терпимость, эта высшая из добродетелей, исчезает,— и человек невольно становится зол, вспыльчив, злопамятен, нетерпящ; внутренность души его становится адом. Примеры этого мы видим ежедневно: человек всегда беспокойный, не нарушили ль в отношении к нему уважения или приличий; хозяйка дома, вся погруженная в рассмотрение за хозяйством; ростовщик, беспрестанно занятый учетом процентов; чиновник, в канцелярском педантизме забывающий истинное назначение службы; человек, в низких расчетах забывающий свое достоинство,— посмотрите на этих людей в их домашнем кругу, в сношении с подчиненными — они ужасны: жизнь их есть беспрерывная забота, никогда не достигающая своей цели, ибо они столько пекутся о средствах для жизни, что жить не успевают! — Вследствие этих печальных наблюдений над моими деревенскими друзьями я заперся и не велел никого из них пускать к себе. Оставшись один, я побродил по комнате, посмотрел несколько раз на свой четвероугольный пруд, попробовал было срисовать его; но ты знаешь, что карандаш мне никогда не давался: трудился, трудился — вышла гадость; принялся было за стихи — вышел, по обыкновению, скучный спор между мыслями, стопами и рифмами; я даже было запел, хотя никогда не мог наладить и *di tanti palpiti!* — и наконец, увы! призвал старого управителя покойного моего дядюшки и невольно спросил у него: «Да неужели у дядюшки не было никакой библиотеки?» Седой старичок низко мне поклонился и отвечал: «Нет, батюшка; такой у нас никогда не бывало». — «Да что же такое, — спросил

---

<sup>1</sup> Буквально: с волнением, с трепетом (*итал.*).

я,— в этих запечатанных шкапах, которые я видел на мезонине?» — «Там, батюшка, лежат книги; по смерти дядюшки вашего тетюшка изволила запечатать эти шкафы и отнюдь не приказывала никому трогать». — «Открой их»,

Мы взошли на мезонин; управитель отдернул едва державшиеся восковые печати — шкаф открыт, и что я увидел? Дядюшка, чего я до сих пор не подозревал, был большим мистиком. Шкапы были наполнены сочинениями Парацельсия, графа Габалиса, Арнольда Виллановы, Раймонда Луллия и других алхимиков и кабалистов. Я даже заметил в шкафу остатки некоторых химических снарядов. Покойный старик верно искал философского камня... проказник! и как он умел сохранять это в секрете!

Нечего было делать; я принялся за те книги, которые нашлись, и теперь, вообрази себе меня, человека в XIX-м веке, сидящего над огромными фолиантами и со всеусердием читающего рассуждение: о первой материи, о всеобщем электре, о душе солнца, о северной влажности, о звездных духах и о прочем тому подобном. Смешно, и скучно, и любопытно. За этими хлопотами я почти позабыл о моей соседке, хотя ее батюшка (один порядочный, хотя и скучный, человек из всего уезда) часто у меня бывает и очень за мною ухаживает; все, что я ни слышу об ней, все показывает, что она, как называли в старину, предостойная девица, т. е. имеет большое приданое; между тем я слышал стороною, что она делает много добра, например выдает замуж бедных девушек, дает им денег на свадьбу и часто усмиряет гнев своего отца, очень вспыльчивого человека; все окрестные жители называют ее ангелом — это не по-здешнему. Впрочем, эти девушки всегда имеют большую склонность выдавать замуж, если не себя, так других. Отчего бы это?..

### ПИСЬМО III

*(Два месяца спустя)*

Ты, я чаю, думаешь, что я не только влюбился, но даже женился,— ты ошибаешься. Я занят совсем другим делом; я пью — и знаешь ли что? чего не выдумает без-



делье! я пью — воду... Не смейся: надобно знать, какую воду. Роясь в библиотеке моего дядюшки, я нашел рукописную книгу, в которой содержались разные рецепты для вызывания элементарных духов. Многие из них были смешны до крайности; тут требовалась печенка из белой вороны, то стеклянная соль, то алмазное дерево, и по большо́й части все составы были таковы, что их не отыщешь ни в одной аптеке. Между прочими рецептами я нашел следующий: «Элементарные духи,— говорит автор,— очень любят людей, и довольно со стороны человека малейшего усилия, чтоб войти в сношение с ними; так, например, для того, чтоб видеть духов, носящихся в воздухе, достаточно собрать солнечные лучи в стеклянный сосуд с водою и пить ее каждый день. Этим таинственным средством дух солнца будет мало-помалу входить в человека, и глаза его откроются для нового мира. Кто же решится обручиться с ними посредством одного из благородных металлов, тот постигнет самый язык стихийных духов, их образ жизни, и его существование соединится с существованием избранного им духа, который даст ему познание о таких таинствах природы... но более мы говорить не смеем... Sapienti sat...<sup>1</sup> здесь и без того много, много уже сказано для просветления ума твоего, любезный читатель»,— и проч. и проч. Этот способ показался мне столько простым, что я вознамерился испытать его, хоть для того, чтоб иметь право похвастаться, что я на себе испытал кабалистическое таинство. Я вспомнил было ундину, которая так утешала меня в ребячестве; но, не желая иметь дела с ее дядюшкой, я пожелал видеть сильфиду; с этою мыслию — чего не делает безделье? — бросил бирюзовый перстень в хрустальную вазу с водою, выставил эту воду на солнце, к вечеру, ложась спать, ее выпиваю, и до сих пор я нахожу, что по крайней мере это очень здорово; еще никакой элементарной силы я не вижу, а только сон мой сделался спокойнее.

Знаешь ли, что я не перестаю читать моих кабалистов и алхимиков, и знаешь ли, что я еще скажу тебе: эти книги для меня весьма занимательны. Как милы, как чистосердечны их сочинители: «Наше дело,— говорят они,— очень просто: женщина, не оставляя своего веретена, может совершить его,— уме́й только понимать

---

<sup>1</sup> Для понимающего достаточно (лат.).

нас». — «Я видел, — говорит один, — при мне это было, когда Парацельсий превратил одиннадцать фунтов свинца в золото». — «Я сам, — говорит другой, — я сам умею извлекать из природы первоначальную материю, и сам посредством ее могу легко превращать все металлы один в другой по произволению». — «Прошлого года, — говорит третий, — я сделал из глины очень хороший яхонт» и проч. У всякого после этого откровенного признания следует краткая, но исполненная жизни молитва. Для меня необыкновенно трогательно это зрелище: человек говорит с презрением о том, что они называют ученостию профанов, т. е. нас; с гордою самоуверенностию достигает или думает достигнуть до последних пределов человеческой силы — и на сей высокой точке смиряется, произнося благодарную, простосердечную молитву всевышнему. Невольно веришь знанию такого человека; один невежда может быть атеистом, как один атеист невеждою. Мы, гордые промышленники XIX-го века, мы напрасно пренебрегаем этими книгами и даже не хотим знать о них. Посреди разных глупостей, показывающих младенчество физики, я нашел много мыслей глубоких; многие из этих мыслей могли казаться ложными в XVIII-м веке, но теперь большая часть из них находит себе подтверждение в новых открытиях: с ними то же случилось, что с драконом, которого тридцать лет тому почитали существом баснословным и которого теперь отыскивали налицо, между допотопными животными. Скажи, должны ли мы теперь сомневаться в возможности превращать свинец в золото с тех пор, как мы нашли способ творить воду, которую так долго почитали первоначальною стихиею? Какой химик откажется от опыта разрушить алмаз и снова восстановить его в первобытном виде? А чем мысль делать золото смешнее мысли делать алмазы? Словом, смеяться надо мною как хочешь, но я тебе повторяю, что эти позабытые люди достойны нашего внимания; если нельзя во всем им верить, то, с другой стороны, нельзя сомневаться, что их сочинения не намекают о таких знаниях, которые теперь потерялись и которые бы не худо снова найти; в этом ты уверишься, когда я тебе пришлю выписку из библиотеки моего дядюшки.

#### ПИСЬМО IV

В последнем моем письме я забыл тебе написать именно то, для чего я начал его. Дело в том, что я нахожусь, мой друг, в странном положении и прошу у тебя совета: я писал к тебе уже несколько раз о Катеньке, дочери моего соседа; мне наконец удалось заставить говорить ее, и я узнал, что она не только имеет природный ум и чистое сердце, но еще совсем неожиданное качество: а именно — она влюблена в меня по уши. Вчера приехал ко мне отец ее и рассказал мне то, о чем я слышал только мельком, препоручая все мои дела управителю; у нас производится тяжба об нескольких тысячах десятинах леса, которые составляют главный доход моих крестьян; эта тяжба длится уже более тридцати лет, и если она кончится не в мою пользу, то мои крестьяне будут совершенно разорены. Ты видишь, что это дело очень важное. Сосед мой рассказал мне его с величайшими подробностями и кончил предложением помириться; а чтоб мир этот был прочнее, то он дал мне очень тонко почувствовать, что ему бы очень хотелось иметь во мне зятя. Это была совершенно водевильная сцена, но она заставила меня задуматься. Что, в самом деле? молодость моя уже прошла, великим человеком мне не бывать, все мне надоело; Катя девушка премилая, послушлива, неговорливая; женившись на ней, я кончу глупую тяжбу и сделаю хоть одно доброе дело в жизни: упрочу благосостояние людей, мне подвластных; одним словом, мне очень хочется жениться на Кате, зажить степенным помещиком, поручить жене управление всеми делами, а самому по целым дням молчать и курить трубку. Ведь это рай, не правда ли?.. Все это вступление к тому, что, как бы сказать тебе, что я уже решил жениться, но еще не говорил об этом отцу Кати, и не буду говорить, пока не дождусь от тебя ответа на следующие вопросы: как ты думаешь, гожусь ли я быть женатым человеком? спасет ли меня от сплина жена, которая, не забудь, имеет привычку по целым дням не говорить ни слова и, следовательно, не имеет никакого средства надоесть мне? одним словом, должно ли еще мне подождать, пока из меня выйдет что-нибудь новое, неожиданное, оригинальное, или просто, как говорится, я уже кончил свой карьер, и мне остается заботиться только о том, чтоб из моей особы можно было сделать как можно больше спермацета? Ожидаю от тебя ответа с нетерпением.

## ПИСЬМО V

Благодарю тебя, мой друг, за твою решительность, твои советы и за благословление; едва я получил твое письмо, как поскакал к отцу моей Кати и сделал формальное предложение. Ежели б ты видел, как Катя обрадовалась, покраснела; она даже мне проговорила следующую фразу, в которой вылилась вся чистая и невинная душа ее: «Я не знаю,— сказала она мне,— удастся ли мне это, но я постараюсь сделать вас столько счастливым, как я сама буду счастлива». Эти слова очень просты, но если б ты слышал, с каким выражением они были сказаны; ты знаешь, что часто в одном слове больше скрывается чувства, нежели в длинной речи; в Катиных словах я видел целый мир мыслей: они должны были ей дорого стоить, и я умел оценить всю силу, которую дала ей любовь, чтоб превозмочь девическую робость. Действия человека важны по сравнению с его силами, а я до сих пор думал, что превозмочь робость было свыше сил Кати... После этого, ты можешь себе представить, что мы обнялись, поцеловались, старик расплакался, и по окончании поста мы веселым пирком да и за свадебку. Приезжай ко мне непременно, брось все свои дела — я хочу, чтоб ты был свидетелем моего, как говорят, счастья; приезжай хоть для курьеза, посмотреть на жениха с невестой, каких ты, верно, никогда не видывал: сидят друг против друга, смотрят обоими глазами, оба молчат и оба очень довольны.

## ПИСЬМО VI

*(Несколько недель спустя)*

Не знаю, как начать мне мое письмо; ты меня почтешь сумасшедшим; ты будешь смеяться, бранить меня... Все позволяю; позволяю даже мне не верить; но я не могу сомневаться в том, что я видел и что вижу всякий день собственными глазами. Нет! не все вздор в рецептах моего дядюшки. Действительно, это остаток от древних таинств, которые доньше существуют в природе, и мы многого еще не знаем, многое забыли и много истин почитаем за бредни. Вот что со мной случилось: читай и удивляйся! Мои разговоры с Катею, как ты легко можешь себе представить, не заставили меня забыть

о моей вазе с солнечною водою; ты знаешь, любознательность, или, просто сказать, любопытство есть основная моя стихия, которая мешается во все мои дела, их перемешивает и мне жить мешает; мне от нее ввек не отделаться; все что-то манит, все что-то ждет вдали, душа рвется, страждет — и что же?.. Но обратимся к делу. Вчера вечером, подошед к вазе, я заметил в моем перстне какое-то движение. Сначала я подумал, что это был оптический обман и, чтоб удостовериться, взял вазу в руки; но едва я сделал малейшее движение, как мой перстень рассыпался на мелкие голубые и золотые искры, они потянулись по воде тонкими нитями и скоро совсем исчезли, лишь вода сделалась вся золотою с голубыми отливками. Я поставил вазу на прежнее место, и снова мой перстень слился на дне ее. Признаюсь тебе, невольная дрожь пробежала у меня по телу; я призвал человека и спросил его, не замечает ли он чего в моей вазе; он отвечал, что нет. Тогда я понял, что это странное явление было видимо только для одного меня. Чтоб не подать повода человеку смеяться надо мною, я отпустил его, заметив, что мне вода показалась нечистою. Оставшись один, я долго повторял свой опыт, размышляя над этим странным явлением.— Я несколько раз переливал воду из одной вазы в другую: всякий раз то же явление повторялось с удивительною точностию — и между тем оно не изъяснимо никакими физическими законами. Неужели в самом деле это правда? Неужели мне суждено быть свидетелем этого странного таинства? Оно мне кажется столько важно, что я намерен его исследовать до конца. Я больше прежнего принялся за мои книги, и теперь, когда самый опыт совершился пред моими глазами, все более и более мне делается понятным сношение человека с другим, недоступным миром. Что будет далее!..

## ПИСЬМО VII

Нет, мой друг, ты ошибся и я также. Я предопределен быть свидетелем великого таинства природы и возвестить его людям, напомнить им о той чудесной силе, которая находится в их власти и о которой они забыли; напомнить им, что мы окружены другими мирами, до сих пор им неизвестными. И как просты все действия природы! Какие простые средства употребляет она для произве-

дения таких дел, которые изумляют и ужасают человека! Слушай и удивляйся.

Вчера, погруженный в рассматривание моего чудесного перстня, я заметил в нем снова какое-то движение: смотрю — поверх воды струятся голубые волны, и в них отражаются радужные опаловые лучи; бирюза превратилась в опал, и от него поднималось в воду как будто солнечное сияние; вся вода была в волнении; били вверх золотые ключи и рассыпались голубыми искрами. Тут было соединение всех возможных красок, которые то сливались бесчисленными оттенками, то ярко отделялись. Наконец радужное сияние исчезло, и бледный зеленоватый цвет заступил его место; по зеленоватым волнам потянулись розовые нити, долго переплетались между собою и слились на дне сосуда в прекрасную, пышную розу — и все утихло: вода сделалась чиста, лишь лепестки роскошного цветка тихо колебались. Так уже прошло несколько дней; с тех пор каждый день рано поутру я встаю, подхожу к моей таинственной розе и ожидаю нового чуда; но тщетно — роза цветет спокойно и лишь наполняет всю мою комнату невыразимым благоуханием. — Я невольно вспомнил читанное мною в одной кабалистической книге о том, что стихийные духи проходят все царства природы прежде, нежели достигнут своего настоящего образа. Чудно! чудно!

*(Чрез несколько дней)*

Сегодня я подошел к моей розе и в середине ее заметил что-то новое... Чтоб лучше рассмотреть ее, я поднял вазу и снова решился перелить ее в другую; но едва я привел ее в движение, как опять от розы потянулись зеленые и розовые нити и полосатую струею перелились вместе с водою, и снова на дне вазы явился мой прекрасный цветок: все успокоилось, но в середине его что-то мелькало: листы растворились мало-помалу, и — я не верил глазам моим! — между оранжевыми тычинками покоилось, — поверишь ли ты мне? — покоилось существо удивительное, невыразимое, невероятное — словом, женщина, едва приметная глазу! Как описать мне тебе восторг, смешанный с ужасом, который я почувствовал в эту минуту! — Эта женщина была не младенец; представь себе миньютюрный портрет прекрасной женщины в полном цвете лет, и ты получишь слабое понятие о том чуде,

которое было перед моими глазами; небрежно покоилась она на своем мягком ложе, и ее русые кудри, колеблясь от трепетания воды, то раскрывали, то скрывали от глаз моих ее девственные прелести. Она, казалось, была погружена в глубокий сон, и я, жадно вперив в нее глаза, удерживал дыхание, чтоб не прервать ее сладкого спокойствия.

О, теперь я верю кабалистам; я удивляюсь даже, как прежде я смотрел на них с насмешкою недоверчивости. Нет, если существует истина на сем свете, то она существует только в их творениях! Я теперь только заметил, что они не так, как наши обыкновенные ученые: они не спорят между собою, не противоречат друг другу; все говорят про одно и то же таинство; различны лишь их выражения, но они понятны для того, кто вникнул в таинственный смысл их... Прощай. Решившись исследовать до конца все таинства природы, я прерываю сношения с людьми; другой, новый, таинственный мир для меня открывается; я лишь для потомства сохраняю историю моих открытий. Так, мой друг, я предназначен к великому в этой жизни!..

ПИСЬМО ГАВРИЛА СОФРОНОВИЧА РЕЖЕНСКОГО  
К ИЗДАТЕЛЮ

*Милостивый государь!*

Извините меня, что хотя я лично не имею чести быть с вами знакомым, но, по сведению о тесной вашей дружбе с Михаилом Платоновичем, решаюсь беспокоить вас письмом моим. Вам, конечно, неизвестно, что у меня с покойным его дядюшкою, по коему он ныне находится законным наследником, имелась тяжба о значительном количестве строевого и дровяного леса. Почувствовав склонность к старшей дочери моей Катерине Гавриловне, ваш приятель предложил мне себя в зятя, на что я, как вам известно, изъявил свое согласие; впоследствии чего, надеясь на обоюдную пользу, я остановил ход сего дела; но ныне нахожусь в крайнем недоумении. Вскоре после обручения, когда и повестки были ко всем знакомым разосланы, и приданое дочери моей окончательно приготовлено, и все бумаги нужные к сему очищены, Михаил Платонович вдруг прекратил ко мне свои посещения. Полагая сему причину случившееся нездоровье, я посы-

лал к нему человека, а наконец и сам, несмотря на свою дряхлость, к нему отправился. Неприлично, да и обидно мне показалось напоминать ему о том, что он забыл свою невесту; а он хоть бы извинился! только что рассказывал мне о каком-то важном деле, им предпринятом, которое ему должно кончить до свадьбы и которое в продолжение некоторого времени требует его неусыпного внимания и надзора. Я полагал, что он хочет завести поташный завод, о котором он прежде поговаривал; думал я, что он хочет удивить меня и припасти для меня свадебный подарок, показав на опыте, что он может заниматься чем-нибудь дельным, по причине того, что я его часто журил за его пустодомство; однако же я никаких приготовлений для такого завода не заметил и ныне не вижу. Я положил было посмотреть, что дальше будет, как вчера, к величайшему моему удивлению, узнал, что он заперся и никого к себе не пускает, даже кушанье ему подают в окошко. Тут мне пришла, милостивый государь, престранная мысль в голову. Покойный дядя его жил в этом же доме и слыл в нашем уезде чернокнижником; я, сударь, сам некогда учился в университете; хотя немного поотстал, но чернокнижию не верю; однако же мало ли что может причиниться человеку, особливо такому философу, как ваш приятель! Что же наиболее уверяет меня в том, что с Михаилом Платоновичем случилось что-то недоброе,— это слух, дошедший до меня стороною, будто бы он сидит по целым дням и смотрит в графин с водою. В таковых обстоятельствах, милостивый государь, обращаюсь к вам с покорнейшею просьбою—немедленно поспешить вашим сюда приездом для вразумления Михаила Платоновича, по вашему к нему участию, дабы и я мог знать, чего мне держаться: снова ли начать тяжбу, или покончить решенное дело; ибо сам я, после нанесенной мне вашим приятелем обиды, к нему в дом не поеду, хотя Катя и с горькими слезами меня о том спрашивает.

В надежде скорого свидания с вами, честь имею быть, и проч.

### РАССКАЗ

Получив это письмо, я счел долгом прежде всего обратиться к знакомому мне доктору, очень опытному и ученому человеку. Я показал ему письма моего приятеля, рассказал его положение и спросил его, понимает ли он



что-нибудь во всем этом?.. «Все это очень понятно,— сказал мне доктор,— и совсем не ново для медика... Ваш приятель просто с ума сошел...»—«Но перечтите его письма,— возразил я,— есть ли в них малейший признак сумасшествия? отложите в сторону странный предмет их, и они покажутся хладнокровным описанием физического явления...»

«Все это понятно...— повторил медик.— Вы знаете, что мы различаем разные роды сумасшествий— *vesaniae*<sup>1</sup>. К первому роду относятся все виды бешенства— это не касается до вашего приятеля; второй род содержит в себе: во-первых, расположение к призракам— *hallucinatio-nes*<sup>2</sup>; во-вторых, уверенность в сообщении с духами— *demonomania*<sup>3</sup>. Очень понятно, что ваш приятель, от природы склонный к ипохондрии,— в деревне, один, без всяких рассеянностей, углубился в чтение всякого вздора; это чтение подействовало на его мозговые нервы; нервы...»

Долго еще объяснял мне доктор, каким образом человек может быть в полном разуме и между тем сумасшедшим, видеть то, чего он не видит, слышать, чего не слышит. К чрезвычайному сожалению, я не могу сообщить этих объяснений читателю, потому что я в них ничего не понял; но, убежденный доводами доктора, я решился пригласить его ехать со мною в деревню моего приятеля.

Михайло Платонович лежал в постели, худой, бледный; в продолжение нескольких дней он уже не принимал никакой пищи. Когда мы подошли, он не узнал нас, хотя глаза его были открыты; в них горел какой-то дикий огонь; на все наши слова он не отвечал нам ни слова... На столе лежали исписанные листы бумаги— я мог разобрать в них лишь некоторые строки, вот они:

#### ОТРЫВКИ

*Из журнала Михаила Платоновича*

— Кто ты?

— У меня нет имени— оно мне не нужно...

— Откуда ты?

— Я твоя— вот все, что я знаю; тебе я принадлежу

---

<sup>1</sup> Безумия (лат.).

<sup>2</sup> Галлюцинации (лат.).

<sup>3</sup> Демономания (лат.).

и никому другому... но зачем ты здесь? как-здесь душно и холодно! У нас веет солнце, звучат цветы, благоухают звуки... за мной... за мной!.. как тяжела твоя одежда — сбрось, сбрось ее... а еще далеко, далеко до нашего мира... но я не оставлю тебя! — Как все мертво в твоём жилище... все живое покрыто холодной оболочкой: сорви, сорви ее!

...Так здесь ваше знание?.. Здесь ваше искусство?.. вы отделяете время от времени и пространство от пространства, желание от надежды, мысль от ее исполнения, и вы не умираете от скуки? — За мной, за мной! скорее, скорее...

...Ты ли это, гордый Рим, столица веков и народов? Как растянулась повилика по твоим развалинам... Но развалины шевелятся, из зеленого дерна поднимаются обнаженные столпы, вытягиваются в стройный порядок,— чрез них свод отважно перегнулся, отряхая вечный прах свой, помост стелется игривым мозаиком,— на помосте толпятся живые люди, сильные звуки древнего языка сливаются с говором волн,— оратор в белой одежде с венцом на главе поднимает руки... И все исчезло: пышные здания клонятся к земле; столпы сгибаются, своды врываються в землю — повилика снова вьется по развалинам — все умолкло,— колокол призывает к молитве, храм отворен, слышны звуки мусийского орудия — тысячи созвучных переливов волнуются под моими пальцами, мысль стремится за мыслию, они улетают одна за другою как сновидения... если бы схватить, остановить их? — И покорное орудие снова вторит, как верное эхо, все минутные, невозвратимые движения души... Храм опустел, лунный блеск ложится на бесчисленные статуи; они сходят с мест своих, проходят мимо меня, полные жизни; их речи древни и новы, важна их улыбка и значительный взор; но снова они оперлись на свои пьедесталы, и снова лунный блеск ложится на статуи... Уж поздно... нас ждет веселый, тихий приют; в окошках мелькает Тибр; за ним Капитолий вечного града... Очаровательная картина! она слилась в тесную раму нашего камелька... да! там другой Рим, другой Тибр, другой Капитолий. Как весело трещит огонек... Обними меня, прелестная дева... В жемчужном кубке кипит искрометная влага... пей... пей... Там хлопьями валится снег и заметает дорогу — здесь меня греют твои объятия...

Мчитесь, мчитесь, быстрые кони, по хрупкому снегу,

взвивайте столбом ледяной прах: в каждой пылинке блистает солнце — розы вспыхнули на лице прелестной — она прильнула ко мне душистыми губками... Где ты нашла это художество поцелуя? все горит в тебе и кипячею влагою обдает каждый нерв в моем теле... Мчитесь, мчитесь, быстрые кони, по хрупкому снегу... Что? не крик ли битвы? не новая ли вражда между небом и землею?.. Нет, то брат предал брата, то невинная дева во власти преступления... и солнце светит, и воздух прохладен? Нет! потряслась земля; солнце померкло, буря опустилась с небес, спасла жертву и омыла преступного,— и снова солнце светит, и воздух тих и прохладен, лобызает брат брата, и сила преклоняется пред невинностью... За мной, за мной... Есть другой мир, новый мир... Смотри: кристалл растворился — там внутри его новое солнце... Там совершается великая тайна кристаллов; поднимем завесу... толпы жителей прозрачного мира празднуют жизнь свою радужными цветами; здесь воздух, солнце, жизнь — вечный свет: они черпают в мире растений благоуханные смолы, обдeldывают их в блестящие радуги и скрепляют огненную стихией... За мной, за мной! мы еще на первой ступени... По бесчисленным сводам струятся ручьи: быстро бьют они вверх и быстро спускаются в землю; над ними живая призма преломляет лучи солнца; лучи солнца вьются по жилам, и фонтан выносит на воздух их радужные искры; они то сыплются по лепесткам цветов, то длинною лентою вьются по узорчатой сети; жизненные духи, прикованные к вечно-кипящим кубам, претворяют живую влагу в душистый пар, он облаками стелется по сводам и крупным дождем падает в таинственный сосуд растительной жизни... Здесь, в самом святилище, зародыш жизни борется с зародышем смерти, каменеют живые соки, застывают в металлических жилах, и мертвые стихии преобразуются началом духа... За мной! за мной!.. На возвышенном троне восседает мысль человека, от всего мира тянутся к ней золотые цепи,— духи природы преклоняются в прах перед нею,— на востоке восходит свет жизни,— на западе, в лучах вечерней зари, толпятся сны и, по произволу мысли, то сливаются в одну гармоническую форму, то рассыпаются летучими облаками... У подножия престола она сжала меня в своих объятиях... мы миновали землю!

Смотри — там в безбрежной пучине носится ваша пылинка: там проклятия человека, там рыдания матери,

там говор житейской нужды, там насмешка злых, там страдания поэта — здесь все сливается в сладостную гармонию, здесь ваша пылинка не страждущий мир, но стройное орудие, которого гармонические звуки тихо колеблют волны эфира.

Простись с поэтическим *земным* миром! И у вас есть поэзия на земле! оборванный венец вашего блаженства! Бедные люди! странные люди! в вашей смрадной пучине вы нашли, что даже страдание есть счастье! Вы страданию даете поэтический отблеск! Вы гордитесь вашим страданием; вы хотите, чтоб жители другого мира завидовали вашей жизни! В нашем мире нет страдания: оно удел лишь несовершенного мира,— создание существа несовершенного! — Вольно человеку преклоняться пред ним, вольно ему отбросить его, как истлевшую одежду на плечах путника, завидевшего родину. . . . .

Неужли ты думаешь, что я не знала тебя? Я с самого младенчества соприсутствовала тебе в дыхании ветерка, в лучах весеннего солнца, в каплях благоуханной росы, в неземных мечтаниях поэта! Когда в человеке возрождается гордость его силы, когда тяжкое презрение падает с очей его на скудельные образы подлунного мира, когда душа его, отряхая прах смертных терзаний, с насмешкою попирает трепещущую пред ним природу,— тогда мы носимся над вами, тогда мы ждем минуты, чтоб вынести вас из грубых оков вещества — тогда вы достойны нашего лика!.. Смотри, есть ли страдание в моем поцелуе: в нем нет времени — он продолжится в вечность: и каждый миг для нас — новое наслаждение!.. О, не измени мне! не измени себе! берегись соблазнов твоей грубой, презренной природы!

Смотри — там вдаль, на вашей земле поэт преклоняется пред грудой камней, обросших бесчувственным организмом растительной силы. «Природа! — восклицает он в восторге, — величественная природа, что выше тебя в этом мире? что мысль человека пред тобою?» А слепая, безжизненная природа смеется над ним и в минуту полного ликования человеческой мысли скатывает ледяную лавину и уничтожает и человека, и мысль человека! Лишь в душе души высоки вершины! Лишь в душе души бездны глубоки! В их глубину не дерзает мертвая природа; в их глубине независимый, крепкий мир человека; смотри, *здесь* жизнь поэта — святыня! *здесь* поэзия — истина! здесь договаривается все недосказанное

поэтом; здесь его земные страдания превращаются в неизмеримый ряд наслаждений...

О, люби меня! Я никогда не увяну: вечно свежая, девственная грудь моя будет биться на твоей груди! Вечное наслаждение будет для тебя ново и полно — и в моих объятиях невозможное желание будет вечно возможной сущестственностию!

Этот младенец — это дитя наше! он не ждет попечений отца, он не будит ложных сомнений, он заранее исполнил твои надежды; он юн и возмужал, он улыбается и не рыдает — для него нет возможных страданий, если только ты не вспомнишь о своей грубой, презренной юдоли... Нет, ты не убьешь нас одним желанием!

Но дальше, дальше — есть еще другой, высший мир, там самая мысль сливается с желанием. — За мной! за мной!..

Дальше почти невозможно было ничего разобрать; то были несвязные, разнородные слова: «любовь... растение... электричество... человек... дух...» Наконец, последние строки были написаны какими-то странными неизвестными мне буквами и прерывались на каждой странице...

Запрятав подальше все эти бредни, мы приступили к делу и начали с того, что посадили нашего мечтателя в бульонную ванну: больной затрясся всем телом. «Добрый знак!» — воскликнул доктор. В глазах больного выразилось какое-то престранное чувство — как будто раскаяние, просьба, мученье разлуки; слезы его катились градом... Я обращал на это выражение лица внимание доктора... Доктор отвечал: *facies hippocratica!*<sup>1</sup>

Через час еще бульонная ванна — и ложка микстуры; за нею порядочно мы побились: больной долго терзался и упорствовал, но наконец проглотил. «Победа наша!» — вскричал доктор.

Доктор уверял, что надобно всеми силами стараться вывести нашего больного из его оцепенения и раздражить его *чувственность*. Так мы и сделали: сперва ванна, потом ложка аппетитной микстуры, потом ложка бульона, и благодаря нашим благоразумным попечениям боль-

<sup>1</sup> Предсмертная маска (лат.).

ной стал видимо оправляться; наконец показался и аппетит — он уже начал кушать, без нашего пособия...

Я старался ни о чем прежнем не напоминать моему приятелю, а обращать его внимание на вещи основательные и полезные, как-то: о состоянии его имения, о выгодах завести в нем поташный завод, а крестьян с оброка перевести на барщину... Но мой приятель слушал меня как во сне, ни в чем мне не противоречил, во всем мне беспрекословно повиновался, пил, ел, когда ему подавали, хотя ни в чем не принимал никакого участия.

Чего не могли сделать все микстуры доктора, то произвели мои беседы о нашей разгульной молодости и в особенности несколько бутылок отличного лафита, который я догадался привезти с собою. Это средство, вместе с чудесным окровавленным ростбифом, совершенно поставило на ноги моего приятеля, так что я даже осмелился завести речь о его невесте. Он выслушал меня со вниманием и во всем со мною согласился; я, как человек аккуратный, не замедлил воспользоваться его хорошим расположением, поскакал к будущему тестю, все обделал, спорное дело порешил, рядную написал, одел моего чудака в его старый мундир, обвенчал — и, пожелав ему счастья, отправился обратно к себе домой, где меня ожидало дело в гражданской палате, и, признаюсь, поехал весьма довольный собою и своим успехом. В Москве все родные, разумеется, осыпали меня своими ласками и благодарностию.

Устроив мои дела, я чрез несколько месяцев рассудил, однако же, за благо навестить молодых, тем более что я от молодого не получал никакого известия.

Застал я его поутру: он сидел в халате, с трубкой в зубах; жена разливала чай; в окошко светило солнышко и выглядывала преогромная спелая груша; он мне будто обрадовался, но вообще был неговорлив...

Я выбрал минуту, когда жена вышла из комнаты, и сказал, покачав головою:

— Ну, что, несчастлив ты, брат?

Что же вы думаете? он разговорился? Да! Только что он напутал!

— Счастлив! — повторил он с усмешкою, — знаешь ли ты, что ты сказал этим словом? Ты внутренне похвалил себя и подумал: «Какой я благоразумный человек! я вылечил этого сумасшедшего, женил его, и он теперь, по моей милости, счастлив... счастлив!» Тебе пришли на

мысль все похвалы моих тетушек, дядюшек, всех этих так называемых благоразумных людей — и твое самолюбие гордится и чванится... не так ли?

— Если бы и так...— сказал я.

— Так довольствуйся же этими похвалами и благодарностью, а моей не жди. Да! Катя меня любит, имение наше устроено, доходы собираются исправно, — словом, ты дал мне счастье, но не мое: ты ошибся номером. Вы, господа благоразумные люди, похожи на столяра, которому велели сделать ящик на дороге физические инструменты: он нехорошо смерил, инструменты в него не входят, как быть? а ящик готов и выполирован прекрасно. Ремесленник обточил инструменты, — где выгнул, где спрямил, — они вошли в ящик и улеглись спокойно, любо посмотреть на него, да только одна беда: инструменты испорчены. — Господа! не инструменты для ящика, а ящик для инструментов! Делайте ящик по инструментам, а не инструменты по ящику.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ты очень рад, что ты, как говоришь, меня вылечил, то есть загрубил мои чувства, покрыл их какою-то непроницаемою крышкой, сделал их неприступными для всякого другого мира, кроме твоего ящика... Прекрасно! инструмент улегся, но он испорчен; он был приготовлен для другого назначения... Теперь, когда среди ежедневной жизни я чувствую, что мои брюшные полости раздвигаются час от часу более и голова погружается в животный сон, я с отчаянием вспоминаю то время, когда, по твоему мнению, я находился в сумасшествии, когда прелестное существо слетало ко мне из невидимого мира, когда оно открывало мне тайнства, которых теперь я и выразить не умею, но которые были мне понятны... где это счастье? — возврати мне его!

— Ты, братец, поэт, и больше ничего, — сказал я с досадою, — пиши стихи...

— Пиши стихи! — возразил больной, — пиши стихи! Ваши стихи тоже ящик; вы разобрали поэзию по частям: вот тебе проза, вот тебе стихи, вот тебе музыка, вот живопись — куда угодно? А может быть, я художник такого искусства, которое еще не существует, которое не есть ни поэзия, ни музыка, ни живопись, — искусство, которое я должен был открыть и которое, может быть, теперь замрет на тысячу веков: найди мне его! может быть, оно утешит меня в потере моего прежнего мира!

Он наклонил голову, глаза его приняли странное выражение, он говорил про себя: «Прошло — не возвратится — умерла — не перенесла — падай! падай!» — и прочее тому подобное.

Впрочем, это был его последний припадок. Впоследствии, как мне известно, мой приятель сделался совершенно порядочным человеком: завел псарную охоту, поташный завод, плодопеременное хозяйство, мастерски выиграл несколько тяжб по землям (у него чересполосица); здоровье у него прекрасное, румянец во всю щеку и препорядочное брюшко (NB. Он до сих пор употребляет бульонные ванны — они ему очень помогают). Одно только худо: говорят, что он немножко крепко пьет с своими соседями — а иногда даже и без соседей; также говорят, что от него ни одной горничной прохода нет, — но за кем нет грешков в этом свете? По крайней мере он теперь человек, как другие.

Так рассказывал один из моих знакомых, доставивший мне письма Платона Михайловича, — очень благоразумный человек. Признаюсь, я ничего не понял в этой истории: не будут ли счастливее читатели?



## Живой мертвец

(Посв. графине Е. П. Растопчиной)

— Скажите, сделайте милость, как перевести по-русски слово солидарность (solidaritas)?

— Очень легко — *круговая порука*, — отвечал ходячий словарь.

— Близко, а не то! Мне бы хотелось выразить буквами тот психологический закон, по которому ни одно слово, произнесенное человеком, ни один поступок не забываются, не пропадают в мире, но производят непременно какое-либо действие; так что ответственность соединена с каждым словом, с каждым, по-видимому, незначашим поступком, с каждым движением души человека.

«Об этом надобно написать целую книгу».

*Из романа, утонувшего в Лете*

Что это? — никак, я умер?.. право! насилу отлегло... нечего сказать — плохая шутка... Ноги, руки холодеют, за горло хватает, душит, в голове трескотня, сердце замирает, словно душа с телом расстается... Да что же? ведь, никак, оно так и есть? Странно, очень странно — душа расстается с телом! — да где же у меня душа?.. да где же и тело?.. здесь! да где ж у меня руки, ноги?.. Батюшки-светы! вот оно — лежит себе как ни в чем не бывало на постели, только немножко рот покривился. Тьфу, пропасть! Да ведь это я лежу — нет! и не я! — нет! точно, я; словно на себя в зеркало смотрю; я — совсем другое: я — вот руки, ноги, голова — все там, здесь ничего, ровно ничего, а все слышу и вижу... Вот моя спальня; солнце светит в окошко; вот мой стол; на столе часы, и вижу на них девять часов с половиною; вот племянница в обмороке, сыновья в слезах — все по порядку; да полно... что вы плачете? — что? — Не слышат! Да и я своего голоса не слышу, а, кажется, говорю очень вразумительно. Дайка еще погромче — ничего! только как будто легкий ветерок подувает, — чудеса! право, чудеса! Да уж не сон ли это? Помню: вчера я был очень здоров и весел и в вист играл, и очень счастливо; вот вижу, куда и деньги положил, — и поужинал с аппетитом, и поболтал с прия-

телями о том о сем, и почитал на сон грядущий, и заснул крепко,— как вдруг ни с того ни с сего тяжело, тяжело... хочу вскрикнуть — не могу; хочу пошевелиться — не могу... Потом ничего не помню — да вдруг и проснулся... то есть какое проснулся? то есть очутился здесь... Где здесь?.. И слов не приберешь! Ну, право, это сон. Не верите? — Пстой, сделаю опыт: ущипну себя за палец, да нет пальца, право нет... Пстой, что бы выдумать? дай посмотрюсь в зеркало — уж оно никак не обманет; вот мое зеркало — тьфу, пропасть! и в нем ничего нет, а все другое в нем вижу: всю комнату, детей, постелю, на постели лежит... кто? я? — ничего не бывало! я перед зеркалом, — а нет меня в зеркале... Поди, пожалуй, какие чудеса! Вот призвал бы сюда господ философов, ученых: извольте-ка, господа, растолковать: и здесь я, и не здесь, и живу я, и не живу, и двигаюсь; и не движусь... Это что? бьют часы; раз, два, три... десять; однако ж пора в канцелярию — там есть у меня интересное дельце. Надобно насолить этому негодяю Перепалкину, который все на меня наушничает... «Эй! Филька! одеваться!..» Что я? как одеваться? Невозможно! Бывало время, что мне надеть было нечего, а теперь еще хуже — не на что... Однако ж не худо заглянуть в канцелярию... да как же туда отправиться? карету приказать — невозможно; нечего делать — пойти пешком, хоть и неприлично. Двигаться-то мне с одного места на другое очень легко... дай попробую; благо двери отворены... Вот мой кабинет, гостиная, столовая, передняя; вот я и на улице... да как легко, земли под собой не слышу, так и несусь — хочу скоро, хочу тихо... Да это, право, недурно — и шагать не надобно... А, вот и знакомые! «Здравствуйте, ваше превосходительство! раненько изволите идти?..» Прошел мимо и внимания не обратил... Вот и другой: «Здравствуйте, Иван Петрович!» Тоже ни гу-гу — странно! Батюшки! коляска — во весь опор! тише, тише! наедешь дышлом! не видишь, что ли?.. Ахти! сквозь меня коляска проскакала, а я и не почувал, кажется, так надвое и раскроила, а ничего не бывало — чудеса, да и только. Однако ж, если на то пошло, ведь, право, мое состояние не плохо: легко, хорошо, никакой заботы; не нужно ни бриться, ни умываться, ни платья натягивать, гуляй куда хочешь; — вольный казак; можно без прогонов всю землю изъездить, никакая тебе опасность не грозит — уж чего тут? коляска сквозь меня проехала, и вот хоть бы что! Так вот она

смерть-то; вот она что такое... А награды, наказание? Впрочем, правду сказать, награды я не ждал,— не за что; да и наказывать меня не за что; были кое-какие грешки... ну, да у кого их нет? Я истинно скажу: ни добра, да и ни зла без нужды я никому не делал — право... вы знаете: я человек откровенный; ну, разумеется, когда ждешь беды, то иногда, так сказать, и подставишь ногу ближнему... да что ж тут делать? человек на тебя лезет с ножом, неужели же ему шею подставить? Жил я умненько, учился на железные гроши, в наследство получил медные, а детям оставил коку-с-соком, даже ни в какое заведение не отдавал их, чтоб лучше за их нравственностью наблюсти, сам воспитал их, научил важнейшему — *как жить в свете*, и если моих уроков послушают, далеко пойдут; правду скажу: душой, так сказать, почти не кривил, разумеется, иногда, смотря по обстоятельствам, понатягивал... да! как подумаешь, понатягивал — но только когда можно было натянуть... кто ж себе враг? Да как бы то ни было — от всех почтен, от всех уважен, из ничего вышел в люди, и все сам собою... дай бог всякому так сводить свои дела... А! да вот и канцелярия! Посмотрим, что-то здесь делается. Так, сторож дремлет по-всегдашнему — уж вот что с ним ни делай. «Сидоренко! Сидоренко!» — не слышит! и двери затворены... Как тут быть? хоть век оставайся в передней,— добро бы у нужного человека... А! вот кто-то идет... мой чиновник,— ну, двери настезь... «Батюшка! помилуйте, прихлопнули», — да нет, я сквозь доску прошел... А что, подумаешь, ведь это не так дурно... как я этого прежде не догадался? Так, стало, для меня нет ни дверей, ни запоров; стало быть, нет от меня и секрета?.. ну, право же, это недурно,— весьма может пригодиться при случае... Ах, лентяи! чем бы делом заниматься, а они кто на столе, кто на окончине развалились и точат лясы. Хоть бы привстали, невежи,— хоть бы поклонились — вот приучи их к порядку... А! вот и старший; посмотрим, не пугнет ли их немного...

Старший. Господа! нельзя ли по местам? Ведь болтать можно и сидя за бумагой; не все равно? кто вам мешает? оно, разумеется — почему не так? — вот мы, бывало, в старину, в канцелярии и в картишки игравали, да с оглядкой — и ничего, право! Столы у нас тогда были маленькие: вот мы бумаги разложим, и давай в бостончик; идет начальник — мы карты под бумаги; начальник войдет — все благоприлично; а то что вы, нынешние?

развалились по столам, по окошкам; ну, войдет Василий Кузьмич — когда тут вскочить? Беготня, беспорядок — беда, да и только, особенно теперь: ждет награды, знаете какой бывает сердитый в это время...

Один из чиновников. Еще рано Василью Кузьмичу. Он вчера до трех часов в карты играл...

(Все знают, проклятые!..)

Второй. Неправда — он у Каролины Карловны...

(И это знают, злодеи!..)

Третий. Ничуть — у Натальи Казимировны...

(И это также... кто б это подумал?..)

Четвертый. Да неужли у него две интриги разом? этаким старик...

Третий. Старик? смотри, коли он нас всех не переживет! Поесть ли, попить ли — его дело, и в ус не дует! Даром что святошу корчит... всех нас за пояс заткнет...

Тьфу, негодяи какие! Не знал же я вас прежде!.. И слушать больше не хочу... Сорванцы, болтуны!.. Вот, стойте!.. Опять забылся; уж не унять мне их!.. А досадно: уж как бы раскассировал... Что тут делать? Эх, волки их ешь!.. Надобно чем-нибудь развлечься. Дай пойду послушать, что скажет князь, как услышит о моей кончине, как пожалеет... Ну, скорее. В приемной один Кирила Петрович — и в слезах, — верно, обо мне: то-то, друг один никогда не изменял! Хорошо, что не знал ты одного дельца... сказал я про тебя одно словцо, которое ввек тебя бороздить будет, — да нечего было делать: зачем тебя назначили именно на то место, которого мне хотелось... кто себе враг? Но, кроме этого, я тебе всегда во всем был помощник, и ты можешь обо мне поплакать. А! вот к князю и двери отворяются... Войдем...

Кирила Петрович. Я к вашему сиятельству с неожиданным, горестным известием: Василий Кузьмич приказал долго жить...

Князь. Что вы говорите? да еще вчера...

Кирила Петрович (*всхлипывая*). Сегодня ночью удар; прислали за мною в восемь часов — уж едва дышал; все медицинские пособия... в девять часов богу душу отдал... Большая потеря, ваше сиятельство.

Князь. Да, признаюсь — таких людей мало: истинно мочтенный был человек.

Кирила Петрович. Деятельный чиновник...

Князь. Правдивый был человек.

Кири́ла Петро́вич. Прямая, откровенная душа! Уж, бывало, что скажет, верь как святому...

Князь. И вообразите — как будто нарочно, только сегодня сошло об нем представление...

Кири́ла Петро́вич (*плачет*). Ах, бедный! А он так ждал его...

Князь. Что делать! видно, судьба его умереть без повышения... Жаль!..

Кири́ла Петро́вич (*рыдая*). Да! уж теперь ему ничего не нужно...

Васи́лий Кузьми́ч. Как не нужно?.. Помилуйте, ваше сиятельство! за что же такая обида? Да! я и забл... уж не нужно и повышения... Ах, обидно! Ну уж, видно, я и впрямь умер... Да отчего бы так, впрочем? что нужды, что я умер! ведь я в отставку не подавал: пусть бы чины себе шли да шли... кому ж от того помеха? а и мертвому приятно... Ах, не догадался я прежде! Что бы составить об этом проекте... Досадно, больно...

Кири́ла Петро́вич. Да, теперь ему более ничего не нужно! Но у него осталось семейство... если б ваше сиятельство...

Князь. Как же! с большою охотою. Заготовьте мне записку... Но только я вам должен сказать, — ваше искреннее участие в Василье Кузьмиче делает вам много чести.

Кири́ла Петро́вич. Как же иначе, ваше сиятельство. Он был мне истинный, неизменный друг...

Князь (*улыбаясь*). Ну, не совсем...

Кири́ла Петро́вич (*отирая слезы*). Как не совсем? Что вы хотите сказать этим, ваше сиятельство?..

Князь. Да, теперь дело прошлое, а я скажу вам: если вы не получили того места — знаете?.. то не кто другой тому причиною, как Василий Кузьмич... Мне больно это вам открыть, а это так...

Васи́лий Кузьми́ч. Ай! ай!

Кири́ла Петро́вич. Вы меня сразили, ваше сиятельство!.. Да что ж он мог про меня сказать?..

Князь. Да ничего в особенности, а так вообще заметил, что вы человек неблагонадежный...

Кири́ла Петро́вич. Да помилуйте, ваше сиятельство, это одно слово ничего не значит — надобны доказательства...

Князь. Я это знаю; я вступался за вас; но Василий Кузьмич только и твердил: «Поверьте мне, я его давно

знаю, неблагонадежен, неблагонадежен вовсе...» Это дело, как вы знаете, от меня не зависело. Василий Кузьмич был с весом — и к нему все пристали.

Кирила Петрович. Ах, лицемер, лицемер! Уж если на то пошло, я доложу вашему сиятельству: меня он уверял, что против меня были вы, что он, как с вами ни спорил, как ни заступался за меня...

Князь. Он вам просто солгал...

Кирила Петрович. Поверите ли, ваше сиятельство, не было на свете коварнее этого человека; с виду мужчином смотрел, и то и дело на языке: «Я человек простой, я человек простой», — и прямо всякому в глаза смотрел, — а тут-то и норовит обмануть; всех проводил, ваше сиятельство, всех обманывал... Вот только была бы ему какая ни на есть пользишка... отца бы продал, сына б заложил, мать бы родную оклеветал... право!

Князь. По крайней мере нельзя отнять у него, что он был человек деятельный.

Кирила Петрович. Какой деятельный, ваше сиятельство! Лентяй сущий: только что мастер был бумаги спускать. Вникните-ка в его дела — ничем не занимался. Да и когда ему было? С утра до вечера или интригует, или в вист. Ничего у него не было святого: как дело поважнее, потруднее, так и свалит его на другого; уж на это такой был тонкий!.. Такой всегда предлог отыщет, что и в голову не придет... А там, смотришь, как другие дело все сделали, он его так обернет, как будто сам его сделал... такой хитрец!..

Князь. Но все-таки он был человек не корыстолюбивый...

Кирила Петрович (*горячась*). Он? такого корыстолюбца свет не привидывал. На маленькие дела он не пускался, потому что осторожен был, как заяц; но изволите помнить его поручение в чужих краях: откуда все его богатство?..

Князь. Как? неужли? Полно, правда ли?

Кирила Петрович (*продолжая горячиться*). Да помилуйте, ведь я сам при нем был, я все знаю — всех обманул, продал... а доказательств нет — все прикрыл...

Василий Кузьмич. Ай, ай, ай!

Князь. Я вам очень благодарен, что вы мне это открыли. Мне остается пожалеть, что вам не вздумалось этого сделать немножко раньше...

Кирила Петрович. Ах, ваше сиятельство! Что было делать! Старинная связь, дружба,— человек сильный.

Князь. И которого покровительство вам было нужно, не так ли?.. Прощайте, сударь... (*Уходит.*)

Василий Кузьмич. Что, брат, взял? Вот что значит наушничать...

Кирила Петрович (*опомнясь*). Ай! оплошал, погорячился слишком... Проклятый лицемер, душегубец! И по смерти-то пакостит мне...

Василий Кузьмич. Однако ж очень недурно, что я умер; не то плохая бы мне была шутка. Ну, что его слушать! Полечу-ка к другим друзьям: может быть, кто-нибудь и добром вспомянет. А, право, весело этак из места в место летать.

*(Друзья Василья Кузьмича за обедом.)*

Первый друг. Так вот как, батюшка! чрез два дня мы на похоронах у Василья Кузьмича? Кто бы подумал? Еще сегодня должен был у меня обедать; я ему и страсбургский пирог приготовил: он так любил их, покойник.

Второй друг. А пирог славный — нечего сказать...

Василий Кузьмич. Да! вижу, что славный! Странное дело: голода нет, а поесть бы не отказался... Что за трюфели! как жаль, что нечем...

Третий друг. Чудный пирог! позвольте-ка еще порцию за Василья Кузьмича...

*(Все смеются.)*

Василий Кузьмич. Ах, злодеи!

Первый друг. Ну, уж Василий Кузьмич не такую бы порцию взял: любил поесть, покойник, не тем будь помянут...

Второй друг. Ужасный был обжора! Я думаю, оттого у него и удар случился...

Третий друг. Да, и доктора то же говорят... Он вчерась, говорят, так ел за ужином, смотреть было страшно... А что, не слышно, кто на его место?..

Первый друг. Нет еще. А жаль покойника, так, по человечеству...

Третий друг. Мастер был в вист играть...

Все. О! большой мастер!..

Первый друг. У него, знаете, этакое соображение было...

Второй друг. А что нынче в театре?..

*(Толки о городских новостях, о погоде... Василий Кузьмич прислушивается: об нем ни слова; он заглядывает в каждое блюдо.)*

*(Обед кончился; все садятся за карты; Василий Кузьмич смотрит на игру.)*

Василий Кузьмич. Что за игра валит — вот так-то — шлем! Козыряйте, козыряйте, Марка Иванович — нет! пошел в масть! Да помилуйте, как можно?.. с такой игрой — да ведь вы им офранкировали даму... Ах!.. как бы я разыграл эту игру — как жаль, что нечем! — опять не то. Марка Иваныч! да вы, сударь, карт не помните... позвольте мне сказать вам, я человек простой и откровенный, у меня что на сердце, то и на языке... да что я им толкую — не слышат!.. Ах, досадно! Вот и робер сыграли... вот и другой... Ахти! так руки и чешутся... досадно! — Вот чай подают — не хочется пить — а выпил бы чашечку — это тот самый чай, что Марку Иванычу прямо из Кяхты прислали — уж какой душистый — чудо! вот хоть бы капельку... Ох! досадно.

Вот и игра кончилась; за шляпы берутся, прощаются: «Прощайте, прощайте, Марка Иваныч?» И ухом не ведет... Ну, куда же мне теперь деваться? сна ни в одном глазе. Разве пойти по городу прогуляться; вот уж и экипажи стали редеть, — все попритихло; огни гасят в домах: всякий в постелю — все забыл, спит себе во всю ивановскую; а я-то, бедный, — мне некуда и головы приклонить. А! да что я? дай-ка проведаю Каролину Ивановну... Что, я чай, плачет обо мне, горемышная? Э-ге! да и огонь у ней не погашен, — видно, и сон на ум нейдет; тоскует по мне, бедненькая! Посмотрим. Сидит в кабинете... Ахти! да не одна! это тот смазливенький, что я встретил однажды у ней на лестнице, да приревновал, — а она еще уверяла, что знать его не знает, что, верно, он ходил к другим жильцам! Ах, злодейка! Послушаем, что она с ним толкует. Какие-то бумаги у ней в руках; а! мои заемные письма. Что она с ними хочет делать?

Каролина Ивановна. Так слушай, Ванюша: ты смотри не прозевай. Я не знаю, как это у вас делается; предъявить, что ли, надобно эти заемные письма; как,



куда, когда — разузнай все это, моя душа. Мне куда потерять их не хочется; если б ты знал, чего они мне стоили! Уж такого скряги, как этот Аристидов, и свет не привидывал; ревновать — ревновал, а уж мне сделать удовольствие — того и не жди; насилу из него вымучила: да этого мало — нет-нет да и спросит: «Покажи-ка мне, Каролинушка, заемные письма, — я позабыл, от какого они числа», — чуть было из рук не вырвал однажды: а не то, придет у меня же денег взаймы просить — у меня! Так, говорит, на перехватку. Такой бесчестный! Хорошо, что протянулся; теперь мы с тобой славно заживем, душа моя Ванюша...

В а с и л и й К у з ь м и ч. Ах, злодейка! обнимает ёго! цалует! — Тьфу, смотреть досадно! так сердце и разрывается — а делать нечего! Плюнуть на нее, негодную; изменщицу, — да и что она мне далась?.. А уж куда хороша, проклятая... У! у! бесстыдная... плюю на тебя. Вот уж Наталья Казимировна не тебе чета... Посмотреть, однако ж, что-то делает и эта? Уж также не нашла ли себе утешителя. Вот ее квартирка! и огня нет. Посмотрим, уж не больна ли она? — Нет! спит себе да всхрапывает как ни в чем не бывало. Уж не с горя ли? Какое с горя! у постели брошено маскарадное платье: в маскараде была! вот ее поминки по мне... И как спокойно почиывает! раскинулась так небрежно... как хороша! что за прелесть... ах! как жаль!.. Ну, да нечего жалеть! ничем не поможешь... Куда бы деваться? — разве домой... а что ж, в самом деле?.. Какая тишина на улицах — хоть бы что шелохнулось... А это что за господа присели тут за углом... что-то посматривают, как будто чего-то поджидают; уж верно — недоброе на уме... Посмотрим. Ге! ге! да это плут Филька, мой камердинер, что сбежал от меня... Ах, бездельник... что-то он поговаривает...

Г о в а р и щ Ф и л ь к и. Ну, да где ж ты научился по музыке ходить<sup>1</sup>, что, ты из жульков<sup>2</sup>, что ли?

Ф и л ь к а. Нет! куда! Совсем бы мне не тем быть, чем я теперь. Отец у меня был человек строгий и чест-

---

<sup>1</sup> То есть воровать. Слово из *афеньского* языка, о котором лет пять тому были напечатаны в «Отечественных записках» любопытные исследования. Многие из поговорок этого языка вошли в обыкновенный язык, но не всем еще понятны, и потому мы считаем не излишним присоединить и перевод к афеньским словам. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

<sup>2</sup> Маленький мошенник. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

ный, поблажки не давал и доброму учил; никогда бы мне *музыка* на ум не пришла... Да попался я в услужение к Василию Кузьмичу, вот для которого скоро большая *уборка*<sup>1</sup> будет...

Товарищ Фильки. Да что, неужли он *мазурил*?..<sup>2</sup>

Филька. *Клевый маз*<sup>3</sup> был покойник... только, знаешь, большой руки. Знаешь, к нему хаживали просители с *стуканцами*...<sup>4</sup>

Товарищ Фильки. Постой-ка — никак, *стрёма*<sup>5</sup>.

Филька. Нет! — *Хер*<sup>6</sup> какой-то... Да куда наша *фига*<sup>7</sup> запропастилась?..

Товарищ Фильки. Да нельзя же вдруг...

Филька. О! проклятое дело! продрог как собака...

Товарищ Фильки. Ничего — как рассветет, в *шатун*<sup>8</sup> зайдем... ну, так ходили просители...

Филька. Ну да! ходили... а Василий-то Кузьмич думал, что я простофиля... Вот, говорит, приятель пришел; что он тебе отдаст, то ко мне принеси, а тебе за то синенькая; вот я делом-то смекнул; вижу, что Василию-то Кузьмичу не хочется, зазора ради, из рук прямо деньги брать, а чтоб того, знаешь, какова пора ни мера, на меня все свалить. Я себе на уме — за что ж мне даром служить? вот я и с Василия Кузьмича магарычи, да и с просителя подачку...

Товарищ Фильки. Так тебе, брат, *лафа*<sup>9</sup> была...

Филька. Оно так! да вот что беда: как пошли у меня стуканцы через руки ходить, — так сердце и разгорелось, — больше захотелось... а между тем Василий Кузьмич меня то туда, то сюда; поди-ка, Филька, вот то проведай, а того-то проведи, — а вот этому побожись, будто меня продаешь, — и разным этаким залихватским штукам учил, — так что сначала совестно становилось, особенно, бывало, как отцовские слова вспомнишь, а потом и то приходило в ум: что же тут дурного для своей прибыли работать? Василий Кузьмич — не мне чета,

<sup>1</sup> Похороны. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

<sup>2</sup> Ворвал. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

<sup>3</sup> Большой вор. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

<sup>4</sup> С деньгами. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

<sup>5</sup> Караульный дворник. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

<sup>6</sup> Пьяный. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

<sup>7</sup> Лазутчик. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

<sup>8</sup> В питейный дом. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

<sup>9</sup> Славное житье. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

уж знает, что делать, а от всех почтен, уважен... что ж тут в зубы-то смотреть? уж коли музыка — так музыка. Да этак подумавши, — я однажды и хватил за *толстую кису*<sup>1</sup>, да так, что надобно было лыжи наострить, — а с тех пор и пошло, чем дальше, тем пуше; да теперь вместо честного житья — того и смотри, что буду на Смольное глазеть...<sup>2</sup>

Товарищ Фильки. Смотри, смотри, *фига* знак подает...

Филька. А! насилу-то! (*Встает.*)

Товарищ Фильки. А *фомка*<sup>3</sup> с тобою?

Филька. И нож также...

Василий Кузьмич. Ах ты бездельник! вишь, я его еще научал! я ведь совсем не тому... Пойдет теперь — обворует, может быть смертоубийство совершит... Как бы помешать... Помешать! — а как помешать? Кто меня услышит? Ох! жутко! — куда бы деваться — хоть бы не видать и не слышать... скорей домой... так авось не услышу... вот я и дома. Еще мое тело не убрали — да! еще рано. А! вот и племянница не спит, плачет, бедненькая!.. Добрая девка, нечего сказать; точно покойный ее отец! Никогда злое и на ум не взойдет; хоть десять раз его обмани, — ничего не видит! То-то добрая душа... да так он с одной доброй душой и на тот свет отправился: где-то он теперь; хоть бы встретить! потолковали бы кое о чем. Ну, не плачь, Лиза, мой друг! горем не поможешь; пройдет — утешься. Вот смотри, выйдешь замуж, все горе забудешь... Ну, а что сыновья-то делают? Не спят также — однако ж не плачут... Разговор, кажется, живой... послушаем.

Петр. Уж ты что ни толкуй, Гриша, если мы этого дела не смастерим да случай упустим, так куда у нас доброго забудет...

Гриша. Оно так! да совестно что-то; ведь мы знаем, что она действительно дочь покойного дядюшки...

Петр. Мы знаем, да суд не знает, а судит по тому, что есть на бумаге...

Гриша. Да знаешь, что и Лизы-то жаль. Что за добрая! словно овечка... Ведь мы с ней маленькие игравали... знаешь, брат: ведь чувство такое есть...

Петр. Ну, зафилософствовался! Мало тебя за это

<sup>1</sup> Большую сумму. (*Прим. В. Ф. Одоевского.*)

<sup>2</sup> Уголовное наказание. (*Прим. В. Ф. Одоевского.*)

<sup>3</sup> Лом. (*Прим. В. Ф. Одоевского.*)

отец покойный бранил! уж он ли не говорил тебе, что с твоим философствованием век дрянью будешь: так и выходит...

Гриша. Я помню, что отец говорил... да, однако ж, как подумаешь,— что с Лизой-то будет? куда она голову приклонит?

Петр. Да! так что же?.. Слушай, брат Гриша, скажу тебе напрямки: отец-то у нас уж куда умный человек был, и доказал, что умный: от гроша до миллиона дошел, а помнишь его любимую поговорку: «Свою крышу крой, сквозь чужую не замочит». Вот оно что. А ведь тут по двести тысяч на брата, Гриша; ведь на улице не поднимешь...

Гриша. Оно так... Ну, да как Василий Кузьмич какое распоряжение сделал?

Петр. Да! он таки сделал распоряжение — и я знаю какое. Ты еще был мал, не помнишь, а я помню. Как дядя умирал, так и просил: «Я, говорит, не успел — болезнь захватила,— а дело важное — у Лизы бумаги не в порядке. Сохрани бог, ты умрешь,— другие наследники привяжутся, отобьют у ней наследство. Сделай милость, выхлопчи все доказательства ее происхождения, а не то — беда. Я на всякий случай все ломбардные билеты на имя неизвестного перевел, чтоб какова пора ни мера, все-таки Лиза не без куска хлеба будет. Пусть они теперь остаются у тебя,— а как подрастет, отдай ей,— да между тем выхлопчи ее бумаги-то... не забудь,— да и ты, Петруша,— отцу припомни...» Прошел год по кончине дяди,— я еще тогда был молод, неразумен, ничего не понимал, какие вещи есть на сем свете,— вспомнил я дядин приказ и заикнулся об нем отцу. А Василий Кузьмич посмотрел на меня, поморщился, да и молвил: «Что ты, отца-то учить, что ли, хочешь?» — «Да я, батюшка, подумал, что между делами...» — «Что я забуду, что ли? — спросил отец.— Нет, Петруша, какие бы у меня дела ни были — я главного дела никогда не забываю — помни это». В те поры я не совсем эти слова понял, но потом — как начал входить в разум, смекнул в чем дело; да однажды — уж неспроста — заговорил с отцом об Лизиных бумагах. Старик посмотрел на меня еще пристальнее прежнего и, кажется, отгадал, что у меня было на уме. «Много будешь знать, скоро состареешься», — сказал он, знаешь, с своею миловидною улыбкою, да потом ударил меня по плечу и промолвил:

«Слушай, Петруша, ты, я вижу, малой-то не дурак будешь... знаешь ли ты, что такое деньги? не знаешь? — я тебе скажу: деньги — то, чем мы дышим; все на свете пустяки, все вздор, все дребедень... одна вещь на свете: *деньги!* помни это, Петруша, — с этим далеко пойдешь...»

Василий Кузьмич. Когда, бишь, это я ему говорил?.. А точно! говорил... экой плут какой! — вспомнил — да к чему же он клонит...

Гриша. Ну, так что ж ты думаешь?..

Петр. Да думаю то, что дело и по сю пору на том стоит: то есть что билетов на четыреста тысяч на имя неизвестного лежит у отца в комод, — а Лиза покамест ничего, не отца своего дочь...

Гриша. Да как же это?..

Петр. Да так же! Стоит нам помолчать, и четыреста тысяч наши...

Гриша. Ах, брат, да совестно...

Петр. Ну, занес философию! совестно что? помолчать? добро бы говорить... Ведь слышишь, четыреста тысяч, — четыреста... знаешь счет или нет?..

Гриша. Ну, а как отец-то какую записку оставил?..

Петр. А что, и в самом деле? Вот уже правду покойник говаривал: «Что бы ни случилось, головы не теряй, главного не забывай». Пойдем-ка посмотрим у него в бумагах... благо, я ключи-то захватил...

Гриша. Ах, брат, страшно. Ведь это... знаешь... подлог...

Петр. Эк книги-то тебя с толку сбили! Уж дрянью был, дрянью и будешь... Да, нечего времени терять: скоро утро; я и один пойду, если ты трусишь... а ты сиди, хоть стихи сочиняй на досуге...

Василий Кузьмич. Ну, вижу — этому малому плохо не клади, — экой разбитной какой!.. А жаль Лизы-то; впрочем, ведь не моя она дочь... Ну пришел; эк начал шарить; видно, чутье у него: так прямо на Лизины билеты и напал. Задумался... шарит в бумагах... еще задумался... Ну, что же!.. как? в карман? Э-ге! вот уж это дурно, Петруша... Что ты? что ты?.. Потасил! Ай-ай! что-то будет...

Петр (*возвращаясь в братнину комнату, встревоженный*). Записки нет никакой... я все перешарил...

Гриша. Ну, что ж! хорошо...

Петр. Да, очень хорошо! Ты здесь что делал?..

Гриша. А мне пришли в голову два славные стиха для элегии:

О золото! Металл презренный!  
Нас до чего доводишь ты? —

только рифм не могу отыскать...

Петр. Слушай, Гриша, я тебе принес рифму, и очень богатую... Только смотри, брат! я человек честный, как видишь, мог бы всем воспользоваться, да не хочу, ты все-таки мне брат, хоть и дрянь; вот тебе половина, припречь-ка скорее... да смотри не проболтайся.

Гриша. Что ты? что ты, брат? Да как же это ты взял без родственников, прежде осмотра?..

Петр. Что? дожидаться осмотра?.. ах ты, философ! Сам же меня надоумил...

Гриша. Я?..

Петр. Да кто же? Бедь ты сказал, что, может быть, Василий Кузьмич распоряжение какое сделал, может, записку какую оставил; я по твоим словам и пошел, записки не нашел, а тут и подумал: а что, как где найдется? ведь на грех мастера нет! а как деньги припрятаны, так и концы в воду; там пускай после и осматривают, и опечатывают: «Знать не знаем и ведать не ведаем; какие были билеты, те и остались!»; а остались-то билеты все на имя батюшки, то есть которые достанутся нам по наследству... Что? не дурно?..

Гриша. Так... да все-таки... я не знаю что-то...

Петр. Берешь деньги или нет? коли не берешь, так, пожалуй, я и все себе возьму...

Гриша. Ну уж... давай, давай...

Василий Кузьмич. Нет! грустно что-то становится, а сам не знаю отчего... как-то странно! и благоразумно, да и нехорошо, однако благоразумно... Что-то в толк не могу взять... а душно мне здесь становится, пойти на воздух, да благо уж и утро... лавки отворяют... люди выходят... им весело... а мне скучно все что-то... дай заверну в кондитерскую. А! газеты разносят... хоть их почитать от скуки... А! моя некрология! Посмотрим. *(Читает.)*

«На сих днях скончался такой-то и такой-то Василий Кузьмич Аристидов, искренно оплакиваемый родными, друзьями, сослуживцами и подчиненными, всеми, кто знал и любил его. А кто не любил сего достопочтенного мужа? Кому не известны его зоркий ум, его неуто-

миная деятельность, его непоколебимое прямодушие? Кто не ценил его доброго и откровенного характера? Кто не уважал его семейные добродетели, нравственную чистоту? Посвящая всю жизнь трудам неусыпным, он, не желая отдать детей в общественное заведение, успевал лично заниматься их воспитанием и умел образовать в них подобных себе достойных сограждан. Прибавим к сему, что, несмотря на важные и многотрудные свои занятия, почтеннейший Василий Кузьмич уделял время и на литературу; он знал несколько европейских языков, был одарен изящным вкусом и тонкою разборчивостию. Здесь кстати заметим нашим врагам, завистникам, порицателям, нашим строгим ценителям и судьям, что почтеннейший Василий Кузьмич всегда отдавал нам справедливость: в продолжение многих лет был постоянным подписчиком и читателем нашей газеты...»

Ну уж тут немножко примахнули; никогда не подписывался — даром присылали... так... из угождения... Ну, что еще такое?

«Он знал и верил, что мы за правду готовы жизнью пожертвовать, что наше усердие, благонамеренность... чистейшая нравственность... участие публики...»

Ну, пошла писать! Это еще что за приписка?

«Долгом считаем уведомить читателей, что нашей газеты на нынешний год остается немного экземпляров, и потому... подписка принимается у известного своею честностию и аккуратностию книгопродавца...»

Ну, уж это их домашние дела; рады были к чему-нибудь прицепиться... однако ж спасибо и негодьям за доброе слово...

Что это за шум на улице!.. Ага! возвращаются с похорон. Уж не с моих ли? Дай-ка послушать, что-то обо мне говорят.

— Делец был хоть куда, да одно плохо...

Мимо.

— Претонкая был штука!..

— Уж ты что с ним ни делай, всегда вывернется!..

— Аккуратный человек...

— Без стыда и без совести...

— Гвоздин через него в люди пошел...

— По миру пустил и меня, и детей...

— И взятку взял, да в прах разорил,— верно, там больше дали...

— Никогда не брал...

— Брал, да искусно, через камердинера...

— Что вы?

— Уж кому это лучше меня знать?

— И с живого и с мертвого...

Тьфу, пропасть! и слушать неприятно!.. вот, живи после этого! оберегайся, рассчитывай каждый шаг, обдeldывай дела свои умненько, умер — все открылось! Нет! нечего сказать, грустно, да и досадно — рта никому зажать нельзя!.. Куда бы деваться?.. Куда? разве побродить по городу... благо день...

Вот уж и потемнело! Не знаю отчего, как-то мне ночью страшно становится... Кажется, чего мне теперь бояться... а вот под сердцем так что-то и колет... Куда бы деваться? а! театр освещен? Давно уж я там не был — да, благо, и за вход не надобно платить. Посмотрим-ка, что такое дают? «Волшебную Флейту» — никогда не видал. Ах, да, опера! вот музыки я никогда не любил — так, душа к ней не лежала... Ну, да нужды нет, только бы вечер убить...

Что это за аллегория такая? человек и сквозь огонь и сквозь воду проходит... то есть ему здесь разные испытания... посмотрим-ка поближе (*на сцене*), э! вода-то картонная, да и огонь-то тоже... да еще молодец-то пересмеивается с актрисой... оно и здесь, как везде: снаружи подумаешь невесть что, а внутри пустошь, крашенная бумага да веревки, которыми все двигается. (*Обращается к зрителям.*) А! недурен вид отсюда на публику! Послушайте, господа, что вы видите здесь — совершенный вздор; вот, здесь парни в высоких шапках — маги, что ли, что они за околесную несут и про добродетель и про награды, такие и между вами есть,— все неправда. Они толкуют так потому, что за то деньги получают; да кто и выдумал-то все это, тоже из денег хлопотал; в этом вся штука! Поверьте мне: я в самом деле и сквозь воду и сквозь огонь прошел — а все вышло ничего; жил, имел деньги — было хорошо, а вот теперь что я такое? так! ничто! Слышите, что ли? Никто не слышит, все смотрят на сцену... видно, что-нибудь хорошо, отойти подальше. (*В партер.*) Так! я этого ожидал! в награду за добродетель, за подвиги — исполнение всех желаний,



и свет, и покой, и любовь — да! дожидайся... Однако ж, как подумаешь, если б в самом деле добыть такое тепленькое местечко, где бы ничего не видеть, не слышать, забыть обо всем!.. Занавес опустилась — вот и все! все идут по домам, всякого ждет семья, друзья... а меня? меня никто не ждет! Эта глупая пьеса на меня тоску навела. Куда бы деваться? не оставаться же здесь в пустом, темном театре... Ах! если б уснуть? Бывало, что и неприятное случится, заляжешь в постелю, заведешь глаза, и все позабудешь, а теперь вот и сна нет! Грустно!.. *(Несется по городу.)* Ух! вот как проходишь мимо этих домов, даже жутко становится, так и слышится: вот здесь бранят, там проклинают, там насмеваются надо мною... и ушей нечем себе зажать, и глаз не можешь закрыть — все видишь, все слышишь... Куда это меня тянет?.. Никак, за город?.. а! кладбище! да! вот и моя могила... вот и мое тепленькое местечко! Здесь и он лежит! у, какой! и червяк у него ползет по лицу! А все-таки ему веселее моего; по крайней мере он ничего не чувствует... Да и мне даже здесь лучше, нежели там; хоть и не слышишь людского говора... Ох, грустно! грустно...

Кажется, я уже начал позабывать дни... уж не знаю, сколько и времени проходит... Да и на что мне знать? Только и отрады мне, что на моей могиле... тихо! едва потянешься куда, опять и брань и проклятия!.. Однако хотелось бы посмотреть, что у меня в доме творится?.. Дай поташусь... Ну! в дорогу! что это снова меня тянет... Какая-то бедная квартирка... Э-ге! да тут Лиза, моя племянница... стало быть, дети-то выгнали ее из дома. Ох, нехорошо! Кто это у ней? А! молодой Валкирин, что приволакивался за нею... Ай! ай! чтоб не было беды... О чем это они поговаривают...

В а л к и р и н. Скажите, Лизавета Дмитриевна, неужели у вас не осталось никаких бумаг после покойного батюшки?

Л и з а. Все, какие были, переданы еще батюшкой Василью Кузьмичу... Но что с тобой сделалось, Вячеслав? Ты расстроен, бледен как смерть?..

В а л к и р и н. Не спрашивайте меня, Лизавета Дмитриевна! Ужас... ужас!.. что у вас было четыреста тысяч, это верно, что они украдены — это еще вернее... Я дви-

нул дело, и готовится следствие, но знаете ли, какое возражение приготовили ваши братья? они утверждают, что у Дмитрия Кузьмича никогда не было дочери!..

Лиза. Как не было, а я?

Валкирин. Это знают: вы, я, и они это знают, но в бумагах нет никаких доказательств...

Лиза. Как! я не дочь моего отца? да что же я такое?

Валкирин. Пока не найдется доказательства, вы — ничто... вы — самозванка.

Лиза. Боже мой! какой ужас!.. Но как это можно? Пусть спросят!.. Кто не знает, что я дочь моего отца?..

Валкирин. Повторяю вам: все знают; но в бумагах этого нет, а это главное...

Лиза. Что ж делать теперь?..

Валкирин. Времени терять нельзя; я выхлопотал себе отпуск и в нынешнюю же ночь отправляюсь в бывшую деревню вашего батюшки; там, вероятно, я отыщу какие-нибудь следы...

Василий Кузьмич. Да! дожидайся! много отыщешь!..

Лиза. Я не знаю, Вячеслав, как мне благодарить тебя... все меня оставили, все гонят,— один ты...

Валкирин. Вы знаете, какой я жду награды! одного: вашей руки...

Лиза. О! она давно твоя, но не теперь, не в эту минуту... ты сам беден, я не хочу, чтоб ты женился на нищей, да и твой отец никогда на это не согласится... я не хочу быть причиной раздора в вашем семействе, особенно теперь, когда я... страшно вымолвить... даже не дочь моего отца! *(Рыдает.)*

Валкирин. Скажите только одно слово... я не посмотрю ни на что... вы завтра же будете моею женою.

Лиза. Нет, благородный человек! я не хочу воспользоваться твоим самоотвержением, а ты также не захочешь унижить меня: теперь твое предложение — почти милостыня, в которой я буду упрекать себя; будь доволен тем, что моя рука, моя любовь принадлежат тебе... Бог все устроит — и тогда ничто не помешает нашему счастью.

Василий Кузьмич. Они кидаются друг другу в объятия, оба плачут, бедненькие! Мне даже как будто жаль их; а как помочь? Ах, кабы знал да ведал, оставил бы ей что-нибудь на проживку... А то, вишь, плуты, все себе захватили... Ведь правду сказать, теперь мне на

что? Не все ли равно, тем бы или другим досталось?.. Ах! жалко! душу теснит, смотреть на них больше не могу!.. Нет, жутко мне здесь оставаться... скорей вон из города, чтоб только не видеть и не слышать ничего!..

Как будто дышишь здесь привольнее; оно таки скучно одному по большим дорогам таскаться, а все лучше... Ба! кажется, знакомые места... Да! как же! вот и город, в котором я на своем веку славно попиrowал. Что, там помнят меня или забыли?.. Вот и дом, в котором я жил; посмотрим, что в нем творится... А! вот и мой прежний подчиненный! приятно встретить знакомое лицо! С ним какой-то приезжий, и очень встревожен; слушаем, что они толкуют.

Приезжий. Скажите, неужели действительно ничего не сохранилось из этого драгоценного собрания?

Провинциальный чиновник. Повторяю вам, что Василий Кузьмич приказал все истребить.

Приезжий. Но с какой целью?

Провинциальный чиновник. Да так, для чистоты и порядка. Как теперь помню: сидел он за вистом, призвал меня к себе и говорит: «Что это, батюшка, у вас там много старого хлама? куда его бережете? только место занимает, а мне вот некуда моих людей поместить». Я было заикнулся, что, дескать, древность большая, а он как на меня прикрикнет: «Прошу, батюшка, не умничать! прошу все это старье собрать, на пуды продать и деньги ко мне представить, а комнаты очистить, чтоб послезавтра мои люди могли туда перейти».

Приезжий. Так что же вы сделали?

Провинциальный чиновник. Я должен был исполнить приказание. Какие свитки были, продал в свечные лавки, а вещи в лом.

Приезжий. Как вещи? разве были и вещи?

Провинциальный чиновник. Да, только все старье: платье, бердыши и много-много вещей, которых и назвать не сумеешь... Например, были часы; говорят, им было лет четыреста, только старые такие, глядеть не на что, даже не благоприлично. За одиннадцать рублей с полтиною слесарю продали; все старье, говорю вам...

Приезжий. Боже мой, какая потеря!

Провинциальный чиновник. Я уж и сам жа-

лел, да делать было нечего. Да что это вас так интересует?

Приезжий. Как мне объяснить вам это? В этих бумагах хранился единственный экземпляр одного важного документа для нашей истории; я употребил все мое небольшое имение, чтоб отыскать его; изъездил десятки городов и наконец вполне убедился, что этот документ нигде, как у вас... Теперь все десятилетние мои труды потеряны, важный пропуск останется вечным в нашей истории, и я должен возвратиться ни с чем, без надежды и... без денег... Скажите, у вас была еще старинная живопись на стенах?

Провинциальный чиновник. Живопись? Как же-с! Она стерта по приказанию Василья Кузьмича.

Приезжий. Да что у вас был за варвар Василий Кузьмич?

Провинциальный чиновник. То есть он не то чтоб варвар был; эдаких, знаете, злодейств не делал, а так, крутенок был... вот видите, я расскажу...

Василий Кузьмич. Ну, пошли поминки по мне... дальше, дальше! (*Пролетает через город.*)

Что это? слышится рыдание.. Опять мое имя поминуют.

Голос в бедной лачужке. О, чтоб этому Василью Кузьмичу не было ни дна ни крыши! Такая ли была б я теперь... Ластился тогда, проклятый, ко мне: не беспокойтесь, говорил, матушка, уж я все улажу; поднимете дело — хуже будет; я вам за все отвечаю, все ваше сохранится, все улажу... вот и уладил, окаянный; я сдуру-то ему поверила да срок пропустила, а вот теперь и умирай с голода с пятью сиротами, а ведь, кажется, и богат был и важен! Как эдаких людей земля носит!

Василий Кузьмич. Еще поминки! мимо, мимо!.. Нет покоя! хоть бы залететь в какую-нибудь трущобу!.. А, вот еще город, что это? здесь, кажется, весело, ярмарка... Ахти! опять про меня толкуют: говорят, что все разорились оттого, что складочное место построено не там, где бы должно, что и дорог к нему нет, и товары портятся... Ахти, правда! Да что ж было делать? волочился я тогда за одной вдовушкой, а ей хотелось, чтоб ярмарка против ее дома была; сколько хлопот-то было! чего мне стоило и интриговать, и обманывать, и доказывать, что здесь-то самое лучшее и самое выгодное место... а к чему все это повело?.. Мимо! Мимо!.. А как подума-

ешь, что это в самом деле за распоряжение такое? Уж если умер, так умер — и концы в воду. А то нет — чем ни пошалил, все так в глаза и лезет, все вопит, все корит... право, странное распоряжение...

Нет сил больше! уж где я не таскался! кругом земного шара облетел! и где только ни прикорну к земле — везде меня поминают... Странно! ведь, кажется, что я такое на свете был? ведь если судить с благоразумной точки зрения, я не был выскочком, не умничал, не лез из кожи, и ровно *ничего* не делал, — а посмотришь, какие следы оставил по себе! и как чудно все это зацепляется одно за другое! Смотришь, в тюрьме сидит человек, и в глаза его не видал, — пойдешь добираться и доберешься, что все по моей милости! Иного за тридцать земель занесло — и опять по моей милости. Тут и вдовы, и сироты, и должники, и кредиторы, и старый, и малый — все меня поминает, и отчего? все от безделицы, право от безделицы: уверяю вас, я человек прямой и откровенный, от почерка пера, от какого-нибудь слова, сказанного или недосказанного... Право, сил нет! индо страшно становится! а между тем так и тянет на родину, так и подмывает. Ну, вот я и здесь! опять меня остановило над Лизиной квартиркой... Что за бедность! к такой ли она жизни привыкла? Исхудала, несчастная, на себя непохожа; куда и красота девалась? — работает над бельем, и слезы так и каплют, я чаю, также меня поминает... А это кто к ней входит? барин какой-то; как разодет: видно, богатый; с чем это он к ней подъезжает? И как она обрадовалась ему, вскочила!

Лиза. Я думала, Филипп Андреевич, что вы меня совсем забыли.

Барин. Нет, сударыня, как можно! захопотался немного, — знаете, дела по министерству... Ну, что, как поживаете?

Лиза. Ах, дурно, Филипп Андреевич, очень дурно! Мой поверенный пишет, что никакой нет надежды отыскать мои бумаги.

Барин. Ничего, ничего, сударыня, — это мы все обделаем...

Лиза. Ах, вы истинно мой благодетель! без вас я бы совсем погибла; я и до сих пор живу теми деньгами,

которыми вы меня ссудили, когда я ваше серебро продала,— а заплатить до сих пор — извините, нечем.

Барин. Ничего, ничего, сударыня! после сочтемся; вы меня сами очень одолжили... вы понимаете, мне самому, в моем чине, неловко как-то продавать,— а случается нужда в деньгах... вы понимаете.

Василий Кузьмич. Чем больше всматриваюсь — знакомое лицо! да это плут Филька, мой камердинер, переодетый! Ну! беда!..

Лиза. Очень понимаю и готова вам служить сколько могу: я сказала, что это серебро матушкино, да кстати и вензель на серебре пришелся по моему имени.

Филька. Прекрасно... впрочем, мне нельзя долго у вас оставаться; я заехал к вам на минуту, был в ломбарде, выкупил там свои вещи, а теперь надо ехать к министру; боюсь возить — потеряешь, позвольте мне у вас оставить вещи.

Лиза. С удовольствием. Ах, какие прекрасные брильянты, фермуары, диадемы... и как много!

Филька. Да! прекрасные, прекрасные и очень дорогие. Пожалуйста, припрячьте их подальше.

Василий Кузьмич. Лиза, Лиза! что ты делаешь! ведь это краденые вещи, ведь это вор, ведь это Филька... Ничего не слышит... отчаяние!

Филька. Ах нет! сделайте милость, не в комод: могут украсть; воры обыкновенно прежде всего хватаются за комод — я уж это знаю...

Лиза. Да куда же?

Филька. А знаете, вот за печку — оно гораздо безопаснее!

Лиза. Ах, как это смешно!

Филька. Теперь прощайте, до свидания... *(Филька выходит и в дверях встречается с полицейским, отступает на шаг и бледнеет.)*

Полицейский. А! попался, приятель! давно мы тебя поджидали! Так здесь у тебя воровской притон? Свяжите-ка ему руки, да и красавице-то его тоже, а комнату обыскать... *(Обыскивают комнату и находят за печкою брильянты.)*

Василий Кузьмич. Ах, бедная Лиза! да она не виновата! слышите, она не виновата! Нет, не слышат! Как растолковать им... Она в беспамятстве; слова не может вымолвить... Но вот кто-то еще... Ах, это Валкирин; может быть, он ее выручит... он не может прийти в

себя от удивления... объясняется с полицейским; тот ему толкует о поведении Лизы, о давних ее сношениях с воровом, о проданном серебре... Лиза узнает Валкирина, бросается к нему, он ее отталкивает... Нет, не могу больше смотреть! Скорее в могилу, в могилу — одно мое убежище!..

... Так вот жизнь, вот и смерть! Какая страшная разница! В жизни, что бы ни сделал, все еще можно поправить; перешагнув через этот порог — и все прошедшее невозвратно! Как такая простая мысль в продолжение моей жизни не приходила мне в голову? Правда, слышал я ее мельком, встречал ее в книгах, да проскользнула она между другими фразами. Там все так: люди говорят, говорят и так приговариваются, что все кажется болтовнею! А какой глубокий смысл может скрываться в самых простых словах: «нет из могилы возврата»! Ах, если б я знал это прежде!.. Бедная Лиза! Как вспомню об ней, так душа замирает! А всему виною я, я один! я внушил эту несчастную мысль моим детям — и чем! неосторожным словом, обыкновенною мирскою шуткою! Но виноват ли я? я ведь думал, что успею Лизу устроить! Правда, пожил я довольно на счет ближнего, но никогда бы не привел дочери моего брата в то положение, в котором она теперь! Неужели в детях моих нет искры чувства?.. А откуда оно бы зашло к ним? не от меня — нечего сказать; едва я подозревал в них зародыш того, что называется поэтическими бреднями, как старался убивать их и насмешкою и рассуждением; я хотел детей своих сделать *благоразумными людьми*; хотел предохранить их от слабодушия, от филантропии, от всего того, что я называл пустяками! Вот и вышли люди! Мои наставления пошли впрок, мою нравственность они угадали!.. Ох! не могу и здесь дольше оставаться — и здесь уж для меня нет покоя! Других голосов не слышу, но слышу свой собственный... ох! это совесть, совесть! какое страшное слово! как оно странно звучит в слухе! оно кажется мне совсем иным, нежели каким *там* казалось; это какое-то чудовище, которое давит, душит и грызет мне сердце. Я прежде думал, что совесть есть что-то похожее на приличие, я думал, это если человек осторожно ведет себя, наблюдает все мирские условия, не ссорится с общим мнением, говорит то, что все гово-

которыми вы меня ссудили, когда я ваше серебро продала, — а заплатить до сих пор — извините, нечем.

Барин. Ничего, ничего, сударыня! после сочтемся; вы меня сами очень одолжили... вы понимаете, мне самому, в моем чине, неловко как-то продавать, — а случается нужда в деньгах... вы понимаете.

Василий Кузьмич. Чем больше всматриваюсь — знакомое лицо! да это плут Филька, мой камердинер, переодетый!.. Ну! беда!..

Лиза. Очень понимаю и готова вам служить сколько могу: я сказала, что это серебро матушкино, да кстати и вензель на серебре пришелся по моему имени.

Филька. Прекрасно... впрочем, мне нельзя долго у вас оставаться; я заехал к вам на минуту, был в ломбарде, выкупил там свои вещи, а теперь надо ехать к министру; боюсь возить — потеряешь, позвольте мне у вас оставить вещи.

Лиза. С удовольствием. Ах, какие прекрасные бриллианты, фермуары, диадемы... и как много!

Филька. Да! прекрасные, прекрасные и очень дорогие. Пожалуйста, припрячьте их подальше.

Василий Кузьмич. Лиза, Лиза! что ты делаешь! ведь это краденые вещи, ведь это вор, ведь это Филька... Ничего не слышит... отчаяние!

Филька. Ах нет! сделайте милость, не в комод: могут украсть; воры обыкновенно прежде всего хватаются за комод — я уж это знаю...

Лиза. Да куда же?

Филька. А знаете, вот за печку — оно гораздо безопаснее!

Лиза. Ах, как это смешно!

Филька. Теперь прощайте, до свидания... *(Филька выходит и в дверях встречается с полицейским, отступает на шаг и бледнеет.)*

Полицейский. А! попался, приятель! давно мы тебя поджидали! Так здесь у тебя воровской притон? Свяжите-ка ему руки, да и красавице-то его тоже, а комнату обыскать... *(Обыскивают комнату и находят за печкою бриллианты.)*

Василий Кузьмич. Ах, бедная Лиза! да она не виновата! слышите, она не виновата! Нет, не слышат! Как растолковать им... Она в беспамятстве; слова не может вымолвить... Но вот кто-то еще... Ах, это Валкирин; может быть, он ее выручит... он не может прийти в



себя от удивления... объясняется с полицейским; тот ему толкует о поведении Лизы, о давних ее сношениях с вояром, о проданном серебре... Лиза узнает Валкирина, бросается к нему, он ее отталкивает... Нет, не могу больше смотреть! Скорее в могилу, в могилу — одно мое убежище!..

Так вот жизнь, вот и смерть! Какая страшная разница! В жизни, что бы ни сделал, все еще можно поправить; перешагнул через этот порог — и все прошедшее невозвратно! Как такая простая мысль в продолжение моей жизни не приходила мне в голову? Правда, слышал я ее мельком, встречал ее в книгах, да проскользнула она между другими фразами. Там все так: люди говорят, говорят и так приговорятся, что все кажется болтовнею! А какой глубокий смысл может скрываться в самых простых словах: «нет из могилы возврата!» Ах, если б я знал это прежде!.. Бедная Лиза! Как вспомню об ней, так душа замирает! А всему виною я, я один! я внушил эту несчастную мысль моим детям — и чем! неосторожным словом, обыкновенною мирскою шуткою! Но виноват ли я? я ведь думал, что успею Лизу устроить! Правда, пожил я довольно на счет ближнего, но никогда бы не привел дочери моего брата в то положение, в котором она теперь! Неужели в детях моих нет искры чувства?.. А откуда оно бы зашло к ним? не от меня — нечего сказать; едва я подозревал в них зародыш того, что называется поэтическими бреднями, как старался убивать их и насмешкою и рассуждением; я хотел детей своих сделать *благоразумными людьми*; хотел предохранить их от слабодушия, от филантропии, от всего того, что я называл пустяками! Вот и вышли люди! Мои наставления пошли впрок, мою нравственность они угадали!.. Ох! не могу и здесь долгие оставаться — и здесь уж для меня нет покоя! Других голосов не слышу, но слышу свой собственный... ох! это совесть, совесть! какое страшное слово! как оно странно звучит в слухе! оно кажется мне совсем иным, нежели каким *там* казалось; это какое-то чудовище, которое давит, душит и грызет мне сердце. Я прежде думал, что совесть есть что-то похожее на приличие, я думал, это если человек осторожно ведет себя, наблюдает все мирские условия, не ссорится с общим мнением, говорит то, что все гово-

рят, так вот и вся совесть и вся нравственность... Страшно подумать! Ах, дети, дети! неужели и вас такая же участь ожидает? Если б вы были другие, если бы другое вам внушено было, вы, может быть, поняли бы мои страдания, вы постарались бы истребить следы зла, мною сделанного, вы поняли бы, что одним этим могут облегчиться мои терзания... И все напрасно! долгая, вечная жизнь предстоит мне, и мои дела, как семена ядовитого растения,— все будут расти и множиться!.. Что ж будет наконец? Ужас, ужас!..

Вот и тюрьма. Вижу в ней бедную Лизу... но что с нею? она уж не плачет, она поводит вокруг себя глазами...

Создатель! она близка к сумасшествию... Дети, знаете ли вы это?.. где они? Младший спит, старший сидит за бумагами... Боже, что в них написано! он обвиняет Лизу в разврате, поддерживает подозрение в воровстве, тонко намекает о ее порочных наклонностях, замеченных будто еще в моем доме... И как искусно, как хитро сплетена здесь ложь с истиною! Мои уроки не потерялись: он понял искусство жить... как я понимал его! Но что с ним? он взглянул на спящего брата: какое страшное выражение в лице его! О, как бы я хотел проникнуть в его мысли... вот... я слышу голос его сердца. Ужас, ужас! он говорит сам себе: «Эта дрянь всегда будет мне во всем помехою; откуда и жалость у него взялась, и раскаяние, и заступничество? Ну, что, если он сглупа все выболтает? тогда беда! Нечего сказать — уж куда бы кстати ему умереть теперь!.. А что, мысль не дурная! почему не помочь? стоит только несколько капель в стакан... что говорится, попотчевать кофеем... А что? в самом деле! снадобье-то под рукою, стакан воды возле него на столе, вприсонках выпьет, не разберет — и дело с концом».

Петруша! сын мой! что ты делаешь! остановись!.. это брат твой!.. Разве не видишь... я у ног твоих... нет! ничего не видит, не слышит, подходит к столу, в руках его стеклянка... Дело сделано!..

Боже! неужели для меня не будет ни *суда*, ни *казни*? Но что это делается вокруг меня? откуда взялись эти страшные лица? Я узнаю их! это брат мой укоряет меня! это вдовы, сироты, мною оскорбленные! весь мир моих

— злодеяний! Воздух содрогнулся, небо разваливается... зовут, зовут меня...

В это утро Василий Кузьмич проснулся очень поздно. Он долго не мог прийти в себя, протирает глаза и смутно озирается.

— Что за глупый сон! — сказал он наконец, — индолихорадка прошибла. Что за страхи мне снились, и как живо — точно наяву... отчего бы это? да! вчера я поужинал немного небрежно, да еще лукавый дернул меня прочесть на сон грядущий какую-то фантастическую сказку... Ох, уж мне эти сказочники! Нет чтоб написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное! а то всю подноготную из земли вырывают! Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это похоже! читаешь и невольно задумываешься — а там всякая дребедень и пойдет в голову; право бы, запретить им писать, так-таки просто вовсе бы запретить... На что это похоже? Порядочному человеку даже уснуть не дадут спокойно!.. Ух! до сих пор еще мороз подирает по коже... А уж двенадцать часов за полдень; эх я вчерась засиделся; теперь уж никуда не поспеешь! Надо, однако ж, чем-нибудь развлечься. К кому бы поехать? к Каролине Карловне или к Наталье Казимировне?

## Живописец

(Из записок гробовщика)

Однажды, когда я сидел у Мартына Григорьича, вошел мастерской:

— Пришли от Данила Петровича.

— Зачем? — спросил хозяин.

— Да за гробом.

— Кто у них умер, уж не жена ли?

— Нет, Данила Петрович сам изволил скончаться...

Мартын Григорьич всплеснул руками:

— Может ли это быть? Бедный! Давно ли мы с ним виделись?.. Такой талант! Такое сердце!

— Попросят дощатого гроба подешевле, а у нас такого нет, — прервал его хладнокровно работник.

— Неси какой есть готовый, не твое дело... Бедный, бедный Данила Петрович!.. — С этими словами он взял шляпу и сказал мне: — Хотите ли поклониться праху незнакомого вам, но замечательного человека? Пойдемте со мною. Вы слышали о Шумском?..

— Никогда, — отвечал я, — но я готов идти с вами.

— Так! Участь этого человека быть неизвестным; но по крайней мере он начнет жить после смерти; может быть, мне суждено быть его проводником к бессмертию. Неужели и вы не знаете, что мой бедный неизвестный Данила Петрович был, может быть, одним из первых живописцев нашего времени?..

— Я никогда не видал ни одной его картины...

— Не мудрено, потому что у него не было ни одной конченной; но пойдём в его мастерскую, и вы увидите, что я говорю правду. Я недавно с ним познакомился; он был очень, очень беден, но все, что скрывалось в его голове, все, что нечаянно он бросил на полотно нетерпеливою кистью, того я вам пересказать не сумею... Вы сами увидите...

Мы вошли. Грустно было смотреть на мастерскую бедного художника. Бледный труп его лежал на простых досках; на лице его еще остались следы внутреннего, недавно погасшего огня; черные волосы лентами струились

с прекрасно образованной головы; но все было искажено, запятнано смертию; его покрывало едва держащееся рубище; вокруг были разбросанные краски, палитра, кисти; на огромной раме натянутое полотно: оно невольно приковало мое внимание; но на холсте не было картины, или лучше сказать на нем были сотни картин; можно было различить некоторые подробности, начертанные верно, живою кистью, но ничего целого, ничего понятного. От нетерпения ли художника, от недостатка ли в холсте, но видно было, что он рисовал одну картину на другой; полустертая голова фавна выглядывала из-за готической церкви; на теньеровском костюме набросана фигура мадонны; сметливый глаз русского крестьянина был рядом с египетскою пирамидою; водопады, домашняя утварь, дикие взоры сражающихся, цветы, кони, атласные мантии, уличные сцены, кедры, греческие профили, карикатуры — все это было перемешано между собою на различных планах, в различных колоритах, и углем, и мелом, и красками,— и ни в чем не только нельзя было угадать мысли художника, но с большим трудом можно даже было уловить какую-либо подробность. Стены, окна мастерской, палитра, мебели были испещрены точно такими же очерками... других картин не было. Наши изыскания были прерваны разговором в ближней комнате, сперва тихим, но потом мало-помалу возвышавшимся...

— Ах, не говорите, матушка,— повторял один женский голос, рыдая,— я, я убила его!..

— Полно, полно! Что с тобой? — отвечал другой, женский же голос.— Что ты на себя клеплешь! Полно, полно горевать. Еще молода, мать моя,— другого мужа найдешь.

— Нет, не нажить мне моего Данила Петровича!

— Полно, говорят тебе, слезами не поможешь, да и что правду сказать: счастлива, что ли, ты с ним была? В довольстве, что ли? Что в нем пути-то было?..

Вдова не слушала, а только повторяла свое:

— Я убила его; он сам говорил, сердечный: ты убьешь меня... Я точно убила его!..

А та отвечала:

— Полно на себя клепать! он просто занемог, да и умер...

Эта сцена продолжалась довольно долго: жалобы с одной стороны, утешения с другой; наконец последние

превозмогли; казалось, рассуждения собеседницы утешили вдову, по крайней мере она успокоилась. Мой товарищ хотел навеститься к ней; но дверь отворилась, и от вдовы вышла женщина пожилых лет, в крепко накрахмаленном чепце, с веселым и добродушным видом.

— Ах, это ты, куманек! Добро пожаловать; а что, ты к ней, что ли? Ну, уж лучше не ходи,— пусть ее наплачется досыта; авось-либо, бог милостив, поплачет, поплачет, да и перестанет; а денька через два-три как рукой снимет. Помоги-ка мне лучше отдать последний долг покойному. Сердечный! Сердечный! — прибавила она, посмотрев на бледное, искаженное страданиями лицо молодого художника.— Не умел жить на сем свете. А это кто, батюшка? — продолжала она, взглянув на меня с любопытною улыбкою, которая не мешала ей отирать слезы...

— Это мой подмастерье,— отвечал Мартын Григорьич.

Я поклонился.

— Никогда еще у тебя не видала, почтенный...

— Недавно поступил, Марфа Андреевна.

Она взглянула на меня с тоном покровительства и продолжала свой разговор.— Во все время печальной церемонии и потом, возвращаясь к себе домой, куда мы, перемигнувшись, пошли ее проводить, Марфа Андреевна говорила без умолка; из слов ее я скоро узнал, что она богатая мещанка и занимается скорняжеством, то есть шьет шубы. Мы скоро познакомились; я ей полюбился, она мне рассказала всю жизнь живописца; некоторые ее фразы уцелели в моей памяти; постараюсь передать их, как умею.

— Так вы, Марфа Андреевна, хорошо знавали Данила Петровича? — спросил я...

— Эка, батюшка, видно, ты молод, уж мне не знать Данила Петровича! Не только его, да и с батюшкой его хлеб-соль важивала, да и бабушку-то его знавала,— такая была из себя видная, здоровая,— помнишь, бывало, торговала в Бабьем ряду... да где тебе помнить! Ах, горемычный, горемычный Данила Петрович! Верно уж ему так было на роду написано. Да и то правду сказать, всегда беспутный был; а кто виноват? Отец баловал. Отец был зажиточный человек? в Панском ряду на сотни тысяч торговал,— вот и Мартын Григорьевич его знал. Он, бывало, сына в ряд, а тот и руками и ногами: «Пусти, батюшка, в живописцы, пусти, да и только»; а старик-то

сглупа, чем бы его себе приготовить в подмогу, послушался, да и отдал в ученье к какому-то немецкому живописцу, да, бывало, еще шутит покойник: «Хошма, говорит, у меня теперь вывеска на лавке будет даровая». Не дождался он вывески от сына, а только обанкротился, да с горя и богу душу отдал. А сынок-то остался гол как сокол, а себе и ухом не ведет; да туда же спесив: жил, жил у немецкого живописца на квартире на всем готовом, одет, обут, да низко показалось, не ужился; вишь ты, жаловался, будто немецкий живописец — не припомню его имени, прах его возьми — заставлял его на своих картинах рисовать, его работу за свою выдавал, а его начал с пути сбивать. Да! важное дело! Да если бы и так, то что за беда. Известное дело — мастерство: молодой человек сперва на других поработай, а там на себя. Вот и ты у Мартына Григорыча живешь, неужли ты станешь ему указывать: «Вот эту доску я состругал, вот этот винт я привернул, а не ты...» Говорю тебе, совсем беспутный был. Прибежал ко мне, с три короба наговорил, и все свысока. Я ничего не поняла: «И что я-де теперь, матушка Марфа Андреевна, буду на воле работать, на себя, и вся публика-то, все господство-то меня узнает, и картину на выставку-то поставлю, золотом-то я все сундуки отцовские засыплю... и я-то буду художник». Сердце мое чувало недоброе: «И впрямь ты будешь гудошником», — сказала я ему, смеючись, а он рассердился: вишь, будто я не могла и понять-то его! Я было, чтобы помириться, ему 10 целковиков в руку, а он на стол их бряк — так разгорячился, мой батюшка; только и твердит: «У меня талант, у меня талант». Ну, подумала, посмотрим, какой тебе талант на роду написан: не увидим, так услышим.

Вот обзавелся он, горемышный; где-то лачужку сыскал на Выборжской стороне и написал вывеску: «Живописец Шумский»; так и думал, что вся публика к нему рязом и соберется. Не тут-то было: где-где придет к нему какой-нибудь сиделец-высочка вывеску написать.

Только он еще кое-как перебивался. Но как на беду попадись ему на улице смазливая девочка. Слово за слово, узнал, что она сирота, ну приставать: «Поди ко мне мадели делать». Та ему в ответ: «Я-де, батюшка, только на кухне кое-что стряпать умею, а никаких маделей никогда не дельвала». — «Нужды нет, уж я тебя выучу». Девке только что отказали от дома, деваться ей было некуда, — из одной квартиры к нему пошла.

Вот, что же, батюшка! Привел он ее к себе, да и ну с нее патреты рисовать — очень нужно кому! Да еще какой, слышь, бесстыдник: и так ее поставит, и сяк; то руку поднимет, то опустит; впрочем, говорят, так по их искусству надобно! — это дело не мое, кто их знает... Как бы то ни было, но только он писал, писал ее, да и вышел грех; вестимо дело: он парень молодой, она девка смазливая, дошло до того, что уж ей стыдно было в люди показаться. Он, нечего сказать, человек был честный, покойник, говорит: «Мой грех, мне и поправить». Вот они женились; живут, друг другом не нахвалятся; она девка умная, хозяйство завела; пожили немного — глядь, то хлебник, то мясник за долгом придет, то хозяин за квартиру просит, а кошель-то пуст-пустехонек. Бедная баба и туда и сюда, как бы работу сыскать, а он, покойник, не тем будь помянут, и ухом не ведет. На его счастье Сидор Иванович дочь замуж отдавал, — купец богатый, почтенный, хотел все дело по порядку исполнить, приданое приданым, а к тому же захотел с дочери да с зятя патреты повесить у себя на дому. Позвал Данилу Петровича, говорит: «Вот тебе сто рублей, а как патреты напишешь; так еще сто рублей дам, только схоже напиши». А Данило Петрович ему: «Уж это-де мое дело, так-де напишу, что от настоящего не узнаешь». Вот Сидор Иванович — купец богатый, вестимо дело, хотел похвастать, — надел на свою Дунюшку и бриллиантов, и жемчугов, и подборов, и подвесок, не только матушкиных, но что и от бабушки да прабабушки досталось, чтобы, дескать, все видели, что не нищую замуж выдает; как вошла, так индо в комнате засветлело, даже Данило Петрович остолбенел. «Ну, — говорит отец, — рисуй, как знаешь; но только так, чтоб подвески спереди, да и гребень сзади был виден». Что же Данило Петрович — ах, беспутная головушка! — как закричит себе: «Что это вы красавицу изуродовали! Она молода и свежа и собой хороша, что ее, как коломенскую куклу, мишурой-то убирать?» А какая мишура: все жемчуг да бриллианты... «Долой, — говорит Данило Петрович, — и подборы, и подвески, и гребень, все-де это портит ее натуру», — да как распустит ей косы по плечам, и стала Дуняша словно русалка, а Данило-то храбрится: «Вот уже, говорит, патрет напишу, так всему свету на удивление будет». Только старик не тех мыслей был. «Нет, говорит, не дам над моим детищем издеваться, не на смех ее писать, словно какую актеру трепаную,



а видно ты, Данило Петрович, своего дела не разумеешь, коли жемчугов да бралиянтов не можешь списать; хоть одного зятя мне напиши».

Данило Петрович прикусил язычок: «Ну, давай, говорит, зятя». Привели зятя; надо тебе знать, что зять был человек чиновный, копиистом служил; ну, разумеется, также похвастаться хочет, принарядился, праздничный мундир надел. Данило Петрович и руками и ногами: «Не умею мундиров писать!» — стал на том, да и только. Тут уже купец рассердился, да и сказал Данилу Петровичу: «Ступай же, — сказал он, — куда знаешь, коли своего дела не разумеешь, а мы тебе не пешки дались». А Данило-то, чем бы спасовать, выкинул на стол сто рублей, да и поминай как звали. Так и не впервые было. Что ему ни закажут, все перехитрит, к стене не прислонишь; меж тем дома и холодно и голодно. А Данило, чем бы горю помочь, сидит у себя в нетопленной комнате, мажет по холсту каких-то нехристей, да песенки попевает. Вот, немного погодя, на него стало находить: бродит, бродит день-деньской, да и уставится против старой стены, смотрит на нее то с той, то с другой стороны: вишь ты, представлялись ему какие-то фигуры на стене; соседи узнают, домой приведут, а он свечку зажжет, да всю ночь и марает по стенам — индо смотреть страшно — все стены испортил. Вот жена к нему придет: «Полно, Данило Петрович, свечки-то палить; мало тебе дня? Ведь свечка-то гривну стоит». А он осерчает, закричит: «Ты убьешь меня», — да и только. С таким изделием немного наживешь; вот он, сердечный, не ест, не пьет, только и твердит: «Вот погоди, найду, непременно найду». Чего уже он, клада, что ли, искал, не могу тебе сказать, только он со дня на день худал; что ночью намажет, то днем сотрет; в дом ничего, а из дома то и дело, то мебель, то платье продаст. Жена его станет резонить, а он только и твердит: «Ты убьешь меня». Поди толкуй с ним! Так они прожили немного-недолго, — не осталось в доме ни синего пороха. Видит, нечего делать — поугомонился, пошел по гостинному ряду спрашивать: нет ли где вывески подновить? Насилу поверили, таким он безумным казался. Подновил вывески две-три, другой работой забрался — зашиб копейку, и опять гордость напала. Раз вот осенью ушел из дома с раннего утра, невесть где целый день протаскался: уже после узнали, что он до Парголова доходил. Вот уж и вечер, вот и ночь, вот уж и рассветать

стало,— дождь между тем ливмя, а Данила нет как нет. Жена всполошилась, бегать — туда, сюда — где! И с собаками не сыщешь; уж к утру воротился — весь измоченный, — сухой нитки нет, бледный, и, словно полоумный, кричит: «Нашел, нашел!» А глаза-то у него так и горят; выхватил из-под мышки холстину, натянул на раму и тут же, не раздеваясь, ну на ней какую-то ладонную, что ли, писать. К вечеру прохватил его озноб. «Что, говорит, жена, кабы кофеею сварить?» Той уж стало невтерпех; она ему в ответ: «Какой тебе кофий — и хлеба в доме нет; вишь, от тебя ни шерсти, ни молока, да туда же кофеею просишь!» Замолк Данила Петрович, опять за мазилку, пописал недолго, да и свалился на пол, как сноп. Подняли, положили на постель, всю ночь бредил. Вот лекарь пришел, — еще, на счастье, добрый человек, — то тем, то другим — через неделку оправился. «Ну, — лекарь говорит, — ты вышел из беды, Данила Петрович; только смотри, не оплошай; еще ты опасен, с постели не вставай и за работу не принимайся». Все обещал; жена как-то отлучилась, — приходит, а муж сидит за картиной, руки дрожат, еле не падает. Подняла его, уложила, прикрикнула; но что делать с безумным! День послушается, а на другой опять за свое, — индо лекарь отказался. Однако ж бог помог — оправился. Смотрит — в доме все чисто; последнее платье заложено — выйти не в чем; а ему и горя мало. «Незачем, говорит, теперь по улицам бродить», — и сидит за своей ладонной да малюет. Меж тем жена плачет да горюет: пошла по знакомым, провела как-то, что в околотке мелочную лавку заводят, отыскала хозяина, уластила, вот он приходит, заказывает вывеску, дает в задаток рубли два-три: «Да смотри, говорит, ты, маляр, у меня вывески не задержи; мне скоро ее надобно: лавку скоро отделают; да смотри появственнее да поглянцовитее напиши, и чтобы все на ней было, и сахарные головы, и банки с вареньями, и сыр голландский, и яблоки, и ряпушку копченую повесь, чтобы всякий-де видел, что-де все есть, чего душа ни пожелает; пожалуй, не задержи, а то другому закажу». Данила Петрович взял деньги, да и посмеивается: «Будь благонадежен, говорит, уж так тебе вывеску напишу, что, на нее глядя, и самому есть захочется».

«Ну, говорит, жена, слава богу! Деньги есть, и работа есть, только краски нужны; сходи купи; знаю, что дорого, да нечего делать, без них нельзя вывески написать;

вот тебе записочка». Жена сдуру послушалась, пошла, купила: дали ей три скляночки, почти все деньги истратила. Пришла — обрадовался Данила, схватил краски, да чем бы за вывеску, — опять за свою ладонную. — Прошел не день, и не два, — приходит купец за вывеской — куда! — ее и в половине не было. Он к Даниле: «Давай вывеску или деньги подай!» Оно и дельно — ему было завтра лавку открывать. Данила туда, сюда. «Все брошу, говорит, в один день напишу...» Хвать — холста нет; купить не на что... Купец говорит: «Не дам ни копейки, опять обманешь». На крик собрались соседи, жена плачет, разливается: «Нечего греха таить, — вопит горемычная, — хоть вы прислушайте, добрые люди; мне уж с ним не сладить, вконец дом разорил...» Вот соседи стали его укорять: «Что ты за маляр, что и холста не имеешь? Купцу что за дело: он задаток дал; вот ведь натянута холстина, — ну и пиши вывеску, чем вздор-то малевать, а слова не исполнять».

Долго слушал Данила Петрович и молчал, словно рыба; но как услышал последнюю речь, пригорюнился. «Вы правы, говорит, точно правы: слово дал, надо исполнить»; схватил кисть, замарал всю картину и ну малевать сахарные головы; к другому утру вывеска была уж готова; купец, добрый человек, не помянул лиха, поблагодарил, да на столе беленькую оставил. Жена не радуется, побежала скорее на рынок и кофею купила, чтоб только мужа потешить; приходит домой, смотрит — а он на полу, и трясет его лихорадка. Скорей за лекарем, да уж, видно, поздно: месяца два бедный промаялся, да и богу душу отдал. Отчего уже это ему приключилось, не знаю; лекарь толковал, что прежняя болезнь опять пришла!

— А где же вывеска-то? — спросил я у рассказчицы...

— И, да кто ее знает! Говорят, и лавочка-то обанкротилась.

Здесь мы приблизились к дому, и я, распроставшись с Марфой Андреевной, пустился отыскивать предсмертное произведение несчастного; я узнал имя хозяина лавочки, имя того, кто купил вывеску с аукциона, кому перепродал; наконец мои искания увенчались успехом: на Шуккином дворе, среди ржавого железа я отыскал наконец вывеску Шумского — ее смыло дождем!

---

## Последнее самоубийство

Наступило время, предсказанное философами XIX века: род человеческий размножился; потерялась соразмерность между произведениями природы и потребностями человечества. Медленно, но постоянно приближалось оно к сему бедствию. Гонимые нищетою, жители городов бежали в поля, поля обращались в селы, селы в города, а города нечувствительно раздвигали свои границы; тщетно человек употреблял все знания, приобретенные потовыми трудами веков, тщетно к ухищрениям искусства присоединял ту могущественную деятельность, которую порождает роковая необходимость,— давно уже аравийские песчаные степи обратились в плодоносные пажити; давно уже льды севера покрылись туком земли; невероятными усилиями химии искусственная теплота живила царство вечного холода... но все тщетно: протекли века, и животная жизнь вытеснила растительную, слились границы городов, и весь земной шар от полюса до полюса обратился в один обширный, заселенный город, в который перенеслись вся роскошь, все болезни, вся утонченность, весь разврат, вся деятельность прежних городов; но над роскошным градом вселенной тяготела страшная нищета и усовершенные способы сообщения разносили во все концы шара лишь вести об ужасных явлениях голода и болезней; еще возвышались здания; еще нивы в несколько ярусов, освещенные искусственным солнцем, орошаемые искусственною водою, приносили обильную жатву,— но она исчезала прежде, нежели успевали собирать ее: на каждом шагу, в каналах, реках, воздухе, везде теснились люди, все кипело жизнью, но жизнь умерщвляла сама себя. Тщетно люди молили друг у друга средства воспротивиться всеобщему бедствию: старики вспоминали о протекшем, обвиняли во всем роскошь и испорченность нравов; юноши призывали в помощь силу ума, воли и воображения; мудрейшие искали средства продолжать существование без пищи, и над ними никто не смеялся.

Скоро здания показались человеку излишнею роскошью; он зажигал дом свой и с дикою радостью утучнял землю пеплом своего жилища; погибли чудеса искусства, произведения образованной жизни, обширные книгохранилища, больницы,—все, что могло занимать какое-либо пространство,—и вся земля обратилась в одну обширную, плодоносную пахоть.

Но не надолго возбудилась надежда; тщетно заразные болезни летали из края в край и умерщвляли жителей тысячами; сыны Адамовы, пораженные роковыми словами писания, росли и множились.

Давно уже исчезло все, что прежде составляло счастье и гордость человека. Давно уже погас божественный огонь искусства, давно уже и философия, и религия отнесены были к разряду алхимических знаний; с тем вместе разорвались все узы, соединявшие людей между собою, и чем более нужда теснила их друг к другу, тем более чувства их разлучались. Каждый в собрате своем видел врага, готового отнять у него последнее средство для бедственной жизни: отец с рыданием узнавал о рождении сына; дочери прядали при смертном одре матери; но чаще мать удушала дитя свое при его рождении, и отец рукоплескал ей. Самоубийцы внесены были в число героев. Благотворительность сделалась вольнодумством, насмешка над жизнью — обыкновенным приветствием, любовь — преступлением.

Вся утонченность законоискусства была обращена на то, чтобы воспрепятствовать совершению браков; малейшее подозрение в родстве, неравенство в летах, всякое удаление от обряда делало брак ничтожным и безною разделяло супругов. С рассветом каждого дня люди, голодом поднимаемые с постели, тощие, бледные, сходились и обвиняли друг друга в пресыщении или упрекали мать многочисленного семейства в распутстве; каждый думал видеть в собрате общего врага своего, недостижимую причину жизни, и все словами отчаяния вызывали на брань друг друга: мечи обнажались, кровь лилась, и никто не спрашивал о причине брани, никто не разнимал враждующих, никто не помогал упавшему.

Однажды толпа была раздвинута другою, которая гналась за молодым человеком; его обвиняли в ужасном преступлении: он спас от смерти человека, в отчаянии бросившегося в море; нашлись еще люди, которые хотели вступить за несчастного. «Что вы защищаете чело-

веконенавистника? — вскричал один из толпы. — Он эгоист, он любит одного себя!» Одно это слово устранило защитников, ибо эгоизм тогда был общим чувством; он производил в людях невольное презрение к самим себе, и они рады были наказать в другом собственное свое чувство. «Он эгоист, — продолжал обвинитель, — он нарушитель общего спокойствия, он в своей землянке скрывает жену, а она сестра его в пятом колене!» — В пятом колене! — завопила разъяренная толпа.

— Это ли дело друга? — промолвил несчастный.

— Друга? — возразил с жаром обвинитель. — А с кем ты несколько дней тому назад, — прибавил он шепотом, — не со мною ли ты отказал поделиться своей пищею?

— Но мои дети умирали с голоду, — сказал в отчаянии злополучный.

— Дети! дети! — раздавалось со всех сторон. — У него есть дети! — Его незаконные дети съедают хлеб наш! — и, предводимая обвинителем, толпа ринулась к землянке, где несчастный скрывал от взоров толпы все драгоценное ему в жизни. — Пришли, ворвались, — на голой земле лежали два мертвых ребенка, возле них мать; ее зубы стиснули руку грудного младенца. — Отец вырвался из толпы, бросился к трупам, и толпа с хохотом удалилась, бросая в него грязь и камни.

Мрачное, ужасное чувство зародилось в душе людей. Этого чувства не умели бы назвать в прежние веки; тогда об этом чувстве могли дать слабое понятие лишь ненависть отверженной любви, лишь цепенение верной гибели, лишь бессмыслие терзаемого пыткой; но это чувство не имело предмета. Теперь ясно все видели, что жизнь для человека сделалась невозможною, что все средства для ее поддержания были истощены, — но никто не решался сказать, что оставалось предпринять человеку? Вскоре между толпами явились люди, — они, казалось, с давнего времени вели счет страданиям человека — и в итоге выводили все его существование. Обширным, адским взглядом они обхватывали минувшее и преследовали жизнь с самого ее зарождения. Они вспоминали, как она, подобно татю, закралась сперва в темную земляную глыбу и там, посреди гранита и гнейса, мало-помалу, истребляя одно вещество другим, развила но-

вые произведения, более совершенные; потом на смерти одного растения она основала существование тысячи других; истреблением растений она размножила животных; с каким коварством она приковала к страданиям одного рода существ наслаждения, самое бытие другого рода! Они вспоминали, как, наконец, честолюбивая, распространяя ежечасно свое владычество, она все более и более умножала раздражительность чувствования — и беспрестанно, в каждом новом существе, прибавляя к новому совершенству новый способ страдания, достигла наконец до человека, в душе его развернулась со всею своею безумною деятельностью и счастье всех людей восставила против счастья каждого человека. Пророки отчаяния с математическою точностью измеряли страдание каждого нерва в теле человека, каждого ощущения в душе его. «Вспомните,— говорили они,— с каким лицемерием неумолимая жизнь вызывает человека из сладких объятий ничтожества.— Она закрывает все чувства его волшебною пеленою при его рождении,— она боится, чтобы человек, увидев все безобразие жизни, не отпрянул от колыбели в могилу. Нет! коварная жизнь является ему сперва в виде теплой материнской груди, потом порхает перед ним бабочкою и блещет ему в глаза радужными цветами; она печется о его сохранении и совершенном устройстве его души, как некогда мексиканские жрецы пеклись о жертвах своему идолу; дальновидная, она дарит младенца мягкими членами, чтоб случайное падение не сделало человека менее способным к терзанию; несколькими покровами рачительно закрывает его голову и сердце, чтоб вернее сберечь в них орудия для будущей пытки; и несчастный привыкает к жизни, начинает любить ее: она то улыбается ему прекрасным образом женщины, то выглядывает на него из-под длинных ресниц ее, закрывая собою безобразные впадины черепа, то дышит в горячих речах ее; то в звуках поэзии олицетворяет все несуществующее; то жаждущего приводит к пустому кладезю науки, который кажется неисчерпаемым источником наслаждений. Иногда человек, прорывая свою пелену, мельком видит безобразие жизни, но она предвидела это и заранее зародила в нем любопытство увериться в самом ее безобразии, узнать ее; заранее поселила в человеке гордость видом бесконечного царства души его, и человек, завлеченный, упоенный, незаметно достигает той минуты, когда все нервы

его тела, все чувства его души, все мысли его ума — во всем блеске своего развития спрашивают: где же место их деятельности, где исполнение надежд, где цель жизни? Жизнь лишь ожидала этого мгновения, — быстро повергает она страдальца на плаху: сдергивает с него благодетельную пелену, которую подарила ему при рождении, и, как искусный анатом, обнажив нервы души его — обливает их жгучим холодом.

Иногда от взоров толпы жизнь скрывает свои избранные жертвы; в тиши, с рачением вскармливает их таинственную пищу мыслей, острит их ощущения; в их скудельную грудь вмещает всю безграничную свою деятельность — и, возвысив до небес дух их, жизнь с насмешкою бросает их в средину толпы; здесь они чужеземцы, — никто не понимает языка их, — нет их привычной пищи, — терзаемые внутренним голодом, заключенные в оковы общественных условий, они измеряют страдание человека всею возвышенностью своих мыслей, всею раздражительностью чувств своих; в своем медленном томлении перечувствуют томление всего человечества, — тщетно рвутся они к своей мнимой отчизне, — они издыхают, разуверившись в вере целого бытия своего, и жизнь, довольная, но не насыщенная их страданиями, с презрением бросает на их могилу бесплодный фимиам позднего благоговения.

Были люди, которые рано узнавали коварную жизнь, — и, презирая ее обманчивые призраки, с твердостью духа рано обращались они к единственному верному и неизменному союзнику их против ее ухищрений — ничтожеству. В древности слабоумное человечество называло их малодушными; мы, более опытные, менее способные обманываться, назвали их мудрейшими. Лишь они умели найти надежное средство против врага человечества и природы, против неистовой жизни; лишь они постигли, зачем она дала человеку так много средств чувствовать и так мало способов удовлетворять своим чувствам. Лишь они умели положить конец ее злобной деятельности и разрешить давний спор об алхимическом камне.

В самом деле, размыслите хладнокровно, — продолжали несчастные, — что делал человек от сотворения мира?.. он старался избегнуть от жизни, которая угнетала его своею существенностью. Она вогнала человека свободного, уединенного, в свинцовые условия общества,



и что же? человек несчастья одиночества заменил страданиями другого рода, может быть, ужаснейшими; он продал обществу, как злomu духу, блаженство души своей за спасение тела. Чего не выдумывал человек, чтоб украсить жизнь или забыть о ней. Он употребил на это всю природу, и тщетно в языке человеческого забывать о жизни — сделалось однозначительным с выражением: быть счастливым; эта мечта невозможная; жизнь ежеминутно напоминает о себе человеку. Тщетно он заставлял другого в кровавом поте лица отыскивать ему даже тени наслаждений,— жизнь являлась в образе пресыщения, ужаснейшем самого голода. В объятиях любви человек хотел укрыться от жизни, а она являлась ему под именами преступлений, вероломства и болезней. Вне царства жизни человек нашел что-то невыразимое, какое-то облако, которое он назвал поэзиею, философией,— в этих туманах он хотел спастись от глаз своего преследователя, а жизнь обратила этот утешительный призрак в грозное, тлетворное привидение. Куда же еще укрыться от жизни? мы переступили за пределы самого невыразимого! чего ждать еще более? мы исполнили, наконец, все мечты и ожидания мудрецов, нас предшествовавших. Долгим опытом уверились мы, что все различие между людьми есть только различие страданий,— и достигли, наконец, до того равенства, о котором так толковали наши предки. Смотрите, как мы блаженствуем: нет между нами ни властей, ни богачей, ни машин; мы тесно и очень тесно соединены друг с другом, мы члены одного семейства! — О люди! люди! не будем подражать нашим предкам, не дадимся в обман,— есть царство иное, безмятежное,— оно близко, близко!»

Тиха была речь пророков отчаяния — она впивалась в душу людей, как семя в разрыхленную землю, и росла, как мысль, давно уже развившаяся в глубоком уединении сердца. Всем понятна и сладка была она — и всякому хотелось договорить ее. Но, как во всех решительных эпохах человечества, недоставало избранного, который бы вполне выговорил мысль, крившуюся в душе человека.

Наконец явился он, мессия отчаяния! Хладен был взор его, громок голос, и от слов его мгновенно исчезали последние развалины древних поверий. Быстро вымолвил он последнее слово последней мысли человечества — и все пришло в движение,— призваны были все

усилия древнего искусства, все древние успехи злобы и мщениа, все, что когда-либо могло умерщвлять человека, и своды пресеклись под легким слоем земли, и искусством утонченная селитра, сера и уголь наполнили их от конца экватора до другого. В уреченный, торжественный час люди исполнили, наконец, мечтанья древних философов об общей семье и общем согласии человечества, с дикою радостью взялись за руки; громовой упрек выражался в их взоре. Вдруг из-под глыбы земли явилась юная чета, недавно пощаженная неистовою толпою; бледные, истощенные, как тени мертвецов, они еще сжимали друг друга в объятиях. «Мы хотим жить и любить посреди страданий», — восклицали они и на коленях умоляли человечество остановить минуту его отмщениа; но это мщение было возлелеяно вековыми щедротами жизни; в ответ раздался грозный хохот, то был условленный знак — в одно мгновение блеснул огонь; треск распадавшегося шара потряс солнечную систему; разорванные громады Альпов и Шимборазо взлетели на воздух, раздались несколько стонов... еще... пепел возвратился на землю... И все утихло... и вечная жизнь впервые раскаялась!..

## Город без имени

В пространных равнинах Верхней Канады, на пустынных берегах Ореноко, находятся остатки зданий, бронзовых оружий, произведения скульптуры, которые свидетельствуют, что некогда просвещенные народы обитали в сих странах, где ныне кочуют лишь толпы диких звероловов.

Гумбольд. *Vues des Cordillères*<sup>1</sup>. Т. 1.

...Дорога тянулась между скал, поросших мохом. Лошади скользили, поднимаясь на крутизну, и наконец совсем остановились. Мы принуждены были выйти из коляски...

Тогда только мы заметили на вершине почти неприступного утеса нечто, имевшее вид человека. Это привидение, в черной епанче, сидело недвижно между горами камней в глубоком безмолвии. Подойдя ближе к утесу, мы удивились, каким образом это существо могло взобраться на высоту почти по голым отвесным стенам. Почтальон на наши вопросы отвечал, что этот утес с некоторого времени служит обиталищем *черному человеку*, а в околдке говорили, что этот черный человек сходит редко с утеса, и только за пищу, потом снова возвращается на утес и по целым дням или бродит печально между камнями, или сидит недвижим, как статуя.

Сей рассказ возбудил наше любопытство. Почтальон указал нам узкую лестницу, которая вела на вершину. Мы дали ему несколько денег, чтобы заставить его ожидать нас спокойнее, и через несколько минут были уже на утесе.

Странная картина нам представилась. Утес был усеян обломками камней, имевшими вид развалин. Иногда причудливая рука природы или древнее незапамятное искусство растягивали их длиною чертою, в виде стены, иногда сбрасывали в груды обвалившегося свода. В некоторых местах обманутое воображение видело подобие перистилей; юные деревья в разных направлениях выказывались из-за обломков; повелика пробивалась между расселин и довершала очарование.

<sup>1</sup> Виды Кордильеров (франц.).

Шорох листьев заставил черного человека обернуться. Он встал, оперся на камень, имевший вид пьедестала, и смотрел на нас с некоторым удивлением, но без досады. Вид незнакомца был строг и величествен: в глубоких впадинах горели черные большие глаза; брови были наклонены, как у человека, привыкшего к беспрестанному размышлению; стан незнакомца казался еще величавее от черной епанчи, которая живописно струилась по левому плечу его и ниспадала на землю.

Мы старались извиниться, что нарушили его уединение...— Правда...— сказал незнакомец после некоторого молчания,— я здесь редко вижу посетителей; люди живут, люди проходят... разительные зрелища остаются в стороне, люди идут дальше, дальше — пока сами не обратятся в печальное зрелище...

— Не мудрено, что вас мало посещают,— возразил один из нас, чтоб завести разговор,— это место так уныло,— оно похоже на кладбище.

— На кладбище...— прервал незнакомец,— да, это правда! — прибавил он горько.— Это правда — здесь могилы многих мыслей, многих чувств, многих воспоминаний...

— Вы, верно, потеряли кого-нибудь, очень дорогого вашему сердцу? — продолжал мой товарищ.

Незнакомец взглянул на него быстро; в глазах его выражалось удивление.

— Да, сударь,— отвечал он,— я потерял самое драгоценное в жизни — я потерял отчизну...

— Отчизну?..

— Да, отчизну! вы видите ее развалины. Здесь, на самом этом месте, некогда волновались страсти, горела мысль, блестящие чертоги возносились к небу, сила искусства приводила природу в недоумение... Теперь остались одни камни, заросшие травой,— бедная отчизна! я предвидел твоё падение, я стонал на твоих распутиях: ты не услышала моего стона... и мне суждено было пережить тебя.— Незнакомец бросился на камень, скрывая лицо свое... Вдруг он вспрынул и старался оттолкнуть от себя камень, служивший ему подпорою.

— Опять ты предо мною,— вскричал он,— ты, вина всех бедствий моей отчизны,— прочь — прочь — мои слезы не согреют тебя, столб безжизненный... слезы бесполезны... бесполезны?.. не правда ли?..— Незнакомец захохотал.

Желая дать другой оборот его мыслям, которые с каждой минутой становились для нас непонятнее, мой товарищ спросил незнакомца, как называлась страна, посреди развалин которой мы находились?

— У этой страны нет имени — она недостойна его; некогда она носила имя — имя громкое, славное, но она втоптала его в землю; годы засыпали его прахом; мне не позволено снимать завесу с этого таинства...

— Позвольте вас спросить, — продолжал мой товарищ, — неужели ни на одной карте не означена страна, о которой вы говорите?..

Этот вопрос, казалось, поразил незнакомца...

— Даже на карте... — повторил он после некоторого молчания, — да, это может быть... это должно так быть; так... посреди бесчисленных переворотов, потрясавших Европу в последние веки, легко может статься, что никто и не обратил внимание на небольшую колонию, поселившуюся на этом неприступном утесе; она успела образоваться, процветать и... погибнуть, незамеченная историками... но, впрочем... позвольте... это не то... она и не должна была быть замеченною; скорбь смешивает мои мысли, и ваши вопросы меня смущают... Если хотите... я вам расскажу историю этой страны по порядку... это мне будет легче... одно будет напоминать другое... только не перерывайте меня...

Незнакомец облокотился на пьедестал, как будто на кафедру, и с важным видом оратора начал так:

«Давно, давно — в XVIII столетии — все умы были взволнованы теориями общественного устройства; везде спорили о причинах упадка и благоденствия государств: и на площади, и на университетских диспутах, и в спальне красавиц, и в комментариях к древним писателям, и на поле битвы.

Тогда один молодой человек в Европе был озарен новою, оригинальною мыслию. Нас окружают, говорил он, тысячи мнений, тысячи теорий; все они имеют одну цель — благоденствие общества, и все противоречат друг другу. Посмотрим, нет ли чего-нибудь общего всем этим мнениям? Говорят о правах человека, о должностях: но что может заставить человека не переступить границ своего права? что может заставить человека свято хранить свою должность? одно — собственная его польза! Тщетно вы будете ослаблять права человека, когда к сохранению их влечет его собственная польза; тщетно вы

будете доказывать ему святость его долга, когда он в противоречии с его пользою. Да, *польза* есть существенный двигатель всех действий человека! Что бесполезно — то вредно, что полезно — то позволено. Вот единственное твердое основание общества! Польза и одна польза — да будет вашим и первым и последним законом! Пусть из нее происходить будут все ваши постановления, ваши занятия, ваши нравы; пусть польза заменит шаткие основания так называемой совести, так называемого врожденного чувства, все поэтические бредни, все вымыслы филантропов — и общество достигнет прочного благоденствия.

Так говорил молодой человек в кругу своих товарищей, — и это был — мне не нужно называть его — это был Бентам.

Блистательные выводы, построенные на столь твердом, положительном основании, воспламенили многих. Посреди старого общества нельзя было привести в исполнение обширную систему Бентама: тому противились и старые люди, и старые книги, и старые поверья. Эмиграции были в моде. Богачи, художники, купцы, ремесленники обратили свое имение в деньги, запаслись земледельческими орудиями, машинами, математическими инструментами, сели на корабль и пустились отыскивать какой-нибудь незанятый уголок мира, где спокойно, вдали от мечтателей, можно было бы осуществить блистательную систему.

В это время гора, на которой мы теперь находимся, была окружена со всех сторон морем. Я еще помню, когда паруса наших кораблей развевались в гавани. Неприступное положение этого острова понравилось нашим путешественникам. Они бросили якорь, вышли на берег, не нашли на нем ни одного жителя и заняли землю по праву первого приобретателя.

Все, составлявшие эту колонию, были люди более или менее образованные, одаренные любовью к наукам и искусствам, отличавшиеся изысканностью вкуса, привычкою к изящным наслаждениям. Скоро земля была возделана; огромные здания, как бы сами собою, поднялись из нее; в них соединились все прихоти, все удобства жизни; машины, фабрики, библиотеки, все явилось с невыразимою быстротою. Избранный в правители лучший друг Бентама все двигал своею сильною волею и своим светлым умом. Замечал ли он где-нибудь малейшее ослабле-

ние, малейшую нерадивость — он произносил заветное слово: *польза* — и все по-прежнему приходило в порядок, поднимались ленивые руки, воспламенялась погасавшая воля; словом, колония процветала. Проникнутые признательностью к виновнику своего благоденствия, обитатели счастливого острова на главной площади своей воздвигнули колоссальную статую Бентама и на пьедестале золотыми буквами начертали: *польза*.

Так протекали долгие годы. Ничто не нарушало спокойствия и наслаждений счастливого острова. В самом начале возродился было спор по предмету довольно важному. Некоторые из первых колонистов, привыкшие к вере отцов своих, находили необходимым устроить храм для жителей. Разумеется, что тотчас же возродился вопрос: полезно ли это? и многие утверждали, что храм не есть какое-либо мануфактурное заведение и что, следовательно, не может приносить никакой ощутительной пользы. Но первые возражали, что храм необходим для того, дабы проповедники могли беспрестанно напоминать обитателям, что польза есть единственное основание нравственности и единственный закон для всех действий человека. С этим все согласились — и храм был устроен.

Колония процветала. Общая деятельность превосходила всякое вероятие. С раннего утра жители всех сословий поднимались с постели, боясь потерять понапрасну и малейшую частицу времени, — и всякий принимался за свое дело: один трудился над машиной, другой взрывал новую землю, третий пускал в рост деньги — едва успевали обедать. В обществах был один разговор — о том, из чего можно извлечь себе пользу? Появилось множество книг по сему предмету — что я говорю? одни такого рода книги и выходили. Девушка вместо романа читала трактат о прядильной фабрике; мальчик лет двенадцати уже начинал откладывать деньги на составление капитала для торговых оборотов. В семействах не было ни бесполезных шуток, ни бесполезных рассеяний, — каждая минута дня была разочтена, каждый поступок взвешен, и ничто даром не терялось. У нас не было минуты спокойствия, не было минуты того, что другие называли самонаслаждением, — жизнь беспрестанно двигалась, вертелась, трещала.

Некоторые из художников предложили устроить театр. Другие находили такое заведение совершенно бесполезным. Спор долго длился — но наконец решили, что

театр может быть полезным заведением, если все представления на нем будут иметь целью доказать, что польза есть источник всех добродетелей и что бесполезное есть главная вина всех бедствий человечества. На этом условии театр был устроен.

Возникали многие подобные споры; но как государством управляли люди, обладавшие Бентамовою неотразимою диалектикою, то скоро прекращались ко всеобщему удовольствию. Согласие не нарушалось — колония процветала!

Восхищенные своим успехом, колонисты положили на вечные времена не переменять своих узаконений, как признанных на опыте последним совершенством, до которого человек может достигнуть. Колония процветала.

Так снова протекли долгие годы. Невдалеке от нас, также на необитаемом острове, поселилась другая колония. Она состояла из людей простых, из земледельцев, которые поселились тут не для осуществления какой-либо системы, но просто чтоб снискивать себе пропитание. То, что у нас производили энтузиазм и правила, которые мы сосали с молоком матерним, то у наших соседей производилось необходимостью жить и трудом безотчетным, но постоянным. Их нивы, луга были разработаны, и возвышенная искусством земля сторицею вознаграждала труд человека.

Эта соседняя колония показалась нам весьма удобным местом для так называемой *эксплуатации*<sup>1</sup>; мы завели с нею торговые сношения, но, руководствуясь словом *польза*, мы не считали за нужное щадить наших соседей; мы задерживали разными хитростями провоз к ним необходимых вещей и потом продавали им свои втридорога; многие из нас, оградясь всеми законными формами, предприняли против соседей весьма удачные банкротства, от которых у них упали фабрики, что послужило в пользу нашим; мы ссорили наших соседей с другими колониями, помогали им в этих случаях деньгами, которые, разумеется, возвращались нам сторицею; мы завлекали их в биржевую игру и посредством искусных оборотов были постоянно в выигрыше; наши агенты жили у соседей безвыходно и всеми средствами: лестью, коварством, деньгами, угрозами — постоянно распрост-

<sup>1</sup> К счастью, это слово в сем смысле еще не существует в русском языке; его можно перевести: наживка на счет ближнего. (Прим. В. Ф. Одоевского.)



раняли нашу монополию. Все наши богатели — колония процветала.

Когда соседи вполне разорились благодаря нашей мудрой, основательной политике, правители наши, собравши выборных людей, предложили им на разрешение вопрос: не будет ли полезно для нашей колонии уже совсем приобрести землю наших ослабевших соседей? Все отвечали утвердительно. За сим следовали другие вопросы: как приобрести эту землю, деньгами или силою? На этот вопрос отвечали, что сначала надобно испытать деньгами: а если это средство не удастся, то употребить силу. Некоторые из членов совета хотя и соглашались, что народонаселение нашей колонии требовало новой земли, но что, может быть, было бы согласно более с справедливостию занять какой-либо другой необитаемый остров, нежели посягать на чужую собственность. Но эти люди были признаны за вредных мечтателей, за идеологов: им доказано было посредством математической выкладки, во сколько раз более выгод может принести земля уже обработанная в сравнении с землею, до которой еще не прикасалась рука человека. Решено было отправить к нашим соседям предложение об уступке нам земли их за известную сумму. Соседи не согласились... Тогда, приведя в торговый баланс издержки на войну с выгодами, которые можно было извлечь из земли наших соседей, мы напали на них вооруженною рукою, уничтожили все, что противопоставляло нам какое-либо сопротивление; остальных принудили откочевать в дальние страны, а сами вступили в обладание островом.

Так, по мере надобности, поступали мы и в других случаях. Несчастные обитатели окружных земель, казалось, разрабатывали их для того только, чтоб сделаться нашими жертвами. Имея беспрестанно в виду одну собственную пользу, мы почитали против наших соседей все средства дозволенными: и политические хитрости, и обман, и подкупы. Мы по-прежнему ссорили соседей между собою, чтоб уменьшить их силы; поддерживали слабых, чтоб противопоставить их сильным; нападали на сильных, чтоб восстановить против них слабых. Мало-помалу все окружные колонии, одна за другою, подпали под нашу власть — и Бентамия сделалась государством грозным и сильным. Мы величали себя похвалами за наши великие подвиги и нашим детям поставляли в пример тех достославных мужей, которые оружием, а тем

паче обманом обогатили нашу колонию. Колония процветала.

Снова протекли долгие годы. Вскоре за покоренными соседями мы встретили других, которых покорение было не столь удобно. Тогда возникли у нас споры. Пограничные города нашего государства, получавшие важные выгоды от торговли с иноземцами, находили полезным быть с ними в мире. Напротив, жители внутренних городов, стесненные в малом пространстве, жаждали расширения пределов государства и находили весьма полезным затеять ссору с соседями,— хоть для того, чтобы избавиться от излишка своего народонаселения. Голоса разделились. Обе стороны говорили об одном и том же: об общей пользе, не замечая того, что каждая сторона под этим словом понимала лишь свою собственную. Были еще другие, которые, желая предупредить эту распрю, заводили речь о самоотвержении, о взаимных уступках, о необходимости пожертвовать что-либо в настоящем для блага будущих поколений. Этим людям обе стороны засыпали неопровержимыми математическими выкладками; этих людей обе стороны называли вредными мечтателями, идеологами; и государство распалось на две части: одна из них объявила войну иноземцам, другая заключила с ними торговый трактат<sup>1</sup>.

Это раздробление государства сильно подействовало на его благоденствие. Нужда оказалась во всех классах; должно было отказать себе в некоторых удобствах жизни, обратившихся в привычку. Это показалось нестерпимым. Соревнование произвело новую промышленную деятельность, новое изыскание средств для приобретения прежнего достатка. Несмотря на все усилия, бентамиты не могли возратить в свои дома прежней роскоши — и на то были многие причины. При так называемом благородном соревновании, при усиленной деятельности всех и каждого, между отдельными городами часто происходило то же, что между двумя частями государства. Противоположные выгоды встречались; один не хотел уступить

---

<sup>1</sup> Американский республиканский журнал «Tribune» (из коего отрывок напечатан в «Северной пчеле», 1861, сентября 21, № 209, с. 859, кол. 4), исчисляя следствие торжества ультрадемократической партии, говорит: «один штат немедленно объявит недействительным тариф союза, другой воспротивится военным налогам, третий не позволит ходить в своих пределах почте; вследствие всего этого союз придет в полное расстройство». (Прим. В. Ф. Одоевского.)

другому: для одного города нужен был канал, для другого железная дорога; для одного в одном направлении, для другого в другом. Между тем банкирские операции продолжались, но, сжатые в тесном пространстве, они необходимо, *по естественному ходу вещей*, должны были обратиться уже не на соседей, а на самих бентамитов; и торговцы, следуя нашему высокому началу — польза, принялись спокойно наживаться банкротствами; благо-разумно задерживать предметы, на *которые было требо-вание*, чтоб потом продавать их дорогою ценою; с осно-вательностью заниматься биржевою игрою; под видом неограниченной, так называемой священной свободы торговли учреждать монополию. Одни разбогатели — другие разорились. Между тем никто не хотел пожертво-вать частию своих выгод для общих, когда эти последние не доставляли ему непосредственной пользы; и каналы засорялись; дороги не оканчивались по недостатку обще-го содействия; фабрики, заводы упали; библиотеки были распроданы; театры закрылись. Нужда увеличива-лась и поражала равно всех, богатых и бедных. Она раз-дражала сердца; от упреков доходили до распрей; обна-жались мечи, кровь лилась, восставала страна на страну, одно поселение на другое; земля оставалась незасея-ною; богатая жатва истреблялась врагом; отец семейст-ва, ремесленник, купец отрывались от своих мирных за-нятий; с тем вместе общие страдания увеличились.

В этих внешних и междуусобных бранях, которые то прекращались на время, то вспыхивали с новым ожесто-чением, протекло еще много лет. От общих и частных скорбей общим чувством сделалось общее уныние. Исто-щенные долгой борьбою, люди предались бездействию. Никто не хотел ничего предпринимать для будущего. Все чувства, всё мысли, все побуждения человека ограничи-лись настоящей минутой. Отец семейства возвращался в дом скучный, печальный. Его не тешили ни ласки жены, ни умственное развитие детей. Воспитание казалось из-лишним. Одно считалось нужным — правдою или не-правдою добыть себе несколько вещественных выгод. Этому искусству отцы боялись учить детей своих, чтоб не дать им оружия против самих себя; да и было бы из-лишним; юный бентамит с ранних лет, из древних пре-даний, из рассказов матери научался одной науке: избе-гать законов божеских и человеческих и смотреть на них лишь как на одно из средств извлекать себе какую-ни-

будь выгоду. Нечему было оживить борьбу человека; нечему было утешить его в скорби. Божественный, одушевляющий язык поэзии был недоступен бентамиту. Великие явления природы не погружали его в ту беспечную думу, которая отторгает человека от земной скорби. Мать не умела завести песни над колыбелью младенца. Естественная поэтическая стихия издавна была умерщвлена корыстными расчетами пользы. Смерть этой стихии заразила все другие стихии человеческой природы; все отвлеченные, общие мысли, связывающие людей между собою, показались бредом; книги, знания, законы нравственности — бесполезно роскошью. От прежних славных времен осталось только одно слово — *польза*; но и то получило смысл неопределенный: его всякий толковал по своему.

Вскоре раздоры возникли внутри самого главного нашего города. В его окрестностях находились богатые рудники каменного угля. Владельцы этих рудников получали от них богатый доход. Но от долгого времени и углубления копей они наполнились водой. Добывание угля сделалось трудным. Владельцы рудников возвысили на него цену. Остальные жители внутри города по дороговизне не могли более иметь этот необходимый материал в достаточном количестве. Наступила зима; недостаток в уголье сделался еще более ощутительным. Бедные прибежали к правительству. Правительство предложило средства вывести воду из рудников и тем облегчить добывание угля. Богатые воспротивились, доказывая неопровержимыми выкладками, что им выгоднее продавать малое количество за дорогую цену, нежели остановить работу для осушения копей. Начались споры, и кончилось тем, что толпа бедняков, дрожавших от холода, бросилась на рудники и овладела ими, доказывая с своей стороны также неопровержимо, что им гораздо выгоднее брать уголь даром, нежели платить за него деньги.

Подобные явления повторялись беспрестанно. Они наводили сильное беспокойство на всех обитателей города, не оставляли их ни на площади, ни под домашним кровом. Все видели общее бедствие. — и никто не знал, как пособить ему. Наконец, отыскивая повсюду вину своих несчастий, они вздумали, что причина находится в правительстве, ибо оно, хотя изредка, в своих воззваниях напоминало о необходимости помогать друг другу, жертвовать своею пользою пользе общей. Но уже все воззвания были

поздны; все понятия в обществе перемешались; слова переменили значение; самая общая польза казалась уже мечтою; эгоизм был единственным, святым правилом жизни; безумцы обвиняли своих правителей в ужаснейшем преступлении — в поэзии. «Зачем нам эти философические толкования о добродетели, о самоотвержении, о гражданской доблести? какие они приносят проценты? Помогите нашим существенным, положительным нуждам!» — кричали несчастные, не зная, что существенное зло было в их собственном сердце. «Зачем, — говорили купцы, — нам эти ученые и философы? им ли править городом? Мы занимаемся настоящим делом; мы получаем деньги, мы платим, мы покупаем произведения земли, мы продаем их, мы приносим существенную пользу: мы должны быть правителями!» И все, в ком нашлась хотя искра божественного огня, были, как вредные мечтатели, изгнаны из города. Купцы сделались правителями, и правление обратилось в компанию на акциях. Исчезли все великие предприятия, которые не могли непосредственно принести какую-либо выгоду или которых цель неясно представлялась ограниченному, корыстному взгляду торговцев. Государственная пронизательность, мудрое предвидение, исправление нравов — все, что не было направлено прямо к коммерческой цели, словом, что не могло приносить процентов, было названо — мечтами. Банкирский феодализм торжествовал. Науки и искусства замолкли совершенно; не являлось новых открытий, изобретений, усовершенствований. Умножившееся народонаселение требовало новых сил промышленности; а промышленность тянулась по старинной, избитой колее и не отвечала возрастающим нуждам.

Предстали пред человека неожиданные, разрушительные явления природы: бури, тлетворные ветры, мор, голод... униженный человек преклонял пред ними главу свою, а природа, не обузданная его властью, уничтожала одним дуновением плоды его прежних усилий. Все силы дряхлели в человеке. Даже честолюбивые замыслы, которые могли бы в будущем усилить торговую деятельность, но в настоящем расстроивали выгоды купцов-правителей, были названы предрассудками. Обман, подлоги, умышленное банкротство, полное презрение к достоинству человека, боготворение злата, угождение самым грубым требованиям плоти — стали делом явным, дозволенным, необходимым. Религия сделалась предметом совер-

шенно посторонним; нравственность заключалась в подведении исправных итогов; умственные занятия — изыскание средств обманывать без потери кредита; поэзия — баланс прихода-расходной книги; музыка — однообразная стукотня машин; живопись — черчение моделей. Нечему было подкрепить, возбудить, утешить человека; негде было ему забыться хоть на мгновение. Таинственные источники духа иссякли; какая-то жажда томила, — а люди не знали, как и назвать ее. Общие страдания увеличились.

В это время на площади одного из городов нашего государства явился человек, бледный, с распущенными волосами, в погребальной одежде. «Горе, — восклицал он, посыпая прахом главу свою, — горе тебе, страна нечестия; ты избива своих пророков, и твои пророки замолкли! Горе тебе! Смотри, на высоком небе уже собираются грозные тучи; или ты не боишься, что огонь небесный ниспадет на тебя и пожжет твои веси и нивы? Или спасут тебя твои мраморные чертоги, роскошная одежда, груды золота, толпы рабов, твое лицемерие и коварство? Ты растлила свою душу, ты отдала свое сердце в куплю и забыла все великое и святое; ты смешала значение слов и назвала золотом добро, добром — золото, коварство — умом и ум — коварством; ты презрела любовь, ты презрела науку ума и науку сердца. Падут твои чертоги, порвется твоя одежда, травюю порастут твои стогны, и имя твое будет забыто. Я, последний из твоих пророков, взываю к тебе: брось куплю и золото, ложь и нечестие, оживи мысли ума и чувства сердца, преклони колени не пред алтарями кумиров, но пред алтарем бескорыстной любви... Но я слышу голос твоего огрубелого сердца; слова мои тщетно ударяют в слух твой: ты не покаешься — проклинаю тебя!» С сими словами говоривший упал ниц на землю. Полиция раздвинула толпу любопытных и отвела несчастного в сумасшедший дом. Через несколько дней жители нашего города в самом деле были поражены ужасною грозою. Казалось, все небо было в пламени; тучи разрывались светло-синюю молнию; удары грома следовали один за другим непрерывно; деревья вырывало с корнем; многие здания в нашем городе были разбиты громовыми стрелами. Но больше несчастий не было; только чрез несколько времени в «Прейскуранте», единственной газете, у нас издававшейся, мы прочли следующую статью:

„Мылом тихо. На партии бумажных чулок делают двадцать процентов уступки. Выбойка требуется.

Р. С. Спешим уведомить наших читателей, что бывшая за две недели гроза нанесла ужасное повреждение на сто миль в окружности нашего города. Многие города сгорели от молнии. К довершению бедствий, в соседственной горе образовался вулкан; истекшая из него лава истребила то, что было пощажено грозой. Тысячи жителей лишились жизни. К счастью остальных, застывшая лава представила им новый источник промышленности. Они отламывают разноцветные куски лавы и обращают их в кольца, серьги и другие украшения. Мы советуем нашим читателям воспользоваться несчастным положением сих промышленников. По необходимости они продают свои произведения почти задаром, а известно, что все вещи, делаемые из лавы, могут быть перепроданы с большою выгодой и проч...“».

Наш незнакомец остановился. «Что вам рассказывать более? Недолго могла продлиться наша искусственная жизнь, составленная из купеческих оборотов.

Протекло несколько столетий. За купцами пришли ремесленники. «Зачем,— кричали они,— нам этих людей, которые пользуются нашими трудами и, спокойно сидя за своим столом, наживаютя? Мы работаем в поте лица; мы знаем труд; без нас они бы не могли существовать. Мы приносим существенную пользу городу — мы должны быть правителями!» И все, в ком таилось хоть какое-либо общее понятие о предметах, были изгнаны из города; ремесленники сделались правителями — и правление обратилось в мастерскую. Исчезла торговая деятельность; ремесленные произведения наполнили рынки; не было центров сбыта; пути сообщения пресеклись от невежества правителей; искусство оборачивать капиталы утратилось; деньги сделались редкостью. Общие страдания умножились.

За ремесленниками пришли землепашцы. «Зачем,— кричали они,— нам этих людей, которые занимаются безделками — и, сидя под теплою кровлею, съедают хлеб, который мы вырабатываем в поте лица, ночью и днем, в холоде и в зное? Что бы они стали делать, если бы мы не кормили их своими трудами? Мы приносим существенную пользу городу; мы знаем его первые, необходимые нужды — мы должны быть правителями». И все, кто

только имел руку, не привыкшую к грубой зѣмляной работе, все были изгнаны вон из города.

Подобные явления происходили с некоторыми изменениями и в других городах нашей земли. Изгнанные из одной страны, приходя в другую, находили минутное убежище; но ожесточившаяся нужда заставляла их искать нового. Гонимые из края в край, они собирались толпами и вооруженной рукою добывали себе пропитание. Нивы истаптывались конями; жатва истреблялась прежде созрения. Земледельцы принуждены были, для охранения себя от набегов, оставить свои занятия. Небольшая часть земли засеивалась и, обрабатываемая среди тревог и беспокоейств, приносила плод необильный. Предоставленная самой себе, без пособий искусства, она зарастала дикими травами, кустарником или заносилась морским песком. Некому было указать на могущественные пособия науки, долженствовавшие предупредить общие бедствия. Голод, со всеми его ужасами, бурной рекою разлился по стране нашей. Брат убивал брата остатком плуга и из окровавленных рук вырывал скудную пищу. Великолепные здания в нашем городе давно уже опустели; бесполезные корабли сгнивали в пристани. И странно и страшно было видеть возле мраморных чертогов, говоривших о прежнем величии, необузданную, грубую толпу, в буйном разврате спорившую или о власти, или о дневном пропитании! Землетрясения довершили начатое людьми: они опрокинули все памятники древних времен, засыпали пеплом; время заволокло их травой. От древних воспоминаний остался лишь один четвероугольный камень, на котором некогда возвышалась статуя Бентама. Жители удалились в леса, где ловля зверей представляла им возможность снискивать себе пропитание. Разлученные друг от друга, семейства дичали; с каждым поколением терялась часть воспоминаний о прошедшем. Наконец, горе! я видел последних потомков нашей славной колонии, как они в суеверном страхе преклоняли колени пред пьедесталом статуи Бентама, принимая его за древнее божество, и приносили ему в жертву пленников, захваченных в битве с другими, столь же дикими племенами. Когда я, указывая им на развалины их отчизны, спрашивал: какой народ оставил по себе эти воспоминания? — они смотрели на меня с удивлением и не понимали моего вопроса. Наконец погибли и последние остатки нашей колонии, удрученные голодом, болезнями или истреблен-



ные хищными зверями. От всей отчизны остался этот безжизненный камень, и один я над ним плачу и проклинаю. Вы, жители других стран, вы, поклонники злата и плоти, поведайте свету повесть о моей несчастной отчизне... а теперь удалитесь и не мешайте моим рыданиям».

Незнакомец с ожесточением схватился за четверугольный камень и, казалось, всеми силами старался повергнуть его на землю...

Мы удалились.

Приехав на другую станцию, мы старались от трактирщика собрать какие-либо сведения о говорившем с нами отшельнике.

— О! — отвечал нам трактирщик. — Мы знаем его. Несколько времени тому назад он объявил желание сказать проповедь на одном из наших митингов (meetings). Мы все обрадовались, особливо наши жены, и собрались послушать проповедника, думая, что он человек порядочный; а он с первых слов начал нас бранить, доказывать, что мы самый безнравственный народ в целом свете, что банкротство есть вещь самая бессовестная, что человек не должен думать беспрестанно об увеличении своего богатства, что мы непременно должны погибнуть... и прочие, тому подобные, предосудительные вещи. Наше самолюбие не могло стерпеть такой обиды национальному характеру — и мы выгнали оратора за двери. Это его, кажется, тронуло за живое; он помешался, скитается из стороны в сторону, останавливает проходящих и каждому читает отрывки из сочиненной им для нас проповеди.

---

4338-й год<sup>1</sup>  
Петербургские письма

ПРЕДИСЛОВИЕ

Примечание. Эти письма доставлены нижеподписавшемуся человеком, весьма примечательным в некоторых отношениях (он не желает объявлять своего имени). Занимаясь в продолжение нескольких лет месмерическими опытами, он достиг такой степени в сем искусстве, что может сам собою по произволу приходиться в сомнамбулическое состояние; любопытнее всего то, что он заранее может выбрать предмет, на который должно устремить его магнетическое зрение.

Таким образом он переносится в какую угодно страну, эпоху или в положение какого-либо лица почти без всяких усилий; его природная способность, изощренная долгим упражнением, позволяет ему рассказывать или записывать все, что представляется его магнетической фантазии; проснувшись, он все забывает и сам по крайней мере с любопытством прочитывает написанное. Вычисления астрономов, доказывающих, что в 4339 году, то есть 2500 лет после нас, комета Вьелы должна непременно встретиться с Землею, сильно поразили нашего сомнамбула; ему захотелось проведать, в каком положении будет находиться род человеческий за год до этой страшной минуты; какие об ней будут толки, какое впечатление она произведет на людей, вообще какие будут тогда нравы, образ жизни; какую форму получают сильнейшие чувства человека: честолюбие, любознательность, любовь; с этим намерением он погрузился в сомнамбулическое состояние, продолжавшееся довольно долго; вышедши из него, сомнамбул увидел пред собою исписанные листы бумаги, из которых узнал, что он во время сомнамбулизма был китайцем XLIV столетия, путешествовал по России и очень усердно переписывался с своим другом, оставшимся в Пекине.

---

<sup>1</sup> По вычислениям некоторых астрономов, комета Вьелы должна в 4339 году, то есть 2500 лет после нас, встретиться с Землею. Действие романа, из которого взяты сии письма, проходит за год до сей катастрофы. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

Когда сомнамбул сообщил эти письма своим приятелям, тогда ему сделаны были разные возражения; одно казалось в них слишком обыкновенным, другое невозможным; он отвечал: «Не спорю,— может быть, сомнамбулическая фантазия иногда обманывает, ибо она всегда более или менее находится под влиянием настоящих наших понятий, а иногда отвлекается от истинного пути, по законам до сих пор еще не объясненным»; однако же, соображая рассказ моего китайца с разными нам теперь известными обстоятельствами, нельзя сказать, чтобы он во многом ошибался: во-первых, люди всегда останутся людьми, как это было с начала мира: останутся все те же страсти, все те же побуждения; с другой стороны, формы их мыслей и чувств, а в особенности их физический быт должен значительно измениться. Вам кажется странным их понятие о нашем времени; вы полагаете, что мы более знаем, например, о том, что случилось за 2500 лет до нас; но заметьте, что характеристическая черта новых поколений — заниматься настоящим и забывать о прошедшем; человечество, как сказал некто, как брошенный сверху камень, который беспрестанно ускоряет свое движение; будущим поколениям столько будет дела в настоящем, что они гораздо более нас разнакомятся с прошедшим; этому поможет неминуемое истребление наших письменных памятников: действительно, известно, что в некоторых странах, например, в Америке, книги по причине одних насекомых не переживут и столетия; но сколько других обстоятельств должны истребить нашу тряпичную бумагу в продолжение нескольких столетий; скажите, что бы мы знали о временах Нехао, даже Дария, Псамметиха, Солона, если бы древние писали на нашей бумаге, а не на папирусе, пергаменте или, того лучше, на каменных памятниках, которые у них были в таком употреблении; не только чрез 2500 лет, но едва ли чрез 1000 останется что-либо от наших нынешних книг; разумеется, некоторые из них будут перепечатываться, но когда исчезнут первые документы, тогда явятся настоящие и мнимые ошибки, поверить будет нечем; догадки прибавят новое число ошибок, а между тем ближайшие памятники истребятся в свою очередь; сообразите все это, и тогда уверитесь, что чрез 2500 лет об нашем времени люди несравненно меньше будут иметь понятия, нежели какое мы имеем о времени за 700 лет до Р. Х., то есть за 2500 лет до нас.

Истребление пород лошадей есть также дело очевидное, и тому существуют тысячи примеров в наше время. Не говоря уже о допотопных животных, об огромных ящерицах, которые, как доказал Кювье, некогда населяли нашу землю, вспомним, что, по свидетельству Геродота, львы водились в Македонии, в Малой Азии и в Сирии, а теперь редки даже за пределами Персии и Индии, в степях Аравийских и Африке. Измельчание породы собак совершилось почти на наших глазах и может быть производимо искусством, точно так же как садовники обрабатывают большие лиственные и хвойные деревья в небольшие горшечные растения.

Нынешние успехи химии делают возможным предположение об изобретении эластического стекла, которого недостаток чувствует наша нынешняя промышленность и которое некогда было представлено Нерону, в чем еще ни один историк не сомневался. Нынешнее медицинское употребление газа также должно некогда обратиться в ежедневное употребление, подобно перцу, ванили, спирту, кофе, табаку, которые некогда употребляли только в виде лекарства; об аэростатах нечего и говорить; если в наше время перед нашими глазами паровые машины достигли от чайника, случайно прикрытого тяжестью, до нынешнего своего состояния, то как сомневаться, что, может быть, XIX столетие еще не кончится, как аэростаты войдут во всеобщее употребление и изменят формы общественной жизни в тысячу раз более, нежели паровые машины и железные дороги. Словом, продолжал мой знакомый, в рассказе моего китайца я не нахожу ничего такого, существование чего не могло бы естественным образом быть выведено из общих законов развития сил человека в мире природы и искусства. Следственно, не должно слишком упрекать мою фантазию в преувеличении.

Мы сочли нужным поместить сии строки в виде предисловия к нижеследующим письмам.

*Кн. В. Одоевский*

От Ипполита Цунгиева, студента Главной Пекинской школы, к Лингину, студенту той же школы.

*Константинополь, 27-го декабря 4337-го года*

Пишу к тебе несколько слов, любезный друг,— с границы Северного Царства. До сих пор поездка моя была благополучна; мы с быстротою молнии пролетели сквозь Гималайский туннель, но в Каспийском туннеле были остановлены неожиданным препятствием: ты, верно, слышал об огромном аэролите, недавно пролетевшем чрез южное полушарие; этот аэролит упал недалеко от Каспийского туннеля и засыпал дорогу. Мы должны были выйти из электрохода и с смирением пробираться просто пешком между горами метеорического железа; в это время на море была буря; седой Каспий ревел над нашими головами и каждую минуту, кажется, готов был на нас рухнуть; действительно, если бы аэролит упал несколькими саженями далее, то туннель бы непременно прорвался и сердитое море отомстило бы человеку его дерзкую смелость; но, однако ж, на этот раз человеческое искусство выдержало натиск дикой природы; за несколько шагов нас ожидал в туннеле новый электроход, великолепно освещенный гальваническими фонарями, и в одно мгновение ока Ерзерумские башни промелькнули мимо нас.

Теперь,— теперь слушай и ужасайся! я сажусь в Русский гальваностат! — увидев эти воздушные корабли, признаюсь, я забыл и увещания деда Орлия, и собственную опасность,— и все наши понятия об этом предмете.

Воля твоя,— летать по воздуху есть врожденное чувство человеку. Конечно, наше правительство поступило основательно, запретив плавание по воздуху; в состоянии нашего просвещения еще рано было нам и помышлять об этом; несчастные случаи, стоившие жизни десяткам тысяч людей, доказывают необходимость решительной меры, принятой нашим правительством. Но в России совсем другое; если бы ты видел, с какою усмешкою русские выслушали мои опасения, мои вопросы о предосторожностях... они меня не понимали! они так верят в силу науки и в собственную бодрость духа, что для них летать по воздуху то же, что нам ездить по железной дороге. Впрочем, русские имеют право смеяться над нами; каждым гальваностатом управляет особый профессор; весьма тонкие многосложные снаряды показывают перемену в слоях воздуха и предупреждают направление ветра. Весьма немногие из русских подвержены воздушной бо-

лезни; при крепости их сложения они в самых верхних слоях атмосферы почти не чувствуют ни стеснения в груди, ни напора крови — может быть, тут многое значит привычка.

Однако я не могу от тебя скрыть, что и здесь распространилось большое беспокойство. На воздушной станции я застал русского министра гальваностатики вместе с министром астрономии; вокруг них толпилось множество ученых, они осматривали почтовые гальваностаты и аэростаты, приводили в действие разные инструменты и снаряды — тревога была написана на всех лицах.

Дело в том, любезный друг, что падение Галлеевой кометы на землю, или, если хочешь, соединение ее с землею, кажется делом решенным; приблизительно назначает время падения нынешним годом, — но ни точного времени, ни места падения, по разным соображениям, определить нельзя.

*С.-Петербург. 4 Янв. 4338-го.*

#### ПИСЬМО 2-е

Наконец я в центре русского полушария и всемирного просвещения; пишу к тебе, сидя в прекрасном доме, на выпуклой крыше которого огромными хрустальными буквами изображено: *Гостиница для прилетающих*. Здесь такое уже обыкновение: на богатых домах крыши все хрустальные или крыты хрустальною же белою черепицей, а имя хозяина сделано из цветных хрусталей. Ночью, как дома освещены внутри, эти блестящие ряды кровель представляют волшебный вид; сверх того, сие обыкновение очень полезно, — не так, как у нас, в Пекине, где ночью сверху никак не узнаешь дома своего знакомого, надобно спускаться на землю. Мы летели очень тихо; хотя здешние почтовые аэростаты и прекрасно устроены, но нас беспрестанно задерживали противные ветры. Представь себе, мы сюда из Пекина дотащились едва на восьмой день! Что за город, любезный товарищ! что, за великолепие! что за огромность! Пролетая через него, я верил баснословному преданию, что здесь некогда были два города, из которых один назывался Москвою, а другой собственно Петербургом, и они были отделены друг от друга едва ли не степью. Действительно, в той части города, которая называется Московскою и где находятся

величественные остатки древнего Кремля, есть в характере архитектуры что-то особенное. Впрочем, больших новостей от меня не жди; я почти ничего не мог рассмотреть, ибо дядюшка очень спешил; я успел заметить только одно: что воздушные дороги здесь содержат в отличном порядке, да — чуть не забыл — мы залетели к экватору, но лишь на короткое время, посмотреть начало системы теплохранилищ, которые отсюда тянутся почти по всему северному полушарию; истинно, дело достойное удивления! труд веков и науки! Представь себе: здесь непрерывно огромные машины вгоняют горячий воздух в трубы, соединяющиеся с главными резервуарами; а с этими резервуарами соединены все теплохранилища, особливо устроенные в каждом городе сего обширного государства; из городских хранилищ теплый воздух проведен частью в дома и в крытые сады, а частью устремляется по направлению воздушного пути, так что во всю дорогу, несмотря на суровость климата, мы почти не чувствовали холода. Так русские победили даже враждебный свой климат! Мне сказывали, что здесь общество промышленников хотело предложить нашему правительству доставлять, наоборот, отсюда холодный воздух прямо в Пекин для освежения улиц; но теперь не до того: все заняты одним — кометою, которая через год должна разрушить нашу Землю. Ты знаешь, что дядюшка отправлен нашим императором в Петербург для переговоров именно по сему предмету. Уже было несколько дипломатических собраний: наше дело, во-первых, осмотреть на месте все принимаемые меры против сего бедствия, и, во-вторых, ввести Китай в союз государств, соединившихся для общих издержек по сему случаю. Впрочем, здешние ученые очень спокойны и решительно говорят, что если только рабочие не потеряют присутствия духа при действии снарядами, то весьма возможно будет предупредить падение кометы на Землю: нужно только знать заблаговременно, на какой пункт комета устремится; но астрономы обещают вычислить это в точности, как скоро она будет видима в телескоп. В одном из следующих писем я тебе расскажу все меры, предпринятые здесь по сему случаю правительством. Сколько знаний! сколько глубокомыслия! Удивительная ученость, и еще более удивительная изобретательность в этом народе! Она здесь видна на каждом шагу; по одной смелой мысли воспротивиться падению кометы ты можешь судить об остальном: все в таком

же размере, и часто, признаюсь, со стыдом вспоминал я о состоянии нашего отечества; правда, однако ж, и то, что мы народ молодой, а здесь, в России, просвещение считается тысячелетиями: это одно может утешить народное самолюбие.

Смотря на все меня окружающее, я часто, любезный товарищ, спрашиваю самого себя, что было бы с нами, если б за 500 лет перед сим не родился наш великий Хун-Гин, который пробудил наконец Китай от его векового усыпления или, лучше сказать, мертвого застоя; если б он не уничтожил следов наших древних, ребяческих наук, не заменил наш фетишизм истинною верою, не ввел нас в общее семейство образованных народов? Мы, без шуток, сделались бы теперь похожими на этих одичавших американцев, которые, за недостатком других спекуляций, продают свои города с публичного торгу, потом приходят к нам грабить, и против которых мы одни в целом мире должны содержать войско. Ужас подумать, что не более двухсот лет, как воздухоплавание у нас вошло во всеобщее употребление, и что лишь победы русских над нами научили нас сему искусству! А всему виною была эта закоснелость, в которой наши поэты еще и теперь находят что-то поэтическое. Конечно, мы, китайцы, ныне ударились в противоположную крайность — в безотчетное подражание иноземцам; все у нас на русский манер: и платье, и обычаи, и литература; одного у нас нет — русской сметливости, но и ее приобретем со временем. Да, мой друг, мы отстали, очень отстали от наших знаменитых соседей; будем же спешить учиться, пока мы молоды и есть еще время. Прощай; пиши ко мне с первым телеграфом.

P. S. Скажи твоему батюшке, что я исполнил его комиссию и поручил одному из лучших химиков снять в камер-обскуру некоторые из древнейших здешних зданий, как они есть, с абрисом и красками; ты увидишь, как мало на них походят так называемые у нас дома в русском вкусе.

### ПИСЬМО 3-е

Один из здешних ученых, г-н Хартин, водил меня вчера в Кабинет Редкостей, которому посвящено огромное здание, построенное на самой середине Невы и имеющее



вид целого города. Многочисленные арки служат сообщением между берегами; из окон виден огромный водомет, который спасает приморскую часть Петербурга от наводнений. Ближний остров, который в древности назывался Васильевским, также принадлежит к Кабинету. Он занят огромным крытым садом, где растут деревья и кустарники, а за решетками, но на свободе, гуляют разные звери; этот сад есть чудо искусства! Он весь построен на сводах, которые нагреваются теплым воздухом постепенно, так, что несколько шагов отделяют знойный климат от умеренного; словом, этот сад — сокращение всей нашей планеты; исходить его то же, что сделать путешествие вокруг света. Произведения всех стран собраны в этом уголке, и в том порядке, в каком они существуют на земном шаре. Сверх того, в середине здания, посвященного Кабинету, на самой Неве, устроен огромный бассейн нагреваемый, в котором содержат множество редких рыб и земноводных различных пород; по обеим сторонам находятся залы, наполненные сухими произведениями всех царств природы, расположенными в хронологическом порядке, начиная от допотопных произведений до наших времен. Осмотрев все это хотя бегло, я понял, каким образом русские ученые приобретают такие изумительные сведения. Стоит только походить по сему Кабинету — и, не заглядывая в книги, сделаешься очень сведущим натуралистом. Здесь, между прочим, очень замечательная коллекция животных... Сколько пород исчезло с лица земли или изменилось в своих формах! Особенно поразил меня очень редкий экземпляр гигантской лошади, на которой сохранилась даже шерсть. Она совершенно походит на тех лошадок, которых дамы держат ныне вместе с постельными собачками; но только древняя лошадь была огромного размера: я едва мог достать ее голову.

— Можно ли верить тому, — спросил я у смотрителя Кабинета, — что люди некогда садились на этих чудовищ?

— Хотя на это нет достоверных сведений, — отвечал он, — но до сих пор сохранились древние памятники, где люди изображены верхом на лошадях.

— Не имеют ли эти изображения какого-нибудь аллегорического смысла? Может быть, древние хотели этим выразить победу человека над природою или над своими страстями?

— Так думают многие, и не без основания,— сказал Хартин,— но кажется, однако же, что эти аллегорические изображения были взяты из действительного мира; иначе, как объяснить слово «конница», «конное войско», часто встречаемое в древних рукописях? Сверх того, посмотрите,— сказал он, показывая мне одну поднятую ногу лошади, где я увидел выгнутый кусок ржавого железа, прибитого гвоздями к копыту,— вот,— продолжал мой ученый,— одна из драгоценнейших редкостей нашего Кабинета; посмотрите: это железо прибито гвоздями, следы этих гвоздей видны и на остальных копытах. Здесь явно дело рук человеческих.

— Для какого же употребления могло быть это железо?

— Вероятно, чтоб ослабить силу этого страшного животного,— заметил наблюдатель.

— А может быть, их во время войны пускали против неприятеля; и этим железом могли наносить ему больше вреда?

— Ваше замечание очень остроумно,— отвечал учтивый ученый,— но где для него доказательства?

Я замолчал.

— Недавно открыли здесь очень древнюю картину,— сказал Хартин,— на которой изображен снаряд, который употребляли, вероятно, для усмирения лошади; на этой картине ноги лошади привязаны к стойкам, и человек молотом набивает ей копыто; возле находится другая лошадь, запряженная в какую-то странную повозку на колесах.

— Это очень любопытно. Но как объяснить умельчение породы этих животных?

— Это объясняют различным образом; самое вероятное мнение то, что во втором тысячелетии после Р. Х. всеобщее распространение аэростатов сделало лошадей более ненужными; оставленные на произвол судьбы, лошади ушли в леса, одичали; никто не пекся о сохранении прежней породы, и большая часть их погибла; когда же лошади сделались предметом любопытства, тогда человек dokonчил дело природы; тому несколько веков существовала мода на маленьких животных, на маленькие растения; лошади подверглись той же участи: при пособии человека они мельчали постепенно и наконец дошли до нынешнего состояния забавных, но бесполезных домашних животных.

— Или должно думать,— сказал я, смотря на скелет,— что на лошадях в древности ездили одни герои, или должно сознаться, что люди были гораздо смелее нынешнего. Как осмелиться сесть на такое чудовище!

— Действительно, люди в древности охотнее нашего подвергались опасностям. Например, теперь неоспоримо доказано, что пары, которые мы нынче употребляем только для взрыва земли, эта страшная и опасная сила в продолжение нескольких сот лет служила людям для возки экипажей...

— Это непостижимо!

— О! я в этом уверен, что если бы сохранились древние книги, то мы много б узнали такого, что почитаем теперь непостижимым.

— Вы в этом отношении еще счастливее нас: ваш климат сохранил хотя некоторые отрывки древних писаний, и вы успели их перенести на стекло; но у нас — что не истлело само собою, то источено насекомыми, так что для Китая письменных памятников уже не существует.

— И у нас немного сохранилось,— заметил Хартин.— В огромных связках антиквариации находят лишь отдельные слова или буквы, и они-то служат основанием всей нашей древней истории.

— Должно ожидать многого от трудов ваших почтенных антиквариев. Я слышал, что новый словарь, ими приготовляемый, будет содержать в себе две тысячи древних слов более против прежнего.

— Так! — заметил смотритель,— но к чему это послужит? На каждое слово напишут по две тысячи диссертаций, и все-таки не откроют их значения. Вот, например, хоть слово *немцы*; сколько труда оно стоило нашим ученым, и все не могут добраться до настоящего его смысла.

Физик задел мою чувствительную струну; студенту истории больно показалось такое сомнение; я решился блеснуть своими знаниями.

— Немцы были народ, обитавший на юг от древней России,— сказал я,— это, кажется, доказано; немцев покорили Аллеманны, потом на месте Аллеманнов являются Тедески, Тедесков покорили Германцы, или правильнее, Жерманийцы, а Жерманийцов Дейчеры — народ знаменитый, от которого даже язык сохранился в нескольких отрывках, оставшихся от их поэта, Гете...

— Да! Так думали до сих пор,— отвечал Хартин,—

но теперь здесь между антиквариями почти общее мнение, что Дейчеры были нечто совсем другое, а Немцы составляли род особой касты, к которой принадлежали люди разных племен.

— Признаюсь вам, что это для меня совершенно новая точка зрения; я вижу, как мы отстали от ваших открытий.

В таких разговорах мы прошли весь Кабинет; я выпросил позволение посещать его чаще, и смотритель сказал мне, что Кабинет открыт ежедневно днем и ночью. Ты можешь себе представить, как я рад, что познакомился с таким основательным ученым.

В сем же здании помещаются различные Академии, которые носят общее название: Постоянного Ученого Конгресса. Через несколько дней Академия будет открыта посетителям; мы с Хартиным условились не пропустить первого заседания.

#### ПИСЬМО 4-е

Я забыл тебе сказать, что мы приехали в Петербург в самое неприятное для иностранца время, в так называемый *месяц отдохновения*. Таких месяцев постановлено у русских два: один в начале года, другой в половине; в продолжение этих месяцев все дела прекращаются, правительственные места закрываются, никто не посещает друг друга. Это обыкновение мне очень нравится: нашли нужным определить время, в которое всякий мог бы войти в себя и, оставив всю внешнюю деятельность, заняться внутренним своим усовершенствованием или, если угодно, своими домашними обстоятельствами. Сначала боялись, чтобы от сего не произошла остановка в делах, но вышло напротив: всякий, имея определенное время для своих внутренних занятий, посвящает исключительно остальное время на дела общественные, уже ничем не развлекаясь, и от того все дела пошли вдвое быстрее. Это постановление имело, сверх того, спасительное влияние на уменьшение тяжб: всякий успевает одуматься, а закрытие присутственных мест препятствует тяжущимся действовать в минуту движения страстей. Только один такой экстренный случай, каково ожидание кометы, мог до некоторой степени нарушить столь похвальное обыкновение; но, несмотря на то, до сих пор вечеров и собра-

ний нигде не было. Наконец сегодня мы получили домашнюю газету от первого здешнего министра, где, между прочим, и мы приглашены были к нему на вечер. Надобно тебе знать, что во многих домах, особенно между теми, которые имеют большие знакомства, издаются подобные газеты; ими заменяется обыкновенная переписка. Обязанность издавать такой журнал раз в неделю или ежедневно возлагается в каждом доме на столового дворецкого. Это делается очень просто: каждый раз, получив приказание от хозяев, он записывает все ему сказанное, потом в камер-обскуру снимает нужное число экземпляров и рассылает их по знакомым. В этой газете помещаются обыкновенно извещение о здоровье или болезни хозяев и другие домашние новости, потом разные мысли, замечания, небольшие изобретения, а также и приглашения; когда же бывает зов на обед, то и *le menu*<sup>1</sup>. Сверх того, для сношений в непредвиденном случае между знакомыми домами устроены магнетические телеграфы, посредством которых живущие на далеком расстоянии разговаривают друг с другом.

Итак, я наконец увижу здешнее высшее общество. В будущем письме опишу тебе, какое впечатление оно на меня сделало. Не худо заметить для нас, китайцев, которые любят обращать ночь в день, что здесь вечер начинается в пять часов пополудни, в восемь часов ужинают и в девять уже ложатся спать; зато встают в четыре часа и обедают в двенадцать. Посетить кого-нибудь утром считается величайшею неучтивостью; ибо предполагается, что утром всякий занят. Мне сказывали, что даже те, которые ничего не делают, утром запирают свои двери для тона.

#### ПИСЬМО 5-е

Дом первого министра находится в лучшей части города, близ Пулковой горы, возле знаменитой древней Обсерватории, которая, говорят, построена за 2500 лет до нашего времени. Когда мы приблизились к дому, уже над кровлею было множество аэростатов: иные носились в воздухе, другие были прикреплены к нарочно для того устроенным колоннам. Мы вышли на платформу, кото-

<sup>1</sup> Меню (франц.).

рая в одну минуту опустилась, и мы увидели себя в прекрасном крытом саду, который служил министру приемною. Весь сад, засаженный редкими растениями, освещался прекрасно сделанным электрическим снарядом в виде солнца. Мне сказывали, что оно не только освещает, но химически действует на деревья и кустарники; в самом деле, никогда мне еще не случалось видеть такой роскошной растительности.

Я бы желал, чтобы наши китайские приверженцы старых обычаев посмотрели на здешние светские приемы и обращения; здесь нет ничего похожего на наши китайские учтивости, от которых до сих пор мы не можем отвыкнуть. Здешняя простота обращения с первого вида походит на холодность, но потом к нему так привыкаешь, оно кажется весьма естественным, и уверяешься, что эта мнимая холодность соединена с непритворным радушием. Когда мы вошли в приемную, она уже была полна гостями; в разных местах между деревьями мелькали группы гуляющих; иные говорили с жаром, другие их слушали молча. Надобно тебе заметить, что здесь ни на кого не налагается обязанности говорить: можно войти в комнату, не говоря ни слова, и даже не отвечать на вопросы,— это никому не покажется странным; записные ж фешionaбли решительно молчат по целым вечерам,— это в большом тоне; спрашивать кого-нибудь о здоровье, о его делах, о погоде или вообще предложить пустой вопрос считается большою неучтивостью; но зато начавшийся разговор продолжается горячо и живо. Дам было множество, вообще прекрасных и особенно свежих; худощавость и бледность считается признаком невежества, потому что здесь в хорошее воспитание входит наука здравия и часть медицины, так, что кто не умеет беречь своего здоровья, о том, особенно о дамах, говорят, что они худо воспитаны.

Дамы были одеты великолепно, большею частию в платьях из эластичного хрустала разных цветов; по иным струились все отливы радуги, у других в ткани были заплавлены разные металлические кристаллизации, редкие растения, бабочки, блестящие жуки. У одной из фешенебельных дам в фестонах платья были даже живые светящиеся мошки, которые в темных аллеях, при движении, производили ослепительный блеск; такое платье, как говорили здесь, стоит очень дорого и может быть надето только один раз, ибо насекомые скоро умирают.

Я не без удивления заметил по разговорам, что в высшем обществе наша роковая комета, гораздо менее возбуждала внимания, нежели как того можно было ожидать. Об ней заговорили нечаянно; одни ученым образом толковали о большем или меньшем успехе принятых мер, рассчитывали вес кометы, быстроту ее падения и степень сопротивления устроенных снарядов; другие вспоминали все победы, уже одержанные человеческим искусством над природою, и их вера в могущество ума была столь сильна, что они с насмешкою говорили об ожидаемом бедствии; в иных спокойствие происходило от другой причины: они намекали, что уже довольно пожить и что надобно же всему когда-нибудь кончиться; но большая часть толковали о текущих делах, о будущих планах, как будто ничего не должно перемениться. Некоторые из дам носили уборы à la comète<sup>1</sup>; они состояли в маленьком электрическом снаряде, из которого сыпались беспрестанные искры. Я заметил, как эти дамы из кокетства старались чаще уходить в тень, чтобы пощеголять прекрасною электрическою кистью, изображавшею хвост кометы, и которая как бы блестящим пером украшала их волосы, придавая лицу особенный оттенок.

В разных местах сада по временам раздавалась скрытая музыка, которая, однако ж, играла очень тихо, чтобы не мешать разговорам. Охотники садились на резонанс, особо устроенный над невидимым оркестром; меня пригласили сесть туда же, но, с непривычки, мои нервы так раздражились от этого приятного, но слишком сильного сотрясения, что я, не высидев двух минут, соскочил на землю, чему дамы много смеялись. Вообще, на нас с дядюшкою, как на иностранцев, все гости обращали особенное внимание и старались, по древнему русскому обычаю, показать нам всеми возможными способами свое радушное гостеприимство, преимущественно дамы, которым, сказать без самолюбия, я очень понравился, как увидишь впоследствии. Проходя по дорожке, устланной бархатным ковром, мы остановились у небольшого бассейна, который тихо журчал, выбрасывая брызги ароматной воды; одна из дам, прекрасная собою и прекрасно одетая, с которою я как-то больше сошелся, нежели с другими, подошла к бассейну, и в одно мгновение журчание превратилось в прекрасную тихую

---

<sup>1</sup> В виде кометы (франц.).

музыку: таких странных звуков мне еще никогда не случилось слышать; я приблизился к моей даме и с удивлением увидел, что она играла на клавишах, приделанных к бассейну: эти клавиши были соединены с отверстиями, из которых по временам вода падала на хрустальные колокола и производила чудесную гармонию. Иногда вода выбегала быстрою, порывистою струей, и тогда звуки походили на гул разъяренных волн, приведенный в дикую; но правильную гармонию; иногда струи катились спокойно, и тогда как бы из отдаления прилетали величественные, полные аккорды; иногда струи рассыпались мелкими брызгами по звонкому стеклу, и тогда слышно было тихое, мелодическое журчание. Этот инструмент назывался гидрофоном; он недавно изобретен здесь и еще не вошел в общее употребление. Никогда моя прекрасная дама не казалась мне столь прелестною: электрические фиолетовые искры головного убора огненным дождем сыпались на ее белые, пыльные плечи, отражались в быстробегущих струях и мгновенным блеском освещали ее прекрасное, выразительное лицо и роскошные локоны; сквозь радужные полосы ее платья мелькали блестящие струйки и по временам обрисовывали ее прекрасные формы, казавшиеся полупризрачными. Вскоре к звукам гидрофона присоединился ее чистый, выразительный голос и словно утопал в гармонических переливах инструмента. Действие этой музыки, как бы выходящей из недостижимой глубины вод; чудный магический блеск; вздох, напитанный ароматами; наконец, прекрасная женщина, которая, казалось, плавала в этом чудном слиянии звуков, волн и света,— все это привело меня в такое упоение, что красавица кончила, а я долго еще не мог прийти в себя, что она, если не ошибаюсь, заметила.

Почти такое же действие она произвела и на других, но, однако ж, не раздалось ни рукоплесканий, ни комплиментов,— это здесь не в обыкновении. Всякий знает степень своего искусства: дурной музыкант не терзает ушей слушателей, а хороший не заставляет себя упрашивать. Впрочем, здесь музыка входит в общее воспитание, как необходимая часть его, и она так же обыкновенна, как чтение и письмо; иногда играют чужую музыку, но всего чаще, особенно дамы, подобно моей красавице, импровизируют без всякого вызова, когда почувствуют внутреннее к тому расположение.



В разных местах сада стояли деревья, обремененные плодами — для гостей; некоторые из этих плодов были чудное произведение садового искусства, которое здесь в таком совершенстве. Смотря на них, я не мог не подумать, каких усилий ума и терпения стоило соединить посредством постепенных прививок разные породы плодов, совершенно разнокачественных, и произвести новые, небывалые породы; так, например, я заметил плоды, которые были нечто среднее между ананасом и персиком: ничего нельзя сравнить со вкусом этого плода; я заметил также финики, привитые к вишневому дереву, бананы, соединенные с грушей; всех новых пород, так сказать, изобретенных здешними садовниками, невозможно исчислить. Вокруг этих деревьев стояли небольшие графины с золотыми кранами; гости брали эти графины, отворяли краны и без церемонии втягивали в себя содержащийся в них, как я думал, напиток. Я последовал общему примеру; в графинах находилась ароматная смесь возбуждающих газов; вкусом они походят на запах вина (*bouquet*) и мгновенно разливают по всему организму удивительную живость и веселость, которая при некоторой степени доходит до того, что нельзя удержаться от непрерывной улыбки. Эти газы совершенно безвредны, и их употребление очень одобряется медиками; этим воздушным напитком здесь в высшем обществе совершенно заменились вина, которые употребляются только простыми ремесленниками, никак не решающимися оставить своей грубой влаги.

Через несколько времени хозяин пригласил нас в особое отделение, где находилась магнетическая ванна. Надобно тебе сказать, что здесь животный магнетизм составляет любимое занятие в гостиных, совершенно заменившее древние карты, кости, танцы и другие игры. Вот как это делается: один из присутствующих становится у ванны, — обыкновенно более привыкший к магнетической манипуляции, — все другие берут в руки протянутый от ванны снурок, и магнетизация начинается: одних она приводит в простой магнетический сон, укрепляющий здоровье; на других она вовсе не действует до времени; иные же тотчас приходят в степень сомнамбулизма, и в этом состоит цель всей забавы. Я по непривычке был в числе тех, на которых магнетизм не действовал, и потому мог быть свидетелем всего происходившего.

Скоро начался разговор преинтересный: сомнамбулы

наперерыв высказывали свои самые тайные помышления и чувства. «Признаюсь,— сказал один,— хоть я и стараюсь показать, что не боюсь кометы, но меня очень пугает ее приближение». — «Я сегодня нарочно рассердила своего мужа,— сказала одна хорошенькая дама,— потому что, когда он сердит, у него делается прекрасная физиономия». — «Ваше радужное платье,— сказала щеголиха своей соседке,— так хорошо, что я намерена непременно выпросить его у вас себе на фасон, хотя мне и очень стыдно просить вас об этом».

Я подошел к кружку дам, где сидела и моя красавица. Едва я пришел с ними в сообщении, как красавица мне сказала: «Вы не можете себе представить, как вы мне нравитесь; когда я вас увидела, я готова была вас поцеловать!» — «И я также,— и я также»,— вскричало несколько дамских голосов; присутствующие засмеялись и поздравили меня с блестящим успехом у петербургских дам.

Эта забава продолжалась около часа. Вышедшие из сомнамбулического состояния забывают все, что они говорили, и сказанные ими откровенно слова дают повод к тысяче мистификаций, которые немало служат к оживлению общественной жизни: здесь начало свадеб, любовных интриг, а равно и дружбы. Часто люди, дотоле едва знакомые, узнают в этом состоянии свое расположение друг к другу, а старинные связи еще более укрепляются этими неподдельными выражениями внутренних чувств. Иногда одни мужчины магнетизируются, а дамы остаются свидетелями; иногда, в свою очередь, дамы садятся за магнетическую ванну и рассказывают свои тайны мужчинам. Сверх того, распространение магнетизации совершенно изгнало из общества всякое лицемерие и притворство: оно, очевидно, невозможно; однако же дипломаты, по долгу своего звания, удаляются от этой забавы, и оттого играют самую незначительную роль в гостиных. Вообще, здесь не любят тех, которые уклоняются от участия в общем магнетизме: в них всегда предполагают какие-нибудь враждебные мысли или порочные наклонности.

Усталый от всех разнообразных впечатлений, испытанных мною в продолжение этого дня, я не дождался ужина, отыскал свой аэростат; на дворе была метель и выюга, и, несмотря на огромные отверстия вентиляторов, которые беспрестанно выпускают в воздух огромное ко-

личество теплоты, я должен был плотно закутываться в мою стеклянную епанчу; но образ прекрасной дамы согревал мое сердце — как говорили древние. Она, как узнал я, единственная дочь здешнего министра медицины; но, несмотря на ее ко мне расположение, как мне надеяться вполне заслужить ее благосклонность, пока я не ознаменовал себя каким-нибудь ученым открытием, и потому считаюсь недорослем!

#### ПИСЬМО 6-е

В последнем моем письме, которое было так длинно, я не успел тебе рассказать о некоторых замечательных лицах, виденных мною на вечере у Председателя Совета. Здесь, как я уже тебе писал, было все высшее общество: Министр философии, Министр изящных искусств, Министр воздушных сил, поэты и философы, и историки первого и второго класса. К счастью, я встретил здесь г. Хартина, с которым я прежде еще познакомился у дядюшки; он мне рассказал об этих господах разные любопытные подробности, кои оставляю до другого времени. Вообще скажу тебе, что здесь приготовление и образование первых сановников государства имеет в себе много замечательного. Все они образуются в особенном училище, которое носит название: Училище государственных людей. Сюда поступают отличнейшие ученики из всех других заведений, и за развитием их способностей следят с самого раннего возраста. По выдержании строгого экзамена они присутствуют в продолжение нескольких лет при заседаниях Государственного совета, для приобретения нужной опытности; из сего расадника они поступают прямо на высшие государственные места; оттого нередко между первыми сановниками встречаешь людей молодых — это кажется и необходимо, ибо одна свежесть и деятельность молодых сил может выдержать трудные обязанности, на них возложенные; они стареют преждевременно, и им одним не ставится в вину расстройство их здоровья, ибо этою ценою покупается благосостояние всего общества.

Министр примирений есть первый сановник в империи и Председатель Государственного совета. Его должность самая трудная и скользкая. Под его ведением состоят все мирные судьи во всем государстве, избирае-

мые из почетнейших и богатейших людей; их должность быть в близкой связи со всеми домами вверенного им округа и предупреждать все семейственные несогласия, распри, а особенно тяжбы, а начавшиеся стараться прекратить миролюбиво; для затруднительных случаев они имеют от правительства значительную сумму, носящую название примирительной, которую употребляют под своею ответственностию на удовлетворение несогласных на примирение; этой суммы ныне, при общем нравственном улучшении, выходит втрое менее того, что в старину употреблялось на содержание Министерства юстиции и полиции. Замечательно, что мирные судьи, сверх внутреннего побуждения к добру (на что при выборе обращается строгое внимание) обязаны и внешними обстоятельствами заниматься своим делом рачительно, ибо за каждую тяжбу, не предупрежденную ими, они должны вносить пеню, которая поступает в общий примирительный капитал. Министр примирений, в свою очередь, отвечает за выбор судей и за их действия. Сам он есть первый мирный судья, и на его лично возложено согласие в действиях всех правительственных мест и лиц; ему равным образом вверено наблюдение за всеми учеными и литературными спорами; он обязан наблюдать, чтобы этого рода споры продолжались столько, сколько это может быть полезно для совершенствования науки и никогда бы не обращались [на] личность. Поэтому ты можешь себе представить, какими познаниями должен обладать этот сановник и какое усердие к общему благу должно оживлять [его]. Вообще заметим, что жизнь сих сановников бывает кратковременна,—непомерные труды убивают их, и не мудрено, ибо он не только должен заботиться о спокойствии всего государства, но и беспрестанно заниматься собственным совершенствованием,—а на это едва достает сил человеческих.

Нынешний Министр примирений вполне достоин своего звания; он еще молод, но волосы его уже поседел от непрерывных трудов; в лице его выражается доброта, вместе с пронизательностию и глубокомыслием.

Кабинет его завален множеством книг и бумаг; между прочим, я видел у него большую редкость: Свод русских законов, изданный в половине XIX столетия по Р. X.; многие листы истлели совершенно, но другие еще сохранились в целости; эта редкость как святыня хранится под стеклом в драгоценном ковчеге, на котором начер-

тано имя Государя, при котором этот свод был издан. «Это один из первых памятников,— сказал мне хозяин,— Русского законодательства; от изменения языка, в течение столь долгого времени, многое в сем памятнике сделалось ныне совершенно необъяснимым, но из того, что мы до сих пор могли разобрать, видно, как древне наше просвещение! такие памятники должно сохранять благодарное потомство».

#### ПИСЬМО 7-е

Сегодня поутру зашел ко мне г-н Хартин и пригласил осмотреть залу общего собрания Академии. «Не знаю,— сказал он,— позволят ли нам сегодня остаться в заседании, но до начала его вы успеете познакомиться с некоторыми из здешних ученых».

Зала Ученого Конгресса, как я тебе уже писал, находится в здании Кабинета Редкостей. Сюда, сверх еженедельных собраний, собираются ученые почти ежедневно; большею частью они здесь и живут, чтобы удобнее пользоваться огромными библиотеками и физической лабораторией Кабинета. Сюда приходят и физик, и историк, и поэт, и музыкант, и живописец; они благородно поверяют друг другу свои мысли, опыты, даже и неудачные, самые зародыши своих открытий, ничего не скрывая, без ложной скромности и без самохвальства; здесь они совещаются о средствах согласовать труды свои и дать им единство направления; сему весьма способствует особая организация сего сословия, которую я опишу тебе в одном из будущих моих писем. Мы вошли в огромную залу, украшенную статуями и портретами великих людей; несколько столов были заняты книгами, а другие физическими снарядами, приготовленными для опытов; к одному из столов были протянуты проводники от огромнейшей в мире гальвано-магнетической цепи, которая одна занимала особое здание в несколько этажей.

Было еще рано и посетителей мало. В небольшом кружку с жаром говорили о недавно вышедшей книжке; эта книжка была представлена Конгрессу одним молодым археологом и имела предметом объяснить весьма спорную и любопытную задачу, а именно о древнем названии Петербурга. Тебе, может быть, неизвестно, что по сему предмету существуют самые противоречащие мне-

ния. Исторические свидетельства убеждают, что этот город был основан тем великим государем, которого он носит имя. Об этом никто не спорит; но открытия некоторых древних рукописей привели к мысли, что, по неизъяснимым причинам, сей знаменитый город в продолжение тысячелетия несколько раз переменал свое название. Эти открытия привели в волнение всех здешних археологов: один из них доказывает, что древнейшее название Петербурга было Петрополь, и приводит в доказательство стих древнего поэта:

*Петрополь с башнями дремал...*

Ему возражали, и не без основания, что в этом стихе должна быть опечатка. Другой утверждает, также основываясь на древних свидетельствах, что древнейшее название Петербурга было Петроград. Я не буду тебе высчитывать всех других предположений по сему предмету, молодой археолог опровергает их всех без исключения. Перерывая полуистлевшие слои древних книг, он нашел связку рукописей, которых некоторые листы больше других были пощажены временем. Несколько уцелевших строк подали ему повод написать целую книгу комментарий, в которых он доказывает, что древнее название Петербурга было Питер; в подтверждение своего мнения, он представил Конгрессу подлинную рукопись. Я видел сей драгоценный памятник древности; он писан на той ткани, которую древние называли *бумагою* и которой тайна приготовления ныне потеряна; впрочем, жалеть нечего, ибо ее непрочность причиною тому, что для нас исчезли совершенно все письменные памятники древности. Я списал для тебя эти несколько строк, приведших в движение всех ученых; вот они:

*«Пишу к вам, почтеннейший из Питера, а на днях отправляюсь в Кронштадт, где мне предлагают место помощника столоначальника... с жалованьем по пятисот рублей в год...»* Остальное истребилось временем.

Ты можешь себе легко представить, к каким любопытным исследованиям могут вести сии немногие драгоценные строки; очевидно, что это отрывок из письма, но кем и к кому оно было писано? вот вопрос, вполне достойный внимания ученого мира. К счастью, сам писавший дает уже нам приблизительное понятие о своем звании: он говорит, что ему предлагают место помощника столоначальника; но здесь важное недоразуме-

ние: что значит слово столоначальник? Оно в первый раз еще встречается в древних рукописях. Большинство голов того мнения, что звание столоначальника было звание важное, подобно званиям военачальников и градоначальников. Я совершенно с этим согласен,— аналогия очевидная! Предполагают, и не без основания, что военачальник в древности заведовал военной частью, градоначальник — гражданской, а столоначальник, как высшее лицо, распоряжал действиями сих обоих сановников. Слово «почтеннейший», которого окончание, по мнению грамматиков, означает высшую степень уважения, оказываемого людям, показывает, что это письмо было писано также к важному лицу. Все это так ясно, что, кажется, не подлежит ни малейшему сомнению; в сем случае существует только одно затруднение: как согласить столь незначительное жалование, пятьсот рублей, с важностью такого места, каково должно было быть место помощника столоначальника. Это легко объясняется предположением, что в древности слово рубль было общим выражением числа вещей: как, например, слово мириада; но, по моему мнению, здесь скрывается нечто важнейшее. Эта незначительность суммы не ведет ли к заключению, что в древности количество жалования высшим сановникам было гораздо менее того, которое выдавалось людям низших должностей; ибо высшее звание предполагало в человеке, его занимавшем, больше любви к общему благу, больше самоотвержения, больше поэзии; такая глубокая мысль вполне достойна мудрости древних.

Впрочем, все это показывает, любезный друг, как еще мало знаем мы их историю, несмотря на все труды новейших изыскателей!

В первый раз еще мне удалось видеть в подлиннике древнюю рукопись; ты не можешь представить, какое особенное чувство возбудилось в моей душе, когда я смотрел на этот величественный памятник древности, на этот почерк вельможи, может быть великого человека, переживший его по крайней мере четыре тысячи столетия, человека, от которого, может быть, зависела судьба миллионов; в самом почерке есть что-то необыкновенно стройное и величественное. Но только чего стоило древним выписывать столько букв для слов, которые мы ныне выражаем одним значком. Откуда они брали время на письмо? а писали они много: недавно

мне показывали мельком огромное здание, сохраняющееся донныне от древнейших времен; оно сверху донизу наполнено истлевшими связками писаной бумаги; все попытки разобрать их были тщетны; они разлетаются в пыль при малейшем прикосновении; успели списать лишь несколько слов, встречающихся чаще других, как-то: *рапорт*, или правильное *репорт*, *инструкция*, *отпуск провианта* и прочее т. п., которых значение совершенно потерялось. Сколько сокровищ для истории, для поэзии, для наук должно храниться в этих связках, и все истреблено неумолимым временем! Если мы во многом отстали от древних, то по крайней мере наши писания не погибнут. Я видел здесь книги, за тысячу лет писанные на нашем стеклянном папирусе — как вчера писаны! разве комета растопит их?!

Между тем, пока мы занимались рассмотрением сего памятника древности, в залу собрались члены Академии, и как это заседание не было публичное, то мы должны были выйти. Сегодня Конгресс должен заняться рассмотрением различных проектов, относящихся до средств воспротивиться падению кометы; по сей причине назначено тайное заседание, ибо в обыкновенные дни зала едва может вмещать посторонних посетителей: так сильна здесь общая любовь к ученым занятиям!

Вышедши наверх к нашему аэростату, мы увидели на ближней платформе толпу людей, которые громко кричали, махали руками и, кажется, бранились.

«Что это такое?» — спросил я у Хартина.

«О, не спрашивайте лучше, — отвечал Хартин, — эта толпа — одно из самых странных явлений нашего века. В нашем полушарии просвещение распространилось до низших степеней; оттого многие люди, которые едва годны быть простыми ремесленниками, объявляют притязание на ученость и литераторство; эти люди почти каждый день собираются у передней нашей Академии, куда, разумеется, им двери затворены, и своим криком стараются обратить внимание проходящих. Они до сих пор не могли постичь, отчего наши ученые гнушаются их сообществом, и в досаде принялись их передразнивать, завели также нечто похожее на науку и на литературу; но, чуждые благородных побуждений истинного ученого, они обратили и ту и другую в род ремесла: один лепит нелепости, другой хвалит, третий продает, кто



больше продаст — тот у них и великий человек; от беспрестанных денежных сделок у них беспрестанные ссоры, или, как они называют, партии: один обманет другого — вот и две партии, и чуть не до драки; всякому хочется захватить монополию, а более всего завладеть настоящими учеными и литераторами; в этом отношении они забывают свою междоусобную вражду и действуют согласно; тех, которые избегают их сплетней, промышленники называют аристократами, дружатся с их лакеями, стараются выведать их домашние тайны и потом взводят на своих мнимых врагов разные небылицы. Впрочем, все эти затеи не удаются нашим промышленникам и только увеличивают каждый день общее к ним презрение.

«Скажите, — спросил я, — откуда могли взяться такие люди в русском благословенном царстве?»

«Они большею частию пришельцы из разных стран света; незнакомые с русским духом, они чужды и любви к русскому просвещению: им бы только нажиться, — а Россия богата. В древности такого рода людей не существовало, по крайней мере об них не сохранилось никакого предания. Один мой знакомый, занимающийся сравнительною антропологию, полагает, что этого рода люди происходят по прямой линии от кулашных бойцов, некогда существовавших в Европе. Что делать! Эти люди — темная сторона нашего века; надобно надеяться, что с большим распространением просвещения исчезнут и эти пятна на русском солнце».

Здесь мы приблизились к дому.

## ФРАГМЕНТЫ

### I

В начале 4337 года, когда Петербург уже выстроили и перестали в нем чинить мостовую, дорожный гальваностат<sup>1</sup> быстро спустился к платформе высокой башни, находившейся над *Гостиницей для прилетающих*; почтальон проворно закинул несколько крюков к кольцам платформы, выдернул задвижную лестницу, и человек в широкой одежде из эластического стекла высо-

---

<sup>1</sup> Воздушный шар, приводимый в действие гальванизмом. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

чил из гальваностата, проворно взбежал на платформу, дернул за шнурок, и платформа тихо опустилась в общую залу.

— Что у вас приготовлено к столу? — спросил путешественник, сбрасывая с себя стеклянную епанчу и поправляя свое полукафтанье из тонкого паутинного сукна.

— С кем имею честь говорить? — спросил учтиво трактирщик.

— Ординарный Историк при дворе американского поэта Орлия.

Трактирщик подошел к стене, на которой висели несколько прейскурантов под различными надписями: поэты, историки, музыканты, живописцы, и проч., и проч. Один из таких прейскурантов был поднесен трактирщиком путешественнику.

— Это что значит? — спросил сей последний, прочитавши заглавие: «Прейскурант для Историков».

— Да! я и забыл, что в вашем полушарии для каждого звания особый обед. Я слышал об этом — признайтесь, однако же, что это постановление у вас довольно странно.

— Судьба нашего отечества, — возразил, улыбаясь, трактирщик, — состоит, кажется, в том, что его никогда не будут понимать иностранцы. Я знаю, многие американцы смеялись над этим учреждением оттого только, что не хотели в него вникнуть. Подумайте немного, и вы тотчас увидите, что оно основано на правилах настоящей нравственной математики: прейскурант для каждого звания соображен с той степенью пользы, которую может оно принести человечеству.

Американец насмешливо улыбнулся:

— О! страна поэтов! у вас везде поэзия, даже в обеденном прейскуранте... Я, южный прозаик, спрошу у вас: что вы будете делать, если вам захочется блюдо, не находящееся в историческом прейскуранте?..

— Вы можете получить его, но только за деньги...

— Как, стало быть, все, что в этом прейскуранте?..

— Вы получаете даром... от вас требуется в нашем крае только жизни и деятельности, сообразной с вашим званием, — а правительство уже платит мне за каждого путешественника по установленной таксе...

— Это не совсем дурно, — заметил расчетливый американец, — мне подлинно неизвестно было это распоря-

жение — вот что значит не вылетать из своего полушария. Я не бывал дальше новой Голландии.

— А откуда вы сели? — смею спросить.

— С Магелланского пролива... но поговорим об обеде... дайте мне: хорошую порцию крахмального экстракта на спаржевой эссенции; порцию сгущенного азота à la fleur d'orange, ананасной эссенции и добрую бутылку углекислого газа с водородом.— Да после обеда нельзя ли мне иметь магнетическую ванну — я очень устал с дороги...

— До какой степени, до сомнамбулизма или менее?..

— Нет, простую магнетическую ванну для подкрепления сил...

— Сейчас будет готова.

Между тем к эластическому дивану на золотых жердях опустили с потолка опрятный стол из резного рубина, накрыли скатертью из эластического стекла; под рубиновыми колпаками поставили питательные эссенции, а кислородный газ — в рубиновых же бутылках с золотыми кранами, которые оканчивались длинной трубочкою.

Путешественник кушал за двоих — и попросил другую порцию азота. Когда он опорожнил бутылку углекислоты, то сделался говорливее.

— Превкусный азот! — сказал он трактирщику, — мне случалось только один раз есть такой в Мадагаскаре.

## II

Пока дядюшка занимался своими дипломатическими интригами, я успел здесь свести многие интересные знакомства. Я встретился у дядюшки с г. Хартиным, ординарным историк[ом] при первом здешнем поэте Орлии. (Это одно из почтеннейших званий в империи; должность историка готовить исторические материалы для поэтических соображений Поэта, или производить новые исследования по его указаниям; его звание учреждено недавно, но уже принесло значительные услуги государству; исторические изыскания приобрели больше последовательности, а от сего пролили новый свет на многие темные пункты истории.)

Я, не теряя времени, попросил мңе Хартина объяснить подробно, в чем состоит его должность, которая, как известно, принадлежит у русских к почетнейшим,— и о чем мы в Китае имели только поверхностное сведение; вот что он отвечал мне:

«Вам, как человеку учившемуся, известно, сколько усилий употребляли знаменитые мужи для соединения всех наук в одну; особливо замечательны в сем отношении труды 3-го тысячелетия по Р. Х. В глубочайшей древности встречаются жалобы на излишнее раздробление наук; десятки веков протекли, и все опыты соединить их оказались тщетными,— ничто не помогло — ни упрощение метод, ни классификация знаний. Человек не мог выйти из сей ужасной дилеммы: или его знание было односторонне, или поверхностно. Чего не сделали труды ученых, то произошло естественно из гражданско-го устройства; [давнее] разделение общества на сословия Историков, Географов, Физиков; Поэтов — каждое из этих сословий действовало отдельно [или] — дало повод к счастливой мысли ныне царствующего у нас Государя, который сам принадлежит к числу первых поэтов нашего времени: он заметил, что в сем собрании ученых естественным образом одно сословие подчинилось другому,— он решился, следуя сему естественному указанию, соединить эти различные сословия не одною ученою, но и гражданскою связью; мысль, по-видимому, очень простая, но которая, как все простые и великие мысли, приходит в голову только великим людям. Может быть, при этом первом опыте некоторые сословия не так классифицированы — но этот недостаток легко исправится временем. Теперь к удостоенному званию поэта или философа определяется несколько ординарных историков, физиков, лингвистов и других ученых, которые обязаны действовать по указанию своего начальника или готовить для него материалы: каждый из историков имеет в свою очередь, под своим ведением несколько хронологов, филологов-антиквариев, географов; физик — несколько химиков, ...ологов, минерологов, так и далее. Минеролог и пр. имеет под своим ведением несколько металлургов и так далее до простых копистов [...] испытателей, которые занимаются простыми грубыми опытами.

От такого распределения занятий все выигрывают: недостающее знание одному пополняется другим, какос-

либо изыскание производится в одно время со всех различных сторон; поэт не отвлекается от своего вдохновения, философ от своего мышления — материальной работою. Вообще обществу это единство направления ученой деятельности принесло плоды невероятные; явились открытия неожиданные, усовершенствования почти сверхъестественные — и сему, но единству в особенности, мы обязаны теми блистательными успехами, которые ознаменовали наше отечество в последние годы».

Я поблагодарил г. Хартина за его благосклонность и внутренне вздохнул, подумав, когда-то Китай достигнет до той степени, когда подобное устройство ученых занятий будет у нас возможно.

#### ЗАМЕТКИ

Сочинитель романа *The last man*<sup>1</sup> так думал описать последнюю эпоху мира и описал только ту, которая чрез несколько лет после него началась. Это значит, что он чувствовал уже в себе те начала, которые должны были развиться не в нем, а в последовавших за ним людях. Вообще редкие могут найти выражение для отдаленного будущего, но я уверен, что всякий человек, который, освободив себя от всех предрассудков, от всех мнений, в его минуту господствующих, и отсекая все мысли и чувства, порождаемые в нем привычкою, воспитанием, обстоятельствами жизни, его собственными и чужими страстями, предается инстинктуальному свободному влечению души своей, — тот в последовательном ряду своих мыслей найдет непременно те мысли и чувства, которые будут господствовать в близкую от него эпоху.

История природы есть каталог предметов, которые были и будут. История человечества есть каталог предметов, которые только были и никогда не возвратятся.

Первую надобно знать, чтобы составить общую науку предвидения, — вторую для того, чтобы не принять умершее за живое.

---

<sup>1</sup> «Последний человек» (англ.).

## АЭРОСТАТЫ И ИХ ВЛИЯНИЯ

Довольно замечательно, что все так называемые житейские условия возможны лишь в определенном пространстве — и лишь на плоскости; так что все условия торговли, промышленности, местожительства и проч. будут совсем иные в *пространстве*; так что можно сказать, что продолжение условий нынешней жизни зависит от какого-нибудь колеса, над которым теперь трудится какой-нибудь неизвестный механик, — колеса, которое позволит управлять аэростатом. Любопытно знать, когда жизнь человечества будет в пространстве, какую форму получит торговля, браки, границы, домашняя жизнь, законодательство, преследование преступлений и проч. т. п. — словом, все общественное устройство?

Замечательно и то, что аэростат, локомотивы, все роды машин, независимо от прямой пользы, ими приносимой в их осуществлении, действуют на просвещение людей самым своим происхождением, ибо, во 1-х, требуют от производителей и ремесленников приготовительных познаний, и, во 2-х, требуют такой гимнастики для разума, каковой вовсе не нужно для лопаты или лома.

Зеленые люди на аэростате спустились в Лондон.

Письма из Луны.

Нашли способ сообщения с Луною; она необитаема и служит только источником снабжения Земли разными житейскими потребностями, чем отвращается гибель, грозящая земле по причине ее огромного народонаселения. Эти экспедиции чрезвычайно опасны, опаснее, нежели прежние экспедиции вокруг света; на эти экспедиции единственно употребляется войско. Путешественники берут с собой разные газы для составления воздуха, которого нет на Луне.

## ЭПОХА 4000 ЛЕТ ПОСЛЕ НАС

Орлий, сын Орлия поэта, не может жениться на своей любезной, если не ознаменует своей жизни важным

открытием в какой-либо отрасли познаний; он избирает историю — его археолог доставляет ему рукописи за 4000 лет, которые никто разобрать не может. Его комментарии на сии письма.

## ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПИСЬМА

XIX век

Через 2000 лет.

Сын поэта, чтобы удостоиться руки женщины, должен сделать какое-либо важное открытие в науках, как прежде ему должно было отличить себя на турнирах и битвах. В развалинах находят манускрипт — неизвестно к какому времени принадлежащий. Обыкновенный философ при поэте-отце отправляет его к обыкновенному археологу при поэте-сыне в другое полушарие чрез туннель, сделанный насквозь земного шара, дабы он разобрал ее, дабы восстановить прошедшее неизвестное время.

Сын находит, что по сему манускрипту можно заключить, что тогда Россия была только частию мира, а не обхватывала обоих полушарий. Что в это время люди употребляли для своих сношений письмо. Что в музыке учились играть, а не умели с первого раза читать ее.

Судии находят, что поэт не нашел истины и что все изъяснения его суть игра воображения; что хотя он и прочел несколько имен, но что это ничего не значит. Отчаяние молодого поэта. Он жалуется на свой век и пишет к своей любезной, что его не понимают, и спрашивает, хочет ли она любить его просто, как не поэта.

В Петербург[ских] письмах (чрез 2000 лет). Человечество достигает того сознания, что природный организм человека не способен к тем отправлениям, которых требует умственное развитие; что, словом, оказывается несостоятельность орудий человека в сравнении с тою целию, мысль о которой выработалась умственною деятельностью. Этою невозможностью достижения умственной цели, этою несоразмерностью человеческих средств с целию наводит на все человечество безнадёжное уныние — человечество в своем общем составе занемогает предсмертною болезнию.

*Там же:* кочевая жизнь возникает в следующем виде — юноши и мужи живут на севере, а стариков и детей переселяют на юг.

Нельзя сомневаться, чтобы люди не нашли средства *превращать климаты* или по крайней мере улучшать их. Может быть, огнедышащие горы в холодной Камчатке (на южной стороне этого полуострова) будут употреблены, как постоянные горны для нагревания сей страны.

Посредством различных химических соединений почвы найдено средство нагревать и расхоложать атмосферу, для отвращения ветров придуманы вентиляторы.

Петербург в разные часы дня.

Часы из запахов: час кактуса, час фиалки, резеды, жасмина, розы, гелиотропа, гвоздики, мускуса, ангелики, уксуса, эфира; у богатых расцветают самые цветы.

Усовершенствование френологии производит то, что лицемерие и притворство уничтожаются; всякий носит своя *внутренняя* в форме своей головы *et les hommes le savent naturellement*<sup>1</sup>.

Увеличившееся чувство любви к человечеству достигает до того, что люди не могут видеть трагедий и удивляются, как мы могли любоваться видом нравственных несчастий, точно так же как мы не можем постигнуть удовольствия древних смотреть на гладиаторов.

Ныне — модная гимнастика состоит из аэростатики и животного магнетизма; в обществах взаимное магнетизирование делается обыкновенною забавою. Магнетическая симпатия и антипатия дают повод к порождению нового рода фешенебельности, и по мере того как государства слились в одно и то же, частные общества разделились более яркими чертами, производимыми этою внутреннею симпатиею или антипатиею, которая обнаруживается при магнетических действиях.

Удивляясь, каким образом люди решились ездить в пародах и в каретах — думают, что в них ездили

---

<sup>1</sup> И люди осознают это естественно (*франц.*).



только герои, и из сего выводят заключение, что люди сделались трусливее.

Изобретение книги, в которой посредством машины изменяются буквы в несколько книг.

Машины для романов и для отечеств[енной] драмы.

...Настанет время, когда книги будут писаться слогом телеграфических депешей; из этого обычая будут исключены разве только таблицы, карты и некоторые тезисы на листочках. Типографии будут употребляться лишь для газет и для визитных карточек; переписка заменится электрическим разговором; проживут еще романы, и то не долго — их заменит театр, учебные книги заменятся публичными лекциями. Новому труженику науки будет предстоять труд немалый: поутру облетать (тогда вместо извозчиков будут аэростаты) с десятком лекций, прочесть до двадцати газет и столько же книжек, написать на лету десятков страниц и по-настоящему поспеть в театр; но главное дело будет: отучить ум от усталости, приучить его переходить мгновенно от одного предмета к другому; изодрать его так, чтобы самая сложная операция была ему с первой минуты легкою; будет приискана математическая формула для того, чтобы в огромной книге нападать именно на ту страницу, которая нужна, и быстро расчислить, сколько затем страниц можно пропустить без изъяна.

Скажете: это мечта! ничего не бывало! за исключением аэростатов — все это воочью совершается: каждый из нас — такой труженик, и облегчительная формула для чтения найдена — спросите у кого угодно. Воля ваша. Non multum sed multa<sup>1</sup> — без этого жизнь невозможна.

Сравнительную статистику России в 1900 году.

Шелковые ткани заменялись шелком из раковины. Все наши книги или изъедены насекомыми, или истребились от хлора (которого состав тогда уже потерял) — в сев[ерном] климате еще более сохранилось книг.

Англичане продают свои острова с публичного торга, Россия покупает.

---

<sup>1</sup> В немногом — многое (лат.).

## Езда по московским улицам

Ради общей пользы считаем долгом обратить внимание тех, кому о сем ведать надлежит, что на московских улицах существует особого рода беспорядок, не только препятствующий удобному сообщению, но и подвергающий проезжих и проходящих по улицам положительной опасности. Можно подумать, смотря на многие московские улицы, что они предназначены вовсе не для проезда, а разве для удобства преимущественно лавочников, а частью домовладельцев. Подъезжающие к лавкам возы (например, на Смоленском рынке, по всему Арбату и других подобных местностях), равно легковые и ломовые извозчики, становятся так, как никто не становится ни в одном городе мира, а именно: не *гуськом* вдоль тротуара, но *поперек улицы* и часто с обеих сторон ее<sup>1</sup>. Последствия такого невероятного обычая очевидны. Узкое пространство, остающееся между стоящими поперек возами, недостаточно для свободного сообщения; едва и обыкновенные экипажи, встречаясь, могут разъехаться. Но совершенное бедствие, если навстречу попадутся тяжелые возы или, что еще хуже, *порожняки*, которые навеселе скачут сломя голову на разнузданных лошадях, не обращая ни малейшего внимания на то, что задевают и экипажи и пешеходов; если кого и свалят, кому колесо, кому ногу сломят, то они, *порожняки*, уверены, что всегда успеют ускакать, прежде нежели их поймают. Напрасно *хозялы*, хотя изредка, вскрикивают, чтоб возы и экипажи держались правой стороны: требование весьма разумное, но материально неисполнимое, когда улица загорожена *поперек* стоящими возами.

Спрашивается: на чем основано право возов становиться поперек улицы и загоразживать ее, когда улица — есть земля городская, и пользование ею принадлежит всем обывателям города, а не тому или другому лицу, хотя бы он был извозчик или даже лавочник? Предложите этот любопытный вопрос хозялым, и они будут вам отвечать, что «это лавочники распоряжаются».

<sup>1</sup> То же бывает и на многих улицах Петербурга.

следствии ступеньки заменены скатом — для удобнейшего падения проходящих.

Нужно к тому прибавить, что и водосточные трубы с домов устроены особым, оригинальным образом. В Петербурге, как и в целом мире, водосточные трубы нижним концом проводятся *сквозь тротуар* и так, что вода, проходя *под тротуарною* настилкою, вливается в канаву, находящуюся обыкновенно между тротуаром и мостовую. В Москве водосточные трубы патриархально выливают воду *прямо на тротуар*, а уже с тротуара вода стекает в канавку: от этого чудного устройства даже очищенный тротуар пересекается горбами гололедицы, к чему присоединяется все то, что ночью и днем льется безнаказанно на наши тротуары, а летом и весною доходит до нестерпимого зловония — обстоятельство довольно важное всегда, а особенно в случае повальных болезней, какова, например, ожидаемая к весне холера.

Но мы не кончили еще с курьезами московских улиц. Иногда, по весне, между домами и тротуарами, а также между тротуарами и мостовую вырастает травка; очевидно, что в этих местах трава ничему вредить не может — напротив, она до некоторой степени есть спасение против нечистот, которыми утучняются наши тротуары; заросшая в этих местах зелень уничтожает до некоторой степени зловоние. Но в Москве рассудили иначе. Хожалые находят, что эта трава есть безобразие и что гораздо благоприличнее оголеть нечистоты, скопляющиеся у нас на тротуарах. По такому рассуждению они заставляют дворников выщипывать травку за травкою и за этим наблюдают строго. Неужели хожалые в этом случае действуют по приказанию начальства? Мы этому не верим. Здесь, вероятно, просто фантазия самих хожалых. Ведь заставляли же они усыпать песком тротуары летом, что было замечено в журналах прошедших годов и что, кажется, теперь прекратилось.

Но не прекращается многое другое. Загляните во все кремлевские ворота. <...>

Здесь от возов и от порожняков, по тесноте и крутизне места, еще больше опасности, нежели где-либо. Никогда въезжающий с одной стороны экипаж, а особенно воз или порожняк, не остановится *за воротами*, услышав приближение экипажа с другой стороны; оба лезут напролом, кто кого прежде сломит, да на скате трудно и остановить лошадь. <...>

Спрашивается также, отчего в Москве, или, например, в Петербурге, не положено определенного времени для проезда возов, особенно в кремлевские ворота, вообще узкие? Зачем возы даже допускаются к проезду через Кремль, когда им гораздо удобнее было бы проезжать окружными улицами. <...>

На все указанные нами беспорядки слышатся жалобы со всех сторон, но обыкновенно прибавляют, что «тут делать нечего», или, по выражению хожалых: *«ничего не подделаешь»*. Многие сожалеют об отмене телесных наказаний; по мнению этих господ, если уж нельзя употребить телесных наказаний, то *нечем и наказывать*.

Мысль неверная и весьма опасная; распространению этой мысли необходимо противодействовать всеми силами. Благодетельный закон, отменивший телесные наказания, не только бесполезные, но даже вредные, нисколько не обезоружил лиц, которым вверено городское благоустройство. Конечно, дело немножко затруднилось и требует бóльшей заботливости, потому что легче дать пинка без дальних разговоров, нежели рассмотреть степень виновности совершившего проступок; но одно стоит другого. <...>

Несчастливая мысль о том, что с отменю телесных наказаний уничтожились все наказания и что суду подвергаются лишь за преступления, а не за проступки, от говора чиновников перешла и в толпу. Надобно разуверить толпу, и разуверить ее *на самом деле*; когда лавочник, распоряжающийся улицею, как собственным двором, загромождающий тротуары; извозчик, загораживающий улицу; возчик, едущий на разнузданной лошади; порожняк, барчонок или купчик, скачущий по улицам — будут, «несмотря ни на какое лицо», по выражению закона, задержаны полициею *именно за этого рода беспорядок*, то и другим неповадно будет творить то же самое. Несколько примеров скорого положительного взыскания подействуют лучше всяких так называемых *внушений* и

«Слов не трать по-пустому,  
Где нужно власть употребить».

А затем в высшей степени будет полезно объявить во всеуслышание не только о *происшествии*, но и о постигнувшем нарушителя порядка наказании.

Полиция, должно отдать ей полную справедливость, в настоящее время сделалась весьма вежливою — так и следует; но то беда, что многие ее исполнители смеши-

вают *вежливость* с неуместным снисхождением или *послаблением*; необходимо им убедиться, что *вежливость вежливостью, а закон законом*; что при виде беспорядка на улице, подвергающего опасности жизнь и здоровье проезжающих и проходящих, должно отложить в сторону всякое снисхождение и действовать *законно*, но, так сказать, *беспощадно*, «несмотря ни на какое лицо». Виноват — задержать, и под суд.

Конечно, многое зависит и от содействия публики; но беда наша в том, что публика плохо знает законы и часто не может различить дозволенное от незаконного. Кто пойдет справляться в огромном II томе «Свода Законов» с приложением к статье 4415, где помещено на стр. 1247 «наставление полицейским чинам, к управлению квартала принадлежащим»; иной, пожалуй, если ему дать и книгу в руки, не будет уметь отыскать в ней этого приложения, а между тем оно содержит в себе весьма подробные и весьма душеспасительные правила не только для полицейских чинов, но и *для всякого городского обывателя*.

Почему бы не напечатать этого «наставления» особою брошюрою и не раздать в книжные лавки или разносчикам газет?

Почему бы извлечение из него тех пунктов, которые относятся собственно до извозчиков и дворников, не напечатать на больших листах и не приклеить в разных местах города? да напечатать это объявление не по обычаю, т. е. не мелким шрифтом, и не вывешивать выше глаза человеческого, а шрифтом в восьмую часть вершка и приклеить пониже, чтоб в глаза бросалось? Скажут: мужик не будет читать. Правда, когда бумага — сама по себе, а исполнение — само по себе; но когда схватят молодца, приведут к наклеенному листу, да прочтут ему, что он идет под суд или подвергается штрафу, то будьте уверены, в другой раз и сам прочтет и другим накажет — откуда грамотность возьмется!

Все это хлопотно — не спорим; да без хлопот никакое дело не творится. Мы уверены, что какие бы ни были затруднения, но найдется энергическая рука, которая, не спеша, законно, но *без усталости, последовательно и настойчиво* вытравит закоренелые у нас незаконности и ту легкомысленную беззаботность, которые встречаются почти на всех степенях нашей городской жизни и портят нашу прекрасную Москву. Право, пора!

## Ворожеи и гадальщики

Едва ли в каком-нибудь другом городе, кроме Москвы, всевозможные шарлатаны пользуются таким почетом и успехом. Начиная от какой-нибудь блаженной Анфисушки и кончая знаменитым Иваном Яковлевичем Корейшей, все эти господа играли довольно видную роль в московской жизни. Правда, и в других городах водятся разные прорицатели, но нигде характер их деятельности не принимает таких, до странности широких размеров, как в Москве...

Не говоря уже о таких знаменитостях, как покойный Иван Яковлевич, угощавший своих посетителей изюмом, выпачканным в самой отвратительной грязи... многие мелкие ворожеи выделывают самые непостижимые вещи. Непостижимость заключается не в тонкости их шарлатанства, не в замысловатости обмана, а в той слепой и дикой покорности, в том нелепом благоговении и почтении, которыми преисполнены их посетители и почитатели. Шарлатанство в Москве имеет простой и грубый характер, почти никогда не применяется к делу обмана не только физические фокусы,— даже обыкновенная загадочная обстановка европейских шарлатанов у нас почитается совершенно излишней. Для приобретения популярности считается совершенно достаточным корчить из себя юродивого, притворяться дураком и нести всякую чушь, которую будут принимать за бред пифии и не замедлят истолковывать и осмысливать по своему вкусу.

Одна моя знакомая купчиха, умершая лет десять назад, за шесть месяцев до кончины была у известной ворожеи Анисьи Никитишны, или просто Анисьюшки. В грязной, вонючей камерке сидела ворожея перед бутылкой водки и, по-видимому, не обратила никакого внимания на вошедшую купчиху.

— Здравствуй, Анисьюшка! — в минорном тоне произнесла купчиха.

Анисьюшка молчала.

— Как поживаешь, всё ли здорова?

Анисьюшка молча налила полстакана водки и с величавым спокойствием осушила до дна, хотя стакан был немного менее тех стаканов, которые обыкновенно подают к чаю.

«Юродствует», — подумала купчиха.

— Пей! — воскликнула Анисьюшка, наливая полный стакан и поднося его своей посетительнице...

— Верное слово, не могу. Кушай себе на здоровье...

— Бери! Пей! — с ожесточением вскрикнула юродивая.

Делать было нечего; купчиха взяла стакан, помочила в нем губы и поставила на стол.

— Все, все, все!

Купчиха отказывалась; юродивая кричала и требовала, чтоб та пила водку до конца...

Как ни ломалась посетительница, а принуждена была выпить.

Юродивая вдруг вскочила с места, начала прыгать по комнате на одной ноге, припевая:

— Жизнь свою выпила! Жизнь свою выпила! Церковка-кукуверковка, стара баба-яга, деревянна нога!

— Что ты, Анисьюшка, бог с тобой! — со страхом заметила купчиха.

— Жизнь свою выпила! Жизнь свою выпила!

— Что такое с тобой, Анисьюшка?

— Церковка... Жизнь свою выпила!

Так больше ничего и не добилась купчиха. Домой она воротилась печальная и расстроенная.

— Видно, и в самом деле конец мой близок, — говорила она.

— Что вы, полноте, вам еще с внучатами нянчиться придется, — уговаривали ее...

— Ах, подите вы! Уж не даром же Анисьюшка... — И тихие рыдания заглушали слова.

— Что же такое Анисьюшка?

— Такое говорила, что волосы дыбом становятся.

— Что же такое?

— Ох, не спрашивайте! Вижу я — конец мой близок.

И действительно, здоровая, никогда прежде не хворавшая женщина начала чахнуть. Она беспрестанно повторяла: «Умру я скоро, умру, детки мои милые!» Плакала, молилась, постилась и, наконец, слегла в постель. Печальная уверенность в близкой смерти окончательно подорвала ее здоровье; и она умерла лет сорока, несмотря

на то, что крепкая комплекция обещала ей продолжительную и бодрую старость.

Таким образом, бессмысленные слова полусумасшедшей, пьяной гадалыщицы превратились в роковой смертный приговор для необразованной, суеверной женщины.

Вот какое значение придают всякой нелепости, выходящей из уст какого-нибудь самозванного оракула. Бессмысленному набору слов придают какой-то таинственно-вещий смысл, разные гаденькие и грязенькие делишки объясняют юродством.

После этого становится понятным, до какой степени простодушны верящие ворожбе и до какой степени наглы шарлатаны, прикрывающиеся юродством и продающие свою глупость за наличные деньги.

Это не Сен-Жермены или Калиостро, приобретающие влияние при помощи известной ловкости, знаний и умения пользоваться случаем, это не Юмы, морочащие людей, пользуясь особенностями своего организма. Нет, это люди простые, невежественные, даже часто глупые, не обладающие ни ловкостью, ни знаниями, ни тактом, ни быстрой сообразительностью...

Не привыкнув с малолетства к труду и попавши в такую обстановку, где каждый кусок хлеба должен быть заработан, многие, конечно, стараются возвратиться в прежнюю среду и убежать от труда, который стоит перед ними грознее ночного призрака, вставшего из могилы... Какому-нибудь разорившемуся торговцу сделаться богачом, отставному чиновнику получить хорошее место, какой-нибудь старой деве, лишившейся родителей, выйти за миллионера — все это желанья вполне законные, но тем не менее недостижимые.

И вот все эти разорившиеся торговцы, все бездомные старые девы начинают бродить по своим знакомым и жить, переходя из гостей в гости. Многие из них могли бы взяться за какой-нибудь честный труд, но лень и привычка к бродячей жизни скоро овладевают всем их существом, так что они скоро начинают бояться не только всякого определенного занятия, но даже определенного места жительства. Шатанье из угла в угол имеет тоже свою поэзию и увлекательность.

В московской жизни эти кумушки скоро научаются подхалюзить, лгать, сплетничать, а прежде всего гадать на картах, так как без этого искусства немислима хоро-



шая московская приживалка... Видя, как уважают какого-нибудь спившегося сапожника Иванушку, сделавшегося от безделья юродивым, видя, что какая-нибудь Сидоровна, бездомная и бесприютная салопница, обзавелась домком и деньжонками потому только, что начала гадать на кофе и на бобах, видя такие успехи своих собратьев по профессии, приживалка начинает задумываться. И вот через несколько времени вы видите ее уже в каком-нибудь уродливом костюме, с петухом под мышкой и длинным посохом в руках. Смотря по вкусу, она начинает или юродствовать, или блажить, или выбирает себе более скромную роль бродячей гадалыщицы...

Между юродивыми и блаженными сплошь и рядом бывают такие случаи, что плоды их шарлатанства пожинаят другие. Но солидные гадалышки бывают люди практические, часто берегущие копейку на черный день.

В Москве лет пять назад был известен Степан Кузьмич. Это был некоторым образом соперник Ивана Яковлевича, переманивший от него многих постоянных посетителей. Ему было лет сорок; он был смуглый, коренастый брюнет, довольно высокого роста. Ходил и двигался Степан Кузьмич тихо, спокойно, говорил медленно, обдуманно, так что, вопреки московскому обыкновению, его не называли просто Степанушкой, а величали Степаном Кузьмичом.

Я встречал этого человека раза четыре и, несмотря на то, что в течение всего нашего знакомства мы не сказали десяти слов, с первого раза так хорошо запомнил его наружность, что потом при всякой встрече узнавал его с первого взгляда. Действительно у Степана Кузьмича наружность была замечательная: не то еврей, не то турок, не то грек — какое-то странное и поразительное смешение самых типичных черт лица. Греческий нос, сонливые глаза, курчавые волосы, смуглое лицо, тонкие губы, какая-то робкая улыбка — все это вместе составляло одну из тех физиономий, которые легко запоминаются с первого взгляда.

В первый раз я встретил его лет пятнадцать назад в Петербурге. Он служил лакеем у одного моего знакомого.

— Какая странная наружность, — заметил я, пораженный физиономией Степана Кузьмича. — Где вы его взяли?..

— А черт его знает, какой-то нахичеванский уроженец.

Года через два после этого однажды вечером я сидел в одном из тех маленьких трактиров на Невском проспекте, которые в Петербурге называются ямками. К нашему столу подошел какой-то человек и тихо спросил:

— Не угодно ли, я фокус покажу?

Я взглянул на него и сразу узнал нахичеванского уроженца.

Фокус был незамысловат и даже исполнен не совсем искусно, так как, вероятно, Степан Кузьмич не обладал проворством рук.

После этого прошло семь лет. Я жил в Москве, вертелся в купеческом кругу, и мне нередко приходилось провожать своих знакомых и родственниц к разным ворожеям и гадалщикам. Я знал почти всех московских пифий мужского и женского пола. Про Степана Кузьмича рассказывали просто чудеса...

По поводу какого-то сватовства одна моя родственница вздумала навестить Степана Кузьмича, и я вызвался проводить ее.

По крутой лестнице мы поднялись во второй этаж и вошли в низенькую, грязную кухню; пожилая женщина возилась около самовара и показала нам ход в другую комнату, в приемную Степана Кузьмича... Через пять минут вышел Степан Кузьмич и тихо поклонился нам. Я сразу узнал в нем нахичеванского уроженца, отставного лакея и мелкого трактирного фокусника. Он пригласил нас в следующую комнату, запер дверь, чинно уселся на стул и начал пристально глядеть в чистую воду, налитую на чайное блюдечко.

— Женщина какая-то, средних лет... Мужчина... — с расстановкой заговорил Степан Кузьмич.

— Семнадцати лет, батюшка. Жених к ней сватается, — пояснила моя родственница — купчиха.

— Вижу, вижу: в розовом платье, молодая... статный мужчина, красивый...

— Он уж пожилых лет...

— Статный мужчина, с проседью в волосах... Это хорошо! Все будет счастливо.

Степан Кузьмич еще что-то говорил, но этого я уж не помню. Знаю только, что, выходя от него, моя родственница удивлялась и спрашивала меня, какой это муж-

чина с проседью в волосах, так как жених был плешив и почти не имел волос...

— Почему знать,— говорила она,— может, он и точно видел статного мужчину с проседью в волосах. Только кто бы это такой был? Может, другой какой еще жених навернется — и статный, и с проседью.

В последний раз я встретил Степана Кузьмича год назад, проезжая, по домашним обстоятельствам, в Одессу. Он был стационарным содержателем почтовых лошадей.

— Я, кажется, видал вас в Москве? — спросил я его.

— Может быть.

— Вас зовут Степаном Кузьмичом?

— Точно так-с.

В это время у Степана Кузьмича был хорошенький домик, один из лучших в деревне, молодая жена и маленький сын. Во всем околотке он славился человеком богатым, скупым и жадным до денег.

Из этих четырех встреч легко составить биографию бывшего московского прорицателя. Потеряв лакейское место, он начинает вести бродячую жизнь, привыкать к праздности и тунеядству... Как человек неглупый и практичный, он скоро отыскивает для себя подходящую профессию и продолжает ее до тех пор, покуда не получает возможности переселиться на родину и жить, уж ровно ничего не делая...

Профессию гадальщика он избрал совершенно случайно. Рассказ об этом я слышал в Москве... Привожу его, как весьма характеристический случай из московской жизни.

Был в Москве один богатый суровский торговец, человек, что называется, кулак и, ко всему этому, приверженец древнего благочестия. Звали его хоть Иваном Петровичем. У этого Ивана Петровича был задушевный приятель, хлебный торговец. Были они знакомы лет двадцать и вели между собой хлеб-соль, как подобает солидным людям, чинно, хорошо и скромно.

Вследствие разных случайностей дела хлебного торговца, которого мы назовем Петром Ивановичем, начали расстраиваться.

— Дам я тебе добрый совет,— сказал однажды Иван Петрович своему другу.— Слыхал я от старых людей, что первое средство к прибыли в дом — это надо держать какого ни на есть странного человека. Теперь, если

у тебя что неладно выходит, так потому именно, что ты блаженства не наблюдаешь...

— Как это?..

— Покайся и сделай богоугодное дело: колокол слей или что-нибудь другое, странников принимай, чти блаженных...

— Я и так...

— Вот посмотри, примерно, как твоя судьба исправится, если ты послушаешь меня! От добра говорю: не жалея куска хлеба, приюти к себе во двор какого ни на есть странного человека.

— Где же его взять?..

— Я тебе найду настоящего блаженного, который тридцать лет в пустыне акридами и диким медом питался... Вериги в тело так и вросли: в полицию его призывали и то снять никак не могли. Говорят, что этот человек потерпел! Господи! И все за напраслину гонение! Слышь ты, говорят, и розгами-то его секли, и плетью наказывали, все перенес, голубчик.

— Да, это бывает.

— Нет, братец ты мой, человек этот столь удивительный, что и сказать нельзя, таких редко видишь. Тридцать лет акридами и диким медом питался!..

— А зимой-то как же?

— Зимой?.. На все господь.

— А!

— Так я тебе этого самого человека предоставлю. Вот посмотри, какое он счастье в дом твой внесет. Эти, братец мой, блаженные — дорогие люди. Он теперь тебе может про всякие святые места рассказать, душу твою очистить и на путь истинный тебя направить.

Таким образом, доказавши своему другу, что при его обстоятельствах нельзя предпринять ничего выгоднее и лучше взятия в дом «странного» человека, Иван Петрович принялся хлопотать о разыскании какого-нибудь блаженного.

В Москве есть личности, для которых всевозможное факторство составляет правильную профессию. Получая разные таинственные поручения, они исполняют их с привычной аккуратностью, хотя и берут за это страшный комиссионерский процент. К таким личностям принадлежал рыжебородый, здоровый мужик Кузьма Захаров, выдававший себя за какого-то финляндского уроженца.

Желая отыскать для своего друга какого-нибудь бла-

женного, Иван Петрович прежде всего обратился к Кузьме.

— Помнишь, Кузьма, ты мне говорил про блаженного, что тридцать лет акридами и диким медом питался. Жив он теперь?

— А что, нужен он вам?

— Да, в один дом просили.

— Это можно-с.

— Ты говоришь, он в веригах?

— Как же, в железных веригах.

— А тяжелые они?

— Помилуйте, как же не тяжелы.

— И в тело вросли?

— Как есть в самое тело.

— Это хорошо...

— Одно слово — блаженный человек.

— То-то!

У Кузьмы много было на примете всяких блаженных, с веригами и без вериг. Поэтому ему недолго пришлось разыскивать: через три или четыре дня он привел на двор Ивана Петровича грязного, оборванного человека с длинными волосами, прикрытыми замасленной скуфеей, и с узенькими плутовскими глазами на жирном, обрюзгшем лице. Блаженный прихрамывал на обе ноги и, ковыляя, опирался на длинный посох.

— Привел-с, — доложил Кузьма...

Блаженный вошел и, не обратив никакого внимания на хозяина, по обыкновению начал класть поклоны в правый угол.

— Где же ты живешь, добрый человек?

— Между добрыми людьми, милостивец; свет не без добрых людей!

— Есть у меня хороший человек: он тебя, по добродушеству своему, приютит и накормит...

Так юродивый попал к Петру Иванычу. Но сверх ожидания торговые дела его нисколько не поправились, а, напротив, шли день ото дня хуже и хуже...

Петр Иваныч терпел, хотя и не верил, что юродивый может сколько-нибудь исправить его торговые неудачи. Но он кормил и поил блаженного потому, что это не составляло для него особенного расхода и, кроме того, он этим хотел угодить своему старинному другу.

Но однажды вышел такой случай. Петр Иваныч получил в присутствии юродивого значительный куш де-

нег в уплату по какому-то старому векселю. Положив их в ящик, который запирался на всякий замок, хозяин куда-то вышел. Все это очень хорошо заметил юродивый и, рассчитывая, что Петр Иванович не воротится домой по крайней мере час, решил воспользоваться случаем. Но, к счастью, это ему не удалось.

Петр Иванович забыл какую-то вещь в своей комнате, хватился ее на полдороге и воротился домой через каких-нибудь десять минут. Что же он застал? Сундук был открыт, перед ним в смущении стоял юродивый с пачкой денег в руках; на полу валялся топор и сбитый замок.

— Что это?.. Ах ты, мерзавец!

Юродивый вздумал было войти в свою роль и выкинуть какой-то кунштюк, но свалился на пол под ударом здорового кулака.

— Ты грабить меня вздумал за мою хлеб-соль! Полицию позовите!

Юродивого связали и сдали по принадлежности. Петр Иванович сейчас же отправился к своему другу, который ему рекомендовал такое хорошее, симпатическое средство для успеха в торговле.

— Ну, удружил!

— А что?

— Чуть было не обокрал меня твой хваленый юродивый! Подлец этакой!..

— И верить не хочу! Все это напраслина одна: тебе наврал кто-нибудь!

— Своими глазами видел.

— Не говори, Христа ради! Может, что-нибудь подобное было, а не то. Может, он так что-нибудь от юродства сделал.

— Украл просто.

— Полно врать! — сердито сказал Иван Петрович.

— Ну, так дурак же ты после этого!

— Я дурак?

— Да, ты!

— Тьфу!

Иван Петрович плюнул на жилет своего приятеля... Что после этого произошло, неизвестно; только Иван Петрович несколько дней не выходил да в городе ходили слухи, что два друга передрались и что Петр Иванович весьма изрядно помял бока Ивану Петровичу.

Иван Петрович рассвирепел. Он не только не мог ви-

деть своего врага, даже не мог произносить его имени. День и ночь Иван Петрович только и думал о том, как бы ответить своему недругу. Между тем, пришла осень. Последняя торговая операция Петра Иваныча имела такой блестящий успех, что о ней заговорили в городе, и дела его сразу не только поправились, но даже сделались лучше прежнего.

Иван Петрович скрежетал зубами. Враг его шел в гору. Зависть и жажда мести не оставляли его в покое. Как человек суеверный и не совсем разумный, да еще под влиянием ошеломившей его злобы, он остановился на симпатических средствах и решил при помощи каких-нибудь заклинаний и зелий, что называется, испортить Петра Иваныча.

«Тысяч не пожалею,— думал Иван Петрович,— изведу его, окаянного...»

Он знал из сказок, что многие колдуны превращают своих жертв в собак, кошек и других животных, и Ивану Петровичу крепко захотелось видеть своего врага в собачьей или кошачьей шкуре.

Послан был кучер за Кузьмой.

Финляндский уроженец не заставил себя дожидаться и явился перед Иваном Петровичем как лист перед травой...

— Есть у тебя ворожеи знакомые?

— Как не быть.

— Хорошие?

— Всякие есть.

— Мне надо такую, чтоб она могла... (Иван Петрович начал шептать что-то на ухо Кузьме.) Есть такая?

— Трудно такую найти.

— Найди, я денег не пожалею: двести, триста рублей отдам, только чтоб это так было, как я хочу.

— Знахари-то хорошие теперь почти все вывелись на Москве.

— Найди.

— Есть у меня один на примете: много сведущ, да не знаю, может ли и он это сделать.

— Вот тебе за хлопоты,— сказал Иван Петрович, подавая Кузьме красенькую бумажку.— Сделай для меня!..

Это время совпало с тем временем, когда Степан Кузьмич бродил в Москве без всякого дела и приискивал себе занятия. Наружность у него была мрачная,

представительная, так что даже внушала страх некоторым московским барыням. Вообще он как нельзя больше подходил к роли такого знахаря, который может обращать людей в собак и кошек. Кузьма был немного знаком с ним, отыскал его и познакомился с ним ближе.

Иван Петрович начал чуть не каждый день посещать Степана Кузьмича, который с большим тактом исполнял роль знахаря и колдуна. Кузьме беспрестанно делали поручения — то достать волосы Петра Иваныча, то снять его след, и много перебрали денег и знахарь и комиссионер. Перебрали бы и больше, да Иван Петрович в один прекрасный день переселился к прадедам от кондрашки, которая хватила его именно в то время, когда он уже готовился узреть своего недруга в собачьей шкуре, сидящего на цепи около собственной подворотни.

Степан Кузьмич с этого и пошел в гору.



---

## ОДОЕВСКИЙ В ЖИЗНИ

Автобиография.  
Отзывы и воспоминания современников

### <Автобиография>

Одоевский (князь Владимир Федорович) родился в Москве, июля 30-го дня, 1804 года. Питает особую ненависть к автобиографиям и укрепился в сем чувстве еще более по прочтении «Замогильных записок» Шатобриана, зане в автобиографии трудно удержаться от коленопреклонения пред самим собою, и невольно впадаешь в ложь, так называемую — простительную. В числе же немногих, но крепких убеждений к <нзя> В <ладимира> О <доевского> находится на первом месте следующее: что все зло происходит в мире ото лжи, вольной или невольной, и что все затруднительные вопросы жизни разрешились бы весьма легко, если бы люди с полным сознанием дали себе слово: не лгать ни в каком случае и не на крошечку (что многие даже добросовестные люди почитают позволительным). Человеку два дела на свете в сем отношении: или говорить правду, или молчать. То и другое очень трудно. — К числу убеждений к <нзя> В <ладимира> О <доевского> принадлежит и следующее: человек не должен ни создавать для себя сам произвольно какой-либо деятельности, ни отказываться от той, к которой призывает его сопряжение обстоятельств его жизни. Если б это правило исполнялось всеми, то каждый человек был бы если не на своем месте, то, по крайней мере, исполнял бы свое дело жизни по мере сил своих, а из суммы отдельных усилий каждого человека

в сфере, образуемой общею деятельностью всего человечества, произошло бы нечто более стройное, нежели то, что существует донныне в мире.

М. П. ПОГОДИН

*Воспоминание о князе  
Владимире Федоровиче Одоевском*

<...> Пятьдесят почти лет я находился с ним в близких, коротких отношениях. Мы кончили курс в одном году, 1821,—я в университете, он в университетском пансионе, где имя его осталось на золотой доске с именами Жуковского, Дашкова, Тургенева, Мансурова, Писарева<sup>1</sup>.

Но узнал я его еще прежде, в 19-м или 20-м году, и именно здесь, в заседаниях Общества Любителей Российской Словесности. Я говорю — здесь, в отношении к Обществу, но зала, где оно собиралось, была в другом месте — в доме университетского пансиона, на углу Тверской и Газетного переулка. Председателем Общества был тогда вместе и директор пансиона, ректор университета, А. А. Прокопович-Антонский, воспитатель многих поколений русского дворянства.

Заседания, по духу времени, отличались особенною торжественностью. Старшим воспитанникам председатель поручал прием посетителей. Как теперь, помню я Одоевского: стройненький, тоненький юноша, красивый собою, в узеньком фракке темно-вишневого цвета, с сенаторскою важностью, которою и тогда уже отличалась привлекательная его наружность, разводил он дам, почтительно указывая им назначенные места, и потом оставившись с краю фланговым наблюдателем порядка во время чтения.

И начиналось чтение священным псалмом Шатрова, который прочитывал с трагическим напевом Кокошкин. За ним следовало рассуждение Мерзлякова с громами против увлечений романтизма, хотя сюда же Жуковский

<sup>1</sup> Первыми воспитанниками следующего выпуска были Шевырев и Титов.

прислал сказку о Красном карбункуле и Овсяный кисель. Заседание оканчивалось баснею Василия Львовича Пушкина, Малиновкою, или ею подобною, произносимую восторженно.

И все это выслушивалось в благоговейной тишине, принималось к сердцу, вызывало жаркие похвалы! Доброе старое время, где ты, с своими невинными мечтаниями, с своими чистыми идеалами!

Всякое чтение в Обществе Любителей Российской Словесности делалось предметом живых споров и суждений у студентов и воспитанников в их собраниях. Русский язык был главным, любимым предметом в пансионе, и русская литература была главною сокровищницею, откуда молодые люди почерпали свои познания, образовывались. И в этой школе образовался слог, развился вкус у Одоевского, равно как у его товарищей, старших и младших. <...>

Одоевский прославился еще в пансионе своим знанием языка и по окончании курса тотчас выступил на литературное поприще в Вестнике Европы, единственном пристанище для молодых новобранцев Словесности.

Первым литературным его опытом были, в 1822 году, письма к Лужницкому старцу, произведшие движение между сверстниками: Странный человек, Похвальное Слово невежеству и Дни досад. В этих опытах главною темою было обличение пустоты большого света, его приличий, условий, воззрений, воспитания, образа мыслей, его суеты или деятельного бездействия, как выразился молодой цензор,— обличение в чертах, разумеется, самых легких, скромных и благоприличных. Эти мысли, сделавшиеся впоследствии общими местами, хотя и без большого действительного влияния, тогда были еще новы. <...>

Тогда же вступил Одоевский и в частное литературное безымянное общество, которое собиралось у переводчика Виргилиевых Георгик и Тассова Иерусалима С. Е. Раича. Там прочел он нам перевод первой главы из Океновой натуральной философии, о значении нуля; в котором упоковаются плюс и минус.

Мы затевали журнал, и при рассуждении о составе первой будущей книжки Одоевский смело сказал: для первой книжки я напишу повесть, Уверенность, с которою были произнесены эти слова, подействовала на некоторых из нас очень сильно: каков Одоевский! прямо

так-таки и говорит, что напишет повесть: стало быть, он надеется на себя!

Журнал наш, впрочем, не состоялся. Полевой, ободренный князем Вяземским, задумал уже тогда Телеграф, а Одоевский, познакомившись с Кюхельбекером, объявил в следующем году об издании Мнемозины, альманаха в 4 книгах.

В Мнемозине обещались участвовать Пушкин, Грибоедов и Денис Давыдов. Пушкин как товарищ Кюхельбекера украсил Мнемозину Посланием к морю и Демону, двумя блистательными из его стихотворений. <...>

Кн. Одоевский выступил с повестями, аллегориями и апологами, очень легко и остро рассказанными и прочтенными с удовольствием, но главный его вклад — несколько статей о философии. Статьи его отличались примечательной ясностью изложения и заставляли ожидать многого от молодого любомудра, как он называл себя. Он затевал тогда даже словарь для истории философии. <...>

Тогда уже собирались по вечерам к Одоевскому юноши, любители наук, которых он отыскивал; так, например, отыскал он Максимовича и ввел в свой литературный круг.

Жил он в Газетном переулке, против нынешней гостиницы Шевалье, в доме своего родственника князя Петра Ивановича Одоевского<sup>1</sup>, которого племянница Варвара Ивановна была замужем за Сергеем Степановичем Ланским.

Две тесные каморки молодого Фауста под подъездом были завалены книгами — фолиантами, квартантами и всякими октавами, — на столах, под столами, на стульях, под стульями, во всех углах, — так что пробираться между ними было мудрено и опасно. На окошках, на полках, на скамейках, — стклянки, бутылки, банки, ступы, реторты и всякие орудия. В переднем углу красовался человеческий костяк с голым черепом на своем месте и надписью: *sapere aude*. К каким ухищрениям должно было прибегнуть, чтоб поместить в этой тесноте еще фортепиано, хоть и очень маленькое, теперь мудрено уже и вообразить! Это мог сделать только Одоевский с

---

<sup>1</sup> Этот князь Одоевский пожертвовал более тысячи душ на учреждение богадельни в окрестностях Москвы и устроил приют Даринский в Москве, в память своей дочери, бывшей за графом Кенсона.

своими изобретательными способностями в этом роде. Короче, каморка его была миниатюрой того последнего кабинета, обширного, но еще более загроможденного, в котором мы все проводили так недавно, по пятницам, вечером, столько приятных и добрых часов в гостях у любезного хозяина, уже престарелого!

В 1826 году Одоевский переехал на житье в Петербург. <...>

Служба отвлекла Одоевского на несколько времени от обыкновенных занятий, потом большой свет, куда он должен был вступить и по родству и по связям. Но в сущности он оставался тем же, чем и был в Москве; все досуги посвящались философии, литературе и музыке. <...>

В нашем Московском Вестнике принимал живое участие и прислал в 1827 г. восточную повесть, которая обратила на себя внимание Пушкина. <...>

С тех пор, как Одоевский начал жить в Петербурге своим хозяйством, открылись у него вечера, однажды в неделю, где собирались его друзья и знакомые — литераторы, ученые, музыканты, чиновники. Это было оригинальное собрание людей разнородных, часто даже между собою неприязненных, но почему-либо замечательных. Все они на нейтральной почве чувствовали себя совершенно свободными и относились друг к другу без всяких стеснений. Здесь сходились веселый Пушкин и отец Иакинф с китайскими, сузившимися глазками, толстый путешественник, тяжелый немец, — барон Шиллинг, воротившийся из Сибири, и живая, миловидная гр. Ростопчина, Глинка и проф. химии Гесс, Лермонтов и неуклюжий, но многознающий археолог Сахаров. Крылов, Жуковский и Вяземский были постоянными посетителями. Здесь явился на сцену большого света и Гоголь, встреченный Одоевским на первых порах с дружеским участием. Беспристрастная личность хозяина действовала на гостей, которые становились и добрее и снисходительнее друг к другу.

Музыка оставалась любимым предметом его занятий, трудов и бесед, — и было с кем ему делить свои мысли об этом дорогом для него искусстве: Глинка был самым близким к нему человеком, граф Михаил Юрьевич Вильгорский, брат его Матвей Юрьевич, Даргомыжский, а после Серов, знатоки, любители и сочинители, были постоянными собеседниками. «Жизнь за царя» разыгра-

на вся в его кабинете. «Руслан и Людмила» также. <...>

В 1862 году Одоевский был назначен сенатором в Москву, и друзья, в небольшом обществе, человек пять или шесть, встретили его обедом, мая 24, на котором за заздравным бокалом было сказано:

«Старик любезный, Горацій, воспевал:  
Otium divos rogat patienti  
Prensus Aegeo, simul atra nubes  
Condidit lunam.

(В переводе Дмитриева:

Покоя просит у богов пловец,  
Застигнутый в Егейском бурном море.)

Нашему доброму другу не однажды случалось испытать бурю: сорок почти лет утлая ладья его носилась, погрязая, по страшному Петербургскому болоту, на котором бури бушуют, однако ж, грознее равноденственных. Поблагодарим же богов, которые привели его наконец к родимым берегам, где он может восклицать с нами: к тихому пристанищу притекох...

Почтим и твердость, с которою он оттолкнул от себя обаятельную Невскую Калипсу, и доказал торжественно свою верность нашей матушке Москве.

Да, он наш, природный Москвич, Москвитянин и даже Московский вестник, со всеми нашими, для других странскими, для нас любезными отпечатками, со всеми нашими родимыми пятнами. <...>

В Москве, так же как и в Петербурге, тотчас устроились у него вечера по пятницам, где собирались его друзья, новые знакомые и сослуживцы, все путешественники, особенно музыканты.

Старые товарищи, которых осталось уже наперечет, имели всегда проездом у него свое свидание и жили вместе как будто старою — молодою жизнью.

Изобретения, придумывания разных удобств, облегчений продолжались по-прежнему, — в области акустики, гастрономии, домашней жизни: как топить печки, жарить кофе, иметь под рукою нужные книги, увеличивать силу звука. <...>

Одоевский прочел в Москве несколько лекций о музыке для своих приятельниц, — потом издал свои основания с целью просветить профанов. Он употреблял все усилия, чтоб растолковать им правила гармонии, но, увы! большею частию без успеха, по крайней мере я

должен был признаваться ему, что, несмотря на все его объяснения, изустные и печатные, я ничего не понимаю, и он махал рукою, все-таки при всяком случае возобновлял свои объяснения и спрашивал: понимаешь ли? Нет, не понимаю! <...>

Кроме музыкальных наслаждений два события последнего времени обрадовали Одоевского, вместе со всеми его друзьями, и он отнесся к ним с юношеским восторгом — это уничтожение крепостного права и гласное судопроизводство. Он следил за успехами судебного преобразования, принимал к сердцу всякую удачу и неудачу его, и с самого начала положил праздновать эти события у себя, — в кругу их представителей — торжественным ужином накануне 19 февраля. <...>

А. И. КОШЕЛЕВ

### *Записки*

По окончании экзамена и я и Ив. В. Киреевский поступили на службу в Московский Архив иностранных дел. <...>

В Архив почти одновременно поступили, кроме Ив. Киреевского, Дм. и Алек. Веневитиновы, Титов, Шевырев, Мельгунов, С. Мальцов, Соболевский, двое кн. Мещерских, кн. Трубецкой, Озеров и другие хорошо образованные юноши. Служба наша главнейше заключалась в разборе, чтении и описи древних столбцов. Понятно, как такое занятие было для нас мало занимательно. Впрочем, начальство было очень мило: оно и не требовало от нас большой работы. Сперва беседы стояли у нас на первом плане; но затем мы вздумали писать сказки так, чтобы каждая из них писалась всеми нами. Десять человек соединились в это общество, и мы положили писать каждому не более двух страниц и не рассказывать своего плана для продолжения. Как между нами были люди даровитые, то эти сочинения выходили очень забавными, и мы усердно являлись в Архив в положенные дни — по понедельникам и четвергам. Архив прослыл сборищем «блестящей» московской молодежи, и звание «архивного юноши» сделалось весьма почетным, так что впоследствии мы даже попали в стихи начинавшего тогда входить в большую славу А. С. Пушкина.

В это же время составилось у нас два общества: одно литературное, а другое философское. Первое, под председательством переводчика «Георгик» С. Е. Раича (Амфитеатрова) собиралось сперва в доме Муравьева (на Большой Дмитровке, где помещалось Муравьевское военное учебное заведение и где впоследствии были училище проф. Павлова, дворянский клуб и лицей гг. Каткова и Леонтьева), а потом на квартире сенатора Рахманова, при сыне которого Раич был воспитателем. Членами этого общества были: Ф. И. Тютчев, Н. В. Путья, кн. В. Ф. Одоевский, В. П. Титов, С. П. Шевырев, М. П. Погодин, Ознобишин, Томашевский, Алек. С. Норов, Андр. Н. Муравьев и многие другие. Наши заседания были очень живы, и некоторые из них даже блестящи и удостоивались присутствия всеми любимого и уважаемого Московского генерал-губернатора кн. Д. В. Голицына, Ив. Ив. Дмитриева и других знаменитостей. Тут изящная словесность стояла на первом плане; философия, история и другие науки только украдкой, от времени до времени, осмеливались подавать свой голос. Мне удалось там прочесть некоторые переводы из Фукидида и Платона и отрывки из «Истории Петра I», которою тогда я с любовью занимался.

Другое общество было особенно замечательно: оно собиралось *тайно*, и об его существовании *мы никому* не говорили. Членами его были: кн. Одоевский, Ив. Киреевский, Дм. Веневитинов, Рожалин и я. Тут господствовала немецкая философия, т. е. Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Гёррес и др. Тут мы иногда читали наши философские сочинения; но всего чаще и по большей части беседовали о прочтенных нами творениях немецких Любомудров. Начала, на которых должны быть основаны всякие человеческие знания, составляли преимущественный предмет наших бесед; христианское учение казалось нам пригодным только для народных масс, а не для нас, Любомудров. Мы особенно высоко ценили Спинозу, и его творения мы считали много выше Евангелия и других священных писаний.— Мы собирались у кн. Одоевского, в доме Ланской (ныне Римского-Корсакова в Газетном переулке). Он председательствовал, а Д. Веневитинов всего более говорил и своими речами часто приводил нас в восторг. Эти беседы продолжались до 14 декабря 1825 года, когда мы сочли необходимым их прекратить, как потому, что не хотели навлечь на себя подозрение поли-



ции, так и потому, что политические события сосредоточивали на себе все наше внимание. Живо помню, как после этого несчастного числа князь Одоевский нас созвал и с особенной торжественностью предал огню в своем камине и устав и протоколы нашего Общества любителей мудрости. Но возвратимся несколько вспять и расскажем о положении дел в последние годы царствования императора Александра I. <...>

Неудовольствие было сильное и всеобщее. Никогда не забуду одного вечера, проведенного мною, 18-летним юношею, у внучатого моего брата Мих. Мих. Нарышкина; это было в феврале или марте 1825 года. На этом вечере были: Рылеев, кн. Оболенский, Пущин и некоторые другие, впоследствии сосланные в Сибирь. Рылеев читал свои патриотические думы; а все свободно говорили о необходимости *d'en finir avec ce gouvernement*<sup>1</sup>. Этот вечер произвел на меня сильное впечатление; и я, на другой же день утром, сообщил все слышанное Ив. Киреевскому, и с ним вместе мы отправились к Дм. Веневитинову, у которого жил тогда Рожалин, только что окончивший университетский курс со степенью кандидата. Много мы в этот день толковали о политике и о том, что необходимо произвести в России перемену в образе правления. Вследствие этого мы с особенною жадностью налегли на сочинения Бенжамена Констана, Рое-Коллара и других французских политических писателей; и на время немецкая философия сошла у нас с первого плана. <...>

Между получением известий о кончине императора Александра и о происшествиях 14-го декабря мы часто, почти ежедневно, собирались у М. М. Нарышкина, у которого сосредоточивались все доходившие до Москвы слухи и известия из Петербурга. Толкам не было границ. Не забуду никогда одного бывшего в то время разговора о том, что нужно сделать в Москве в случае получения благоприятных известий из Петербурга. Один из присутствовавших на этих беседах — кн. Николай Иванович Трубецкой (точно он, а не иной кто-либо — хотя это и невероятно, однако верно: вот как люди меняются!), адъютант гр. П. А. Толстого, тогда командовавшего корпусом, расположенным в Москве и ее окрестностях, брался доставить своего начальника, связанного по рукам и ногам. <...> Предложениям и прениям не

<sup>1</sup> Покончить с этим правительством (франц.).

было конца; а мне, юноше, казалось, что для России уже наступил великий 1789 год. <...>

Хотя в Москве все было тихо и скромно, однако многие, и мы в том числе, были крайне озабочены и взволнованы. Известия из Петербурга получались самые странные и одно другому противоречащие. То говорили, что там все спокойно и дела пошли обычным порядком, то рассказывали, что открыт огромный заговор, что 2-я армия (тогда армия состояла из двух отделов, один находился под начальством графа Остен-Сакена, а другой — гр. Витгенштейна) не присягает, идет на Москву и тут хочет провозгласить конституцию. К этому прибавляли, что Ермолов также не присягает и с своими войсками идет с Кавказа на Москву. Эти слухи были так живы и положительные и казались так правдоподобными, что Москва или, вернее сказать, мы ожидали всякий день с юга новых Мининых и Пожарских. Мы, немецкие философы, забыли Шеллинга и компанию, ездили всякий день в манеж и фехтовальную залу учиться верховой езде и фехтованию и таким образом готовились к деятельности, которую мы себе предназначали.

Вскоре начали в Москве по ночам хватать некоторых лиц и отправлять их в Петербург. <...>

Мы, молодежь, менее страдали, чем волновались, и даже почти желали быть взятыми и тем стяжать и известность, и мученический венец. Эти события нас, между собою знакомых, чрезвычайно сблизили и, быть может, укрепили ту дружбу, которая связывала Веневитиновых, Одоевского, Киреевского, Рожалина, Титова, Шевырева и меня. <...>

К. Ф. РЫЛЕЕВ

## *Мнемозина,*

*собрание сочинений в стихах и прозе,  
издаваемая кн. В. Одоевским и В. Кюхельбекером.*

### Часть I.

Издатели в полной мере заслуживают признательность читающей публики, совершенно выполнив обещанное в объявлении о *Мнемозине*: в наше просвещенное

время это довольно редко, и мы радуемся за издателей и за читателей.

Прозаические статьи в *Мнемозине* отличаются чистым, правильным языком, чуждым уродливых существительных и перековерканных прилагательных. Первая прозаическая статья: *Старики, или Остров Панхай*, написана со всем остроумием и веселостью, свойственными сатирическому предмету. Вторая статья: *Извлечение из Записок генерал-майора Д. В. Давыдова о кампании 1808 года в Финляндии*. Кто не знает нашего партизана-писателя? Говорить ли о достоинствах его слога? О его выразительном изложении мыслей? Лишнее! Давыдов известен как отличный литератор, и читатели *Мнемозины* с удовольствием и пользой прочтут его *Записки*. 3. *Отрывок из путешествия по Германии В. Кюхельбекера*. Автор описывает Дрезденскую картинную галерею, красноречиво излагает свои мысли о красотах и недостатках великих художников, пленительно описывает картины Метсю, Дау, Баттониеву Магдалину; потом рассказывает о свидании своем с Гёте, де Ветте и пр. Все шесть писем написаны пламенным слогом, и читатель может быть недоволен только одним: зачем г. Кюхельбекер напечатал только шесть писем? 4. *Адо. Эстонская повесть*. Повесть его же, г. Кюхельбекера. Благородный, возвышенный слог, новизна лиц и места, характеры действующих, — все показывает отличный талант и познания автора. 5. *Извлечение из письма к Е. А. Э—у г-на М.* знакомит нас с юкагирами и счастливыми способностями автора этого письма, умевшего рассказать на четырех страничках много нового, занимательного и любопытного. 6. *Листки, вырванные из Парнасских ведомостей К. Одоевского*. Вот отрывок из этих любопытных листков:

Устав гениального скопища.

а) *О гении и его должности*.— Гений есть человек, одаренный чем-то необыкновенным, неизъяснимым, новым; для того, чтоб быть гением, не требуется ни обширных познаний, ни ума высокого; потребно только, чтобы он всем от других был отличен.

Внезапно пораженный вдохновением гений выдумывает систему, или, другими словами, какое-либо мнение, какого до тех пор не слыхано было. Для распространения оногo мнения гений имеет много сподручников, из коих первый — *подгений*.

б) *О подгении и его должности.*— Подгению не позволяется выдумывать своего собственного мнения, или системы; он должен только стараться о распространении и приложении повсюду мыслей *гения*; только по окончании двухгодичного бессмертия сего последнего — *подгений* может произвести какое-либо свое собственное суждение. Сверх того *гений* чрез своего подгения сообщается с

с) *Гениальными писарями*, коих должность: читать сочинения одного гения, об них только и рассуждать, их только и хвалить; ставить из них одних эпиграфы на своих собственных сочинениях; писать послания друг к другу, в коих выхвалять *одного гения*; стараться подделаться к его слогу, рабски подражать ему, сверх того не забывать величать его *преобразователем языка отечественного* и при малейшем чьем-либо покушении на славу его — грозно омокать свои перья в чернила! *Гений* же, в благодарность за сие, поставит себе за непременную обязанность при всяком случае называть своих *переписчиков* — *людьми с дарованиями*.

д) *Гениальные рассыльщики* составляют последний и многолюднейший класс *гениального скопища*. Они большею частию состоят из *любителей*, которые ничего не пишут, ничего не читают; но как скоро *гений* почувствует себя беременным новым каким-либо творением, то немедленно распускают слух о том по целому городу или развозят наскоро списанные отрывки из творений *гения* и его *переписчиков* и с торжественным видом, за тайну, показывают каждому встречному и поперечному. Заметить должно, что когда при *рассыльщиках* будут хвалить кого-либо, только не их гения, то они должны, сохраняя глубокое молчание, хором пожимать плечами; но такать и значительно кивать головой, когда дело дойдет до самого гения, и проч. ... (стр. 179—181).

Перевод *Многомеров* из *Жан-Поля* заключает прозаические статьи *Мнемозины*.

Между стихотворениями отличается прекрасный отрывок из комедии: *Аристофан*, князя Шаховского. *Святополк окаянный*, соч. Кюхельбекера, напечатанный в *Полярной звезде* за 1824 год, перепечатан в *Мнемозине* с большими переменами и совсем в другом виде. Из двух эпиграмм кн. Вяземского, помещенных в *Мнемозине*,

первая давно уже напечатана в *Благонамеренном*<sup>1</sup>. При книжке приложены ноты двух романсов из водевиля: *Кто брат? Кто сестра?* Сочинитель музыки г. Верстовский, известен своим счастливым талантом. Жаль, что слова сих романсов не показывают счастливого таланта родителя их.

Р.

И. И. ПАНАЕВ

## Литературные воспоминания

(Отрывок)

...Крылов бывал иногда на субботах князя Одоевского, и я в первый раз увидел там нашего знаменитого баснописца. Он имел много привлекательности и, несмотря на тучность тела, казался еще очень живым стариком. Он вообще мастерски рассказывал, когда был в хорошем расположении, и передавал с добродушным юмором различные забавные факты о своей беспечности и рассеянности...<...>

Всякий раз, когда Крылов бывал у Одоевского, за ужином являлся для него поросенок под сметаной, до которого он был величайший охотник, и перед ним ставилась бутылка кваса.

На вечерах Одоевского бывали также довольно часто Пушкин, на которого молодые литераторы с благоговением выглядывали издалека, потому что он всегда сидел в кругу светских людей и дам, и князь Вяземский, появившийся обыкновенно очень поздно.

Известно, что желание Одоевского сблизить посредством своих вечеров великосветское общество с русской литературой не осуществилось.<...>

Большинство наших так называемых светских людей того времени отличалось крайней пустотою и отсутствием всякого образования, потому что болтанье на французском языке, более или менее удачное усвоение внешних форм прошлого европейского дендизма и чтение романов Поль-де-Кока нельзя же назвать образова-

<sup>1</sup> См. «Благонамеренный», 1820, № 11, стран. 129.— *Прим. в журнале.*

нием. Исключений было немного, и к самым блистательным исключениям принадлежал граф Матвей Юрьевич Виельгорский — человек с тонкою артистическою натурою и с большою начитанностью. Остальные не принимали и не могли принимать ни малейшего участия ни в развитии отечественной литературы, ни в каких человеческих интересах, а знали о существовании русской литературы только по Пушкину и по другим, которые принадлежали к их обществу. Они полагали, что вся русская литература заключается в Жуковском, Крылове (басни которого их заставляли учить в детстве), Пушкине, князе Одоевском, князе Вяземском и графе Соллогубе, который всем своим светским приятелям читал тогда своего «Сережу», еще не появившегося в печати. Чтобы получить литературную известность в великосветском кругу, необходимо было попасть в салон г-жи Карамзиной — вдовы историографа. Там выдавались дипломы на литературные таланты. Это был уже настоящий великосветский литературный салон с строгим выбором, и Рекамье этого салона была С. Н. Карамзина, к которой все известные наши поэты считали долгом писать послания.

Дух касты, аристократический дух внесен был таким образом и в «республику слова». Аристократические литераторы держали себя в недоступной гордости и вдалеке от остальных своих собратий, изредка относясь к ним только с вельможескою покровительственностью. Пушкин, правда, был очень ласков и вежлив со всеми, как я уже говорил, но эта утонченная вежливость была, быть может, признаком самого закоренелого аристократизма. Его, говорят, приводило в бешенство, когда какие-нибудь высшие лица принимали его, как литератора, а не как потомка Аннибала, пред кем

«...грозда кораблей всплыла,  
И пал впервые Наварин!»

Князь Одоевский, напротив, принимал каждого литератора и ученого с искренним радушием и протягивал дружески руку всем вступающим на литературное поприще, без различия сословий и званий. Одоевский желал все обобщать, всех сблизать и радушно открыл двери свои для всех литераторов. Он хотел показать своим светским приятелям, что кроме избранников, посещающих салон Карамзиной, в России существует еще целый класс людей, занимающихся литературой. Один из

всех литераторов-аристократов, он не стыдился звания литератора, не боялся открыто смешиваться с литературною толпою, и за свою страсть к литературе терпеливо сносил насмешки своих светских приятелей, которым не было никакого дела до литературы и которые вовсе не хотели сближаться с людьми не своего общества... Светские люди на вечерах Одоевского окружали обыкновенно хозяйку дома, которая разливала чай в салоне, а литераторы были битком набиты в тесном кабинете хозяина, заставленном столами различных форм и заваленном книгами, боясь заглянуть в салон... Целая бездна разделяла этот салон от кабинета.

Но для того, чтобы достичь вожделенного кабинета, литераторам надобно было проходить через роковой салон — и это для них было истинною пыткой. Неловко кланяясь хозяйке дома, они как-то скорчившись, съезжившись и притаив дыхание, торопились достичь кабинета, преследуемые лорнетами и разными, не совсем приятными для их самолюбия взглядами и улыбочками.

Особенное внимание великосветских господ и господ обращал на себя издатель «Сказаний русского народа» И. П. Сахаров, появлявшийся всегда на вечерах князя Одоевского в длиннополом гороховом сюртуке. Сахаров, впрочем, русский человек, себе на уме, хитро посматривал на все из-под навеса своих густых белокурых бровей и не смущался бросаемыми на него взглядами и возбуждаемыми им улыбочками. Он даже, кажется, нарочно облакался в свой гороховый сюртук, отправляясь на вечера Одоевского...

— Пусть их таращат на меня глаза, — говорил он, — мне наплевать, меня не испугают.

Книга Сахарова («Сказания русского народа», только что появившаяся в то время) обратила на себя всеобщее внимание в литературе, и через эту книгу Сахаров скоро сблизился со всеми литераторами и стал особенно ухаживать за журналистами. Он довольно часто появлялся у Краевского.

Кроме Сахарова привлекал к себе любопытство великосветских гостей князя Одоевского — отец Иакинф Бичурин, изредка появлявшийся на субботах. Он обыкновенно снимал в кабинете Одоевского свою верхнюю одежду, оставался в подряснике, имевшем вид длинного семинарского сюртука, и ораторствовал о Китае, превознося до небес все китайское.

Он до того окитаился, вследствие своего долгого пребывания в этой стране, что даже наружностью стал походить на китайца: глаза его как-то сузились и поднялись кверху.

Когда Иакинф заговаривал о своем Китае, многие светские господа из салона княгини приходили слушать его.

Отец Иакинф говорил грубо, резко напирал на букву «о» и не стеснялся в своих выражениях.

Какой-то светский франт перебил его однажды вопросом:

— А что, хороши женщины в Китае?

Иакинф осмотрел его с любопытством с ног до головы и потом, отворотясь, отвечал хладнокровно:

— Нет, мальчики лучше.

Однажды Иакинф проповедывал о том, что медицина в Китае доведена до высочайшего совершенства и что многие весьма серьезные болезни, от которых становятся в тупик европейские врачи, вылечиваются там очень легко и быстро.

— Какие же, например? — спросила княгиня Одоевская.

— Да вот хоть бы кровавый понос, — отвечал он...

Когда я в первый раз был у Одоевского, он произвел на меня сильное впечатление. Его привлекательная симпатическая наружность, таинственный тон, с которым он говорил обо всем на свете, беспокойство в движениях человека, озабоченного чем-то серьезным, выражение лица постоянно задумчивое, размышляющее, — все это не могло не подействовать на меня. Прибавьте к этому оригинальную обстановку его кабинета, уставленного необыкновенными столами с этажерками и с таинственными ящичками и углублениями; книги на стенах, на столах, на диванах, на полу, на окнах — и притом в старинных пергаментных переплетах с писанными ярлычками на задках; портрет Бетховена с длинными седыми волосами и в красном галстуке; различные черепа, какие-то необыкновенной формы стклянки и химические реторты. Меня поразил даже самый костюм Одоевского: черный шелковый, вострый колпак на голове, и такой же, длинный, до пят сюртук — делали его похожим на какого-нибудь средневекового астролога или алхимика.



Я почувствовал внутреннюю лихорадку, когда он заговорил со мною. Так точно действовал Одоевский и на моего приятеля Дирина. <...>

Дирин благоговейно любил Одоевского, но одна мысль об его учености приводила его в трепет.

— Меня так и тянет к этому человеку, — говаривал мне Дирин, — в нем столько симпатического!.. Но когда он о чем-нибудь заговорит со мною, я вдруг робею, чувствую внутреннюю дрожь, и язык прилипает у меня к гортани... Меня это мучит; он должен считать меня ужаснейшим дураком.

Дирин и в могилу унес отроческий, раболепный страх к Одоевскому.

У меня этот страх прошел скоро.

Я имел случай не раз убедиться, что под этим таинственным астрологическим костюмом билось самое простое, самое откровенное и чистое сердце, и что все эти ученые аксессуары, так пугавшие новичков, не были ни сколько страшны.

Этот человек, приводивший нас с Дириным в трепет своею ученостию, нередко принимал за людей серьезных и дельных самых пустых людей, и самых пошлых шарлатанов за ученых, доверялся им, распинался за них, выдвигал их вперед, и потом, когда их неблагодарность и невежество обнаруживались, он печально покачивал головой и говорил: «Ну, что ж делать! Ошибся...», и через день впадал в такую же ошибку.

Я мало встречал людей, которые бы могли сравниться с Одоевским в добродушии и доверчивости. Никто более его не ошибался в людях, и никто, конечно, более его не был обманут — я уверен в этом. Писатель фантастических повестей, он до сих пор смотрит на все с фантастической точки зрения, и прогресс человечества воображает в том, что через 1000 лет люди будут строить, вместо мраморных и кирпичных, стеклянные дворцы. <...>

Никто более Одоевского не принимает серьезно самые пустые вещи и никто более его не задумывается над тем, что не заслуживает не только думы, даже внимания. К этому еще примешивается у него слабость казаться во всем оригинальным. Ни у кого в мире нет таких фантастических обедов, как у Одоевского: у него пулярка начинается бузиной или ромашкой; соусы перегоняются в химической реторте и состояются из не-

слыханных смешений; у него все варится, жарится, солится и маринуется ученым образом.

В старые годы канун новых годов мы постоянно встречали, и очень весело, у Одоевского: раз, не помню, на какой именно год, к нему собралось более, чем обыкновенно, и в числе других был С. А. Соболевский, один из самых старых и коротких знакомых Одоевского.

Соболевский, тот самый, которого я увидел в первый раз у Смирдина, с Пушкиным, и с которым я познакомился впоследствии, запугавший великосветских людей своими меткими эпиграммами и донельзя беззастенчивыми манерами, приобрел себе между многими из них репутацию необыкновенно умного и образованного человека. Житейского ума, хитрости и ловкости в Соболевском действительно много; что же касается до образования... то образование его, кажется, не блистательно: но он умеет при случае пустить пыль в глаза, бросить слово свысока, а при случае отмолчаться и отделаться иронической улыбкой. Соболевский принадлежит к тем людям, у которых в помине нет того, что называется обыкновенно сердцем, и если у него есть нервы, то они должны быть так крепки, как вязига. Это самые счастливые из людей. Им обыкновенно все удается в жизни.

Для людей мягкосердых и нервических такого рода господ нестерпимы.

Перед ужином Одоевский предупредил всех, что у него будут какие-то удивительные сосиски, приготовленные, разумеется, совершенно особым способом. Он просил гостей своих обратить внимание на это блюдо.

Любопытство насчет сосисок возбуждено было сильно. Ужин открылся именно этими сосисками. Все разрезывали их и рассматривали со вниманием и, поднося ко рту, предвкушали заранее особую приятность, но, разжевав, все вдруг замерли, полуоткрыли рот и не знали, что делать. Сосиски — увы! не удались и так отзывались ёдалом, что всем захотелось выплюнуть.

Соболевский выплунул свою сосиску без церемонии и, торжественно протягивая руку с тарелкой, на которой лежала сосиска, обратился к хозяину дома и закричал во все горло, иронически улыбаясь и посматривая на всех:

— Одоевский! пожертвуй это блюдо в детские приюты, находящиеся под начальством княгини.

У Одоевского, как вообще у всех людей нервических, не было *esprit de gaieté*: он совершенно смутился и пробормотал что-то.

Одоевский, в двадцать лет, вместе с В. Кюхельбекером, был редактором журнала. Он обещал сделаться серьезным литературным деятелем, но после прекращения «Мнемосины» и переезда его в Петербург его литературная энергия ослабевает. Он упадает духом. Многие из родных и друзей его сосланы... Удар 14 декабря отозвался на всю Россию; все сжалось и присмирело. В Петербурге Одоевский продолжает заниматься литературой, но не более, как дилетант. Главную целию делается служба. Убеждения и надежды его юности поколеблены. Но служба не может наполнять его — и он беспокойно хватается за все для удовлетворения своей врожденной любознательности: он занимается немножко положительными науками и в то же время увлекается средневековыми мистическими бреднями, возится с ретортами в своем химическом кабинете и пишет фантастические повести, изобретает и заказывает какие-то неслыханные музыкальные инструменты и, под именем доктора Пуфа, сочиняет непостижимые уму блюда и невероятные соусы; изучает Лафатера и Галля, сочиняет детские сказки под именем «Дедушки Ириней», и вдается в бюрократизм. Литератор, химик, музыкант, чиновник, черепослов, повар, чернокнижник, — он совсем путается и теряется в хаосе этих разнообразных занятий. Поддерживая связи с учеными и литераторами, он с каким-нибудь профессором физики или с математиком заводит речь о поэзии и советует ему прочесть какую-нибудь поэму; с Белинским, не терпевшим и преследовавшим все мистическое, он серьезно толкует о неразгаданном, таинственном мире духов, о видениях, и насильно навязывает ему какую-то книгу о магнетизме, уверяя его, что он непременно должен прочесть ее.

Преследуя пошлый бюрократический формализм, он вводит его, как председатель, в общество посещения бедных и в то же время уверяет, что хочет писать роман, в котором будет осмеивать этот формализм. Не имея никаких придворных способностей, он делается придворным, и это стоит ему страшных усилий.

Один раз я заехал к нему часу в восьмом вечера. В ту минуту, когда я вошел в его кабинет, он стоял у стола в вицмундире, в белом галстуке и в орденах, и

держал в руке кусочек сахара, на который княгиня капала что-то. Сахар почернел.

— Что это вы делаете, княгиня? — спросил я, улыбаясь, — вы отравляете князя.

— Я всегда принимаю несколько капель опиума, — отвечал за нее князь, — от этого я становлюсь бодрее... Я должен ехать на вечер к великой княгине. <...>

Попав в чиновническую и придворную колею, Одоевский незаметно всасывал в себя честолюбие и чиновничество и начал гоняться за различными знаками отличия; но он говорил искренно и чуть не со слезами на глазах, что, имея много недостатков, — он только совершенно чужд одного — мелкого честолюбия — и благодарит за это бога!

Он утешает себя надеждою, что еще не совсем бросил литературу, что он напишет еще что-нибудь, что у него много разных планов и что для осуществления их ему надо только на время удалиться от своих служебных занятий. <...>

Да, я теперь уже не боюсь учености и глубины князя Одоевского; вероятно и Дирин перестал бы бояться его, если бы был жив; но до сих пор я питаю самое симпатическое чувство к этому человеку, который из всех литераторов-аристократов принимал действительное и искреннее участие во всех своих бедных собратах по литературе и обращался с ними истинно по-человечески и без всяких задних мыслей. В нашем обществе это большая заслуга!

В. ЛЕНЦ

## *Приключения лифляндца в Петербурге*

(Отрывок)

В 1833 г. князь Владимир Одоевский, уже известный писатель, принимал у себя каждую субботу, после театра. Прийти к нему прежде 11 часов было рано. Он занимал в Мошковом переулке (на углу Большой Миллионной) скромный флигелек, но тем не менее у него все было на большую ногу, все внушительно. Общество проводило вечер в двух маленьких комнатках и только к

концу переходило в верхний этаж, в львиную пещеру, т. е. в просторную библиотеку князя. Княгиня, величественно восседая перед большим серебряным самоваром; сама разливала чай, тогда как в других домах его разносили лакеи совсем уже готовый. Ее называли la belle Stéole, так как она цветом лица похожа была на креолку и некогда славилась красотой... У Одоевского часто бывали Пушкин, Жуковский, поэт князь Вяземский, драматург князь Шаховской, в насмешку называвшийся le père de la comédie, далее Замятин (будущий министр юстиции), Блудов, молодые члены французского посольства. Из дам особенно обращали на себя внимание красавица Замятина, графиня Лаваль, старая и страшно безобразная, и не терпящая света княгиня Голицына, Princesse Nocturne, как ее называли, потому что она обращала ночь в день и вставала не ранее полуночи.

У князя Одоевского я встретился с земляком фон-Вегезаком, рижским уроженцем... Он служил под начальством Лавалья в министерстве иностранных дел и впоследствии был министром-резидентом в Ганзейских городах. Тут можно было встретить также Дантеса, красивого кавалергардского офицера, от руки которого впоследствии пал Пушкин. Гордый своими успехами между дамами, он был воплощенная спесь. Гораздо скромнее и проще держал себя молодой Римлянин, друг Григория Волконского, учитель пения, Чиабатта, ослепительной красоты Антиноева голова... По красоте Дантес не мог идти в сравнение с Чиабаттой, но он носил мундир, а мундир надо всем брал тогда верх!..

Однажды вечером, в ноябре 1833 г., я пришел к Одоевскому слишком рано. Княгиня была одна и величественно восседала перед своим самоваром; разговор не клеился... Вдруг — никогда этого не забуду — входит дама, стройная, как пальма, в платье из черного атласа, доходящем до горла (в то время был придворный траур). Это была жена Пушкина, первая красавица того времени. Такого роста, такой осанки я никогда не видывал — *incessu dea paterba*<sup>1</sup>! Благородные античные черты ее лица напоминали мне Евтерпу Луврского музея, с которой я хорошо был знаком. Князь Григорий, подошед ко мне, шепнул на ухо: «не годится слишком на нее заглядываться».

---

<sup>1</sup> Когда она появлялась, то казалось, что видишь богиню.

В этом доме не существовало общего всем другим домам и всегда тягостного обычая представлять гостей друг другу. Раз введенный сюда считался как бы знакомым со всеми и так и держал себя. Это весьма удобно. Уходят, не прощаясь, и входят с легким поклоном, как будто виделись 10 минут тому назад. Мне захотелось посидеть по крайней мере около Пушкина. Я собрался с духом и сел около него. К моему удивлению, он заговорил со мной очень ласково: должно быть, был в хорошем расположении духа. Гофмана фантастические сказки в это самое время были переведены в Париже на французский язык и, благодаря этому обстоятельству, сделались известны в Петербурге. Тут во всем главную роль играл — Париж. Пушкин только и говорил что про Гофмана; не даром же он и написал «Пиковую даму» в подражание Гофману, но в более изящном вкусе.

Гофмана я знал наизусть; ведь мы в Риге, в счастливые юношеские годы, почти молились на него. Наш разговор был оживлен и продолжался долго; я был в ударе и чувствовал, что говорил, как книга. «Одоевский пишет тоже фантастические пьесы», — сказал Пушкин с неподражаемым сарказмом в тоне. Я возразил совершенно невинно: *Sa pensée malheureusement n'a pas de sexe*<sup>1</sup>, и Пушкин неожиданно показал мне весь ряд своих прекрасных зубов: такова была его манера улыбаться. «Что такое вы сказали? — спросил меня князь Григорий, — чему он засмеялся?» Слова, сказанные мною, впоследствии распространились в публике; я должен был бы сказать себе: *si tacuisses, philosophus mansisses*<sup>2</sup>, но я был молод.

Наверху в библиотеке у Одоевского сидел худощавый господин в черном фраке, застегнутый на все пуговицы, со звездой на каждой стороне груди. Я слышал от Бартоломея, что настоящая сторона для звезды левая, хотя бы их имелось и две. Черный господин напомнил мне Магнетизера в Гофмане. Он рассуждал о полемике между Савиньи и Гансом по вопросу о *possesio*<sup>3</sup>, сделавшейся известною благодаря только что прибывшей из Парижа книге Лерминье: *Introduction à l'histoire de droit*<sup>4</sup>, поверхностной, но написанной увлекательным

---

<sup>1</sup> К несчастью, мысль его не имеет пола.

<sup>2</sup> Если бы смолчал, остался бы философом.

<sup>3</sup> Владение.

<sup>4</sup> Введение в историю права.

слогом. И все же опять Париж! Черный господин продолжал ораторствовать. Пушкин бросал на него нетерпеливые взгляды: ему очевидно все это страшно надоело. Я испросил себе слова, только потому (как я скромно прибавил), что слушал в Берлине лекции Савиньи и Ганса. Я попал в свою сферу и изложил дело ясно и общедоступно, что не составляет большой заслуги для студента Дерптского университета. Черный господин поднялся с места и прямо подошел ко мне. «Я принимаю по четвергам,— сказал он,— и буду очень рад видеть вас у себя. Я Дегай». Это приглашение имело для меня важные последствия. До сих пор тяжба моя заставляла меня не раз понапрасну стучаться у дверей его; он оставался для меня невидимкой, он, директор Министерства юстиции. Дегай тотчас же определил меня на службу, что было моим самым горячим желанием, ибо Петербург мне полюбился. <...>

Итак, косвенным образом я обязан князю Одоевскому, что поступил на службу. Его звали: Монморанси гуссе (Русский Монморанси) по древности его рода. Он был ученый музыкант и в игре превосходил меня значительно. Бахова музыка была ему как своя. На Фильдов лад играл он превосходно, прямо читая ноты...

В. А. СОЛЛОГУБ

### *Воспоминание о князе В. Ф. Одоевском*

<...> Все, кажется, было так хорошо устроено: комнаты были такие уютные; на полках громоздились такие знакомые нам книги; в таком-то углу стояло фортепьяно; вокруг письменных столов, заваленных бумагами, ожидали друзей дома такие покойные седалища. Чего не слышали эти спутники домашней жизни! кого не видали они! На этом диване Пушкин слушал благоговейно Жуковского; гр. Ростопчина читала Лермонтову свое последнее стихотворение; Гоголь подслушивал светские речи; Глинка расспрашивал гр. Виельгорского про разрешение контрапунктных задач; Даргомыжский замышлял новую оперу и мечтал о либреттисте. Тут перебивали все

начинающие и подвизающиеся в области науки и искусства — и посреди их хозяин дома то прислушивался к разговору, то поощрял дебютанта, то тихим своим добросердечным голосом делал свои замечания, всегда исполненные знания и незлобия. Таких домов мы знали четыре: дом Олениных, дом Карамзиных, дом Виельгорских, дом Одоевских. <...>

По происхождению своему князь Одоевский стоял во главе всего русского дворянства. Он это знал; но в душе его не было места для кичливости — в душе его было место только для любви. Свое родовое значение он сознал не высокомерием пред другими, а прежде всего строгостью к самому себе и неограниченною преданностью к началам человечности. С самого юного возраста он не увлекался страстными порывами, берег чистоту своего имени, вел жизнь невозмутимо нравственную, бесребренную, скромную, радушную, не возбуждая в других ни гнева, ни досады, не затрогивая чужого самолюбия, и сам никогда не допускал в себе нетерпения, этого обыкновенного свойства людей, посвятивших себя искусству и науке. <...>

Я сблизился с ним в 30-х годах, когда он жил в Мошковом переулке, где нанимал флигель в доме его тестя С. С. Ланского. Квартира его, как всегда, была скромная, но уже украшалась замечательною библиотекою, постоянно им дополнявшеюся до дня кончины. В этом безмятежном святилище знания, мысли, согласия, радушия сходилась по субботам весь цвет петербургского населения. Государственные сановники, просвещенные дипломаты, археологи, артисты, писатели, журналисты, путешественники, молодые люди, светские образованные красавицы встречались тут без удивления, и всем этим представителям столь разнородных понятий было хорошо и ловко; все смотрели друг на друга приветливо, все забывали, что за чертой этого дома жизнь идет совсем другим порядком. Я видел тут, как андреевский кавалер беседовал с ученым, одетым в гороховый сюртук; я видел тут измученного Пушкина во время его кровавой драмы — я всех их тут видел, наших незабвенных, братствующих поэтов и мыслителей. Им нужно было иметь тогда точку соединения в таком центре, где бы андреевский кавалер знал, что его не встретит низкопоклонство, где бы гороховый сюртук чувствовал, что его не оскорбит пренебрежение.



Все понимали, что хозяин, еще тогда молодой, не притворялся, что он их любит, что он их действительно любит, любит во имя любви, согласия, взаимного уважения, общей службы образованию, и что ему все равно, кто какой кличкой бы ни назывался и в каком бы платье ни ходил. Это прямое обращение к человечности, а не к обстановке каждого, образовало ту притягательную силу к дому Одоевских, которая не обуславливается ни роскошными угощениями, ни красноречием лицемерного сочувствия.

Дом Одоевских был не только храмом знания — он был еще школой жизни. Он доказывал, что существенное выше условного, что цель добра достигается только путем любви. Многие обязаны своему наставнику и другу сознанием, столь важным в настоящее время, когда мыслям и чувствам дано более простора, что в презрении, в злобе не может быть проку.

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

*Сочинения*  
*князя В. Ф. Одоевского*

Князь Одоевский принадлежит к числу наиболее уважаемых из современных русских писателей, — и между тем ничего не может быть неопределеннее известности, которую он пользуется. Скажем более: имя его гораздо известнее, нежели его сочинения. Это несколько странное явление имеет две причины: одну чисто внешнюю, случайную, другую — внутреннюю и необходимую. Князь Одоевский выступил на литературное поприще в 1824 году, в эпоху совершенного переворота в русской литературе, когда новые понятия вооружились против старых, новые славы и знаменитости начали противопоставляться авторитетам, которые до того времени считались непогрешительными образцами и далее которых идти, в мысли или в форме, строжайше запрещалось литературным кодексом, получившим имя *классического* и по давности времени пользовавшегося значением корана. Эта борьба старого и нового известна под именем борьбы ро-

мантизма с классицизмом. Если сказать по правде, тут не было ни классицизма, ни романтизма, а была только борьба умственного движения с умственным застоєм; но борьба, какая бы она ни была, редко носит имя того дела, за которое она возникла, и это имя, равно как и значение этого дела, почти всегда узнаются уже тогда, как борьба кончится. Все думали, что спор был за то, которые писатели должны быть образцами — древние ли греческие и латинские и их рабские подражатели — французские классики XVII и XVIII столетий, или новые — Шекспир, Байрон, Вальтер Скотт, Шиллер и Гёте; а, между тем, в сущности-то спорили о том, имеет ли право на титул поэта, и еще притом великого, такой поэт, как Пушкин, который не употребляет «пиитических вольностей», — вместо шершавого, тяжелого, скрипучего и прозаического стиха употребляет стих гладкий, легкий, гармонический, — вместо *од* пишет *элегии*, вместо надутого и натянутого слога держится слога естественного и благородно простого, — поэмами называет маленькие повести, где действуют *люди* вместо того, чтоб разуместь под ними холодные описания на один и тот же ходульный тон знаменитых событий, где действуют герои с их наперсниками и вестниками; — словом, поэт, который тайны души и сердца человека дерзнул предпочесть плоскочечным иллюминациям. Вследствие движения, данного преимущественно явлением Пушкина, молодые люди, выходившие тогда на литературное поприще, усердно гонялись за новизною, считая ее за романтизм. Стихи их были гладки и легки, фраза блистала новыми оборотами, мысли и чувства отличались какою-то свежестью, потому что не были повторением и перебивкою уже всем знакомых и перезнакомых мыслей и чувств. В прозе видно было то же самое стремление — найти новые источники мыслей и новые формы для них. Разумеется, источником всего этого «нового» служили для них иностранные литературы; но для большинства нашей читающей публики того времени всё это действительно было слишком ново, а потому и казалось ярко оригинальным и смело самобытным. И вот почему в те блаженные времена слава доставалась так легко, так дешево, а известность была просто ничем. Разумеется, подобная новизна не могла не состариться скоро, и вследствие этого многие люди, о которых думали, что они подавали блестящие надежды, оказались совершенно безнадежными; другие, которые

пользовались большою известностию, вдруг пришли в забвение. Но как движение, произведенное так называемым «романтизмом», развязало руки и ноги нашей литературе, то оно всё продолжалось и продолжалось: новое сегодня становилось завтра если еще не старым, то уже и не новым; на место одной забытой знаменитости являлось несколько новых, в литературу беспрестанно входили новые элементы, содержание ее расширялось, формы разнообразились, характер становился самобытнее. И теперь уже немногие помнят эти споры и эту борьбу; писателей делят по эпохам, в которые они действовали, и по таланту, который они выказали; но уже нет более ни классиков, ни романтиков; ни содержание, ни форма уже не приводят в изумление своею оригинальностью, но, чем они оригинальнее, тем большее возбуждают внимание. Лучшие стихотворения г-на Майкова, одного из особенно замечательных поэтов нашего времени, принадлежат к антологическому роду, — и потому он гораздо больше, нежели все наши поэты старой школы, имеет право называться *классическим* поэтом; и однако ж его так же никто не называет классиком, как и романтиком. В поэзии Пушкина есть элементы и романтические, и классические, и элементы восточной поэзии, и в то же время в ней так много принадлежащего собственно нашей эпохе, нашему времени: как же теперь называть его романтиком? Он просто поэт, и притом поэт великий! Теперь каждый талант, и великий и малый, хочет быть не классиком, не романтиком, а поэтом, следовательно, хочет ровно брать дань со всего человеческого, — и благо ему, если он, не чуждаясь ни древнего, ни старого, ни нового, во всем этом умеет быть *современным!*.. Эту многосторонность, эту свободу наша литература приобрела все-таки через борьбу мнимого романтизма с мнимым классицизмом!

Между множеством эфемерных явлений, вызванных тогда новизною и обязанных ей своею минутною известностью, были яркие таланты, которые считали за необходимость не останавливаться на первом успехе, но идти за временем. Конечно, не все из них шли до конца, но иные остановились на полудороге, и едва ли хотя один дошел до конца пути своего, то есть сделал всё, чего могли от него ожидать и что в силах был бы он выполнить... Вообще, доходить до конца как-то не в судьбе русских писателей, особенно с некоторого времени. И если Держа-

вин, Дмитриев и Крылов дожили до седины, обремененных лаврами, зато сколько путей, различным образом прерванных! Ломоносов умер пятидесяти лет, с полным сознанием, что он мог бы еще много сделать и что он гораздо меньше сделал, нежели сколько надеялся. Великий человек себя винил и в своей преждевременной смерти и в том, что он, по его сознанию, сделал так мало; но его жизнь и деятельность зависели не от него, а от той действительности, в которой так одиноко был он вызван судьбою действовать. Фонвизин написал свое последнее и лучшее произведение на тридцать седьмом году от рождения и после того провел целые десять лет разбитый параличом и в состоянии совершенной недеятельности. Карамзин сошел в могилу хотя уже и в летах, но еще в поре сил своих и далеко не кончив своего великого труда. Озоров написал всего пять трагедий и умер на сорок шестом году вследствие долговременной болезни, с которою было сопряжено расстройство умственных сил. Батюшков погиб для литературы и общества во цвете лет и сил своих, подав такие блестящие, такие богатые надежды... Нужно ли говорить о том, как прервалась поэтическая деятельность трех великих слав нашей литературы — Грибоедова, Пушкина и Лермонтова?.. А сколько менее огромных и столь же безвременных потерь! Веневитинов умер почти при самом начале своего столь обещавшего литературного поприща. Полежаев пал жертвою избытка собственных сил, дурно уравновешенных природою и еще хуже направленных воспитанием и жизнью... Все эти утраты как-то невольно приходят в голову теперь, по случаю внезапной вести о смерти Баратынского, — поэта с таким замечательным талантом, одного из товарищей и сподвижников Пушкина. И сколько в последнее десятилетие было подобных утрат!.. Только и слышишь, что о падении прежних бойцов, сраженных то смертию, то — что еще хуже — жизнью... Ужасно умереть прежде времени, но еще ужаснее пережить свою деятельность и только изредка новыми, но уже слабыми произведениями напоминать о прекрасной поре своей прежней деятельности. Эта нравственная смерть производит в нашей литературе еще больше опустошений, чем физическая. Причина ее столь же понятна, сколько и горестна, и лучше скорбеть о ней, нежели высокоумно рассуждать о том, каким бы образом мог ее избежать тот или другой автор, или гордо осуждать его за то, что он не мог ее избежать. Увы! вы-

ходя на поприще жизни, мы все смело и гордо смотрим в ее неизведанную даль, и для нас падение есть преступление; но, перешедши сами лучшую часть своей жизни, мы, при виде всякого павшего бойца, с грустью обращаемся на самих себя... Кто пал, почему не сказать о нем, что уж нет его? Но дело критики говорить не о том только, что мог бы сделать автор и чего он не сделал, но и <о> том, что сделал он и чем благодатна была для общества жизнь его...

Итак, князь Одоевский вышел на литературное поприще в 1824 году. Он был из числа тех счастливо одаренных натур, которые начинают действовать сознательно, в духе своего истинного призвания и в круге своих собственных сил. Мы помним первую повесть его «Элладий, картину из светской жизни», напечатанную в одном из тогдашних журналов-альманахов («Мнемозине»). Эта повесть теперь всякому показалась бы слабою, детскою и по содержанию и по форме; но тогда она обратила на себя общее внимание и приятно всех удивила. Повесть действительно слаба; но успех ее был тем не менее вполне заслуженный. Это была первая повесть из русской действительности, первая попытка изобразить общество не идеальное и нигде не существующее, но такое, каким автор видел его в действительности. Со стороны искусства и вообще манеры рассказывать она была произведением оригинальным и дотоле невиданным; было что-то свежее в ее мысли, во взгляде автора на предметы и в чувствах, которые старался он ею возбудить в обществе. К тому же времени, в которое был напечатан «Элладий» князя Одоевского, относятся его «апологи» — род поэтических аллегорий, в которых ясно и определительно выказалось направление таланта их автора. Так как теперь уже немногие помнят их, а многие и совсем не знают, и так как, несмотря на это, мы приписываем им значительную литературно-историческую важность и видим прямое указание на призвание князя Одоевского как писателя, то и считаем за нужное познакомить с ними наших читателей. Для этого приводим здесь два аполлага:

#### Старики, или Остров Панхай

Как памятно мне время моего перехода из юности в возраст зрелый, время сего перехода, когда человек, внезапно пораженный опытностью, — решается оставить ту простосердечную доверчивость, которая составляет бла-

женство младенца, решается и — еще жалеет о ней, любит ее!

Прежде еще сего перехода я помню — одна мечта, как игрушка, занимала меня; с величайшим благоговением взирал я на старость. Божественным казался мне сей возраст, в котором, мнил я, укрощаются буйные, постыдные страсти; умолкают мелкие, суетные желания, — ничтожными становятся препоны, задерживающие человека на пути к высокой мечте его — совершенствованию! На покрытом морщинами челе старца я читал сладкое чувство усталого путника, близкого желанной цели и уже готового в прах сбросить и запыленную одежду и ношу, к которой, несмотря на тягость, привыкли плечи его; каждый старец казался мне счастливецом, покорившим силу брениа — силою духа; и до того даже доходила моя слепота в сем случае, что тот приобретал право на мое нелицемерное почтение, кто был меня хотя несколькими годами старше. Если б тогда старший меня сказал: «Я мудрейший из смертных», я бы и не поверил ему — но не смел бы противуречь: он *опытнее* меня, сказал бы я самому себе!

Теперь же вы знаете меня, друзья! — суетная наружность не ослепляет глаз моих! Грозный взор вельможи, потрясающий всю нервную систему твари, им созданной, — производит во мне лишь улыбку, столь нередко бывающую на устах моих: я привык, дерзостной рукою срывая личину с спесивой знатности, — находить отсутствие всех достоинств, а под мишурою пышных слов — вялое слабоумие. Но чувство благоговения к старости до сих пор еще сохранилось в душе моей, только с тою разницею, что прежде всякий старец казался мне существом совершенным; теперь же и в старцах я умею открывать недостатки. Но таковые открытия всегда были тягостны моему сердцу: они, разочаровывая меня, возмущали душу мою; в сем только случае я не мог смеяться. Несколько же дней тому назад произошла со мною большая перемена и в сем отношении, и вот каким образом.

Прижавшись к углу в моем кабинете, с Диодором Сицилийским в одной руке и с греческим словарем в другой, я путешествовал по Аравии, по цветущему острову Панхай, наслаждался видом колесницы Урановой и стоящего на оной храма.

Воды, омывавшие сей храм, названные *водами солнца*, имели, как говорят, дар чудный: испивший от них

молодел постепенно и, дошедши до возраста юноши, соделывался бессмертным; но горе тому, который хотел в одно мгновение сделаться юным! Желание его исполнялось,— но безрассудный продолжал молодеть беспрестанно и умирал, пришедши в состояние однодневного младенца.— На свече моей нагорело, глаза утрудились от долгого чтения, голова отяжелела от греческих аористов, сумрак, усталость, баснословное сказание, мною читанное,— всё это вместе погрузило меня в то сладостное состояние, которое известно всякому, знакомому с умственными напряжениями, в то состояние, когда мы еще не можем отдать себе отчета в новых впечатлениях, нами полученных, когда родившиеся от них беглые, разнородные мысли роятся в голове нашей и мешаются с чуждыми, часто безобразными призраками.

В таком состоянии был я: не знаю, спал ли, или нет,— но слушайте, друзья мои, что нарисовало предо мною причудливое воображение.

Взору моему представился храм Гемифеи, осененный пальмовыми деревьями,— мне слышалось журчание *вод солнца*, тихий зефир, вечно веющий над сими водами, касался лица моего. Берега сих вод были покрыты толпами людей обоего пола, всех народов и состояний; но ни одного старца не было видно в сих толпах: везде были *дети*.

Приближаюсь, всматриваюсь,— и какое удивление меня поразило, когда я увидел, что все те, которые мне казались издали младенцами,— были ими только по телесной немощи и по своим занятиям; лицо изменило им: почти у всех оно было изрыто морщинами; впалые, сузившиеся глаза, беззубый рот, трясущиеся колена и другие принадлежности глубокой старости спорили с младенческим ростом и ребяческим выражением. Нельзя описать, какое сильное отвращение производил вид сих *старцев-младенцев!* Я содрогнулся, хотел бежать, но невидимая рука остановила меня и невидимый голос говорит мне: «Наблюдай. Здесь видишь ты свет и людей, живущих в нем, в истинном их виде. Тот свет, в котором ты обитаешь, есть мечтательный, все действия, здесь происходящие, кажутся там совсем иными!»

Я послушался и, скрепя сердце, продолжал продираться сквозь толпу младенцев. О! сколько тут знакомых моих я увидел, и как странны были их занятия.

Многие из младенцев подходили друг к другу; один

из них с величайшею важностию вынимал мишурный мячик и кидал к своему товарищу; товарищ с такою же важностию отвечал ему тем же мячиком; перекинувши его несколько раз таким образом, младенцы, не теряя своей важности, расходились!

«Что это за игра такая?» — спросил я. — «Она называется, — отвечал мне невидимый голос, — *светскими разговорами*. Эта игра весьма скучна, как ты видишь, но любимая у младенцев. Есть многие из них, которые до самой смерти беспрестанно занимаются ею и ничем более».

К дереву, возле которого я стоял, была прислонена тоненькая жердочка; многие из младенцев старались взобраться по ней на дерево; чего не делали они для достижения своей цели! И низко сгибали спину, и ползли, и то хватались за младенцев, окружавших дерево, то отталкивали их; странно было то только, что, когда кто поднимался несколько выше другого по жердочке, то младенцы старались того назад отдергивать и между тем рукоплескали и кланялись ему; упавшего же гнали и били немилосердно. Я заметил, что предмет, привлекавший более всего младенцев к этому дереву, были прекрасные плоды, на нем висевшие. Младенцы *снизу* не замечали, что эти плоды были прекрасны только издали, но в самом деле были гнилы. «И это игра, — сказал мне голос, — она называется *почестями без заслуги*».

Весьма жалко мне было смотреть на некоторых *юношей*, которых *старики-младенцы* приводили к дереву и, показывая им плоды, на нем росшие, с важностию говорили, что эти плоды чрезвычайно вкусны и должны быть целию жизни человеческой, — что единственное средство для достижения оной есть искусное перекидывание мишурного мячика. Тщетно злополучные *юноши* обращали взоры к чему-то высшему, непонятному для *стариков-младенцев*; упрямые старики, не давая им отдыха, заставляли перекидывать мячик.

«Не жалея! — сказал мне голос: — это также игра, называемая *светским воспитанием*. *Старики-младенцы*, правда, соблазнят многих *юношей*, но не остановят истинно презирающих эту ничтожную игру. Посмотри сюда, и ты увидишь подтверждение слов моих».

Я обратился, увидел... О! как мне выразить словами то, что увидел я? — Небесным огнем пламенели *их* очи; их не туманило ничтожное земное; душевная деятельность пылала во всех чертах, во всех движениях; они



презирали шумный, суетный крик младенцев, — их взоры быстро стремились к *возвышенному*.

«Кто сии неведомые?» — воскликнул я от избытка сердца.

«Это *бессмертные!* — отвечал голос. — Старики-младенцы не замечают, что сим бессмертным юношам они обязаны почти существованием, что сии юноши, стремясь к возвышенной цели своей, *мимоходом*, с отеческою нежностью разливают на них дары свои; неблагодарные не понимают ни действий, ни цели бессмертных: одни смеются над ними, другие презирают, иные не обращают внимания, большая часть даже не знает о существовании сих юношей. Но вращаются веки, быстрые круговороты времени поглощают в бездне забвения ничтожную толпу *стариков-младенцев*, и живут *бессмертные* — живут, и нет предела их возвышенной жизни!»

Кружок стариков-младенцев привлек мое внимание. Все, составлявшие оный, сидели, наморщив брови, и с важностью тщательно складывали песчинку к песчинке; им хотелось таким образом соорудить здание, подобное храму Гемифеи. «У вас нет *основания*, — сказал, улыбаясь, один из бессмертных юношей, — у вас нет даже *связи*, которая бы могла соединить ваши песчинки».

Младенцы презрительно посмотрели на юношу — и спесиво указали ему на десять кое-как сложенных песчинок, как бы говоря: вот где истинная мудрость!

«Тщетно! — сказал мне голос: — от этой игры их не отучишь; она называется *опытными знаниями!*»

Возле сего кружка несколько стариков-младенцев, еще более угрюмых, размеривали землю для построения того же здания; но никак у них дело не ладилось: только что беспрестанно ссорились и бранились! — и не мудрено! У всех были разномерные аршины!

«Меряйте одним и тем же аршином!» — сказал бессмертный юноша. — «Мой лучший! мой лучший!» — закричали они все вместе.

«Эти старики-младенцы думают, — сказал голос, — что они несколькими степенями выше младенцев, складывающих песчинки; но в самом деле также в *игрушки* играют, лишь с тою разницею, что эта игра имеет другое название; она называется *офранцузенными теориями*».

Возле меня несколько стариков-младенцев играли в игру весьма странную; один из них завязывал себе глаза, приходил в место, совершенно ему незнакомое, и при-

казывал некоторым юношам идти по дороге, которую он, не видя, им указывал. Бедные юноши спотыкались беспрестанно, следуя в точности руководству его; но упрямый старик уверял, что юноши спотыкаются от несовершенного исполнения его наставлений, и ежеминутно твердил о своей *опытности*.

«Эта игра в большом употреблении у стариков-младенцев,— сказал мне голос; она истинное торжество для их слабоумия — и называется: *искусством подавать советы*».

Удаленный от всех под тению миртового кусточка, сидел один из стариков-младенцев; он подзывал каждого проходящего и с глупою радостью показывал свою работу, но никто не обращал на нее внимания; по этому и по розовому платочку я тотчас узнал моего друга Ахалкина; подхожу — и что же? Он вырезывал солдатиков из листочков розы и мнил такую армию в прах разразить своего грозного Аристарха! Повеял легкий ветер,— исчезли труды Ахалкина; только на лице его осталось никем не замеченное выражение, которое не знаю, как назвать — улыбкою или плачем, лишь знаю, что оно было — отвратительное!

Как исчислить мне все суетные занятия стариков-младенцев, как исчислить неисчислимое? Одни пускали мыльные пузыри и уверяли, что для сего потребны величайшие усилия и ум высокий; другие вили в кудри седые волосы и восхищались своею безобразною красотою; третьи прозябали в бездействии, но у всех на языке вертелась *опытность!*

Не знаю, долго ли продолжалось мое видение, но когда оно исчезло, я сделался гораздо спокойнее.

Теперь, слышу ли я старика, порицающего ученость, потому что сам не имеет её, порицающего всякую новизну за то, что она новизна; — вижу ли старика, который хочет обмануть время не приобретением познаний, но подкрашенными волосами, — их невежество и слабоумие не возмущают меня более; я вспоминаю о моем видении и спокойно говорю себе: «*Это старик-младенец*».

Увы! я уже вижу поднимающуюся грозно смешную толпу стариков-младенцев; они обвиняют меня даже за то, что мне могло представиться такое видение. Но вы, юные друзья мои, скажите мне: не тогда ли только долгая жизнь может соделать человека *опытным*, когда каждый день оной — есть новый ряд умствований; — где же

опытность *стариков-младенцев*, которою они столько хвалятся, когда бездейственность или ничтожные занятия потушили в их головах и последнюю искру размышления?

«Зевс посылает нам сны»,— говорили древние. Мое видение не должно возбудить непочтение к старости, но, напротив, еще больше произвесть благоговения к *старцам*, в истинном, высоком значении сего слова.

Друзья! улыбку *старикам-младенцам* и на колена пред *вечно юными старцами!*

### Алогий и Епименид

С гасильником в руке, с закоренелю злобою в сердце, с низкою робостию на челе Алогий прокрался в храмину, где Епименид, при мерцающем свете лампы, изучался премудрости, куда сами боги сходили к нему беседовать.

Алогий видит лампаду; бессмысленный думает, что она единственная вина мудрости Епименидовой, приближается и трепещущею рукою гасит ее; но пламя, пылавшее в лампаде, было пламя божественное, сам Аполлон возжигал его; не погасло оно от нечистого прикосновения Алогия; — но более возгорелось, заклокотало, охватило всю храмину, в прах обратило ничтожного — и снова тихо взвилось в лампаде.

Невежды-гасильщики! ужели ваши незаконные усилия погасят божественный пламень совершенствования? — Еще более возгорится оно от нечистых покушений ваших, грозно истребит вас и с вашими ковами и опять запламенеет с прежнею силою.

Нет спора, что всё это молодо, незрело и, может быть, слишком наивно; но нельзя отрицать, чтоб в этом не было одушевления, жизни и мысли, хотя и выраженной в форме, которая уже по самой сущности своей прозаична, как сбивающаяся на аллегория. Нечего и доказывать, что теперь такой род сочинений был бы странен и не мог бы иметь успеха; но ведь это было писано *двадцать* лет назад, — а что является в свое время, вдохновенное самобытною мыслию и запечатленное талантом, то если не всегда сохраняет свою первоначальную свежесть и спадает с цены от времени, зато всегда имеет в глазах мыслящего человека свою относительную, свою

историческую важность. Эти апологи замечательны уже тем, что они не походили ни на что, бывшее до них в русской литературе; они не пользовались популярностью, потому что могли нравиться не всем. *Старички острова Панхаи* называли их безнравственными; большинство публики, не находя в них ничего для фантазии и не любя пищи, предлагаемой преимущественно для ума мыслящего, пропустило их без особенного внимания; но зато юношество, одушевленное стремлением к *идеальному*, в хорошем значении этого слова, как противоположности пошлой прозе жизни,— это юношество читало их с жадностью, и благодатны были плоды этого чтения. Мы знаем это по собственному опыту, и кто умеет судить о достоинстве вещей не по настоящему времени, а по их историческому смыслу, кто помнит состояние нашей литературы в ту эпоху, когда лучшими журналами в России были «Вестник Европы» и «Сын отечества» и еще не было «Московского телеграфа», когда читающая публика была несравненно малочисленнее нынешней,— те согласятся с нами.

Но князь Одоевский не остановился на этих юношеских опытах; он скоро понял, что этот избранный или, лучше сказать, созданный им род литературы прозаичен и однообразен. Он так мало дает цены этим первоначальным опытам своим, что не захотел даже поместить их в собрании своих сочинений... Последующие его опыты, разбросанные преимущественно по альманахам, уже обнаружили в нем писателя столько же возмужавшего, сколько и даровитого. Не изменяя своему истинному призванию, по-прежнему оставаясь по преимуществу *дидактическим*, он в то же время умел возвыситься до того поэтического красноречия, которое составляет собою звено, связывающее оба эти искусства — красноречие и поэзию, и которое составляет истинную сущность таланта Жана Поля Рихтера. Для доказательства ссылаемся на три лучшие произведения князя Одоевского — «Бригадир», «Бал» и «Насмешка мертвеца». Это уже не апологи, не аллегии: это живые мысли созревшего ума, переданные в живых поэтических образах. Несмотря на дидактическую цель этих произведений, в них всё горит и блещет яркими цветами фантазии, в них слышится одушевленный язык живого, страстного убеждения, они проникнуты пафосом истины, они — не холодные поучения, не резонерские нападки на пороки людей, не риторичес-

кие похвалы добродетели: они — пламенные филиппики, исполненные то грозного пророческого негодования против ничтожности и мелочности положительной жизни, валяющейся в грязи эгоистических расчетов, то молниеносных образов надзвездной страны идеала, где живут высокие чувствования, светлые мысли, благородные стремления, доблестные помыслы. Их цель — пробудить в спящей душе отвращение к мертвой действительности, к пошлой прозе жизни и святую тоску по той высокой действительности, идеал которой заключается в смелом, исполненном жизни сознании человеческого достоинства. Но, кроме того, важное преимущество этих пьес составляет их близкое, живое соотношение к обществу. С этой стороны, они не выдумки, не игрушки праздной фантазии, не риторические олицетворения отвлеченных мыслей, общих добродетелей и пороков, но уроки высокой мудрости, тем более плодотворные, что их корни скрываются глубоко в почве русской действительности. Прочтите «Бригадира»: это история многих тысяч наших бригадиров, — история, к несчастью, всегда одинаковая. Беспокойный и страстный юмор составляет также одно из неотъемлемых достоинств этих пьес и придает им характер положительности, без которого они казались бы слишком фантастическими, а потому и недостаточно дельными. Но как фантастическое лежит в этих пьесах на существенном основании, то оно придает им только еще более сильный и увлекательный характер, поражая мысль через посредство фантастических образов, сверкающих яркими и причудливыми красками поэзии. <...>

Еще богаче и внутренним содержанием, и стремительным пафосом, и фантастически-поэтическими образами пьеса — «Насмешка мертвеца». По нашему мнению, это едва ли не лучшее произведение князя Одоевского и в то же время одно из замечательнейших произведений русской литературы, тем более, что оно в ней единственное в своем роде...

Картины бала и смятения, произведенного страхом потопы, исполнены вдохновения бурного и порывистого, негодования пророческого энергического. Здесь красноречие возвышается до поэзии, а поэзия становится трибуною. Чтоб выписать всё лучшее из этой пьесы, надобно было бы списать её всю. <...>

Было время, когда поэзию разделяли на эпическую, лирическую, драматическую и еще *дидактическую*. <...>

Дидактическая поэзия, в том смысле, как мы ее понимаем, есть то гремящее анафемою поучение, то страстная речь защитника добра, это род поэзии наиболее социальный и гражданский. Отсюда понятно, что у римлян явился величайший сатирик в мире. Из этого, однако ж, не следует, чтоб поэзия должна была по-прежнему разделяться на эпическую, лирическую, драматическую и дидактическую: дидактической поэзии нет, но есть *дидактизм*, который, как преобладающий элемент, может входить во все три рода поэзии, преимущественно же в лирическую. Без пафоса невозможна никакая поэзия, и дидактизм, чтоб не убивать поэзии, должен быть всегда преисполнен страстного одушевления. В древности были певцы, обрекавшие себя на возбуждение в гражданах чувств доблести и любви к отечеству во время войн, и до нас дошло несколько од Тиртея, которого антипоэтические, не любившие изящных искусств спартанцы выпросили у афинян, чтоб он воспламенял своими песнями дух храбрости в их воинстве во время кровавой борьбы их с мессенцами. Почему же не быть поэтам, которые служили бы обществу, пробуждая и поддерживая в его членах стремление к сознанию, к жизни умом и сердцем, единой сообразной с человеческим достоинством жизни? И неужели эти гражданские Тиртеи ниже Тиртеев войны? *Храбрость* составляет одно из достоинств человека, особенно важное во время войны, но *человечность* всегда и везде, в войне и мире, есть высшая добродетель, высшее достоинство человека, потому что без нее человек есть только животное, тем более отвратительное, что, вопреки здравому смыслу, будучи внутри животным, снаружи имеет форму человека. <...>

Талант этого рода имеет еще то отличие от таланта чисто поэтического, чисто творческого, что он тесно связан с одушевлением одаренного им лица к нравственным идеям. И потому мы нередко видим, что люди, обладающие чисто поэтическим талантом, сохраняют его долго, независимо от их отношений к жизни; но когда писатель, которого направление — преимущественно дидактическое, или привыкает наконец к холоду жизни, прежде возбуждавшему в нем громовое негодование, или допускает сомнению ослабить в себе энергию убеждения, — тогда его талант исчезает вместе с упадком его нравственной силы. Это потому, что такой талант есть своего рода добродетель.

Нам не без основания могут заметить, что такие произведения, как «Бригадир», «Бал» и «Насмешка мертвеца», могут читаться не всегда, и притом не во всяком расположении духа, и что для умов зрелых и закаленных в борьбе с жизнью подобный *дидактизм* не вполне поучителен. Не спорим против этого. Но как различны потребности возрастов и состояний, так различны и средства к их удовлетворению. Есть люди, которые с восторгом будут читать трагедию Шиллера и в которых «Ревизор» или «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» могут возбудить скорее болезненно неприятное чувство, нежели удовольствие и восторг; и есть люди, которым гениальная комедия из современной жизни громче говорит о значении и смысле великого и прекрасного на земле, нежели иная восторженная, исполненная кипением юного чувства трагедия. Не будем рассуждать, которая из этих сторон права, которая не права; мы даже думаем, что обе они равно правы, ибо каждая из них требует того, что ей нужно, и обе достигают одной и той же цели, идя по разным путям. Как бы то ни было, но чтение таких произведений, как «Бригадир», «Бал» и «Насмешка мертвеца», производит на молодую душу, еще свежую, не подвергшуюся нечистому прикосновению житейской суеты, действие электрического удара, потрясающего всю нервную систему. И подобный нравственный удар оставляет в юной, исполненной благородного стремления душе самые благодатные следствия. Мы знаем это по собственному примеру: мы помним то время, когда избранная молодежь с восторгом читала эти пьесы и говорила о них с тем важным видом, с каким обыкновенно неопиты говорят о таинствах своего учения. И вот одна из причин, почему имя князя Одоевского как писателя более известно и знакомо всем, нежели его сочинения: его сочинения таковы, что могут или сильно нравиться, или совсем не могут нравиться, потому что годятся не для всех; а между тем, мнение тех, которых они могут сильно заинтересовать, слишком важно и действительно даже для тех, которые сами не могут находить в них для себя особенного интереса. К этому надо присовокупить еще и то обстоятельство, что сочинения князя Одоевского долго были разбросаны во множестве разных альманахов и журналов и что их многие печатно и хвалили и бранили, но никто не почел за нужное отдать публике отчет, почему он их хвалит или бра-

нит. Впрочем, и не легко было бы дать такой отчет, потому что для этого критик принужден был бы прежде всего завалить свой стол альманахами и журналами разных годов. Вообще, нельзя не упрекнуть князя Одоевского, что он не собирал и не издавал своих сочинений по мере их накопления. Это было бы для него весьма важно: ему легче было бы судить о потребностях времени по приему публикою каждой книжки своих сочинений и знать заранее, может ли иметь успех изменение их в направлении.

После всего, сказанного нами по поводу пьес — «Бригадир», «Бал» и «Насмешка мертвеца», было бы бесполезно распространяться о достоинстве такого рода произведений, о высоком таланте их автора, равно как и о неоспоримой важности его направления и призвания. Но навсегда ли, или, по крайней мере, надолго ли, автор остался ему верен? — вот вопрос. Кроме этих трех пьес, помещенных в первой части, в следующих частях мы находим еще несколько в таком же роде, каковы: «Город без имени», «Новый год», «Черная перчатка», «Живой мертвец» и отрывки из «Пестрых сказок»; но в этих уже, за исключением первой, преобладает юмор, и они, не теряя своего дидактического характера, начинают наклоняться к повести. Из них лучше других кажется нам «Новый год». — «Живой мертвец» написан как будто в *repandant*<sup>1</sup> к «Бригадиру»: в ней та же мысль, с одной стороны, выраженная более действительным, нежели поэтическим образом, может быть, более уловимая для большинства, но, с другой стороны, лишенная торжественности лирического одушевления, которое составляет лучшее достоинство «Бригадира». — Что же касается до пьесы «Город без имени», она написана совершенно в духе лучших произведений в этом роде князя Одоевского; но основная мысль ее несколько односторонняя. Автор нападает на исключительно индустриальное и утилитарное направление общества, думая видеть в нем причину будто бы близкого их падения. Автору можно возразить, что могут быть общества, основанные на преобладании идеи утилитарности, но что общества, основанные на исключительной идее практической пользы, совершенно невозможны. Сколько можно заметить, автор намекает на Северо-Американские Штаты; но что можно сказать по

---

<sup>1</sup> В соответствие (франц.).



ложительного об обществе, которое так юно, что еще не доросло до эпохи уравнивания своих сил и полной общественной организации? И кто может сказать утвердительно, что в этом странном, зарождающемся обществе не кроются элементы более действительные и благородные, чем исключительное стремление к положительной пользе? Вообще, мысль о возможности смерти для обществ вследствие ложного направления слишком пугает автора. В пьесе «Последнее самоубийство» он решился даже нарисовать картину смерти всего человечества, которому уже ничего не осталось ни знать, ни делать, потому что всё уже узнано и сделано..

Пьесы: «Opere del Cavaliere Giambattista Piranesi»; «Последний квартет Бетховена», «Импровизатор» и «Себастиан Бах» образуют собою особенную серию дидактических произведений, и все они возбудили при своем появлении большое внимание. В них развивается какая-нибудь или психологическая мысль, или взгляд на искусство и художника. Первая из них — «Opere del Cavaliere Giambattista Piranesi» есть — кто бы мог подумать? — апофеоза сумасшествия!.. Ибо что другое, как не желание апофеозировать сумасшествие, могло заставить автора взять на себя труд представить архитектора, который помешался на мысли строить здания из гор, переставлять горы с места на место и делать тому подобное?.. Такое состояние, по нашему мнению, отнюдь не показывает гениальности, но, напротив, свидетельствует о слабой нервической натуре, которая не выдерживает тяжести разумной действительности,— и Пиранези, таков, каким представляет его князь Одоевский, достоин жалости, как всякий сумасшедший, но не внимания, как всякий замечательный человек. Гений творит великое, но возможное; о громадном, но невозможном может мечтать только расстроенная и болезненная фантазия.— В «Импровизаторе» прекрасно развита мысль о бесплодности и вреде знания, приобретенного без труда и усилий, как источнике самого пошлого и тем не менее мучительного скептицизма, результатом которого всегда бывает искреннее примирение с пошлостью внешней жизни. «Себастиан Бах» — род биографии-повести, в которой жизнь художника представлена в связи с развитием и значением его таланта. Это скорее биография таланта, чем биография человека. Она вводит читателя в святилище гения Баха и критически знакомит его с ним. Жизнь Себа-

стиана Баха изложена князем Одоевским в духе немецкого воззрения на искусство и немецкого музыкального верования, которое на итальянскую музыку смотрит, как на раскол, которое, вместе с этим гениальным и простодушным старинным мастером, боится лучшего в мире музыкального инструмента — человеческого голоса, как слишком исполненного страсти, профанирующей искусство в той заоблачной и по тому самому несколько холодной сфере, в которой эксцентрические немцы хотят видеть царство истинного искусства. Однако это несколько не мешает поэтической биографии Себастиана Баха быть до того мастерски изложенною, до того живою и увлекательною, что ее нельзя читать без интереса даже людям, которые недалеки в знании музыки. Это значит, что в ней автор коснулся тех общих сторон, которые и в музыканте прежде всего показывают художника, а потом уже музыканта.

«Imbroglia»<sup>1</sup>, «Сильфида», «Саламандра», «Южный берег Финляндии в начале XVIII столетия», «Княжна Мими» и «Княжна Зизи» — все эти пьесы образуют собою ряд повестей собственно. Лучшая между ними и одно из лучших произведений князя Одоевского есть «Княжна Мими». Несмотря на ее несколько не лирический характер, она верна тому направлению таланта автора, которое мы столько уважаем и которое мы видим в его пьесах «Бригадир», «Бал» и «Насмешка мертвеца». Это мастерски написанная картина из светского быта. Содержание ее очень просто: гибель прекрасной женщины, которую ожидало счастье вдвоем и которая вполне была достойна этого счастья, — гибель этой женщины от сплетни, сочиненной старою девою. Верный своему направлению, автор выводит наружу внутренний пафос повести в этих немногих, но пророчески обличительных словах: «Есть поступки, которые преследуются обществом: погибают виновные, погибают невинные. Есть люди, которые полными руками сеют бедствие, в душах высоких и нежных возбуждают отвращение к человечеству, словом, торжественно подпиливают основания общества, — и общество согревает их в груди своей, как бессмысленное солнце, которое равнодушно всходит и над криками битвы и над молитвою мудрого». Но героиня повести, княжна Мими, не принесена автором в жертву

---

<sup>1</sup> Буквально: путаница, интрига (итал.).

моральности: он раскрывает перед читателями те неотразимые причины, вследствие которых она должна была сделаться злою сплетницею; он показывает, что гораздо прежде, нежели она начала подпирать основы общества, это общество сгубило в ней всё хорошее и развило всё дурное. Она была старая дева и знала, что такое «тихий шепот, неприметная улыбка, явные или воображаемые насмешки, падающие на бедную девушку, которая не имела довольно искусства или имела слишком много благородства, чтоб продать себя в замужество по расчетам». Превосходный рассказ, простота и естественность завязки и развязки, выдержанность характеров, знание света делают «Княжну Мими» одною из лучших русских повестей.

Повесть «Княжна Зизи» уступает в достоинстве повести «Княжна Мими», — что, однако ж, не мешает и ей быть интересною и занимательною. Основная идея — положение в обществе женщины, которая, по своему сердцу, по душе, составляет исключение из общества и дорого платит за свое незнание людей и жизни, которым слишком доверялась, потому что судила о них по самой себе.

«Сильфида» принадлежит к тем произведениям князя Одоевского, в которых он решительно начал уклоняться от своего прежнего направления в пользу какого-то странного фантазма. Отсюда происходит то, что с сих пор каждое из его произведений имеет две стороны — сторону достоинства и сторону недостатков. Пока автор держится действительности, его талант увлекателен по-прежнему и проблесками поэзии и необыкновенно умными мыслями; но как скоро впадает он в фантастическое, изумленный читатель поневоле задает себе вопрос: шутит с ним автор или говорит серьезно? Герой повести «Сильфида» очень занимает нас, пока мы видим его в простых человеческих отношениях к людям и жизни; но наше участие к нему, несмотря на искусство и высокий талант автора, тотчас погасает, как скоро он начал отыскивать какую-то Сильфиду на дне миски с водою и бирюзовым перстнем. Автор (сколько можем мы понять при нашем совершенном невежестве в делах волшебства, видений и галлюцинаций) хотел в герое «Сильфиды» изобразить идеал одного из тех *высоких безумцев*, которых внутреннему созерцанию (будто бы) доступны сокровенные и превысшенные тайны жизни. Но, увы! уважение к

безумцам давно уже, и притом безвозвратно, прошло в просвещенной Европе, и вдохновенных *сантонов* уважают теперь только в непросвещенной Турции!.. Точно то же можно сказать и о двух больших повестях, которые, впрочем, не особые повести, а две части одной и той же повести — «Саламандра» и «Южный берег Финляндии в начале XVIII столетия». Тут есть прекрасные картины быта финнов, прекрасная финская легенда о борьбе Петра Великого с Карлом XII-м; есть картины русского быта при Петре Великом и вскоре после него, есть удачные очерки характеров; сама эта полудикая Эльса, в противоположности с образованною Марьею Егоровной, так интересна... Но Саламандра, ее роль в повести, разные магнетические и другие чудеса, искание философского камня и *обретение оного*, — всё это было для нас непонятно; а чего мы не понимаем, тем не можем и восхищаться... Притом же мы имеем глубокое и твердое убеждение, что такие пружины для возбуждения интереса в читателях уже давно устарели и ни на кого не могут действовать. Теперь внимание толпы может покорять только сознательно разумное, только разумно действительное, а волшебство и видения людей с расстроенными нервами принадлежат к ведению медицины, а не искусства. И что было плодом этого нового направления князя Одоевского? — «Необойденный дом», в котором едва ли что-нибудь поймут как образованные люди, не для которых писана эта странно фантастическая повесть, так и простолюдины, для которых она писана и которые, вероятно, никогда не узнают о ее существовании!..

Но это направление явилось в сочинениях князя Одоевского не в последнее только время. Еще в 1833 году издал он свои «Пестрые сказки», в которых было несколько прекрасных юмористических очерков, как, например: «История о петухе, кошке и лягушке», «Сказка о том, по какому случаю коллежскому советнику Отношенью не удалось в Светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником», «Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем». Но между этими очерками была пьеса «Игоша», в которой всё непонятно, от первого до последнего слова, и которая поэтом вполне заслуживает название *фантастической*. Мы имеем причины думать, что на это фантастическое направление нашего даровитого писателя имел большое влияние Гофман. Но фантазм Гофмана составляет его натуру, и Гофман в са-

мых нелепых дурачествах своей фантазии умел быть верным идее. Поэтому весьма опасно подражать ему: можно занять и даже преувеличить его недостатки, не заимствовав его достоинств. Сверх того, фантазм составляет самую слабую сторону в сочинениях Гофмана; истинную и высокую сторону его таланта составляет глубокая любовь к искусству и разумное постижение его законов, едкий юмор и всегда живая мысль.

Может быть, это же влияние Гофмана заставило князя Одоевского дать странную форму первой части его сочинений, которую он отличил от других странным названием «Русских ночей». Подобно знаменитым Серапионовым братьям, он заставил несколько молодых людей беседовать по ночам о жизни, науке, искусстве и тому подобных предметах. Вследствие этого лучшие пьесы его — «Бригадир», «Бал», «Насмешка мертвеца», «Импровизатор» и «Себастиан Бах», написанные им гораздо прежде, нежели, может быть, родилась у него мысль о *русских ночах*, явились в какой-то неестественной и насильственной связи между собою: они читаются *Фаустом* (председателем *русских ночей*) из какой-то рукописи по поводу разговоров его с друзьями о разных предметах. Разумеется, эти разговоры пригнаны автором к рассказам, а потому рассказы не совсем вяжутся с разговорами. Но это еще не всё: разговоры ослабляют впечатление рассказов. Правда, эти разговоры, или беседы, имеют большую занимательность, исполнены мыслей; но почему же было не сделать автору из них особой статьи? Он отчасти и сделал это в «Эпilogue», который имеет большое достоинство, но без всякого отношения к рассказам, и к которому мы еще обратимся. Вторая часть названа «*Домашними разговорами*», хотя это название может относиться только разве к повести «Княжна Мими», а ко всем другим рассказам и повестям, вошедшим в эту часть, несколько нейдет. Не понимаем, к чему всё это, если не к тому, чтоб давать против себя оружие своим литературным недоброжелателям, которых у князя Одоевского, как у всякого сильно даровитого писателя, очень много, и которые рады будут обратить всё свое внимание на эти мелочи, чтоб не обратить никакого внимания на существенные стороны его сочинений.

В «Эпilogue», как выводе из предшествовавших разговоров, развивается мысль о нравственном гниении Запада в настоящее время. В лице Фауста, который играет

главную роль во всех этих разговорах и в «Эпилоге» особенно,— автор хотел изобразить человека нашего времени, впавшего в отчаяние сомнения и уже не в знании, а в произволе чувства ищущего разрешения на свои вопросы. Следовательно, это — своего рода повесть, в которой автор представляет известный характер, не отвечая за его действия или за его мнения. Другими словами: этот «Эпилог» есть вопрос, который автор предлагает обществу, не принимая на себя обязанности решить его. Мы очень рады, что в лице этого *выдуманного* Фауста мы можем ответить на важный вопрос всем *действительным* Фаустам такого рода. Фауст князя Одоевского — надо отдать ему полную справедливость — говорит о деле со знанием дела, говорит не общими местами, а со всею оригинальностью самобытного взгляда, со всем одушевлением искреннего, горячего убеждения. И, между тем, в его словах столько же парадоксов, сколько истин, а в общем выводе он совершенно сходится с так называемыми «славянофилами». <...>

Говоря о хаотическом состоянии науки и искусства Европы, Фауст в книге князя Одоевского много говорит справедливого и дельного; но взгляд его вообще тем не менее односторонен, парадоксален. Всё, что говорит он о преобладании опытных наблюдений и мелочного анализа в естественных науках, всё это отчасти справедливо; тем не менее, нельзя согласиться с ним, чтоб это происходило от нравственного гниения, от погасающей жизни: скорее можно думать, что для естественных наук не настало еще время общих философских оснований именно по недостатку фактов, которые могут быть добыты только опытными наблюдениями, и что этот-то современный эмпиризм и должен со временем приуготовить философское развитие естественных наук. Тот же смысл имеет и эта дробность знаний, вследствие которой один, занимаясь математикою, считает себя вправе не иметь понятия об истории, а другой, занимаясь политическою экономикою, полагает своею обязанностью быть невеждою в теории искусства. Но что в этом должно видеть только переходное, следовательно, временное состояние, перелом, а не коснение, как предвестник близкой смерти,— это доказывают слова самого Фауста, что все чувствуют и сознают недостаток общих начал в науках и необходимость знания, как чего-то целого, как науки о жизни, о бытии, о сущем в обширном значении этого слова, а не как науки

то об этом предмете, то о том. Смерть обществ всегда предшествуется пошлым самодовольством, всеобщей удовлетворенностью, мелочами, полным примирением с тем, что есть и как есть. В умирающих обществах нет криков и воплей на недостаточность настоящего, нет новых идей, новых учений, нет страдальцев за истину, нет борьбы,— всё тихо под зеленою плесенью гниющего болота. То ли мы видим в Европе? Фауст видит там совершенную гибель искусства, говорит о Россини, о Беллини — и не говорит о Мейербере. И давно ли были там Моцарт и Бетховен? И неужели Европа каждый год обязана представлять по новому гению во всех родах,— иначе она умерла? Четыре такие мыслителя, как Кант, Фихте, Шеллинг и Гегель, непосредственно явившиеся один за другим: неужели этого мало? И если теперь даже философия Гегеля относится в Германии к учениям, уже совершившим свой круг, теперь, когда сам великий Шеллинг, имевший несчастье пережить свой разум, не успел никого обморочить своими таинственными тетрадками, которыми столько лет обещал разрешить альфу и омегу мудрости: неужели всё это не показывает, какой великий шаг сделало в Германии мышление?.. Но Фауст принадлежит по своей натуре к тем замечательно эластическим, широким, но вместе с тем и робким умам, которые вечно обманываются оттого, что слишком боятся обмануться. Для таких умов быстрое падение доктрин и систем есть доказательство их ничтожности. Они верят только в истину абстрактную, которая бы вдруг родилась совсем готовая, как Паллада из головы Зевса, и все бы тотчас единодушно признали ее и поклонились ей. По недостатку исторического такта эти умы не могут понять, что истина развивается исторически, что она сеется, поливается потом и потом жнется, молотится и веется и что много шелухи должно отвеять, чтоб добраться до зерен. Кант и Фихте должны были увидеть в Шеллинге свой конец, но не потому, чтоб он доказал бесплодность их труда, а потому, что всё сделанное ими или послужило основанием для его труда, или вошло в его труд, как плодотворный элемент. Так и всё идет в истории подобным же образом: одно событие рождает другое, один великий человек служит ступенью для другого; люди тут могут терять, и какому-нибудь Шеллингу, конечно, не легко сознаться, что не только его, некогда великого вождя времени, но даже и того, кто первый заслонил его собою и кто давно уже

спит сном вечности, даже и того далеко обогнали им же вызванные на труд и дело новые поколения!.. Удивительно ли, что Фауст не видит прогресса в науках, утверждая, что древние знали больше нашего в тайнах природы; что алхимики средних веков владели чуть ли не тайною философского камня, который мог и золото делать и людям бессмертие физическое давать? Удивительно ли, что Фауст в истории видит только хаос фактов, которые будто бы теперь всякий толкует по-своему? — Для кого настоящее не есть выше прошедшего, а будущее выше настоящего, тому во всем будет казаться застой, гниение и смерть. Умы вроде Фауста — истинные мученики науки: чем больше они знают, тем меньше они владеют знанием. Знание делает их маятниками, и они лучше весь век будут качаться, нежели на чем-нибудь остановиться, боясь остановиться на неистине. Это люди, жаждущие истины, с благородною ревностью стремящиеся к ней, и в то же время скептики поневоле. Но уж проходит время скептицизма, и теперь всякое простое, честное убеждение, даже ограниченное и одностороннее, ценится больше, чем самое многостороннее сомнение, которое не смеет стать ни убеждением, ни отрицанием и поневоле становится бесцветною и болезненною мнительностью.

Но Фауст не останавливается на сомнениях и идет к убеждению. Посмотрим на его убеждение. Он ищет шестой части света и народа, хранящего в себе тайну спасения мира... находит его — и тут же спрашивает себя: «Не мечта ли это самолюбия?» — Неужели это убеждение... <...>

И, между тем, повторяем, в «Эпilogue» столько ума; многие даже из парадоксов его так остроумны и оригинальны, написан он так живо и увлекательно, что от него нельзя оторваться, не дочитав его до конца.

От «Эпilogue» перейдем к «Сказке о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту» и «Той же сказке, только наизворот». Она была напечатана еще в 1833 году в «Пестрых сказках», и ее содержание известно многим. Героиня ее — *славянская дева*, которая, как все славянские девы, была бы чудом красоты, ума и чувства, если б заморский басурман, при помощи безмозгой французской головы, чуткого немецкого носа с ослиными ушами и туго набитого английского живота, не вырезал из нее души и сердца и не превратил ее в куклу.



Эта сказочка навела нас на мысль об удивительной сметливости русского человека всегда выйти правым из беды и сложить вину если не на соседа, то на черта, а если не на черта, то на какого-нибудь мусье... Девушка шла по Невскому проспекту с десятью своими подругами, в сопровождении трех маменек, которые умели считать только до десяти, как ворона умеет считать только до четырех. Нет спора, что подобные дамы были в состоянии дать превосходное воспитание своим дочерям, если б не подвернулся проклятый басурман. Г-н Кивакель тоже, должно быть, воспитан был басурманами, а оттого и получил способность жить только трубкою и лошадьми... И, между тем, какое изложение, сколько таланта потрачено на эту сказку!..

Но мы рекомендуем читателям вместо этой сказки прочесть домашнюю драму — «Хорошее жалование, приличная квартира, стол, освещение и отопление», чтоб насладиться произведением, столь же прекрасным по мысли, сколько и по выполнению. Это одно из лучших произведений князя Одоевского.

Особенно замечательна также последняя статья в третьей части: «О вражде к просвещению, замечаемой в новейшей литературе». Она была написана еще в 1836 году и напечатана в «Современнике» Пушкина. В ней автор нападает на вредную расчетливость некоторых литераторов, которые льстят невежеству толпы, браня просвещение... Увы! с 1836 г. много воды утекло, и мы жалеем, что князь Одоевский не переделал своей прекрасной статьи, чтоб воспользоваться огромным множеством новых фактов о гонении, воздвигнутом против просвещения и литературы теми же самыми людьми, которые называются то учеными, то литераторами. Остроумному и энергическому перу князя Одоевского много дали бы материалов одни так называемые «славянолюбы» и «квасные патриоты», которые во всякой живой, современной человеческой мысли видят вторжение лукавого гниющего Запада. <...>

Мы не имели никакой причины скрывать нашего истинного мнения о достоинстве сочинений князя Одоевского. Таких писателей у нас немного. В самых парадоксах князя Одоевского больше ума и оригинальности, чем в истинах у многих из наших критических акробатов, которые, критикуя его сочинения, обрадовались случаю притвориться, будто они не знают, о ком пишут, и видят

в нем одного из сочинителей их собственного разряда. Некоторые из произведений князя Одоевского можно находить менее других удачными, но ни в одном из них нельзя не признать замечательного таланта, самобытного взгляда на вещи, оригинального слога. Что же касается до его лучших произведений,— они обнаруживают в нем не только писателя с большим талантом, но и человека с глубоким, страстным стремлением к истине, с горячим и задушевным убеждением,— человека, которого волнуют вопросы времени и которого вся жизнь принадлежит мысли. Неуважение к таланту есть признак невежества; а неуважение к живой и страстной мысли человека показывает, что в отношении к мысли неуважающий «свободен от постоя». Можно не все находить хорошим в таланте, но нельзя не признать таланта; можно не во всем соглашаться с мыслящим человеком, но нельзя без уважения к нему даже не соглашаться с ним,

Д. В. ГРИГОРОВИЧ

### *Литературные воспоминания*

(Отрывок)

В числе новых знакомых не могу не упомянуть князя Вл. Фед. Одоевского. Его любовь к литературе, его приветливое, ровное обращение со всеми, без различия их звания и общественного положения, собирали на его вечера все, что сколько-нибудь выдвигалось в науке и литературе. Сюда являлись также дамы и мужчины большого света, привлекаемые не столько любознательностью, сколько любопытством и оригинальностью провести вечер в кругу лиц, имена которых знакомы были им по слуху и отличавшихся более или менее своеобразным жаргоном и манерами. Собrania этого рода были тогда новостью. Мысль князя Одоевского соединить, слить светское общество с обществом литераторов и ученых редко удавалась. Светские дамы, обескураженные первыми попытками сближения, оставались охотнее при своих кавалерах; большая часть литераторов и ученых, робко косясь в их сторону, старалась незаметно юркнуть мимо, в кабинет хозяина дома, и только там, в дыму сигар и не-

умолкаемого говора, чувствовала себя в своей сфере.

Князь Вл. Фед. Одоевский,— человек с несомненным литературным дарованием и, кроме того, многосторонним образованием,— отличался вместе с тем детскою наивностью — чертою, над которою многие еще смеялись, но в глазах других располагавшею к нему еще симпатичнее. Часто самое ничтожное явление принимало в его уме многозначительное значение и давало повод к сложным выводам и неожиданным заключениям. Раз при мне зашла речь о только что появившихся в Петербурге общественных каретах. Князь Вл. Фед. Одоевский нашел такое нововведение не только полезным для петербургских жителей, но утверждал, что с распространением его по губернским и уездным городам России оно будет иметь важное значение для всего русского народа; задумчиво наклонив голову и понизив таинственно голос по своему обыкновению, он приводил такой аргумент, что дилижансы, отправляющиеся в известный час, приучат мало-помалу русского человека рассчитывать время, чего прежде он не делал по своей беспечности.

Способность все усложнять отражалась даже в устройстве его квартиры; посередине большой гостиной Румянцевского музеума, когда он был там директором, помещался рояль; к нему с одного боку приставлялись ширмы, обратная их сторона прислонялась к дивану, обставленному столиками и стулками разного фасона; один бок дивана замыкался высокою жардиньеркой; несколько дальше помещался большой круглый стол, покрытый ковром и окруженный креслами и стульями. От входной двери шли опять ширмы, отделявшие угол с диваном, этажерками и полочками по стенам. Гостиная представляла совершенный лабиринт; пройти по прямой линии из одного конца в другой не было никакой возможности; надобно было проходить зигзагами и делать повороты, чтобы достигнуть выходной двери.

Любовь к науке и литературе дополнялась у князя Одоевского любовью к музыке; но и здесь его преимущественно занимали усложнения, трудности контрапункта, изучение древних классических композиторов. Владея небольшим состоянием, он израсходовал значительную сумму денег на постройку громадного органа, специально предназначенного для исполнения фуг Себастиана Баха, отчего и дано было ему название «Себастианон». Лонгинов, всюду поспешавший и везде находивший по-

вод к глумлению, не замедлил перекрестить «Себастианон» в «Савоську». Особенною сложностью отличалось также у князя Одоевского кулинарное искусство, которым он, между прочим, гордился. Ничего не подавалось в простом, натуральном виде. Требовались ли печеные яблоки, они прежде выставлялись на мороз, потом в пылающую печь, потом опять морозились и уже подавались вторично вынутые из печки; говядина прощипывалась всегда какими-то специями, отымавшимй у нее естественный вкус; подливки и соусы приправлялись едкими эссенциями, от которых дух захватывало. Случалось некоторым из гостей, особенно близким хозяину дома, выражать свое неудовольствие юмористическими замечаниями; князь Одоевский выслушивал нападки, кротко улыбаясь и таинственно наклоняя голову.

Я. П. ПОЛОНСКИЙ

### *Из воспоминаний*

(Отрывок)

Тургенев когда-то лично знал покойного писателя, князя Владимира Федоровича Одоевского, и высоко ценил его. Я, пишущий эти строки, в 1858 году, незадолго до его кончины, встретился с князем за границею — в Веймаре. Он тотчас же догадался, что я болен, стал навещать меня в гостинице и начал по-своему, гомеопатией, безуспешно лечить меня. Кажется, достаточно было один день провести с этим человеком, чтоб навсегда полюбить его. Но свет глумился над его рассеянностью, — не понимая, что такая рассеянность есть сосредоточенность на какой-нибудь новой мысли, на какой-нибудь задаче или гипотезе.

Посреди своего обширного кабинета, заставленного и заваленного книгами, рукописями, нотами и запыленными инструментами, князь Одоевский в своем халате и не всегда гладко причесанный, многим казался или чудачком, или чем-то вроде русского Фауста. Для великосветских денди и барынь были смешны и его разговоры, и его ученость. Даже иные журналисты и те над ним иногда заочно тешились. И это как нельзя лучше выразилось

в юмористических стихах Соболевского, которые, по счастью, сохранились в памяти Ивана Сергеевича. Припомнив их, Тургенев несколько раз повторял их вслух и читал не без удовольствия.

Это было в дождливый день не то 29-го, не то 30-го июня. «Случилось раз...» — читал Иван Сергеевич, стараясь читать как можно серьезнее, но придавая комический оттенок своему лицу и повышению своего голоса:

Случилось раз, во время оно,  
Что с дерева упал комар,  
И вот уж в комитет ученый  
Тебя зовут, князь Вольдемар.  
Услышав этот дивный казус,  
Зарывшись в книгах, ты открыл,  
Что в Роттердаме жил Эразмус,  
Который в парике ходил.  
Одушевясь таким примером,  
Ты тотчас сам надел парик  
И, с свойственным тебе манером,  
Главой таинственно поник.  
«Хотя в известной отношении,—  
Так начал ты,— комар есть тварь,  
Но, в музыкальном рассуждении,  
Комар есть в сущности — звонарь,  
И если он, паденьем в поле,  
Не причинил себе вреда,—  
Предать сей казус божьей воле  
И тварь избавить от суда!»

А. П. ПЯТКОВСКИЙ

### *Князь В. Ф. Одоевский*

В конце 50-х годов я задумал написать для сборника, издаваемого студентами здешнего университета, критико-биографическую статью о Д. В. Веневитинове. Разыскивая материалы для его биографии и узнав, что у покойного поэта есть брат, находившийся тогда еще в живых; я обратился с просьбою к И. Д. Делянову (тогдашнему попечителю Петербургского учебного округа) — доставить мне возможность познакомиться с А. В. Веневитиновым, от которого я и получил много интересных для меня биографических сведений. Статья моя, составленная по этим материалам, была напечатана во II-м томе студенческого сборника. Только тогда уже, когда мой очерк появился в печати, я узнал от А. В. Веневити-

нова, что кн. Одоевский очень заинтересовался им и желал бы лично побеседовать со мною об этом предмете. Нельзя было обойти такой богатый источник новых сведений о занимавших меня вопросах, тем более, что личность князя Одоевского,—уже известная мне заочно по литературным его произведениям,—представлялась мне весьма симпатичною, и я рад был случаю увидеть его и поговорить с ним. Вооружившись рекомендательным письмом от А. В. Веневитинова, я отправился летом 1860 г. на дачу к кн. Одоевскому в Лесной корпус. Я не помню уже ни улицы, ни дома, в котором жил тогда Владимир Федорович (дача была его собственная); но впечатления первой встречи живо сохраняются в моей памяти. Одоевский принял меня в своем кабинете, наверху, куда я должен был взобраться по узенькой лесенке. Из-за груды разных книг, бумаг и громоздких фолиантов навстречу мне поднялась небольшая фигура хозяина, одетого в какой-то оригинальный костюм, с колпачком на голове и в больших старомодных очках, вздетых на лоб. Во всяком другом человеке такой наряд и обстановка могли бы показаться смешною претензией на оригинальность; но первый же взгляд, брошенный мною на странного по виду хозяина, совершенно расположил меня в его пользу. И наряд, и обстановка как-то шли к нему, гармонировали вполне с его действительно самобытною личностью. Из-под высокого, мыслящего лба, на котором и лета, и долгий умственный труд оставили свой заметный отпечаток,—спокойно и вдумчиво смотрели выразительные глаза, как бы лаская и ободряя собеседника; приятный, тихий голос — с какою-то особою интонацією, придававшею каждому слову вес и значение,—довершал впечатление обстановки и фигуры хозяина. Мне показалось, что я оторвал этого оригинального старика от каких-то серьезных размышлений, которым он предавался наедине с своими любимыми книгами. Но это не помешало ему сейчас же перейти к другому предмету и быстро овладеть им во время разговора. Речь шла преимущественно о значении того философского кружка, к которому принадлежал Дмитрий Веневитинов и о котором, по мнению Одоевского, очень мало и плохо говорилось в истории русской литературы. При этом Одоевский высказал мысль, что вообще история литературных кружков с таким серьезным направлением, каким отличался кружок Веневитинова, должна

была бы входить значительным элементом в историю русской мысли, которая всегда пробивалась у нас этими узенькими дорожками, за неимением других более широких и открытых путей. Кроме того, Одоевский обратил мое внимание на ту роль, которую играл некогда в русской журналистике «Московский вестник», задуманный Веневитиновым и его друзьями. Всеми этими замечаниями я воспользовался впоследствии, когда переделывал и докончивал мою статью для отдельного издания сочинений Веневитинова. Отдельный оттиск моей статьи (из студенческого сборника), который я тогда же захватил с собою, был удержан кн. Одоевским и потом возвращен мне, испещренный разными дополнительными замечками, которые не пришли в голову при беглом разговоре. В заключение этой первой беседы Одоевский просил меня навещать его в городе, осенью, когда он вернется с дачи (он жил тогда в здании Румянцевского музея, на набережной, у Николаевского моста). Я воспользовался его приглашением и тою же осенью успел побывать у него несколько раз, причем рамки наших бесед постепенно раздвигались, захватывая в себя не только прошлое, но и настоящее положение русской литературы, и не одни литературные вопросы, а также общественные и политические. Готовившаяся тогда крестьянская реформа поглощала все внимание кн. Одоевского, и он с глубоким чувством говорил о том обновлении, которое внесет эта реформа в русскую жизнь. Приветливость хозяина и его умение найти в каждом своем госте хоть одну живую струну с тем, чтобы эксплуатировать ее, так сказать, на пользу общую, оживляли вечера, проведенные мною в кабинете кн. Одоевского. Всех своих гостей он имел обыкновение знакомить друг с другом и, нивелируя их общественные положения, всегда умел заинтересовать их каким-нибудь общим разговором. Несмотря на всю мою провинциальную застенчивость, я ни разу не почувствовал себя неловко в этом избранном кругу, в котором генералы, статс-секретари и придворные люди мешались с начинающими артистами и писателями. Помню, что на этих вечерах я познакомился с покойным М. И. Сарриотти, который только что вернулся из Италии и искал дебюта в Русской опере. Тут же я встретил впервые некоторых московских славянофилов, с которыми у Одоевского происходили часто крупные споры. В начале 1861 г., перера-

ботав мою статью о Веневитинове, я отослал ее в рукописи к кн. Одоевскому и не позже как через две недели получил ее обратно при следующем письме, которое позволяю себе привести целиком: «Я перед вами кругом виноват, почтеннейший и любезнейший Александр Петрович. Но что прикажете делать! Я не мог вам посвятить часов моего раздолья, то есть ночи; ибо, несмотря на мою способность читать всевозможные почерки, я и днем останавливался над вашим, а при свечах он моим ослабевшим глазам был вовсе недоступен; а и мелкую печать я теперь по ночам уже с трудом читаю; днем же вы знаете мою жизнь, которая, особенно в январе и феврале становится очень тяжка, по причине отчетов разных заведений, находящихся в моем заведывании. Так, бога ради, не взыщите за мою медленность, о которой, впрочем, я вас предупреждал. В статье вашей я сделал кое-какие отметки, что припомнилось; имел я поползновение придрататься иногда и к вашему языку, но легонько, ибо уважаю всякую своебытность, и не стать старику задерживать молодую прыть. Знаете, что я вам скажу. Работа вам легко дается, языком владеете и рыться не ленитесь; что бы вам приняться за историю русской литературы и, во-первых, русской журналистики, именно со времен «Телеграфа», с которого началась настоящая наша журналистика. Пишите по частям, печатайте в журналах; пусть написанное пройдет через критику, а вы между тем имейте задуманный предварительно план: составить из отдельных частей нечто целое. Хорошая рамка, для небольшой, разумеется, книги,— у Баранта в «Histoire de la litterature française». Надеюсь через неделю несколько освободиться от дел, и тогда выберем вечерок для толкования об этом, если хотите. Вас душевно уважающий кн. В. Одоевский (19 февраля 1861 г.)».

Если вспомнить ту разницу в летах и общественных положениях, которая отделяла в то время меня, начинающего писателя-студента от известного литератора и человека, занимавшего очень видное придворное положение, каким был князь Владимир Федорович; если обратить далее внимание на простой, дружеский тон, господствующий в этом письме, а также на его историческую дату (день освобождения крестьян),— то нельзя не признать, что, встречая молодого писателя, в котором он видел некоторую способность к литературному труду,



князь Одоевский совершенно забывал все внешние условия и, как товарищ товарища, старался ободрить и поддержать новичка, находя досуг даже в такой хлопотливый момент для всех лиц высшего круга, как 19 февраля 1861 года. Тут не было ни малейшего оттенка покровительственных отношений, никакого литературного меценатства, ни смешного самодовольства своими собственными успехами и значением, — самодовольства, которое нередко проскальзывает, даже помимо их воли, у заслуженных и авторитетных писателей. Это был доверчивый, открытый обмен мыслей между работниками одного и того же дела, — и тем больше уважения почувствовал я к человеку, способному держать такой тон в сношениях с молодежью. Замечания, высказанные мне кн. Одоевским в письме, дали нам пищу для нескольких вечерних бесед, после которых я решился приступить к очеркам из истории русской журналистики, начав их с первых русских ведомостей Петра Великого. Князь Одоевский согласился со мною, что появление «Московского Телеграфа» было подготовлено всем предыдущим развитием нашей журналистики, и что для полноты картины следовало остановиться и на изданиях Миллера, и на сатирических листках Новикова, и на журналах Карамзина, осветив все эти литературные факты указанием общей связывающей их нити развития. При этом кн. Одоевский сообщил мне несколько любопытных сведений об эпохе Булгарина с братнею, которые и вошли в мою статью «Журнальный триумвират».

## ПРИМЕЧАНИЯ

Повести, рассказы, очерки

### ПОСЛЕДНИЙ КВАРТЕТ БЕТХОВЕНА

Впервые опубликовано в альманахе «Северные цветы» на 1831 год. СПб., 1830. В настоящем сборнике печатается по изданию: *Одоевский В. Ф.* Соч. в 2 т., т. 1, М., Художественная литература, 1981 (в дальнейшем обозначается: *Одоевский*, 1981).

С. 35. *Эпиграф* — сокращенная цитата из книги Э.-Т.-А. Гофмана «Серрапионовы братья».

*Контрапунктист* — музыкант-теоретик; *контрапункт*, или полифония, — наука о законах сочетаемости музыкальных звуков и мелодий.

*Аллегро* — музыкальный термин, обозначающий быстрый темп произведения и связанный с ним оживленный характер исполнения.

*Диссонансы* — музыкальный термин, обозначающий созвучия, вызывающие ощущение несогласованности и повышенное раздражение слуха.

*Менуэт* — популярный бальный танец; возник из народного французского танца, в XVII—XIX веках претерпел кардинальные изменения: при Людовике XIV (1638—1715) менуэт имел медленный, церемонный характер парадного придворного танца, в XVIII веке его ритм стал более быстрым и веселым. Ритм и форма менуэта широко использовались композиторами XVIII—XIX веков.

С. 36. *Гайдн*, Йозеф (1732—1809) — австрийский композитор, основоположник классического стиля инструментальной музыки.

*Моцарт*, Вольфганг-Амадей (1756—1791) — великий австрийский композитор, представитель венской классической школы, его музыка считается идеалом красоты и гармонии.

*Галль*, Франц Йозеф (1758—1828) — австрийский врач, создатель *френологии* — теории, согласно которой на основании изучения размера и формы черепа можно судить о психических особенностях человека.

*Септим-аккорд* — аккорд из четырех звуков.

С. 37. *Хроматическая мелодия* — мелодия, построенная на полтонах.

*Адажио* — музыкальный термин, обозначающий медленный темп.

...я управлял оркестром моей ватерлооской баталии? — Симфоническая увертюра Бетховена «Победа Веллингтона», посвященная победе английского полководца *Веллингтона* (1769—1852) над французской армией Наполеона и его союзника испанского короля Иосифа в 1813 году в северной Испании при городе Виттория, исполнялась в Вене в декабре 1813 года под управлением автора. Веллингтон наиболее известен как командующий англо-голландской армией в битве при *Ватерлоо* 18 июня 1815 года, в которой была разгромлена армия Наполеона, что имело своим результатом окончательное крушение наполеоновской империи. Одоевский опускает вторую часть названия увертюры «или Битва при Виттории», тем самым давая возможность читателю думать, что увертюра посвящена более значительному эпизоду борьбы народов Европы против наполеоновской агрессии.

С. 38. *Фуга* — многоголосное полифоническое произведение, ос-

нованное на поочередном изложении и развитии темы в разных голосах.

«Эмонт» — имеется в виду музыка Бетховена к одноименной трагедии Гете.

...моего батюшки, блаженной памяти Фридерика.— В начале XIX века получила распространение легенда, что Бетховен — незаконный сын прусского короля Фридриха-Вильгельма II (1712—1786).

С. 39. *Миньона* — героиня романа Гете «Ученические годы Вильгельма Мейстера». Бетховен написал музыку к песне Миньоны «Ты знаешь край?» (1809).

С. 40. *Микель-Анджел* — Микеланджело Буонарроти (1475—1564) — итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт. Статуя «Моисей» — одна из наиболее известных его скульптур.

С. 41. *Серафим* — по библейской мифологии, ангел высшего, девятого чина, начальник ангелов.

### НОВЫЙ ГОД

Впервые опубликовано в журнале «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1837, № 1. В настоящем сборнике печатается по изданию: *Одоевский*, 1981, т. 2.

С. 43. *Ренсковый погреб* — магазин, торгующий виноградными винами; *ренское* — всемирно известное вино, выделяемое из винограда, выращиваемого на среднем течении Рейна.

С. 43. ...*череп* — для того, чтобы наше пиришество больше приближалось к лукуллову.— Лукулл Луций Лициний (ок. 117 — ок. 56 гг. до н. э.) — римский полководец, богатый человек, оставил по себе память как устроитель отличавшихся необычайной роскошью пиров. *Череп* — символ бренности земной жизни.

С. 45. *Аттические эпиграммы* — особенно тонкие и остроумные эпиграммы; происходит от названия древнегреческого государства *Аттики*, славившегося своей богатой и тонкой культурой.

### БРИГАДИР

Впервые опубликовано в альманахе «Новоселье», ч. 1, СПб., 1833. В настоящем сборнике печатается по изданию: *Одоевский*, 1981, т. 1.

С. 50. *Бригадир* — военный чин, промежуточный между полковником и генерал-майором, введенный Петром I и упраздненный в конце XVIII века Павлом I. В официальную «Табель о рангах» не входил.

*Эпиграф* — неточная цитата из сатирической «Эпитафии» И. И. Дмитриева (1760—1837):

Здесь бригадир лежит, умерший в поздних летах.

Вот жребий наш каков!

Живи, живи, умри — и только что в газетах

Осталось: *выехал в Ростов.*

(1803)

*Статский советник* — гражданский чин 5-го класса, соответствующий в военной службе чину бригадира, но в отличие от него официально зафиксированный в «Табели о рангах».

С. 51. *Калиостро*, Алессандро (настоящее имя — *Джузеппе Бальзамо* (1743—1795) — известный авантюрист, выдававший себя за мага. В 1780 году побывал в Петербурге.

С. 52. *Китайские тени* — популярная в XVIII веке детская забава — теневой театр.

С. 54. ...держит в хлопках — т. е. в вате.

С. 55. Гран-пасьянс — большой пасьянс; вид сложной карточной задачи-раскладки, для решения которой требуется много времени.

### БАЛ

Впервые опубликовано в альманахе «Новоселье», ч. 1, СПб., 1833. В настоящем сборнике печатается по изданию: *Одоевский*, 1981, т. 1.

С. 58. Штоф — шелковая плотная ткань, обычно с рисунком.

С. 59. Донна-Анна, Дон-Жуан — герои оперы В.-А. Моцарта «Дон Жуан».

*Отелло* — герой оперы итальянского композитора Д. Россини (1792—1868) «Отелло, или Венецианский мавр», написанной на сюжет одноименной трагедии В. Шекспира.

С. 60. *Оглашенные* — в христианской церкви лица, готовящиеся к обряду крещения и изучающие догматы христианского вероучения.

*Предстоящие* — в христианской церкви церковные начальствующие чины; буквальным перевод с церковнославянского языка: «тот, кто стоит впереди, кто занимает первое, высшее место пред другими».

### ИМПРОВИЗАТОР

Впервые опубликовано в альманахе «Альциона на 1833 год», СПб., 1833. В настоящем сборнике печатается по изданию: *Одоевский*, 1981, т. 1.

С. 61. *Эпиграф* — из трагедии Гете «Фауст», часть 1, сцена 1 «Ночь», монолог Фауста.

С. 62. *Гарпагон* — персонаж из комедии Мольера «Скупой», имя которого стало нарицательным названием скупца.

...*статуя сардтанского тирана*.— Видимо, речь идет о тиране — правителе Агригента, колонии в Сицилии, *Фалариде* (VII—VI вв. до н. э.), известном своей жестокостью; по преданию, одна из казней, придуманных им, заключалась в том, что людей медленно зажаривали в медной статуе быка.

С. 64. ...*вроде кроватей доктора Грема*...— Английский врач-шарлатан Джеймс Грэм (1745—1794), принимал больных в своем особняке, называвшемся «Замком здоровья» и имевший особую конструкцию кроватей, которые он называл «небесными».

С. 67. *Локк*, Джон (1632—1704) — английский философ-материалист.

*Кант*, Иммануил (1724—1804) — немецкий философ-идеалист.

С. 69. ...*фризовую шинель* — фриз — сорт толстой байки, более дешевой, чем сукно; фризковые шинели носили бедняки.

...*«Агу!»*... как во 2-м действии «*Фрейшюца*». — «*Фрейшюц*» («Вольный стрелок») — опера немецкого композитора-романтика К.-М. Вебера (1786—1826); возгласы «Агу!» в опере издают невидимые духи.

*Алеф*, *дельта* — названия букв «а» в арабском и других семитских и «д» в греческом алфавитах.

С. 70. *Халдейский полиграф*. — *Полиграф* — сборник различных научных статей. — *Халдеи* — народ, обитавший в 1-й половине I тысячелетия до н. э. в Вавилонии и обладавший глубокими познаниями в различных науках, особенно в астрономии и астрологии.

С. 72. *Средний термин силлогизма* — в логике — одно из двух суждений посылки, на которых базируется третий член силлогизма — заключение.

Гендель Георг Фридрих (1685—1759) — выдающийся немецкий композитор, создатель классической оратории.

С. 73. ...*в пеници страдивариусов и амати...* — Имеются в виду считающиеся лучшими в мире скрипки работы итальянских скрипичных мастеров *Страдивариуса* (1644—1737) и *Амати* (1596—1684).

**СКАЗКА О ТОМ, ПО КАКОМУ СЛУЧАЮ КОЛЛЕЖСКОМУ  
СОВЕТНИКУ ИВАНУ БОГДАНОВИЧУ ОТНОШЕНЬЮ  
НЕ УДАЛОСЯ В СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОЗДРАВИТЬ  
СВОИХ НАЧАЛЬНИКОВ С ПРАЗДНИКОМ**

Впервые опубликовано в книге (В. Ф. Одоевский) «Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных ученых обществ, изданные В. Безгласным». СПб., 1833. В настоящем сборнике печатается по изданию: *Одоевский*, 1981, т. 2.

С. 75. *Коллежский советник* — чиновник 6-го класса, что в военной службе соответствует чину полковника.

*Светлое воскресенье* — главный религиозно-государственный праздник в дореволюционной России — воскресение Иисуса Христа. *Шаховской Александр Александрович*, князь (1777—1846) — поэт и драматург, автор популярных комедий.

С. 76. *Бостон* — карточная игра, распространенная в XIX веке.

*Аннинский крест* — орден святой Анны, учрежден в 1736 году герцогом шлезвиг-голштинским в честь своей супруги цесаревны Анны Петровны (дочери Петра I), причислен к русским орденам Петром III.

*Страстная суббота* — последний день страстной недели, предшествующей светлому воскресенью и посвященной воспоминаниям о страданиях и смерти Иисуса Христа.

*Сюры, мизер уверт, ремиз, пулька* — термины карточной игры.

С. 77. *Сивиллин треножник* — *сивиллы* — в греческих и римских преданиях — прорицательницы.

...*первый выстрел из пушки...* — В Петербурге в XIX веке оповещали наступление нового часа выстрелом из пушки, стоявшей в Петропавловской крепости.

С. 78. ...*на... камлотных шинелях* — *камлот* — суровая шерстяная ткань.

С. 79. *Открытые таинства картежной игры* — анонимно изданная книга «Жизнь игрока, описанная им самим, или Открытые хитрости карточной игры» в 2-х т. М., 1826—1827.

...*гнули их в пáроль* — термин карточной игры, обозначающий, что ставка удваивается.

**СКАЗКА О МЕРТВОМ ТЕЛЕ, НЕИЗВЕСТНО КОМУ  
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ**

Впервые опубликовано в книге (В. Ф. Одоевский) «Пестрые сказки...». СПб., 1833. В настоящем сборнике печатается по изданию: *Одоевский*, 1981, т. 2.

С. 80. *Эпиграф* — из повести Н. В. Гоголя «Ночь перед рождеством».

*Реженский уезд* — под этим названием вымышленного города и уезда Одоевский в нескольких произведениях изобразил типичную русскую провинцию.

С. 81. *Сивиллина книга*.— *Сивиллины книги* — три книги изречений и предсказаний греческих оракулов, приобретенные, по преданию, у сивиллы римским царем *Тарквинием Гордым* (533—509 гг. до н. э.); толкованием темных и неопределенных предсказаний, содержащихся в этих книгах, занимались жрецы храма Юпитера, где хранились книги; сивиллины книги погибли при пожаре около 400 г. н. э.

С. 83. *Губернский регистратор* — точно такого чина в «Табели о рангах» нет, но в числе самых низших чинов обозначены «коллежский регистратор», «сенатский регистратор», «синодский регистратор», «кабинетский регистратор».

...о *Бове Королевиче* — *Бова Королевич* — богатырь, герой популярной лубочной волшебной сказочной повести.

*Ванька Каин* — знаменитый московский вор и полицейский сыщик XVIII века. Его жизнеописание, написанное известным автором лубочных романов *М. Комаровым*, было популярно среди простого народа.

...о *путешествии купца Коробейникова в Иерусалим*... — «Путешествие московского купца Трифона Коробейникова с товарищи в Иерусалим, Египет и к Синайской горе» — пользовавшаяся большой популярностью книга, приписываемая самому Трифону Коробейникову, ездившему в 1582 году по приказанию Ивана Грозного на Афон с милостыней об упокоении души убитого отцом царевича Ивана и побывавшему в Константинополе и Палестине.

С. 84. ...*перед глазами его проходили*... — Далее перечисляются сюжеты наиболее популярных лубочных картинок на библейские, сказочные и сатирические темы. *Строфокадил (древнерусское)* — страус.

С. 88. *Бистурий* — хирургический нож.

### ИСТОРИЯ О ПЕТУХЕ, КОШКЕ И ЛЯГУШКЕ

Впервые опубликовано в журнале «Библиотека для чтения», 1834, т. 2. В настоящем сборнике печатается по изданию: *Одоевский*, 1981, т. 2.

С. 89. *Дмитрию В. Путяте* — *Путята* Дмитрий Васильевич (1806—1889) — брат друга детства Одоевского Н. В. Путяты, генерал, художник-любитель; посвящение ему рассказа вызвано тем, что при подготовке Собрания сочинений 1844 года Одоевский не мог вспомнить, где был напечатан этот рассказ, и Д. В. Путята участвовал в библиографических поисках.

*Эпиграф* — принадлежит самому Одоевскому. Обычай придумывать эпиграфы был распространен в русской литературе 1820—1830-х годов, см., например, большинство эпиграфов к «Пиковой даме» А. С. Пушкина. Самому же Одоевскому и в других его произведениях принадлежат эпиграфы, при которых не указан автор или дано неопределенное указание, вроде «Биография одного живописца», «Русские романы», «Французские романы», «Труды...?!» и т. п.

С. 99. *Кадавер* (лат.) — мертвое тело, труп.

С. 100. *Лаврентия Гайстера «Анатомия»* — *Гейстер* Лаврентий (1683—1758) — знаменитый немецкий врач и хирург.

С. 101. *Бургаве* Герман (1668—1738) — нидерландский врач, один из самых выдающихся медиков XVIII века, чьи труды более столетия служили основой для преподавания практической медицины.

*Мономанические припадки* — *мономания* — помешательство на одной какой-либо идее.

Впервые опубликовано в журнале «Библиотека для чтения», 1834, т. VII. В настоящем сборнике печатается по изданию: *Одоевский*, 1981, т. 2.

С. 104. *Жены Цезаря не должно коснуться подозрение.* — Имеется в виду немного измененное латинское крылатое выражение: «Жена Цезаря должна быть выше подозрений» — слова, сказанные римским императором Гаем Юлием Цезарем (102 или 100 — 44 гг. до н. э.) в ответ на слухи, порочащие его жену.

С. 109. *Гинекей* (от греческого «гинайкос» — женщина) — в Древней Греции помещения в доме, в которых живут женщины.

...не думал о значении своего имени... — Имя *Рави* образовано от французского *gavir* — «похищать».

С. 110. *Контраданс* — бальный танец; в XIX веке за ним утвердилось новое название — кадрили.

С. 116. *Каньзу* — небольшая пелерина из батиста или кисеи, отделанная узким кружевом.

С. 118. *Г-н N* и *г-н D* — персонажи из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

С. 121. «*Антони*» — романтическая драма Александра Дюма (отца) (1803—1870), в которой впервые в истории театра на сцене изображался акт прелюбодеяния.

*Роберт, ренонс* — термины карточной игры.

С. 123. *Брантом* Пьер де Бурдей — (между 1527 и 1540—1614 гг.) — французский писатель-мемуарист, в своих книгах, описывающих жизнь двора, уделяет основное внимание любовным похождениям своих героев.

*Тредьяковский* Василий Кириллович (1703—1768) — русский поэт, переводчик, ученый-филолог; в 1730 году перевел на русский язык аллегорический роман французского писателя П. Талемана (1642—1712) «Езда на острове любви».

С. 124. *Лафатер* Иоган Каспар (1741—1801) — швейцарский писатель, автор сочинения «Физиогномические фрагменты для поощрения человеческих знаний и любви», в котором пытался установить связь между духовным обликом человека и строением его черепа и лица.

...они или оне говорят — оне — по старой орфографии — форма местоимения третьего лица множественного числа женского рода.

С. 131. *Жанлис* Мадлен Фелисите Дюкре де Сент-Обен (1746—1830) — французская писательница, автор популярных в свое время сентиментальных романов из жизни великосветского общества.

С. 132. *Гофманские капли* — медицинский препарат, успокаивающе действующий на нервную систему; назван по имени его изобретателя — известного немецкого врача Ф. Гофмана (1660—1742).

С. 134. *Парни* Эварист Дезире (1753—1814) — французский поэт, автор эротических стихотворений и сатирических антирелигиозных поэм.

*Бентам*, Иеремия (1748—1832) — английский буржуазный политэконом и юрист, родоначальник теории утилитаризма.

С. 138. *Гюго*, Виктор (1802—1885) — французский писатель-романтик.

С. 141. «*Племянник Рамо*» — повесть французского писателя и философа-просветителя Дени Дидро (1713—1784).

Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки», 1839, т. 1. В настоящем сборнике печатается по изданию: *Одоевский*, 1981, т. 2.

С. 145. *Сухозанет* Екатерина Александровна (1804—1861) — урожденная княжна Белосельская-Белозерская, сестра кн. Зинаиды Александровны Волконской, жена генерала, начальника артиллерии гвардейского корпуса И. А. Сухозанета. Одоевский был знаком с Е. А. Сухозанет до ее замужества.

*Фешенебль-индустриалист* — буквальный перевод: «модный промышленник»; этим наименованием Одоевский называет аристократа, занимающихся капиталистическими операциями.

С. 149. *Монастырка* — воспитанница учебного заведения при монастыре.

С. 150. *Эшарпы* (франц.) — шарфы.

...*историю о странствиях аббата Лапорта*... — Лапорт Жозеф (1718—1779) — французский литератор, составивший первые 26 томов 42-томного сочинения «Французский путешественник, или Познание древнего и нового мира», выходявшего в Париже в 1765—1795 годах.

*«Вестник Европы»* — журнал, издававшийся в Москве в 1802—1830 годах. В разное время в журнале печатались Жуковский, Державин, Пушкин, Вяземский и другие. В «Вестнике Европы» в начале 1820-х годов сотрудничал Одоевский.

*«Кларисса»* — роман английского писателя-сентименталиста Сэмюэля Ричардсона (1689—1761).

...*считать трубы у окошка* — т. е. наблюдать выезды пожарных команд с насосами — пожарными трубами — одно из любимых развлечений московских обывателей.

С. 152. *Фалбала* — обрбка на женском платье.

С. 171. *Гуфландов порошок* — Гуфеланд Христофор-Вильгельм (1762—1836) — знаменитый немецкий врач, автор труда «Искусство продления человеческой жизни».

С. 172. *Сильвио Пеллико* (1789—1854) — итальянский писатель-романтик, общественный деятель. Как участник заговора карбонариев был приговорен к смертной казни, которая была заменена 15 годами тюрьмы. Основные сочинения Пеллико — воспоминания «Мои темницы» и трактат «Об обязанностях человека».

С. 174. *Залис-Зевис* Иоганн Гауденц (1762—1834) — швейцарский поэт-сентименталист, писавший на немецком языке.

### СИЛЬФИДА

Впервые опубликовано в журнале «Современник», 1837, т. V. В настоящем собрании печатается по изданию: *Одоевский*, 1981, т. 2.

С. 194. *Сильфида* — по учению средневековых ученых, дух одной из стихий природы — воздуха; дух мужского рода — *сильф*, женского — *сильфида*.

*Платон* (428—347 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист; эпитафия взят из его сочинения «Государство», книга 10.

С. 196. ...*тревожит турецкий султан по старой памяти*... — Русско-турецкие войны являлись одним из важнейших внешнеполитических событий русской истории XVIII века; в 1829 году имевшие более чем двухвековую историю военные столкновения России и Турции закончились выгодным для России миром, и Турция уже не



представляла для России прежней опасности. Слова Одоевского перекликаются со стихами из комедии Грибоедова «Горе от ума»: «Сужденья черпают из забытых газет времен очаковских и покоренья Крыма».

...отчего Карла X начали называть Дон-Карлосом... — Имеются в виду две разные личности: Карл X (1757—1836) — король Франции; Дон-Карлос (1788—1855) — испанский инфант, в 1833—1840 годах претендовавший на испанский престол и ведший войну против испанской королевы Изабеллы.

Иван Федорович Шпонька — главный персонаж повести Н. В. Гоголя «Иван Федорович Шпонька и его тетушка».

С. 199. Парацельсий — латинизированное имя немецкого врача и естествоиспытателя Филиппа Аурсола Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма (1493—1541); один из крупнейших ученых средневековья, среди его трудов имеются также сочинения по алхимии.

Граф Габалис — речь идет о книге аббата Монфонсона (1635—1673) «Граф де Габалис, или Разговоры о тайных науках», Париж, 1670, трактующая о стихийных духах и их взаимоотношениях с людьми.

Арнольд Вилланова (Вилланованус) (1235—1312) — испанский алхимик, один из первых алхимиков, стремившихся к открытию философского камня.

Луллий, Раймонд (ок. 1235 — ок. 1315) — философ, теолог, поэт, ученый, автор более чем 300 трудов; в средние века под его именем распространялось большое количество алхимических сочинений, сам же Луллий алхимией не занимался.

Кабалистика, кабала (каббала) — мистическое учение, основывающееся на идеях древней восточной и античной философии, возникло и сформировалось в IX—XIII веках, якобы давало возможность по Библии предсказывать будущее, вступать в контакт с потусторонними силами и с их помощью влиять на земные события.

С. 200. Ундина — женский дух стихии воды. У немецкого романтика Фридриха де ла Мотт Фуке (1777—1843) есть одноименная повесть, пересказанная в стихах В. А. Жуковским. ...ее дядюшкой — дядюшка — Струй, водяной, персонаж «Ундины».

С. 202. Спермацет — китовый жир, употреблявшийся для изготовления свечей.

С. 209. Мукицкийское орудие — музыкальный инструмент.

С. 213. Рядное — рядная запись — роспись приданого невесты.

### ЖИВОЙ МЕРТВЕЦ

Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки», 1844, ч. XXXII. В настоящей книге печатается по изданию: Одоевский В. Ф. «Повести и рассказы». М., Художественная литература, 1959.

С. 216. Ростопчина-Евдокия Петровна, графиня (1811—1858) — известная писательница, поэтесса; была близка к декабристским кругам; за ряд антиправительственных стихотворений, вызвавших гнев Николая I, была выслана из Петербурга; в ее литературном салоне в 1830-е годы постоянно бывали А. С. Пушкин, П. А. Вяземский, В. А. Жуковский и другие.

С. 222. Страсбургский пирог — пирог с гусиной печенкой, который привозили из Страсбурга в запаянных жестяных коробках.

Трюфели — грибы, растущие под землей; в Россию привозились из-за границы.

- С. 223. *Шлем* — термин карточной игры.  
*Офранкировать* — термин карточной игры.  
*Кяхта* — город на китайской границе, центр русской торговли с Китаем, почти исключительно чайной.  
 С. 224. *Афеньский язык* — воровской жаргон.  
 С. 225. *...какова пора ни мера* — устарелое выражение, означающее: «Как обстоятельство ни сложатся».  
 С. 231. «*Волшебная флейта*» — опера Моцарта.

### ЖИВОПИСЕЦ

Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки», 1839, т. VI. В настоящей книге печатается по изданию: *Одоевский*, 1981, т. 2.

С. 242. *...на теньеровском костюме* — *Теньер* (Тенирс) Давид (1610—1690) — фламандский художник, наиболее известны его картины на сюжеты из простонародной жизни — крестьянские праздники, пирушки, пьянки в сельских харчевнях и т. п.

С. 243. *Панский ряд* — *панский товар* (иначе — красный или аршинный) — тканый материал, покупаемый на меру длины.

С. 244. *Гудошник* — скоморох. *Гудок* — старинный русский смычковый трехструнный музыкальный инструмент, исполнителями на нем были преимущественно музыканты-скоморохи.

*Талан* — счастье, удача.

С. 247. *...ладонную писать* — т. е. мадонну.

### ПОСЛЕДНЕЕ САМОУБИЙСТВО

Впервые опубликовано в издании: *Одоевский В. Ф.* Собр. соч., СПб., 1844, т. I—III. В настоящем сборнике печатается по изданию: *Одоевский*, 1981, т. 1.

С. 249. *Пажити (старослав.)* — хлебные поля.

*Тук (старослав.)* — плодородная земля.

С. 250. *Прядали (старослав.)* — прыгали, скакали.

С. 251. *Тать (старослав.)* — вор, грабитель.

С. 253. *Скудельный (старослав.)* — непрочный, хрупкий, бранный.

С. 255. *Селитра, сера и уголь* — составные части взрывчатого вещества.

### ГОРОД БЕЗ ИМЕНИ

Впервые опубликовано в журнале «Современник», 1839, кн. I. В настоящем сборнике печатается по изданию: *Одоевский*, 1981, т. 1.

С. 256. *Гумбольд Александр* (1769—1859) — немецкий путешественник и натуралист, в 1799—1804 годах совершил путешествие по Америке, издал описание своего путешествия в 30 томах, часть этого сочинения называется «Виды Кордильеров».

*Епанча* — старинный длинный и широкий плащ.

*Околдодок* — в дореволюционной России единица административного деления, небольшой район городской территории.

*Перистиль* — крытая галерея, образуемая с одной стороны рядом колонн, а с другой — стеной здания.

С. 268. *Выбойка* — самый дешевый ситец с рисунком в одну краску.

Повесть не окончена. При жизни Одоевского опубликованы отрывки из нее в журнале «Московский наблюдатель», 1835, ч. 1 и в альманахе «Утренняя заря», СПб., 1840. Наиболее полно по рукописи опубликована в издании: *Одоевский В. Ф.* 4338 год. Фантастический роман. М., 1926. В настоящем сборнике печатается по изданию: *Одоевский В. Ф.* Повести и рассказы. М., ГИХЛ, 1959.

С. 271. *Комета Вьелы* (правильнее: *Биела*) — орбита этой кометы была научно вычислена в 1826 году; оказалось, что она почти пересекает орбиту Земли, что вызвало опасения столкновения кометы с Землей; в следующие проходы кометы Биела вблизи Земли (ее период обращения 6,6 года) наблюдалось ее разрушение, и в 1885 году она стала невидима.

*Месмерические опыты — месмеризм* — метод лечения болезней при помощи «животного магнетизма», предложенный и обоснованный австрийским врачом *Ф. Месмером* (1734—1815).

*Сомнамбулическое состояние — сомнамбулизм* — расстройство сознания, при котором во сне автоматически совершаются привычные действия.

С. 272. *Нехао* (VII в. до н. э.) — царь Мемфиса и Саиса, дед одного из наиболее могущественных фараонов Египта, носившего также имя *Нехао* (610—594 гг. до н. э.).

*Дарий I* (правил в 522—486 гг. до н. э.) — древнеперсидский царь, при нем Древняя Персия достигла наивысшей степени могущества.

*Псамметих I* (правил в 663—610 гг. до н. э.) — египетский фараон, объединивший под своей властью весь Египет.

*Солон* (ок. 638—ок. 559 гг. до н. э.) — афинский государственный деятель, выдающийся законодатель, античные предания причисляли его к числу семи самых крупных греческих мудрецов.

С. 273. *Кювье Жорж* (1769—1832) — французский зоолог, создатель науки о реконструкции строения вымерших животных.

*Геродот* (между 490 и 480 гг. — ок. 425 г. до н. э.) — древнегреческий историк.

*Нерон Клавдий Цезарь* (37—68 гг. н. э.) — римский император, отличавшийся своей жестокостью.

С. 274. *Аеролиты* — устаревшее название каменных метеоритов, малых тел Солнечной системы, попадающих на Землю из межпланетного пространства и близких по своему составу к земным горным породам.

*Гальванические* — т. е. электрические.

С. 275. *Галлеева комета* — названа по имени английского астронома *Э. Галлея* (1656—1742), рассчитавшего ее орбиту и периодичность возвращения к Солнцу.

С. 277. *Камер-обскура* — приспособление, известное с XV века, состоящее из ящика с небольшим отверстием в одной из сторон, благодаря которому на противоположной стороне ящика появляется изображение предметов, находящихся перед отверстием; на этом же принципе основано устройство фотографической камеры.

С. 280. *Немцы, аллеманы, тедески, германцы, дейчеры* — названия немцев на разных языках.

С. 282. *Пулкова гора* — холм южнее Петербурга. На нем находится основанная в 1839 году Пулковская астрономическая обсерватория.

С. 283. *Фешionaбли* — светские модники.

С. 286. *Животный магнетизм*.— Австрийский врач Ф. Месмер лечил болезни так называемым животным магнетизмом: он утверждал, что переводит на больных таинственное магнитное истечение, прикасаясь к ним пальцами. Комиссия Парижской академии наук, назначенная для исследования лечебной метода Месмера в 1784 году, пришла к заключению, что никакого животного магнетизма не существует и что успехи Месмера основаны отчасти на обмане, отчасти на действии воображения.

С. 291. *Петрополь с башнями дремал...*— цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Видение мурзы».

*Столоначальник* — чиновник, начальник стола, т. е. отделения в учреждении, ведавшего каким-нибудь узким кругом дел.

### ЕЗДА ПО МОСКОВСКИМ УЛИЦАМ

Впервые опубликовано в газете «Голос», 1866, № 101, тогда же издано отдельным оттиском. В настоящем сборнике печатается по отдельному оттиску.

Очерк дается с сокращениями.

С. 303. *Хожалые* — низшие чины городской полиции: солдаты, рассыльные.

С. 305. *Иван Яковлевич — Корейша И. Я.* (1780—1861) — московский юридивый; его полусумасшедший бред суеверные купцы и мещане воспринимали как откровения и прорицания. См. о нем в очерке Одоевского «Ворожеи и гадальщики».

С. 306. *Утучняются (устар.)* — удобряются.

С. 307. *...слов не тратить по-пустому* — неточная цитата из басни И. А. Крылова «Кот и повар».

### ВОРОЖЕИ И ГАДАЛЬЩИКИ

Впервые опубликовано в газете «Иллюстрированная газета», 1868, № 48—49. В настоящем сборнике печатается по изданию: «Очерки московской жизни». М., Московский рабочий, 1962.

Очерк дается с сокращениями.

С. 309. *Пифия* — предсказательница; в Древней Греции жрица прорицательница храма Аполлона в Дельфах.

С. 311. *...это не Сен-Жермены или Калиостро...*— *Сен-Жермен* (конец XVII в.—1784 или 1795) — авантюрист, алхимик, заявлявший, что он владеет философским камнем, искусством изготовлять бриллианты и жизненный эликсир; был принят при французском дворе, английском и русском. *Калиостро А.* (1743—1795) — известный авантюрист XVIII века.

*...это не Юмы* — *Юм Даниил* — известный спирит середины XIX в. *Подхалюзить (областническое)* — лукавить, льстить, попрошайничать.

С. 314. *Суровский торговец* — суровской товар — шелковые, бумажные и легкие шерстяные ткани.

*Приверженец древнего благочестия* — старообрядец.

С. 315. *...Акриды* — саранча, которой, по евангельскому преданию, питался в пустыне Иоанн Креститель. *Питаться акридами и диким медом* — поговорочное выражение, обозначающее крайнюю скудость пищи.

*Факторство (лат.)* — комиссионерство, маклерство.

С. 316. *Скуфейка* — повседневный головной убор православного духовенства в виде тубетейки, обычно сшитый из темного бархата.

С. 317. *Кунштюк (нем.)* — проделка, ловкий прием, фокус.

## ОДОЕВСКИЙ В ЖИЗНИ

### (АВТОБИОГРАФИЯ)

Опубликовано впервые в книге: *Ветринский Ч.* В сороковых годах. Историко-литературные очерки и характеристики. М., 1899, с. 294—295. Печатается по этому изданию.

С. 320. *Шатобриан* Франсуа Рене де, виконт (1768—1848) — французский писатель-романтик, выразитель дворянско-монархической идеологии, автор мемуаров «Замогильные записки», изданных посмертно.

### ПОГОДИН М. П. ВОСПОМИНАНИЕ О КНЯЗЕ ВЛАДИМИРЕ ФЕДОРОВИЧЕ ОДОЕВСКОМ

Впервые опубликовано в книге: «В память о князе В. Ф. Одоевском», М., 1869. В настоящем сборнике печатается по этому изданию, с сокращениями.

Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — писатель, историк, профессор Московского университета, с 1841 года — академик; происходил из крепостных крестьян; играл большую роль в культурной жизни России в 1820—1850-х годах; издатель журналов «Московский вестник» (1825—1830), «Москвитянин» (1841—1856), в которых печатались А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, А. Н. Островский и многие другие крупнейшие писатели; некоторые литературные произведения Погодина высоко оценил Пушкин, назвав его «истинным талантом».

С. 322. *Жуковский* Василий Андреевич (1783—1852) — закончил курс в университетском Благородном пансионе в 1800 году.

*Дашков* Дмитрий Васильевич (1788—1839) — один из основателей литературного общества «Арзамас», автор критических статей; с 1832 года — министр юстиции.

*Тургенев* Николай Иванович (1789—1871) — государственный и общественный деятель, декабрист, один из руководителей «Союза благоденствия» и видный член Северного общества; автор книги «Опыт теории налогов» и др. сочинений. С 1824 года жил за границей, заочно был приговорен к смертной казни и стал политическим эмигрантом.

*Мансуров* Александр Павлович (1788—1880) — генерал, крупный дипломат, по характеристике современников, в частности медика Н. И. Пирогова и философа В. С. Печерина, «честнейший и благороднейший» человек.

*Писарев* Александр Александрович (1780—1848) — писатель, председатель Общества любителей российской словесности при Московском университете, член Российской академии, попечитель Московского учебного округа; сенатор.

*Прокопович-Антонский* Антон Антонович (1762(?) — 1848) — писатель; преподавал в Московском университете натуральную историю и сельское хозяйство; был инспектором, потом директором Благородного университетского пансиона; автор учебников, способствовал изданию альманахов, в которых помещались сочинения и переводы воспитанников университета и Благородного пансиона, в одном из них — альманахе «Каллиопа» в 1820 году выступил впервые в печати В. Ф. Одоевский.

*Шатров* Николай Михайлович (1765—1841) — поэт, один из ревностнейших приверженцев школы Шишкова и противников Карамзина; автор многих духовных стихотворений и переложений библейских текстов.

**Кокошкин Федор Федорович** (1773—1838) — драматург, переводчик; член конторы дирекции театров в Петербурге, управляющий московскими театрами; член Общества любителей российской словесности.

**Мерзляков Алексей Федорович** (1778—1830) — поэт, переводчик, литературный критик и теоретик; профессор Московского университета.

С. 322. ...сказка о Красном карбункуле — перевод В. А. Жуковского стихотворной повести «Красный карбункул» *И.-П. Гебеля* (1760—1826) — немецкого писателя-романтика.

*Овсяный кисель* — перевод В. А. Жуковского одноименного стихотворения *И.-П. Гебеля*.

**Пушкин Василий Львович** (1770—1830) — поэт, последователь Карамзина, участник «Арзамаса», автор популярной в свое время басни «Соловей и Малиновка».

**Вергилий** (Вергилий) **Марон Публий** (70—19 гг. до н. э.) — выдающийся римский поэт, автор героического эпоса «Энеида»; в числе наиболее значительных произведений считается также дидактическая поэма «Георгики» («Поэма о земледелии»).

**Тассо**, **Торквато** (1544—1595) — выдающийся поэт итальянского Возрождения, автор героической поэмы «Освобожденный Иерусалим».

**Раич Семен Егорович** (1792—1855) — поэт, переводчик, издатель альманахов, преподаватель Московского университета.

**Окен**, **Лоренц** (1779—1851) — немецкий естествоиспытатель и натурфилософ, последователь Шеллинга.

С. 323. **Вяземский**, **Петр Андреевич** (1792—1878) — русский поэт, критик, мемуарист; один из ближайших друзей А. С. Пушкина.

*Полевой... задумал уже тогда «Телеграф»...* — «*Московский телеграф*» — журнал, выходивший в Москве в 1825—1834 годах; его редактор-издатель **Н. А. Полевой** (1796—1846) — писатель, журналист, историк; по происхождению из купцов; по характеристике А. И. Герцена, «начал демократизировать русскую литературу; он заставил ее спуститься с аристократических высот и сделал ее более народной или по крайней мере более буржуазной».

**Максимович Михаил Александрович** (1804—1873) — историк, этнограф, профессор Московского университета, впоследствии профессор и ректор Киевского университета.

*Фолианты, квартанты, октавы* — названия различных форматов старопечатных книг.

...*saper aude* (лат.) — «дерзай знать, имей смелость знать», цитата из «Послания» **Горация** (65—8 гг. до н. э.) — древнеримского поэта.

С. 324. «*Московский вестник*» — выходил в Москве в 1827—1830 годах; официальный редактор-издатель **М. П. Погодин**; журнал был выразителем идей кружка «любомудров», большое участие принимал в нем **А. С. Пушкин**, поместивший в «Московском вестнике» более 20 стихотворений; кроме «любомудров» печатались также **Е. А. Баратынский**, **Д. В. Давыдов**, **Н. М. Языков** и другие.

**Иакинф — Бичурин Никита Яковлевич**, в монашестве **Иакинф** (1777—1853) — выдающийся ученый востоковед-синолог, автор работ по истории и культуре Китая, долгие годы возглавлял духовную миссию в Пекине.

**Шиллинг Петр Львович**, барон (1787—1837) — дипломат, ученый, изобретатель электромагнитного телеграфа, путешественник.

*Глинка* Михаил Иванович (1804—1857) — великий русский композитор.

*Гесс* Герман Иванович (Герман-Генрих) (1802—1850) — русский химик, член Петербургской академии наук, один из основоположников термохимии.

*Сахаров* Иван Петрович (1807—1863) — русский историк, фольклорист, этнограф и палеограф; издал большое количество фольклорных текстов и документов; наиболее известное его сочинение: «Сказания русского народа о семейной жизни своих предков», т. 1—3, СПб., 1836—1837.

*Виельгорский* Михаил Юрьевич, граф (1788—1856) — русский композитор, один из первых русских симфонистов, автор популярных до сих пор романсов на стихи А. С. Пушкина «Старый муж, грозный муж», «Черная шаль» и др.

*Виельгорский* Матвей Юрьевич, граф (1794—1866) — брат композитора М. Ю. Виельгорского, виолончелист, один из основателей Русского музыкального общества.

*Даргомыжский* Александр Сергеевич (1813—1869) — известный русский композитор, первый крупный представитель критического реализма в музыке; автор опер «Русалка», «Каменный гость», симфонических произведений, романсов.

*Серов* Александр Николаевич (1820—1871) — русский композитор, музыкальный критик, музыковед; его опера «Вражья сила» (1871), в которой широко использован музыкальный фольклор, имела большое значение для дальнейшего развития и демократизации русской оперной музыки.

«*Жизнь за царя*» — название оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин», данное по требованию цензуры.

С. 325. ...*Гораций воспевал — Гораций*. Оды, кн. II, ода XVI. Перевод И. И. Дмитриева (стихотворение «Подражание Горацию») цитируется неточно.

...оттолкнул от себя обаятельную *Невскую Калипсо*... — *Калипсо* — в греческой мифологии, нимфа острова Огигии; по преданию, полюбив Одиссея, семь лет держала его в плену, тщетно добиваясь взаимности.

### А. И. КОШЕЛЕВ. ЗАПИСКИ

Впервые опубликовано в книге: *Кошелев А. И. Записки*. Берлин, 1884. В настоящем сборнике печатается по этому изданию, с. 12—17.

*Кошелев* Александр Иванович (1806—1883) — русский общественный деятель, публицист; горячий противник крепостного права и активный участник подготовки и проведения реформы 19 февраля 1861 года.

*Киреевский* Иван Васильевич (1806—1856) — литератор, критик, философ, один из крупнейших деятелей славянофильства.

*Веневитинов* Алексей Владимирович (1806—1872) — брат поэта Д. В. Веневитинова, сотрудник московского архива министерства иностранных дел, затем чиновник министерства внутренних дел, сенатор.

*Мельгунов* Николай Александрович (1804—1867) — писатель, композитор-любитель.

*Мальцов* Иван Сергеевич (1807—1880) — дипломат, первый секретарь русской миссии в Персии в 1828—1829 годах, единственный человек из русского посольства, оставшийся в живых после разгро-

ма миссии и убийства Грибоедова; впоследствии камергер, действительный статский советник. В тексте «Записок» перед фамилией Мальцова ошибочно стоит инициал «С»; И. С. Мальцов имел брата Сергея, но тот по возрасту (род. в 1810 г.) не мог в описываемое время служить в архиве.

*Соболевский* Сергей Александрович (1803—1870) — литератор, библиофил, один из ближайших друзей В. Ф. Одоевского; известен своим острословием и эпиграммами, часто неудобными для печати и распространявшимися устно и в списках; был близок к Пушкину и познакомил его с «любомудрами».

*Меццерские*, князья — *Платон Алексеевич* (1805—1889) — чиновник министерства иностранных дел, затем — чиновник министерства внутренних дел, статский советник; *Александр Алексеевич* (1807—ок. 1864) — чиновник министерства иностранных дел, впоследствии — на военной службе, полковник.

*Грубецкой* Николай Иванович, князь (1807—1874) — публицист; в юности — ученик М. П. Погодина, под влиянием которого придерживался славянофильских взглядов; служил на военной службе, выйдя в отставку, поселился во Франции и принял католичество.

*Озеров* Иван Петрович (1806—1880) — дипломат, в 1830-е годы чиновник русского посольства в Бадене, впоследствии посланник в Португалии и Баварии.

С. 327. ...попали в стихи... *А. С. Пушкина* — в романе «Евгений Онегин», глава VII, строфа XLIX.

*Муравьевское военное учебное заведение* — основанное *М. Н. Муравьевым* (1796—1866) — и существовавшее на средства его отца училище колонновожатых, готовившее младших офицеров для генерального штаба; *М. Н. Муравьев* был членом раннего декабристского общества «Союз благоденствия»; многие выпускники училища также были декабристами.

*Тютчев* Федор Иванович (1803—1873) — поэт, дипломат.

*Путята* Николай Васильевич (1802—1877) — литератор; до 1831 года на военной службе, с 1832 года — чиновник статс-секретаря Великого княжества Финляндского, был председателем московского Общества любителей российской словесности.

*Шевырев* Стенан Петрович (1806—1864) — поэт, критик, историк литературы; один из организаторов журналов «Московский вестник» и «Московский наблюдатель», профессор Московского университета.

*Титов* Владимир Павлович (1807—1891) — литератор, участник кружка «любомудров», чиновник московского архива министерства иностранных дел; впоследствии генеральный консул в Дунайских княжествах, посланник в Константинополе и Штутгарте.

*Озобишин* Дмитрий Петрович (1804—1877) — поэт, переводчик с восточных языков; служил чиновником Московского почтамта, впоследствии был попечителем народных училищ Симбирской губернии, активно участвовал в проведении реформы 19 февраля 1861 года.

*Томашевский* Антон Францевич (1803—1883) — окончил Московский университет, служил чиновником на Московском почтамте; близкий друг С. Т. Аксакова.

*Норов* Александр Сергеевич (? — 1870) — поэт, переводчик.

*Муравьев* Андрей Николаевич (1806—1874) — поэт, писатель; дипломат, член Российской академии; автор книг духовного содержания.

*Фукидид* (ок. 460—400 гг. до н. э.) — древнегреческий историк,



автор считающейся высшим достижением античной исторической науки «Истории» в 8 томах.

*Рожалин* Николай Матвеевич (1805—1834) — литератор, знаток философии, античной поэзии; один из ближайших друзей Д. В. Веневитинова, активный сотрудник всех его литературных начинаний; после смерти Веневитинова издатель его сочинений, первый его биограф.

*Спиноза* Барух (1632—1677) — нидерландский философ-материалист, атеист.

С. 328. *Нарышкин* Михаил Михайлович (1798—1863) — декабрист, полковник, член Северного общества; осужден на 8 лет каторги и поселение в Сибири.

*Констан де Ребек Бенжамен* Анри (1767—1830) — французский писатель-романтик, публицист, политический деятель, идеолог французского буржуазного умеренного либерализма.

*Рое-Коллар — Руайе-Коллар*, Пьер-Поль (1763—1845) — французский политический деятель, адвокат, публицист буржуазно-либерального направления; принимал участие в Великой французской буржуазной революции 1789—1794 годов.

С. 329. *...великий 1789 год* — год Великой французской буржуазной революции.

*Ермолов* Алексей Петрович (1777—1861) — генерал, военный и государственный деятель, главноуправляющий Грузией, командующий отдельным кавказским корпусом, известен своим оппозиционным отношением к царскому правительству, в 1827 году по подозрению в принадлежности к тайному обществу декабристов уволен в отставку.

*К. Ф. РЫЛЕЕВ. МНЕМОЗИНА, СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В СТИХАХ И ПРОЗЕ, ИЗДАВАЕМАЯ КН. В. ОДОЕВСКИМ И  
В. КЮХЕЛЬБЕКЕРОМ, ЧАСТЬ I*

Впервые опубликовано в журнале «Благонамеренный», 1824, № 8. Рецензия подписана одной буквой Р. Принадлежность рецензии Рылееву установлена М. К. Константиновым. В настоящем сборнике печатается по изданию: «Литературное наследство», т. 55 (полумт. 1). Изд-во АН СССР, М., 1955, с. 281—283. Публикация М. К. Константинова.

С. 330. *Старики, или Остров Панхай* — аллегорический рассказ В. Ф. Одоевского, в альманахе подписан: Одвск.

*Мегсю* Габриель (1629—1667) — голландский живописец.

*Дау — Доу* Герард (1613—1675) — голландский художник-жанрист.

*Баттониева Магдалина* — имеется в виду картина итальянского художника *Помпео* (1708—1787) «Кающаяся Магдалина».

*Де Ветте* (1780—1849) — профессор Берлинского университета, богослов, известен тем, что написал письмо матери Карла Занда (1795—1825), студента-революционера, казненного за убийство тайного агента русского самодержавия. В этом письме, получившем широкое распространение, де Ветте оправдывал поступок Занда.

С. 332. *Аристофан, князя Шаховского — Шаховской* Александр Александрович (1777—1846) — русский драматург, комедиограф; комедия «Аристофан, или Представление «Всадников», посвященная жизни древнегреческого комедиографа Аристофана (ок. 445 — ок.

385 гг. до н. э.), содержала в себе много намеков на современную жизнь и была высоко оценена декабристами.

*Святополк Окаянный* (ок. 980—1019) — князь Киевский (1015—1019), чтобы занять киевский престол, убил трех своих братьев, в свою очередь разбитый четвертым братом — Ярославом Мудрым, бежал из Руси в Чехию и там погиб.

«*Полярная звезда*» — литературный альманах, издававшийся К. Ф. Рылевым и А. А. Бестужевым.

С. 332. *Жан Поль* — псевдоним немецкого писателя Иоганна Пауля — Фридриха Рихтера (1763—1825) — автора популярных в начале XIX века сентиментально-романтических повестей и романов, по своим взглядам Рихтер был последователем французских просветителей.

*Верстовский* Алексей Николаевич (1799—1862) — русский композитор, автор популярных романсов и опер.

...*слова сих романсов не показывают счастливого таланта родителя их.* — Авторы водевиля и стихов для романсов. — А. С. Грибоедов и П. А. Вяземский.

### И. И. ПАНАЕВ. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ (Отрывок)

Впервые опубликовано в журнале «Современник», 1861, т. 85, 86, 89, 90. В настоящем сборнике печатается по изданию: *Панаев И. И.* Литературные воспоминания. Л., 1928, с. 142—155, с сокращениями.

Панаев Иван Иванович (1812—1862) — писатель, журналист; основатель (совместно с Н. А. Некрасовым) журнала «Современник»; автор популярных в свое время рассказов, очерков и повестей либерального, антикрепостнического направления.

С. 333. *Дендизм* (от англ. *dandy* — изящный, светский человек) — внешняя модная светскость.

*Поль-де-Кок* — *Кок* Поль-Шарль де (1793—1871) — французский писатель, автор многочисленных комедий, водевилей, сборников стихов, романов; особенной популярностью пользовались его романы, описывающие любовные похождения средних и мелких буржуа.

*Рекамье* Юлия Аделаида (1777—1849) — жена банкира, красавица, в доме которой с последних лет XVIII века по 1840-е годы собирались выдающиеся люди своего времени — политические деятели, литераторы, деятели искусства, ученые.

С. 334. *Аннибал* (Ганнибал) Иван Абрамович (1731—1801) — генерал-поручик, морской артиллерист, двоюродный дед А. С. Пушкина; в русско-турецкую войну 1768—1774 годы руководил десантом, высаженным с моря и взявшим после шестидневной бомбардировки турецкую крепость Наварин (10 апреля 1770 г.). Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Моя родословная».

С. 335. *Краевский* Андрей Андреевич (1810—1889) — журналист, издатель журнала «Отечественные записки» (1839—1862) и других периодических изданий.

С. 336. *Дирин* Сергей Николаевич (1814—1839) — чиновник департамента Государственного казначейства, дальний родственник В. К. Кюхельбекера, переводчик.

С. 337. *Пулярка* (франц.) — специально откормленная курица.

*Смирдин* Александр Филиппович (1795—1857) — петербургский книгопродавец и издатель, владелец книжной лавки, посещавшейся литераторами.

С. 338. ... *esprit de repartie* (франц.) — умение давать быстрый и острый ответ.

### В. ЛЕНЦ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛИФЛЯНДЦА В ПЕТЕРБУРГЕ (Отрывок)

Впервые опубликовано в журнале «Русский архив», 1878, т. 1. В настоящем сборнике печатается по этому изданию, с. 440—442, с сокращениями.

Ленц Василий (Вильгельм) Федорович (1808—1883) — юрист, музыкант, музыкальный критик.

С. 340. ...*la belle Créole* (франц.) — прекрасная креолка.

...*le père de la comédie* (франц.) — отец комедии.

Замятнин Дмитрий Николаевич (1805—1881) — лицеист четвертого выпуска Царскосельского лицея, в 1830-е годы чиновник департамента герольдии, в 1860-е годы министр юстиции.

Блюдов Дмитрий Николаевич, граф (1785—1864) — один из учредителей литературного общества «Аразамас», дипломат, товарищ министра народного просвещения, министр внутренних дел (в описываемое В. Ленцем время).

Лаваль Александра Григорьевна, графиня (1772—1850) — жена французского эмигранта на русской службе, камергера, тайного советника графа Лавалы Ивана Степановича (1761—1846).

Голицына Евдокия Ивановна, княгиня (1780—1850) — интересовалась литературой и наукой, ее салон посещали светские люди и «светские литераторы», в том числе и А. С. Пушкин, посвятивший ей стихотворения «Краев чужих неопытный любитель» и «Простой воспитанник природы». *Princesse Nocturne* — (франц.) — ночная княгиня.

Ганзейские города — ряд северонемецких городов, образовывавших в средние века торговый союз так называемых вольных городов — «ганзу» (от старонемецкого *Hansa* — союз, товарищество).

Волконский Григорий Петрович, князь (1808—1882) — чиновник, камергер, попечитель Петербургского учебного округа; певец-любитель.

Антиной (II в.) — любимец римского императора Адриана, юноша необыкновенной красоты.

С. 341. *Евтерпа* — в греческой мифологии муза — покровительница лирической поэзии, изображалась в образе молодой женщины с флейтой.

С. 342. *Бартоломей* — чиновник, знакомый В. Ленца.

Савиньи Фридрих Карл фон (1779—1861) — немецкий юрист, один из основателей исторической школы права.

Ганс Эдуард (1797—1839) — немецкий юрист, гегельянец.

Магнитизер — герой повести Гофмана «Магнитизер» (1813—1814).

Лерминье Жан-Луи-Эжен (1803—1857) — французский публицист и юрист либерального направления, профессор.

Дегай Павел Иванович (ум. в 1849) — юрист, доктор прав, автор фундаментальных трудов по судопроизводству.

Монморанси — старинный дворянский французский род, известный с X века.

Фильд Джон (1782—1837) — ирландский пианист, педагог и композитор, с 1802 года жил в России.

Впервые опубликовано в книге: «В память о князе В. Ф. Одоевском». М., 1869. В настоящем сборнике печатается по этому изданию, с сокращениями.

Соллогуб Владимир Александрович, граф (1813—1882) — писатель, чиновник министерства иностранных дел, затем — министерства внутренних дел; в 1856 году получил звание придворного историко-графа; в рассказах и повестях «История двух калаш», «Большой свет», «Тарантас» дал яркие, часто сатирические зарисовки светского, театрального, провинциального быта.

...дом Олениных — Оленин Алексей Николаевич (1763—1843) — президент Академии художеств, директор Публичной библиотеки, археолог, историк.

...дом Карамзиных — литературный салон Екатерины Андреевны Карамзиной (1780—1851) — вдовы Н. М. Карамзина.

С. 344. *Андреевский кавалер* — т. е. награжденный высшим орденом дореволюционной России — орденом святого апостола Андрея Первозванного, которым награждались только высшие сановники и лица императорской фамилии.

### БЕЛИНСКИЙ В. Г. СОЧИНЕНИЯ КНЯЗЯ В. Ф. ОДОЕВСКОГО

Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки», 1844, т. XXXVI, № 10. В настоящем сборнике печатается по изданию: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. 8. М., Изд-во АН СССР, 1955, с. 297—323.

Дается в сокращении.

С. 345. *Одоевский выступил на литературное поприще в 1824 году*... — Белинский не принимает во внимание ранние произведения Одоевского; впервые в печати Одоевский выступил в 1820 году в альманахе «Каллиопа» (ч. IV, М., 1820) с переводом «Отрывок из Лабрюйера».

С. 346. *Наперсник* (от старосл. «перси» — грудь) — обязательное действующее лицо пьес театра классицизма — друг или доверенное лицо героя или героини, которому герой рассказывает о всех своих мыслях и поступках.

*Площечные иллюминации* — т. е. правительственные торжества; в XIX веке в дни, объявляемые правительством особо праздничными, городские обыватели обязаны были устраивать иллюминацию — выставлять в окнах или перед домами лампы-плошки вроде коптилок.

*Майков* Аполлон Николаевич (1821—1897) — русский поэт-лирик; первый сборник «Стихотворения» издал в 1842 году, большое место в котором занимали стихи, являвшиеся подражаниями античной лирике; Белинский в рецензии на этот сборник писал, что Майков имеет «дарование неподдельное и замечательное».

...*принадлежит к антологическому роду*... — Здесь: написанные в традициях античной литературы; название происходит от греческого слова «антология» — собрание цветов, так в Древней Греции назывались сборники лирических стихотворений.

С. 347. *Озеров* Владислав Александрович (1769—1816) — русский драматург-классицист, автор трагедий «Ярополк и Олег», «Эдип в Афинах», «Фингал», «Димитрий Донской» и др., в его творчестве отразились идеи просветительства конца XVIII века — ненависть к деспотизму, гражданственность, патриотизм. Некоторые произведения Озерова запрещались цензурой.

С. 348. *Венеитинов* Дмитрий Владимирович (1805—1827) — русский поэт, был связан родством и дружбой с некоторыми из декабристов; в обществе ходили слухи, что его ранняя смерть была вызвана преследованиями за связь с декабристами.

*Полежаев пал жертвою избытка собственных сил...* — *Полежаев* Александр Иванович (1804—1838) — русский поэт, за вольнолюбивые стихи в 1826 году был отдан Николаем I в солдаты. Возложение вины за гибель Полежаева не на самодержавие, а на него самого является вынужденной уступкой цензуре.

С. 349. *Аполлог* — литературное произведение нравоучительного характера, близкое к басне и притче, широко распространенное в древних и средневековых литературах Востока и Запада.

*Брение (старослав.)* — тление, разрушение.

С. 350. *Диодор Сицилийский* (ок. 90—21 гг. до н. э.) — древнегреческий историк, автор обширной «Исторической библиотеки» в 40 томах, охватывающей историю Древнего Востока, Греции и Рима от легендарных времен до середины I века до н. э.

*Остров Панхай* — мифический остров, название которого в переводе с греческого означает — остров всеобщей радости.

*...наслаждался видом колесницы Урановой...* — *Уран* — в древнегреческой мифологии древнейшее божество, символизирующее небо, потомство которого от брака с землей — Геей стало обитателями земли — богами и простыми людьми. Указание на колесницу Урана подчеркивает древность острова Панхай.

*Аорист* — грамматическая форма глагола в ряде индоевропейских языков, в частности, в греческом и старославянском, обозначающая действие, протекавшее в прошлом, но не указывающая ни на длительность действия, ни на его законченность или незаконченность.

*Храм Гемифеи* — *Гемифея* — имя, образованное Одоевским по образцу древнегреческих имен от двух греческих корней: «гема» — изобилие и «феос» — бог, и означающее — богиня изобилия. В древнегреческой мифологии такой богини нет.

С. 353. *Ахалкин* — этим именем Одоевский называет поэта-сентименталиста Петра Ивановича *Шаликова* (1768—1852) — автора слабых, эпигонских сочинений, издателя «Дамского журнала».

*Аристарх* (II в. до н. э.) — древнегреческий филолог; его имя стало нарицательным именем критика вообще. Одоевский здесь имеет в виду драматурга А. А. Шаховского (1777—1846), чья комедия «Новый Стерн», в которой был сатирически изображен поэт-сентименталист, вызвала ожесточенную критику со стороны сентименталистов.

С. 354. *Алогий* и *Епименид* — имена героев этого аполога относятся к числу значащих: *Алогий* — неразумный, *Епименид* — благочестивый, священный.

С. 355. «*Вестник Европы*» — журнал, выходивший в Москве в 1802—1830 гг.; основан Н. М. Карамзиным. «*Сын отечества*» — журнал, выходивший в Москве в 1812—1852 годах (с перерывами); издателями-редакторами в разное время были Н. И. Греч, А. Ф. Воейков, Ф. В. Булгарин, О. И. Сенковский и другие. В 1820-е годы после разгрома восстания декабристов оба журнала приобретают ярко выраженное консервативное направление.

С. 356. *Филиппики* — гневные обличительные речи; название происходит от названия выступлений древнегреческого политического деятеля, выдающегося оратора *Демосфена* (ок. 384—322 гг. до н. э.), в которых он призывал афинян — своих сограждан к борьбе

против пытавшегося покорить Афины македонского царя *Филиппа II* (ок. 382—336 гг. до н. э.).

С. 357. ...у римлян явился величайший сатирик в мире.— Ювенал Децим Юний (ок. 60—ок. 127) — римский поэт-сатирик; его имя стало нарицательным названием сатирика.

*Тиртей* (VII в. до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик, в творчестве которого главное место занимают гражданские мотивы.

С. 359. *Неофит* (греч.) — новообращенный в какую-либо веру; новый сторонник какого-либо учения.

С. 360. «*Opere del Cavaliere Giambattista Piranesi*» (итал.) — «Произведения кавалера Джамбатисто Пиранези» — рассказ В. Ф. Одоевского, входящий в состав романа «Русские ночи», посвященный итальянскому архитектору и граверу Д. Пиранези (1720—1778), создавшему серию гравюр — «архитектурных фантазий», изображающих фантастические сооружения.

С. 363. *Сантон* (исп.) — святоша.

С. 366. *Россини* Джоакино (1792—1868) — итальянский композитор, автор популярных опер, наиболее известной из которых является «Севильский цирюльник» (1816); произведения Россини отличаются мелодичностью.

*Беллини* Винченцо (1801—1835) — итальянский композитор-романтик.

*Мейербер* Джакомо (1791—1864) — композитор, жил и работал в Италии, Германии, Франции, создатель героико-романтической оперы; сочинения: «Роберт-Дьявол» (1830); «Гугеноты» (1835) и др.

С. 367. ...как *Паллада* из головы *Зевса*... — по древнегреческому мифу, *Паллада* (другое имя — *Афина*) — богиня мудрости, покровительница наук, ремесел, богиня победы была не рождена женщиной и не выросла из младенца, а появилась из головы *Зевса* — верховного божества Древней Греции взрослой девой и при полном вооружении — с копьем, щитом и в шлеме.

С. 368. *Г-н Кивакель* — персонаж из сказки Одоевского «Деревянный гость, или Сказка об очнувшейся кукле и господине Кивакеле».

#### Д. В. ГРИГОРОВИЧ. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

(Отрывок)

Впервые публиковались в журнале «Русская мысль», 1892. В настоящем сборнике печатаются по изданию: Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., ГИХЛ, 1961, с. 110—111.

Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899) — русский писатель круга некрасовского «Современника».

*Жардинерка* — декоративная подставка для комнатных растений в виде этажерки.

#### Я. П. ПОЛОНСКИЙ. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ (Отрывок)

Впервые опубликовано в журнале «Нива», 1884, № 1—8. В настоящем сборнике печатается по изданию: И. С. Тургенев в воспоминаниях современников, т. 2. М., Художественная литература, 1969, с. 397—398.

Полонский Яков Петрович (1819—1898) — русский поэт и прозаик, активно работавший в литературе в течение более чем 50 лет с 1840-х до 1890-х гг., знавший многих крупнейших литературных деятелей этой эпохи и оставивший воспоминания о них.

...выразилось в юмористических стихах Соболевского...— Соболевский посвятил Одоевскому несколько эпиграмм, наиболее интересную приводит Полонский. Так как эпиграммы Соболевского предназначались для узкого круга знакомых, то они были полностью понятны лишь для знавших повод их написания. Приводимая Полонским эпиграмма относится к такому эпизоду: Одоевский был членом ученого комитета при министерстве государственных имуществ, ему поручили составить записку о появившихся где-то на полях вредных насекомых; увлекшись вопросом, он стал читать книги, имевшие к нему очень отдаленное отношение и таким образом дошел до сочинений немецкого гуманиста-сатирика *Эразма Роттердамского* (1469—1536); кроме того, он тогда обрился после болезни и носил парик; падение комара с дерева заимствовано из русской народной песни, изучением которых занимался Одоевский.

### А. П. ПЯТКОВСКИЙ. КНЯЗЬ В. Ф. ОДОЕВСКИЙ

Опубликовано впервые в книге: *Пятковский А. П. Князь В. Ф. Одоевский. Литературно-биографический очерк в связи с личными воспоминаниями.* СПб., 1880. В настоящем сборнике печатается отрывок из этой книги.

Пятковский Александр Петрович (1840—1904) — писатель-педагог и филолог, автор работ по педагогике и истории русской литературы XIX века; редактор-издатель (совместно с известным педагогом-математиком В. А. Евтушевским) журнала «Народная школа»; печатался в прогрессивных журналах «Современник», «Отечественные записки».

С. 375. *Статс-секретарь* Государственного совета — одна из высших чиновничьих должностей в дореволюционной России — руководитель отделения государственной канцелярии.

*Сарриотти* Михаил Иванович (1839—1878) — русский оперный певец-бас, обучался в Петербурге, с успехом дебютировал в Милане, затем вернулся в Россию и пел в Мариинском театре.

С. 376. «*Телеграф*» — журнал «Московский телеграф», начавший издаваться в 1825 году.

*Барант* Амабль-Гильом-Проспер-Брюисьер (1785—1866) — французский политический деятель, историк, публицист; по политическим взглядам — роялист и умеренный либерал; как писатель отличался легкостью стиля и общедоступностью изложения.

С. 377. ...на изданиях *Миллера*...— *Миллер* Герард Фридрих (1705—1783) — по происхождению немец, с 1725 года жил в России, член Петербургской академии наук, историк, археограф; в 1755—1765 годах редактировал по поручению Академии наук академический журнал «Ежемесячные Сочинения, к пользе и увеселению служащие» — первое периодическое научно-литературное издание на русском языке.

...сатирических листках *Новикова*...— *Новиков* Николай Иванович (1744—1818) — русский просветитель, писатель, издатель; в 1770-е годы издавал сатирические журналы «Трутень», «Живописец», «Кошелек».

...журналах *Карамзина*...— *Карамзин* Николай Михайлович (1766—1826) — выдающийся русский писатель; в 1791—1792 годах издавал «Московский журнал», в 1802—1803 годах — «Вестник Европы», в которых сотрудничали крупнейшие русские писатели того времени.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

*Вл. Муравьев*. Русский Фауст . . . . . 3

### П о в е с т и , р а с с к а з ы , о ч е р к и

Последний квартал Бетховена . . . . .	35
Новый год (Из записок ленивца) . . . . .	42
Бригадир . . . . .	50
Бал . . . . .	58
Импровизатор . . . . .	61
Сказка о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалось в светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником . . . . .	75
Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем . . . . .	80
История о петухе, кошке и лягушке. Рассказ провинциала . . . . .	89
Княжна Мими . . . . .	104
Княжна Зизи . . . . .	145
Сильфида (Из записок благоразумного человека) . . . . .	194
Живой мертвец . . . . .	216
Живописец (Из записок гробовщика) . . . . .	241
Последнее самоубийство . . . . .	249
Город без имени . . . . .	256
4338-й год. Петербургские письма . . . . .	271
Езда по московским улицам . . . . .	303
Ворожеи и гадалычики . . . . .	309

### О д о е в с к и й в ж и з н и . А в т о б и о г р а ф и я . О т з ы в ы и в о с п о м и н а н и я с о в р е м е н н и к о в

Автобиография . . . . .	320
М. П. ПОГОДИН. Воспоминание о князе Владимире Федоровиче Одоевском . . . . .	321
А. И. КОШЕЛЕВ. Записки . . . . .	326
К. Ф. РЫЛЕЕВ. Мнемозина, собрание сочинений в стихах и прозе, издаваемая кн. В. Одоевским и В. Кюхельбекером . . . . .	329
И. И. ПАНАЕВ. Литературные воспоминания . . . . .	332
В. ЛЕНЦ. Приключения лифляндца в Петербурге . . . . .	339
В. А. СОЛЛОГУБ. Воспоминание о князе В. Ф. Одоевском . . . . .	342
В. Г. БЕЛИНСКИЙ. Сочинения князя В. Ф. Одоевского . . . . .	344
Д. В. ГРИГОРОВИЧ. Литературные воспоминания . . . . .	369
Я. П. ПОЛОНСКИЙ. Из воспоминаний . . . . .	371
А. П. ПЯТКОВСКИЙ. Князь В. Ф. Одоевский . . . . .	372
Примечания . . . . .	377



**Владимир Федорович Одоевский**  
**ПОСЛЕДНИЙ КВАРТЕТ БЕТХОВЕНА**  
Повести, рассказы, очерки.  
Одоевский в жизни

Заведующая редакцией **Л. Сурова**  
Редактор **Н. Рыльникова**  
Художник **И. Гирель**  
Художественный редактор **Ф. Барбышев**  
Технический редактор **Г. Бессонова**  
Корректоры **Н. Кузнецова, В. Чеснокова**

ИБ № 3634

Подписано к печати с матриц 28.11.86. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 3. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 21,0. Усл. кр.-отт. 21,42. Уч.-изд. л. 22,80. Тираж 200 000 экз. Заказ 2405. Цена 1 р. 80 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий». 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8. Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

1 р. 80 к.

*Пушкинский кабинет ИРЛИ*